













Константин Станюкович

# Избранное

Томск-2015

УДК 821.161.1-32 Константин Станюкович.  
ББК 84(2Рос=Рус)6-44  
С71

**Константин Станюкович.** Избранное. Книжная серия  
«Томская классика» — Томск.; 2015. — 376 с. Составитель  
*Г. Скарлыгин.*

Книжная серия «Томская классика»  
выходит при поддержке губернатора Томской области  
*Сергея Анатольевича Жвачкина*

Томская писательская организация благодарит  
руководителей ООО «Межениновская птицефабрика»  
*Андрея Андреевича Чуркина,*  
*Леонида Викторовича Ющенко,*  
*Владимира Николаевича Хорошилова,*  
*Фёдора Николаевича Халецкого*  
за финансирование издательского проекта  
«Томская классика»

ISBN 5-902350-01-8  
ISBN 5-902350-10-7

© Г. Скарлыгин: составление, 2015  
© Томская писательская  
организация: переиздание, 2015

---

# Сибирский роман

## К. М. Станюковича

---

«В места не столь отдалённые» — единственный сибирский роман Константина Михайловича Станюковича. Однако прежде чем изложить историю его создания, необходимо хотя бы кратко рассказать, как писатель очутился в Сибири.

Возвращаясь из-за границы, К. М. Станюкович, издатель и редактор журнала «Дело», 21 (ст. ст.) апреля 1884 года был арестован на пограничной станции Вержболово. Его доставили в Петербург, в жандармское управление, а затем заключили в тюрьму.

Суть «преступной деятельности» К. М. Станюковича, как это видно из документов департамента полиции, царские власти усматривали в том, что он во время своих неоднократных поездок за границу находился в непосредственных «сношениях... с лицами, скрывающимися за границей ввиду упадающего на них подозрения в прикосновенности к тяжким государственным преступлениям»\*. Под этими лицами подразумевались П. Л. Лавров, Л. А. Тихомиров, П. Н. Ткачёв, С. М. Степняк-Кравчинский, П. А. Кропоткин, В. И. Засулич, Л. Г. Дейч, Я. Ф. Стефанович и другие политические эмигранты. К. М. Станюковичу вменялось в вину также и то, что он печатал в журнале «Дело» произведения многих «государственных преступников», оказывал им материальную помощь, передавал деньги в фонд «Красного креста партии „Народная воля“». «Ещё раньше департаменту полиции было известно его увлечение народническими идеями и «хождение в народ» — он восемь месяцев учительствовал в сельской школе. К. М. Станюковича считали «крайним радикалом», который давно имеет связи не только с русской эмиграцией, но и с «революционными кружками внутри империи»\*\*.

К моменту ареста К. М. Станюкович уже был известным публицистом и писателем. Наиболее плодотворно он сотрудничал в литературно-политическом ежемесячнике «Дело». Этот журнал, редактируемый Г. Е. Благоветловым и Н. В. Шелгуновым, являлся наиболее передовым и влиятельным журна-

---

\* В статье использованы материалы Государственного архива Томской области (ГАТО).

\*\* О. С. Л ю б а т о в и ч. Воспоминания народоволки. «Былое», 1906, № 6, стр. 128.

---

лом тех лет (1866—1884 гг.). На его страницах К. М. Станюкович проявил себя талантливым публицистом — автором «Картинок общественной жизни» и «Писем знатного иностранца». В «Деле» печатались и его романы «Без исхода», «Два брата», «Омут», повести «Червонный валет», «Похождение благонамеренного молодого человека» и пьеса «Родственники». В 1830 году, после смерти Г. Е. Благодетель, К. М. Станюкович становится соредактором, а затем издателем и редактором журнала «Дело». Через год предварительного заключения, 24 апреля 1885 года, К. М. Станюкович был выслан в административном порядке «под надзор полиции в местности Западной Сибири на три года». Западная Сибирь тогда считалась «местами не столь отдалёнными» в отличие от «мест отдалённых» — Восточной Сибири и Сахалина.

Ссылку К. М. Станюкович должен был отбывать в Томске. Власти полагали, что здесь писатель будет находиться в политической и литературной изоляции, что ссылка сокрушит его неуёмную энергию и талант. Но эти надежды не оправдались. В Томске писатель обрёл верных друзей — здесь, на страницах «Сибирской газеты», он продолжал свою публицистическую и литературную деятельность. И, наконец, здесь «произошло некое чудо — писатель, печатавшийся уже более двух десятков лет, вдруг получил как бы второе дыхание, вторую литературную молодость, притом более цветущую»\*. Цикл «Морские рассказы», который К. М. Станюкович начал писать в Томске, принёс ему мировую известность.

К. М. Станюкович прибыл в Томск 17 апреля 1885 года. Томск вначале произвёл скверное впечатление на писателя и его семью: раздражали невыносимая жара, пыль и «ужасающая грязь».

Томск в то время имел почти 37 000 жителей, из сибирских городов он уступал первенство по народонаселению только Иркутску. В промышленности было занято чуть более тысячи человек. Город развивался как торговый центр на Московском тракте, как перевалочная база транзитных грузов.

В описываемое время Томск готовился стать университетским городом. Главный корпус уже был подготовлен к занятиям. Однако царское правительство всё ещё не решалось открыть университет.

Томск и до открытия университета был наиболее «образованным и литературным» городом Сибири. Он имел мужскую и женскую гимназии, реальное училище. Народная библио-

---

\* Л. Соболев. О Константине Михайловиче Станюковиче. Собр. соч. К. М. Станюковича. Т. 1, М., ГИХЛ, 1958, стр. 9.



---

тека, основанная в 1871 году, считалась лучшей в Сибири, а в книжном магазине П. И. Макушина подбор книг был на уровне столичных магазинов.

К. М. Станюкович стал своим человеком в книжном магазине и многие часы проводил в библиотеке. Но главное «благотомского жития» сказалось в том, что писатель впервые за многие годы получил возможность писать без спешки, избавившись от литературной подёнщины, которая, как он чувствовал сам и как это отмечалось его критиками, «заедала», губила его талант.

Арест и ссылка лишили К. М. Станюковича общения с эмигрантами-народниками, с литературным миром столицы, но и в Томске он встретил большую группу активных деятелей народничества. Его ближайшими друзьями стали Ф. В. Волховский (И. Брут), С. Л. Чудновский, А. И. Иванчин-Писарев, Д. А. Клеменц. Все они были политическими ссыльными и занимали руководящее положение в «Сибирской газете», в которой сотрудничали также и народовольцы Г. Ф. Зданович, Л. Э. Шишко, старший брат «князя-бунтовщика» П. А. Кропоткина астроном А. А. Кропоткин, каракозовец П. Ф. Николаев. Печатался в «Сибирской газете» и писатель-томич Н. И. Наумов. Вскоре «Сибирская газета» стала для К. М. Станюковича общественно-политической и литературной трибуной.

В Томске, кроме «Сибирской газеты» и официальных «Томских губернских ведомостей», издавался ещё «Сибирский вестник».

«Сибирская газета» (основана в 1881 г. известным сибирским книготорговцем П. И. Макушиным) была газетой «сибирских патриотов» — областников и политических ссыльных, а «Сибирский вестник», созданный за месяц до приезда в Томск К. М. Станюковича, полностью стоял на стороне местных властей.

«Между этими органами, — писал К. М. Станюкович, — конечно, вечная полемика; но, разумеется, сочувствие порядочных людей на стороне «Сибирской газеты», а не «Сибирского вестника», где работают по большей части все герои процессов... натурально, уголовных»\*.

Официальным редактором-издателем «Сибирского вестника» значился широко известный томичам весёлый гуляка и плут, присяжный поверенный В. П. Картамышев. В одном из фельетонов К. М. Станюкович, выступая под псевдонимом «Старый холостяк», писал о Картамышеве, что «черты

---

\* Е. Некрасова. Константин Михайлович Станюкович. Его поездка в Сибирь и жизнь в Томске. (По письмам и воспоминаниям.) «Русская мысль», 1903, кн. 10, стр. 162.

---

Хлестакова совмещались в нём с чертами Подхалимова. Бесшабашность редко трезвого ташкентца сплелась с какой-то наглой беспринципностью ничего не боящегося человека. Он говорил обо всём на свете с ноздрёвским апломбом<sup>\*</sup>. Двенадцать лет спустя А. П. Чехов, встретив в Томске того же Картамышева, так характеризовал его: «Местный Ноздрёв, пьяница и забулдыга»<sup>\*\*</sup>.

Фактическим редактором «Сибирского вестника» стал Е. Корш — бывший адвокат, высланный в Томск за растрату денег своих клиентов, а ведущими сотрудниками — крупнейший московский банкократ П. М. Полянский и другие высланные за уголовные дела (взятки, мошенничество и пр.). Большинство из них, очутившись в ссылке, по протекции влиятельных лиц устраивалось на «тёпленьких местечках», проникало в государственный аппарат.

За спиной «Сибирского вестника» стоял губернатор И. И. Красовский и не менее весомое лицо — попечитель Западно-Сибирского учебного округа В. М. Флоринский. Их объединяла ненависть не только к «Сибирской газете», но и к Томскому университету. Они были единодушны в своих домогательствах закрыть ещё не открытый университет, считали, что в Томске не должно быть ни университета, ни «Сибирской газеты». Красовского и Флоринского поддерживали такие столпы реакции, как М. Н. Катков, редактор «Московских ведомостей», обер-прокурор святейшего Синода К. П. Победоносцев и министр внутренних дел граф Д. А. Толстой.

М. Н. Катков хорошо знал сотрудников «Сибирской газеты», особенно К. М. Станюковича, который до ссылки подвергал его критике и осмеянию. В конце января 1886 года «Московские ведомости» поместили, по сути дела, политический донос на «Сибирскую газету». «В Томске образовался целый штат социалистов, собранный со всех концов Сибири. Редакция местной «Сибирской газеты» сплошь состоит из них. Кружок политических ссыльных постоянно старается вербовать молодёжь. Революционные кадры уже готовы. Ожидается только прибытие новобранцев в виде томских студентов, а может быть, и профессоров!..»

Победоносцев в личном письме к царю, комментируя и развивая это выступление Каткова, советовал пересмотреть вопрос об учреждении Томского университета. «В тех условиях жизни, — писал Победоносцев, — кои существуют в Томске, возможно ли идти, так сказать, навстречу вредным элементам и настаивать на учреждении в Томске универси-

---

\* «Сибирская газета», 1886, 13 июля.

\*\* А. П. Чехов. Собр. соч. Т. XI, М., ГИХЛ. 1956, стр. 441.

---

тета... Общество томское состоит из всякого сброда: можно себе представить, как оно воздействует на университет...»<sup>\*</sup>.

Смертельный удар «Сибирской газете» нанёс попечитель Западно-Сибирского учебного округа В. М. Флоринский, заявивший министру внутренних дел, что при существовании «Сибирской газеты» он не ручается за спокойствие студентов в открываемом в Томске университете.

Университет был открыт 22 июля 1888 г., а через два дня «Сибирская газета» прекратила своё существование.

Так, по выражению П. М. Макушина, «нетопыри и совы, не выносящие дневного света, забили тревогу и задушили газету».

За три года подневольного пребывания в Томске К. М. Станюкович опубликовал на страницах «Сибирской газеты» роман-памфлет «Не столь отдалённые места», а также стихи, очерки и фельетоны. Многие из этих материалов написаны с таким обличительным накалом, с каким ему ещё не удавалось выступать раньше.

О деятельности «Сибирской газеты» и выдающейся роли К. М. Станюковича, которую он играл на её страницах, очень убедительно свидетельствует начальник томского жандармского управления. В политическом обзоре за 1886 год он писал: «...«Сибирская газета» направления крайне вредного, в ней обсуждается деятельность как местной администрации, так и вообще распоряжения правительства, причём статьи пишутся в таком тоне, что подрывают авторитет различных правительственных учреждений и лиц... В состав редакции входят многие политические ссыльные, в особенности же в ней выдающуюся роль играет ссыльный по приговору особого присутствия правительствующего сената Волховский и административно-ссыльный — бывший издатель журнала «Дело» — Станюкович»<sup>\*\*</sup>.

Роман «В места не столь отдалённые» писался в ходе этой борьбы и был одной из наиболее острых её форм. Как свидетельствует С. Л. Чудновский, Константин Михайлович «посещал наши редакционные собрания и по нашему предложению согласился писать для газеты роман-фельетон из местной жизни («Не столь отдалённые места»), в котором задумал изобразить характерные типы уголовно-ссыльного элемента Сибири»<sup>\*\*\*</sup>.

---

<sup>\*</sup> Письма К. П. Победоносцева к Александру III. Т. II, М., ГИЗ, 1926, стр. 99—100.

<sup>\*\*</sup> В. П. Вильчинский. Константин Михайлович Станюкович. М.—Л., Изд. АН СССР, 1963, стр. 232.

<sup>\*\*\*</sup> С. Чудновский. Из дальних лет. «Вестник Европы», 1912, кн. 3, стр. 181.



---

Публикация романа началась с воскресенья 7 сентября 1886 года, когда были написаны только первые главы. С этого дня почти каждое воскресенье за подписью «Н. Томский» читатели «Сибирской газеты» находили продолжение понравившегося им романа. Правда, роман до конца напечатать не удалось. Газета была закрыта, и роман прервался на середине XXX главы.

Главный герой романа — Евгений Невежин. Читатель впервые знакомится с ним в зале Петербургского окружного суда. Судья, прокурор, жадная до судебных сенсаций публика, привалившая сюда, как на театральное представление, пытаются узнать тайну выстрела, который привёл этого молодого человека, сына генерал-майора в отставке, на скамью подсудимых. Евгений сознался в покушении на жену, и вот неизбежное свершилось: приговор — трёхлетняя ссылка в «места не столь отдалённые».

К. М. Станюкович показывает Евгения как типичного представителя среды «порядочных молодых людей»: «В жизни Евгения не было ничего ужасного с точки зрения обычной светской морали. Он жил, как все живут, то есть те, кому с детства он привык подражать, считая именно эту жизнь идеалом человеческого счастья».

После окончания лицея для Евгения начался какой-то «непрерывный праздник». «Два-три часа бездельничания в канцелярии, кутежи в модных ресторанах... балы, рауты... угарная, бесцельная жизнь». Вся эта суета требовала больших денег. Евгений запутался в долгах, и перед ним предстала дилемма: или пуля в лоб, или женитьба на богатой. Невежины не стреляются, они женятся. Жена, «страшная, как грех», оплатила долги, но супружеская жизнь была для Евгения адом, и он стрелял в жену. Так Невежин очутился в Западной Сибири, в Жиганске.

Невежин и в сибирских главах романа остаётся центральным героем. Но читателю ясно, что его похождения в Жиганске для писателя лишь повод, чтобы показать деятельность генерал-губернаторов, уголовно-ссыльных — «бубновых тузов», и то главное, ради чего, по сути дела, написан роман — общественно-идейную борьбу прессы двух лагерей.

Теперь в роман входят новые герои. Он обрывает злободневными эпизодами, приобретая ярко выраженную окраску романа-памфлета.

Автор с сарказмом, смело обрушивается на высшие власти губернии, на полицию, на авантюристов — в отставке и состоящих на государственной службе, — на «тузов бубновых» и тузов финансовых. И как-то не верится, что автор этого романа — политический ссыльный. Ведь для него риск очутиться в местах «более отдалённых», чем Томск, был весьма реален.

---

В Жиганске автор прежде всего знакомит читателя с генерал-губернатором Ржевским-Пряником. В нём не было «юпитерского величия». Это — низенький ростом, кругленький, гладкий, румяный старичок «из породы мышинных жеребчиков». Генеральским был только сюртук. Ржевский-Пряник донельзя чувствителен ко всяким заявлениям о том, что не он управляет губернией, а его сомнительные помощники из числа уголовно-ссыльных. Губернатор не может согласиться с молвой, что «будто господин Сикорский имеет на его превосходительство влияние, и влияние будто бы не особенно хорошее...». Как бы в опровержение своей самостоятельности Ржевский-Пряник в сцене разноса заседателя Прощалыжникова из Трущобинска пытается олицетворить собой «бога гнева»:

— Молчать! — вдруг взвизгнул своим тенорком Василий Андреевич. — Вы позорите мундир... слышите ли? — мундир, который вы носите... Взятки, вымогательства, грабёж... Мерзость...

Так устами самого губернатора писатель обличал полицию в явных преступлениях!..

Ряд событий из жизни Томска К. М. Станюкович перенёс в Жиганск. Например, убийство, о котором автор рассказывает в романе, было совершено 4 ноября 1886 года. Оно ошеломило даже томичей, казалось, уже свыкшихся с криками: «Караул! Грабят!».

9 ноября «Сибирская газета» посвятила этому происшествию статью под заголовком «Осаждённый город»:

«Опять зверское убийство, опять потоки крови человеческой, опять ужасы и паника, среди которых обречено жить общество большого сибирского города! И нет просвета, нет надежды на то, чтобы жить вне этих ужасов, не опасаясь за целостность головы каждый день, каждую минуту. Сотни притонов, рассеянных во всех частях города, стоят как неприступные крепости, держащие в своих руках узлы и нити всевозможных планов и организаций краж, грабежей и убийств. И нет силы подступить к этой крепости, нет возможности взять её приступом и смести, как препятствие мирной жизни цивилизованного общества».

К. М. Станюкович использовал это происшествие в главах романа «Неожиданная экскурсия» и «Старый знакомый», и снова подверг жестокой и язвительной критике и осмеянию местную полицию.

Особенно сильно звучит откровенное признание самого пристава Спасского:

— Где можно благородно взять, берём... Понимаете ли, благородно... Этак сорвать с какого-нибудь толстомордого

---

купчины... Или, например, приобрести какой-нибудь предмет необходимости или роскоши за пятерню... Это мы любим.

Невежин, став в Жиганске помощником губернатора, своим человеком в его семье, общаясь с «бубновыми тузами», не мог измениться к лучшему и продолжал вести образ жизни светского тунеядца и по-прежнему жил только ради личного удовольствия. Его мечта о «перерождении», о трудовой жизни, возникшая было под влиянием любви к Зинаиде Николаевне Степовой, растворилась в пустой болтовне.

Образ Зинаиды Степовой остаётся в тени. Писатель не мог сказать о ней большего. Развитие этого почти единственного положительного образа в романе потребовало бы показать Степовую в общении с местными политическими ссыльными, но это было запретной темой, да и не входило в задачу автора романа-памфлета.

Всё же К. М. Станюкович нашёл возможность привлечь внимание читателя к Степовой как к образу молодой народо-доволки. Он воспользовался для этого выступлением интригана Сикорского, который так характеризовал губернатору Зинаиду Николаевну;

— Я кое-что слышал о госпоже Степовой и знаю, что она и з к р а с н ы х б а р ы ш е н ь . (Здесь и далее разрядка наша. — А. П.) Она уже удостоилась быть выгнанной из одной деревни, где после окончания курса была учительницей и где, конечно, пропагандировала и деи всеобщих благополучий... Вероятно, и здесь, на родине, она, как горячая патриот-ка, будет пропагандировать идеи сибирского патриотизма и, чего доброго, обратит милейшего Евгения Алексеевича в местного патриота... «Америка для американцев»... «Сибирь для сибиряков»...

Читатели «Сибирской газеты» отлично поняли из этих слов Сикорского, что Степовая была лишена возможности работать в деревне, пропагандировать социальные идеи среди крестьян. Но эта неудача, как отмечает автор романа, не остановит Степовую, она будет продолжать борьбу, но она не будет осуществлять лозунг сибирских областников «Сибирь для сибиряков», ибо она из другого лагеря. Степовая — идейная воспитанница ссыльного народовольца. Она училась на его деньги, а не на стипендию Петербургского кружка сибиряков-областников. Всё это говорит о народовольческих чертах в биографии Степовой.

В своей клевете Сикорский умышленно поставил знак равенства между Степовой, «пропагандировавшей идеи всеобщего благополучия», то есть идеи социализма, со Степовой как с пропагандисткой идеи сибирского областничества, течения в своей основе не социалистического, а буржуазного и реакционного.



---

К. М. Станюкович, работая в «Сибирской газете», которую принято считать органом областников, никогда не был приверженцем их идей, особенно лозунга «Сибирь для сибиряков». Публицист и романист К. М. Станюкович выступал на два фронта: и против областников, и против махрового реакционера Каткова.

В фельетоне, входящем в цикл «Сибирские картинки», К. М. Станюкович предупреждает читателей, чтобы они не верили, «...будто бы я имею преступное намерение отторгнуть Томскую губернию от Российской империи, и, поощряемый бездействием будто бы местных властей, я жду только удобного момента, чтобы образовать независимое Томское ханство»\*.

Тема этого фельетона была развёрнута писателем-сатириком в романе, особенно в главе «Бомба». Он ввёл в роман-памфлет реальные события — выступление Каткова в «Московских ведомостях» против томских политических ссыльных и их «штаба» — «Сибирской газеты». Писатель зло высмеял утверждение «столичной газеты», что «...Жиганск находится в состоянии полнейшей анархии и что всевозможные неблагонадёжные элементы (то есть политссыльные. — А. П.), благодаря необъяснимому попустительству местных властей держат чуть ли не в руках весь город и ждут только благоприятной минуты, чтобы объявить Жиганскую республику».

Более того, писатель заставил самого Ржевского-Пряника невольно выступить в защиту политических ссыльных.

— Я сам напишу куда следует, что всё в этой корреспонденции ложь!.. Всё с начала до конца. Какие такие неблагонадёжные элементы здесь играют роль? Кто здесь попустители? Я, слава богу, тридцать пять лет служу своему государю и понимаю, что делаю...

Казалось бы, случай беспрецедентный — губернатор, защищая своё служебное достоинство, становится в то же время защитником политических ссыльных. Так по воле писателя-сатирика персонажи романа разоблачают не только свою сущность, но и становятся удобными рупорами для осмеяния пороков и зла государственно-административного строя в целом.

В Ржевском-Прянике томичи легко узнавали недавно умершего губернатора И. И. Красовского, который, как и Ржевский-Пряник, безуспешно «воевал» с полицией и даже умер во время неприятно-издевательского разговора с помощником полицеймейстера.

В романе Ржевского-Пряника сменяет генерал-майор Добрецов. Он также написан почти с натуры — с А. И. Лакса, пробывшего на посту Томского губернатора менее года. Лакс

---

\* «Сибирская газета», 1886, 13 июля.

---

действительно был умён, образован, увлекался философией и литературой. Он — автор очерков о Прибалтийском крае, составивших вторую часть второго тома известного издания «Живописная Россия», редактором которого был П. П. Семёнов-Тянь-Шанский. Смерть Лакса в апреле 1888 г. вызвала сожаление у К. М. Станюковича и других сотрудников «Сибирской газеты». В некрологе, который, по-видимому, написал К. М. Станюкович, отмечалось, что «основной чертой А. И. Лакса было его неуклонное стремление к законности и правде»\*.

Конечно, Лакс был всего лишь «честным консерватором», как и его копия Добрецов, который, изгоняя из правительственных учреждений казнокрада Сикорского и ему подобных, делал это отнюдь не из каких-то радикальных побуждений, а потому, что это были явно не только непорядочные люди, но и просто уголовные преступники. Конечно, очистить и перестроить служебно-административный аппарат Добрецову было невозможно.

Через две недели после прибытия в Жиганск он занёс в свой дневник:

«Работаю с утра до вечера, и чем дальше в лес — тем больше дров. Некому доверять. Взяточничество поголовное... Раскаиваюсь, что сюда приехал. При всём желании сделать добро, чувствую, что зла могу сделать сколько угодно, а добра нисколько».

Таким образом, К. М. Станюкович развеял миф о «плохих» и «хороших» губернаторах и подвёл читателя к мысли о порочности самих основ самодержавия, о необходимости коренного изменения государственного строя во всей стране.

Прототипы крупных чиновников, участвующих в романе, раскрываются довольно точно. Пятиизбянский — «хитрый старый вор», которого так недолюбливал Ржевский-Пряник, — это «копия» управляющего казённой палатой М. А. Гилярова, ярого консерватора. Некоторое время он был цензором «Сибирской газеты».

В Аркадии Аркадиевиче Перемётном автор очень «похоже» показал вице-губернатора Н. Н. Петухова, который, как и Перемётный, «слыл за очень ловкого сибиряка», умевшего ладить с начальством и водить его за нос. Томск, — писал А. П. Чехов, — знаменит тем, что здесь «мрут губернаторы». Действительно, Н. Н. Петухов был «заступающим» у четырёх губернаторов. Двух из них он похоронил, и ему фактически пришлось управлять губернией более десяти лет.

В Сикорском томици легко угадывали проворовавшегося московского банковского дельца П. М. Полянского, под нача-

---

\* «Сибирская газета», 1888, 3 апреля.

---

лом которого начинал служебную карьеру томский губернатор Красовский. Адвокат Жирков рекомендовал обычно себя случайной жертвой «печального недоразумения и собственной опрометчивости». Всё его преступление якобы состояло в том, что он только «задержал» несколько тысяч, данных ему клиентами для вноса судебных пошлин. Этот адвокат имел опыт и в газетном деле. Томичам не трудно было узнать в Жиркове Е. Корша.

Писатель, создавая эти образы, страховал роман от придирок цензуры и кляуз очень ясных прототипов. Он оставил, например, в Сикорском его банкократство, то есть основной признак Полянского, и приписал ему организацию газеты «Сибирский гражданин», то есть «Сибирского вестника». Между тем действительным организатором этой рептилии был Е. Корш.

Любопытно свидетельство безымянного рецензента в петербургском журнале «Северный вестник». Говоря о главе романа «Короли в изгнании», он заявляет, что «...г. Станюкович изображает с строгою правдивостью, не клеветает на выводимых им лиц и старается представить их по возможности фотографически... порой под выводимым лицом довольно прозрачно виден оригинал, с которого оно списано».

У читателя романа «В места не столь отдалённые» невольно возникает вопрос, как автору удалось провести роман-памфлет через цензурные препоны. Неужели цензура была так слепа?

К. М. Станюкович, опытный борец с цензурой, разумеется, заранее оснастил произведение своеобразными громотводами, которые своевременно «заземляли» цензорские молнии. Он упорно подчёркивал, что действие в романе происходит «во времена стародавние». Наиболее острые разоблачительные сцены он строил так, что критика шла от лиц высокопоставленных. Кто изобличал в преступлениях председателя Прощалыжникова? Губернатор Ржевский-Пряник. Кто всячески винил во всех смертных грехах полицию? Губернаторы Ржевский-Пряник и Добрецов. Кто признаётся в «благородном» взяточничестве? Сам пристав Спасский.

Такой литературный приём позволял автору критиковать и губернатора, и других лиц, власть имеющих, и притом не давать повода для разгула красного цензорского карандаша.

Но главным громотводом от цензуры была сама жизнь, та горькая действительность, которую правдиво, с большим художественным мастерством воспроизводил автор. В романе не было ничего принципиально нового, чего бы читатель (в том числе и цензор) не видел, не знал. Взяточничество, казнокрадство, связь полиции с уголовным миром, бюрократизм и другие язвы времён царского самодержавия



---

и произвола, которые показаны в произведении, — всё это в жизни выглядело значительно страшнее и подлее.

Когда книгоиздатель А. А. Карцев в 1896—1898 годах предпринял выпуск первого двенадцатитомного собрания сочинений К. М. Станюковича, цензура задержала выпуск в свет IX тома, в который входил роман «В места не столь отдалённые». Начальник московского цензурного комитета отмечал, что «автор изображает в мрачных красках положение в Сибири, в коей губернатор управляет делами при помощи сосланных туда разного рода дельцов и протезирующей им жены своей». Однако Главное управление по делам печати признало опасения московской цензуры неосновательными: «Всё это так обыкновенно, обо всём этом и ещё о гораздо большем так часто пишется».

IX том вышел в свет, но всё издание собрания сочинений К. М. Станюковича было запрещено «к обращению в публичных библиотеках и общественных читальнях».

Это издание сочинений было первым и единственным, осуществлённым при жизни писателя. Вторично роман «В места не столь отдалённые» вышел в Полном собрании сочинений К. М. Станюковича, изданном А. Ф. Марксом в 1906—1907 годах.

24 апреля 1888 года истёк срок трёхлетней ссылки К. М. Станюковича. 6 июня томский полицмейстер объявил, что «ему воспрещается жить в обеих столицах и в Санкт-Петербургской губернии», а 27 июня писатель со всем семейством выехал из Томска на пароходе.

К. М. Станюкович в условиях ссылки оставался последователем своих великих учителей — Чернышевского, Добролюбова, Герцена, Салтыкова-Щедрина. Увлечение творчеством великого русского сатирика проявилось у него ещё в юности. Одна из первых статей молодого моряка Станюковича, опубликованная в 1862 году в «Морском сборнике», была навеяна творчеством М. Е. Салтыкова-Щедрина, которого он называл «великим пророком русской литературы». Это подчёркивалось даже заголовком статьи: «Мысли по поводу глуповцев г. Щедрина».

Сатира Станюковича, разумеется, уступала сатире Щедрина, но, как справедливо отмечает один из исследователей, «К. М. Станюковича-сатирика, без натяжек и преувеличений, вполне можно поставить вслед за этим гениальным писателем»\*.

**А. Пугачёв**

---

\* В. Петрушков. К. М. Станюкович. Душанбе, 1960. стр. 117.

В места  
не столь  
отдалённые



---

---

## I Приговор

— Подсудимый! Вам предоставляется последнее слово.

Молодой человек с бледным, истомлённым лицом тихо, как бы недоумевая, к чему его беспокоят, поднялся с места и несколько мгновений стоял в нерешительности.

— Подсудимый! Быть может, вы пожелаете уяснить суду мотивы, заставившие вас стрелять в жену? — повторил председатель.

Публика, наполнявшая залу петербургского окружного суда, встрепенулась и притихла. Все насторожили уши и с жадным сочувственным любопытством глядели на этого худощавого, красивого молодого брюнета с курчавыми волосами, надеясь услышать интересные, пикантные подробности семейной драмы и удовлетворить наконец любопытство, до сих пор далеко не удовлетворённое.

В самом деле, люди стремились в залу суда, словно на первое театральное представление, в полной уверенности, что дело о покушении мужа на жизнь жены возбудит притупленные петербургские нервы, и вместо этого — полное разочарование!

К крайнему неудовольствию всех этих собравшихся зрителей, преимущественно дам, наполнявших места для публики, ни судебное следствие, ни речи прокурора и защитника не давали никаких разоблачений семейной драмы. А казалось — тут ли не быть семейной драме?

Значительная разница лет жены и мужа, её богатство и более чем скромная наружность рядом с молодостью и красотой подсудимого давали пищу к различным предположениям, обещая, во всяком случае, много интересного и возбуждающего. Но немногочисленные свидетели, вызванные сторонами, давали крайне сдержанные показания и на вопросы прокурора о семейных отношениях супругов отвечали, что они «жили, кажется, согласно».

И сама потерпевшая, на показания которой более всего рассчитывали, вместо того чтобы хоть одним словом обвинить мужа, к крайнему изумлению прокурора и всей публи-



---

ки, взволнованным голосом, со слезами на глазах, проговорила восторженный панегирик мужу, во время которого он ещё ниже опускал голову и нервно теребил свою шелковистую бороду. Поступок его она объяснила запальчивостью, ею же самой вызванной.

На вопрос прокурора, чем именно она вызвала запальчивость, свидетельница отвечала, что между ними произошёл спор, доведший до ссоры и вызвавший вспыльчивого мужа на опрометчивый поступок.

Эти слова, видно, не удовлетворили ретивого прокурора, и он заметил:

— Одна свидетельница показывала, что вы иногда делали сцены ревности вашему мужу... Что вы на это скажете?

— Мой муж не подавал к этому повода! — чуть слышно прошептала потерпевшая, вся вспыхнув.

— Затем есть ещё одно показание, будто подсудимый женился на вас по расчёту!

Она побледнела и на мгновение опустила голову, эта высокая, худая, некрасивая, старообразная женщина, под тяжестью обиды, брошенной ей публично. Но тотчас же гордо выпрямилась и резко бросила в ответ:

— Об этом, господин прокурор, женщину не спрашивают!

Краснощёкий, пухленький, похожий на херувима молодой товарищ прокурора, ещё недавно сошедший со школьной скамьи и, видимо, старавшийся отличиться усердием, совсем сконфузился от этой неожиданной вспышки женского оскорблённого самолюбия и благоразумно прекратил допрос.

Таким образом, на судебном следствии ничего не открылось нового. Факт покушения, который никто и не отрицал, оставался фактом, ничего не объясняющим. Хотя юнец-прокурор и старался в своей обвинительной речи на основании этого факта нарисовать яркую картину семейной драмы, вызванной страстью, с одной стороны, и холодным расчётом — с другой, и, не жалея мрачных красок и пафоса, вовсе не по-херувимски расписывал подсудимого, копаясь своими пухлыми руками в тайниках чужой души, тем не менее, его старательная, полная воодушевления речь особенного впечатления не произвела и обстоятельств не выяснила.

После речи, как и прежде, чувствовалось, что во всём этом деле есть что-то невыясненное, недоговорённое.

Вот почему все так жадно ждали, что скажет подсудимый в своём последнем слове.

Не осветит ли он для своей защиты этой семейной драмы?

Но и это ожидание не сбылось.

Подсудимый твёрдым, звучным голосом произнёс, обращаясь к председателю:

---

— Я не имею ничего сказать суду!

И снова сел, и снова стал глядеть в места для публики пристальным упорным взглядом, словно бы там был кто-то, в ком одним он искал утешения, поддержки и прощения.

Председатель суда едва заметно пожал плечами, и в публике пронёсся сдержанный ропот недовольства. В этот момент «интересный красавец», восхищавший многих дам, потерял в их глазах значительную долю сочувствия.

«Ещё бы! Зачем он молчит? Зачем он не выворачивает своей души перед этой скучающей публикой, чтобы доставить ей удовольствие?»

Заседание прервано — суд удалился. Дамы ещё оставались на своих местах, не спуская взоров с подсудимого, — теперь его можно лучше разглядеть. Но вот он поднялся и ушёл в сопровождении жандармов.

— Бедный... Как он хорош! — раздавались громкие восклицания вслед.

Публика хлынула в коридоры. Многие собирались уезжать. Не стоит дожидаться приговора — неинтересно. Да и приезжать-то не стоило... Вероятно, оправдают или, во всяком случае, дадут снисхождение.

— Наверное, тут скрывается какая-нибудь любовная история! — говорит одна из так называемых судебных дам, не пропускающая ни одного сколько-нибудь интересного процесса, подкрашенная пикантная брюнетка. — И, быть может, здесь же, в публике, сидела виновница этого выстрела!..

Все поглядывают вокруг, стараясь угадать эту счастливицу.

— Я слышала, — продолжает пикантная брюнетка, — что жена таки порядочно его ревновала...

— Ещё бы... Дурна, как смертный грех...

— А он красив, как ангел! — смеются барыни. — Немудрено, что тут была драма... Он женился, конечно, ради состояния...

— Сам и виноват — не женись по расчёту.

— А что же делать, *mesdames*, если у человека долги и кредиторы травят? — смеясь вставляет, подходя к группе, молодой присяжный поверенный из начинающих, сухопарый, длинный молодой человек с претензией на изящество и на умение очаровывать дам. — При таких обстоятельствах дела, милостивые государыни, женишься и на ведьме. Не он первый, не он последний.

— Как вам не стыдно так говорить, мосье Капчинский! — замечает, загораясь негодованием и кокетливо поводя на адвоката глазами, довольно зрелая петербургская барышня. — Брак по расчёту! Вот вам и результаты таких взглядов! Стыдно, стыдно... За это вас следует за ушко! — продолжает

---

она, делая соответствующий жест, чтобы показать свою маленькую, изящную ручку с обточенными ногтями.

— Вольно ж ему было стрелять в благоверную. Гораздо проще было бы удрать от супруги после медового месяца и уплаты долгов.

— Не врите... Лучше объясните нам, что побудило его стрелять?

— Об этом спросите, *mesdames*, у подсудимого. С своей стороны я полагаю, что она так замучила его своей любовью, что он, бедняга, в отчаянии решил пристрелить благоверную, и теперь, вероятно, сожалеет, что дал промах.

— Вы всё шутите. В самом деле, ничего не известно?

— Решительно ничего. Ходят слухи, что муж был влюблён.

— Ну разумеется. В кого?

— Ей-богу, и сам не знаю. Могу только удостоверить, что не в жену!

— Отчего ж это не выяснено на суде? Отчего жена молчит?

— Вероятно, был уговор между супругами.

— Его, конечно, оправдают. Речь херувима слаба. Как он ни старался, а дальше запальчивости не пошёл. Скорей присяжные станут на точку зрения защитника — невменяемость в минуту умоисступления.

— Не думаю, *mesdames*. Подбор присяжных не такой — купцов много, а эти господа не любят выстрелов. Оттаскать за косы — это любезное дело, а стрелять — не по ним. Пожалуй, упекут.

— Что ж ему грозит? «Житьё»? — спрашивает пикантная брюнетка, употребляя сокращённый термин и, видимо, щеголяя знанием его.

— Да, вероятно, «житьё», по пятому пункту.

— Несчастный! Из Петербурга ехать в Сибирь!

— Но хуже всего, *mesdames*, — продолжал шутить адвокат, рисуясь перед дамами своим шутливым тоном, — если благоверная последует за своим супругом в места не столь отдалённые. Вы ведь слышали, как она распиналась за своего голубка, и заметили, как он ёжился в это время. Я отлично видел. Она, наверное, последует с добрым намерением облегчить ему жизнь в ссылке и не остаться без мужа, и, уж поверьте, что там он, наверно, пристрелит эту...

— Тс... тс!.. — остановили весёлого адвоката дамы, делая ему знаки и дёргая за руку.

Он повернул голову и прикусил язык. Мимо, совсем близко от них проходила, понутив голову, маленькая, худенькая, сгорбленная старушка, вся в чёрном, под руку с женой подсудимого.

---

До слуха их, очевидно, долетели и эти безжалостные слова, и этот беспечный, весёлый дамский смех. Из глаз старушки брызнули слёзы; её спутница бросила на весёлую группу быстрый злобный взгляд, полный укора и презрения, и обе они прибавили шагу, проходя, точно сквозь строй, мимо этой легкомысленной, не стеснявшейся глазеть на них публики.

— Должно быть... суровая дама! — прошептал вслед сконфуженный адвокат, хотел было продолжать свою весёлую болтовню, но что-то остановило его.

И всем вдруг сделалось точно стыдно при виде этих двух женщин. Разговор сам собою прекратился.

— Это мать подсудимого! — заметил кто-то в толпе.

— Кто она?

— Какая-то генеральша из захудалых.

Коридоры опустели. Опять все хлынули в залу и заняли места.

Ввели подсудимого, пришёл суд, и после краткого, видимо, снисходительного резюме, председатель вручил присяжным лист. Присяжные удалились, и снова перерыв.

На этот раз не пришлось ждать долго.

Не прошло и четверти часа, как снова вернулся суд, и из боковой двери торжественным, медленным шагом выступили гуськом присяжные. «Что несут они — оправдание или приговор?» — невольно пробежала мысль у всякого, и в зале водворилась торжественная тишина. Взгляды отрывались от старшины присяжных к подсудимому. Высокий, седой старик, по-видимому, из чиновников, был несколько взволнован и как-то особенно торжествен. Подсудимый, взглянув на него, казалось, понял по этому торжественному виду, что он осуждён, и снова повернул голову к публике, взглядывая по временам в полумрак низкой трибуны всё тем же пристальным, напряжённым взором и не обращая, казалось, внимания на то, что сию минуту решится его участь.

И вот этот высокий седой старик прочёл дрожащим, несколько взволнованным голосом:

— Да, виновен, но заслуживает снисхождения!

И, вручив председателю присяжный лист, отходит в сторону, избегая глядеть на подсудимого.

Рыдание и резкий женский вопль раздались в публике, и затем всё смолкло.

Через несколько минут был объявлен приговор: ссылка в\*\* губернию на жительство.

Подсудимый спокойно выслушал приговор, пожал руку адвокату, шепнул ему что-то на ухо, указывая на публику, и медленно вышел.



---

Публика, не удовлетворённая процессом и не довольная приговором, торопливо стала расходиться.

В числе других из дверей суда вышла молодая женщина, невольно обращавшая на себя внимание грустным выражением своего строгого, энергического лица. Она была довольно хороша, эта стройная, хорошо сложенная смуглая брюнетка с большими синими глазами, высоким лбом и красивым чуть-чуть приподнятым носом, одетая очень скромно, но не без изящества.

Она вышла на двор и, держась в стороне от толпы, пошла кругом к выходу, как вдруг с ней поравнялась жена обвинённого, взглянула на неё, и лицо её исказилось злобой и ненавистью.

— И вы были здесь, вы! — вдруг заговорила жена, схватывая её за руку. — Так знайте же, что это вы его погубили... вы!

Страдание и ужас выразились на лице брюнетки при этих словах. Бледная, испуганная, она в первую минуту не могла произнести слова.

— Я жена его... понимаете? — шепнула она, наклоняясь к ней, и с этими словами быстро двинулась вперёд.

По счастью, в это время к брюнетке подошёл защитник обвинённого, взял её под руку и провёл до извозчика.

Усадив её, он почтительно снял шляпу и проговорил:

— Невежин умоляет вас, Зинаида Николаевна, побывать у него. Он хотел было писать вам, но вы знаете — письма идут через прокурора...

Чуть заметное судорожное движение зардевшихся щёк обнаружило волнение Зинаиды Николаевны при этих словах.

— Зачем? Что ему надо? — проговорила она.

— Не откажите ему в этом. Он более несчастен, чем вы думаете.

— Хорошо! — проговорила она с усилием. — Я буду... И она уехала, недоумевающая, глубоко взволнованная этим незаслуженным обвинением несчастной жены.

## II

### Камера № 198

Начинало смеркаться, когда Невежин вернулся с судебного заседания «домой», — в тюрьму на Шпалерной, известную под более деликатными названиями Дома предварительного заключения, «предварилки» и «Европейской гостиницы».

---

Последними прозвищами окрестили его на своём жаргоне заключённые.

Войдя со двора в высокие железные входные двери, часовые с ружьями, конвоировавшие Невежина, остались на главном посту, у канцелярии, в ожидании расписки в приёме арестанта; дежурный помощник, низенький, приземистый господин, известный в Доме за свою суетливость и глупость под именем «бестолкового помощника», выйдя на порожек канцелярии, проводил Невежина тупым, равнодушным взглядом старой тюремной крысы, и Невежин пошёл далее хорошо знакомой ему дорогой в сопровождении одного из младших надзирателей, дежуривших на главном посту для посылок.

Перед ними ещё раз открылись такие же, как и у входа, тяжёлые решётчатые железные двери. Они вошли в коридор, повернули налево и стали подниматься по железным лестницам, соединяющим этажи громадного здания, наверх, в «четвёртую галерею», как называются на тюремном языке камеры, расположенные в четвёртом этаже.

В матовые стёкла высоких широких окон, выходящих на улицу, падал слабый свет сумерек. В галереях стоял полумрак. Мёртвая, жуткая тишина царила в это время дня в этом громадном «доме» с его висячими железными лестницами и длинными коридорами, по бокам которых темнели углубления одиночных камер. Гулко раздавались шаги по железным ступеням и замирали, когда приходилось идти по пеньковым матам, разостланным в коридорах. Среди этой тишины иногда только слышались характерные звуки тюремного постукивания, да вдруг раздавался электрический звонок. И снова могильная тишина.

Никто не попадался навстречу, как случалось по утрам, когда заключённые ходят на прогулку, на допросы. Только младшие надзиратели бесшумно ходят, усталые, ожидая смены, взад и вперёд по коридорам, а старшие сидят у столиков, на своих местах, в углах каждой галереи, откуда можно удобно оглядывать длинные коридоры.

Вот наконец и четвёртая галерея.

Высокая, худощавая, хорошо знакомая Невежину фигура старшего надзирателя Осипова, доброго, вежливого и обходительного, насколько может быть тюремщик, умевший ладить с заключёнными, поднялась с места и молча пошла за Невежиным. За несколько шагов до камеры Осипов, по обыкновению, обогнал своего «квартиранта», чтоб не заставить его ждать, и камера отворилась с характерным щёлканием и стуком повёртываемых ключа и задвижки, и Невежин вошёл в свою камеру № 198, в которой уже прожил около семи

---

месяцев и сжился с ней, радуясь всегда возвращению после допросов.

— Кипяточку не угодно ли? — мягко осведомился, останавливаясь у дверей, Осипов, очевидно, желая этим вопросом выразить участие своему спокойному и тихому «квартиранту», и в то же время любопытствуя узнать, чем кончилось дело. Он понял, что Невежина не оправдали, но к чему присудили?

Этот Осипов, прослуживший уже около десяти лет в «доме» и успевший нажить себе чахотку, всегда интересовался делами жильцов своей галереи. До других ему дела не было, но «дела» своих он близко принимал к сердцу, и если заключённый был словоохотлив, то Осипов всегда находил для такого слова участия и ласки, щеголяя при этом деликатностью обращения, особенно с заключёнными из образованных.

— Кипяток можно из лазарета достать... — продолжал он, всматриваясь в Невежина.

— Не надо. Благодарю вас.

— Долгонько в суде пробыли.

— Да.

— И скоро отсюда на волю?

— Скоро. В Сибирь на волю! — усмехнулся Невежин, зажигая свечку. — Ссылка на житьё.

На добродушном, болезненном лице Осипова с таким же землистым цветом, как и у большинства заключённых, мелькнуло выражение непритворного участия.

— А вы бы, право, чайку выпили! — вдруг снова предложил он. — А то, чай, проголодались с утра... Или, быть может, вилку и ножик подать... кушать будете?.. А что насчёт приговора, так ведь можно и на кассацию... Ещё что кассация скажет! — с оживлением, видимо, желая подбодрить, продолжал Осипов. — От этого нечего смущаться... ей-богу...

— Да я не смущаюсь...

«Ладно, хорохорься! Видели мы и не таких храбрецов», — казалось, говорил брошенный вслед за этими словами недоверчивый взгляд надзирателя, и он продолжал:

— Вот, например, тоже на нашей же галерее, в сто восьмидесятом номере, один господин сидел... Так сперва приговорили его на поселение, а после — смотришь! — и вовсе на волю вышел... Недавно ещё его встретил на улице — катит себе в коляске, весёлый, румяный такой... Всяко бывает... А то вот опять же «наш» один... думал, дело его кончится Восточной Сибирью, а вместо того уехал на Кавказ. Три года сидел у нас... Так-то! Так кушать не будете?

— Нет... Спасибо вам, Осипов! — тепло проговорил Невежин.

Снова щёлкнули двери, и Невежин остался один.

---

Он заходил быстрыми, нервными шагами взад и вперёд по крошечной камере, словно зверь в клетке, и его красивое лицо по временам оживлялось теперь тихой, грустной улыбкой.

«И отлично... отлично! По крайней мере, всё кончено... известно... Наказание за всю глупую жизнь... Только бы скорей, скорей отсюда! — повторял он несколько раз вслух обрывки волнующих его мыслей, машинально обводя взглядом свою камеру.

Эта маленькая клетка с койкой, железным крошечным столиком и откидной табуреткой, с высоким окном, откуда виднелся кусочек неба и куда по утрам слетались голуби, показалась ему теперь такой же отвратительной, как и в первые дни, когда он ещё не привык к ней и не устроил в ней возможного уюта и комфорта. Потом он сжился со своей клеткой настолько, что, возвращаясь с допросов, чувствовал даже некоторое удовольствие, какое испытывают люди, возвращаясь не в тюрьму, а домой.

Он принарядил в то время свою камеру и заботился о чистоте в ней, первый раз в жизни принуждённый лично заботиться о себе. Сперва это его тешило, потом он привык и ради мочиона натирал асфальтовый пол до усталости. И камера его была настоящей игрушкой, хоть частью напоминавшей избалованному барину прежнюю обстановку. Мягкий тюфяк, чистое бельё, тёплое одеяло, пушистый коврик у ног и ковёр во всю камеру, безделки на крошечном столике, прикреплённом к стене, иногда букеты цветов, красивая посуда на полках, изящный сундук с платьем и бельём в углу — всё это, доставленное матерью, скрашивало до некоторой степени суровость тюремной обстановки.

Но теперь ему всё это казалось противным.

«Скорей на волю... на волю!» — шептал он, и перед его глазами носились заманчивые картины... Он увидит наконец лес, поля, улицы... Он надышится воздухом, он будет свободно гулять...

Сбоку послышался стук. Это сосед — не уголовный, — с которым Невежин познакомился, не видя никогда его, хочет говорить.

— Как дела? — выстукивал дробью сосед.

— Ссылка на жительство...

— Верно, встретимся... Мне тоже Западная Сибирь.

После паузы опять вопрос:

— Что делаете?

— Хожу, а вы?

— Читаю...

И Невежин снова заходил...



---

«Придёт ли она? — вдруг проговорил он вслух. — Она добра — она придёт», — утешал он себя, мечтая об этом свидании. Наконец, усталый от ходьбы, от пережитых сегодня волнений, он затушил свечку и бросился на койку.

Но спать он не мог. Мысли о прошлом — тяжёлом, скверном прошлом — назойливо лезли в голову. На пороге новой жизни он подводил итоги старой.

### III

#### Один из «порядочных» молодых людей

Итоги воспоминаний неутешительные. Жизнь была позорная, которую нельзя было вспомнить без жгучего стыда человеку, сознающему в минуты просветления весь её ужас.

А между тем в жизни Невежина не было ничего ужасного с точки зрения обычной светской морали. Он жил, как все живут, потому именно и жил, что так живут «все», то есть те, кому с детства он привык подражать, считая именно эту жизнь идеалом человеческого счастья.

Его история была самая обыкновенная страничка из жизни той среды порядочных молодых людей, которая, глядя по счастливой случайности, готовит и будущих столпов отечества, и бубновых тузов, и червонных валетов. Выпадет удачная карта — положение и почёт, неудачная — объятия прокурора, иногда того же самого товарища, с которым ещё накануне провели вечер с модной кокеткой и который поступил бы не лучше и не хуже своего приятеля, если б был поставлен в такое же положение. Тираж тут зависит не столько от убеждений, не столько от нравственных запросов, сколько от внешних обстоятельств, связей, состояния, удачи.

Невежин вырос в небогатой дворянской семье, считавшей, однако, свою родословную чуть ли не от Рюрика. Особенно этим гордилась мать, урождённая княжна из захудалого рода, бывшая смолянка. Она любила геральдические беседы и часто с восторженным умилением рассказывала свой любимый анекдот об отдалённом предке, генерал-аншефе князе Холмском, который однажды удостоился получить две собственноручные всемилостивейшие оплеушины от супруги Петра Первого, которые впоследствии осчастливили получателя.

Был ли действительно такой анекдот с её предком, или она почерпнула его из «Русской старины» и для возвеличения блеска своих предков приурочила его к генерал-аншефу — дело тёмное. Но она любила подобные разговоры, за-

---

читывалась «Стариной» и «Архивом», приходила в восторг от газетных описаний торжественных балов и празднеств, всю жизнь промечтала о них, никогда на них не бывавши, и считала себя в глубине души глубоко несчастной, что жила в провинции, а не в Петербурге. Добрая, пустая, взбалмошная, до старости лет сохранившая восторженную сентиментальность институтки, она представляла собой архаическое явление в наше прозаическое время и нередко, особенно вначале, выводила из терпения мужа своими беседами и сетованиями. Потом он окончательно махнул на неё рукой, решив, что жена его неисправимая дура.

Отец Невежина был неглупый, незлой человек, непризнанный военный гений, которого неустанно точил червяк честолюбия. Он был из типа учёных генералов, написал какую-то книгу о тактических применениях, рассчитывая на блестящую карьеру, но его тактических соображений нигде не применяли, и он слегка фрондировал и страдал разлитием желчи, считая себя обойдённым. Он не интриговал, не заискивал, но зато с большим рвением снабжал «Военный сборник» своими литературными произведениями, но и это его не выдвинуло, и вместо блестящей карьеры Суворова или Скобелева на долю его выпала слишком заурядная карьера для честолюбивого офицера генерального штаба. В пятьдесят с хвостиком лет он изнывал в командовании армейской бригадой. Бригада его была образцовая, но фонды на карьеру не повышались.

Он любил своего Женечку, своего единственного сына, хотя, вечно занятый или службой, или кабинетными занятиями, мало обращал на него внимания. И Женечка рос, балованный и изнеженный, в атмосфере институтских восторгов матери, мечтавшей, глядя на сына, о своём мифическом генерал-аншефе, о каком-нибудь посланнике или о чём-нибудь в подобном роде. Будущего посланника рядили, лелеяли, выписали для него парижанку. И в тринадцать лет Женечка был хорошенький бойкий мальчишка, отлично болтавший по-французски, хуже по-английски и кое-как по-немецки, что приводило в отчаяние губернаторшу, у которой сын — Женечкин сверстник и приятель — далеко не отличался ни такими манерами, ни таким шикарным выговором.

Пора было отдавать мальчика в учебное заведение. Об этом были большие дебаты у отца с матерью, в которых приняла участие и губернаторша, как ближайшая приятельница генеральши и тоже мать, озабоченная устройством карьеры своего сына. Наконец решили отдать в лицей. По крайней мере, карьера обеспечена. Женечка будет посланником, а вислоухий Васенька, губернаторский сынок, не отличавшийся

---

представительностью, необходимой для посланника, но зато обладавший, по мнению родителей, необыкновенной проницательностью и чувством справедливости, будет министром юстиции. Он поступит в школу правоведения.

Однако, когда оба молодые люди кончили курс, и тому и другому родители прислали на обзаведение слишком незначительную сумму, которой едва хватило, чтобы покрыть долги и прилично одеться, и будущий посланник и будущий министр юстиции препроводили домой соответствующие их будущим профессиям эпистолы. Первый — в форме дипломатической, недурно составленной «ноты», а второй — в форме обвинительного акта, требовали присылки денег, денег и денег и потом, разумеется, и родительского благословения, чем рассердили отцов, уже успевших к тому времени остаться совсем за штатом, и привели в восторг матерей.

Дальше... Дальше для молодого Невежина шёл какой-то непрерывный праздник. Два-три часа бездельничания в канцелярии, кутежи в модных ресторанах, первые представления, *parties carrées*\* с кокотками, светские знакомства с лёгкими ухаживаниями за скучающими барынями, балы, рауты — словом, вся та угарная, бесцельная жизнь, которая даже и не давала наслаждения, а только щекотала тщеславие... Молодого Невежина ласкали в обществе, его любили, он был неглуп, красив как бог... казалось, как тут не преуспеть? Но вся эта суэта требовала денег, а из дому высылалось мало, несмотря на такую настойчивость дипломатических нот, которой позавидовали бы настоящие дипломаты.

Приятель Невежина, сделавшийся из вислоухого Васеньки основательным, хотя и не особенно привлекательным молодым человеком с упорно торчащими ушами, давно уж приговорил своего фатера\*\* на полное забвение за то, что бывший губернатор не сумел даже при отставке выговорить себе сохранения содержания, а удалился с мундиром по положению и двумя тысячами под смоковницу в какие-то мирные трущобистые палестины вспоминать, с копеечной сигарой в зубах, блаженные времена, когда и он был «аркадским принцем», курил двадцатипятирублёвые «регалии»\*\*\*, наводил трепет на исправников и пощипывал подбородки молодых базарных торговков во время утренних экскурсий, совершаемых в видах наблюдений за чистотой города и популярности.

Приговорив своего «выжившего из ума» старика, а кстати и мать, успевшую отдать своему любимцу последние крохи,

---

\* Развлечения вчетвером (*франц.*).

\*\* Отец (от нем. *der Vater*).

\*\*\* Сорт дорогих сигар.

---

«будущий министр» уехал в провинцию судебным следователем, убедив перед отъездом портного, сапожника и ещё двух кредиторов получить четвёртую часть долга и таким образом покончить счёты. Он занялся усердно службой, втайне злобствуя, что живёт в захолустье, и завидуя Невежину, который между тем, по-прежнему прожигая жизнь с беспечностью русского барчонка и азартом зарвавшегося игрока, не задумывался о будущем.

Когда петля всё более и более затягивалась и наконец затянулась совсем, перед ним предстала дилемма: или пуля в лоб, или женитьба на богатой. Другого исхода он не понимал.

Он предпочёл поступить так, как поступают тысячи людей в его положении, то есть жениться, решившись на этот шаг с такой же легкомысленной бравадой, с какой решился бы, пожалуй, и покончить с собой.

Подвернулась богатая невеста. Невежин стал за ней ухаживать, и скоро — сделался женихом. Эта женитьба казалась тогда ему самым обыкновенным делом. «Положим, неприятно, но что ж делать? Как-нибудь всё это устроится!» — успокаивал он чувство брезгливости, невольно говорившее в молодом человеке, когда он оставался наедине со своей невестой, высокой, худой, как щепка, некрасивой девушкой, влюблённой в Невежина со всем пылом поздней страсти и неудовлетворённой жаждой чувственной натуры. Страсть, однако, не омрачила её наблюдательного, чуткого, практического ума настолько, чтобы она могла обманывать себя иллюзией взаимности. Она не забывала, что она не красива и что ей тридцать лет, а Невежин красавец и на пять лет её моложе, и понимала, что он женится благодаря состоянию, которое она получила недавно, после смерти отца, скупого скряги, жившего долгое время с дочкой где-то за границей. Она не требовала от Невежина ни лицемерных признаний, ни обычных уверений, не натягивала струн из страха, что они могут лопнуть, но и не позволяла относиться к ней небрежно. Она скоро поняла, с кем имеет дело, знала, что покупает себе красивого мужа, как масса мужчин покупают себе красивых жён, и не колебалась ни минуты, очарованная его красотой и мягким характером, уверенная, что сумеет подчинить его слабую волю и будет держать его в мягких, но твёрдых руках.

Она аккуратно свела счёт его долгов и заплатила их. Затем она торопила со свадьбой, они повенчались и уехали за границу. Когда через год они вернулись в Петербург, Невежин заметно был подчинён её влиянию. Она исподволь, с чисто женским тактом, выполняла свою программу, изучивши слабый, податливый характер мужа. Она не стесняла его, не держала на привязи, давала ежемесячно приличную сумму



---

карманных денег, посоветовав, однако, не переходить бюджета, устроила ему изящное домашнее гнездо, заботилась о комфорте мужа, предупреждая его желания с деликатной заботливостью матери и страстным увлечением влюблённой женщины, боящейся потерять любовника, но зорко следила за мужем, чтоб он не увлёкся какой-нибудь женщиной серьёзно. Одна мысль об этом заставляла её трепетать от ревности. Зато на мимолётные увлечения мужа, на его ужины с кокотками, на его ухаживания за дамами полусвета она смотрела сквозь пальцы, сдерживая ревнические чувства, лишь бы только муж не отворачивался от её ласк.

Невежин нёс своё иго покорно, но мало-помалу начинал ненавидеть жену. Иногда он с отвращением возвращался домой с какой-нибудь пирушки, запирался в своём кабинете и на заботливые вопросы жены говорил, что болен. Он начинал сознавать, что эта золотая клетка куплена слишком дорогой ценой. Ему многие завидовали, но никто не знал, какую испытывал он по временам пытку. Он иногда кутил по несколько дней сряду, стараясь забыться, зная, что в конце концов он должен будет вернуться домой и видеть эту любящую, внимательную и отвратительную жену, которая не только не скажет ни слова упрёка в ответ на его капризные вспышки, но ещё попросит прощения и бросится в его объятия. А вырваться, бежать из этой адской жизни нет ни сил, да нет и особенного желания. Пройдут эти вспышки, и снова Невежин покорно исполняет роль Артюра у своей жены. Чтобы отвлечь мужа от праздной жизни, она пробовала задеть его честолубие, советовала ему заняться службой, но Невежин не был честолубив и предпочитал бить баклуши, посещая канцелярию раз или два в неделю. Тогда она предложила ему путешествовать, но и от этого он отказался.

Прошёл другой год, как вдруг с Невежиным произошла перемена.

Он стал менее кутить, реже бывал в театрах и клубе, чаще брал в руки книгу и подолгу сидел за ней в своём кабинете. Он был по-прежнему холоден к жене, избегал, видимо, её общества, и однажды, когда она явилась к нему в пеньюаре и бросилась на шею со слезами, спрашивая, что это значит, — он с такой нескрываемой ненавистью взглянул на жену, что сердце её замерло от ожидания какой-то надвинувшейся грозы, и она покорно ушла, всю ночь не смыкая глаз, волнуемая подозрениями, что муж, которого она так берегла, серьёзно увлёкся.

Сердце её забило тревогу, и она стала следить за мужем с ревливой подозрительностью.

А гроза надвигалась всё ближе и ближе.

---

## IV

### Неожиданное открытие

Между тем подоспело лето. Петербург собирался на дачи.

Людмила Андреевна Невежина, по-прежнему не догадывавшаяся, откуда грозит беда, но смутно чувствовавшая, что беда где-то близко, решила увезти мужа из Петербурга.

И вот как-то утром, когда они сидели молча вдвоём в уютной столовой за кофе, Людмила Андреевна, бледная и измождённая от затаённых тревог и волнений, по обыкновению одетая в какой-то необыкновенно пышный пеньюар, скрадывающий худобу её тела, с крошечным кружевным чепцом на жидких светло-русых волосах, тщательно причёсанных, вымытая и надушенная, с кучей блестящих колец на длинных цепких пальцах красивых, но чересчур костлявых рук, дипломатически осторожно предложила мужу вместо дачи «уехать куда-нибудь подальше».

Невежин как-то вдруг встрепнулся и, отложив газету, стал внимательно слушать.

— Поедем в Крым или на Кавказ, если не хочешь ехать за границу... Там, говорят, так хорошо, а здесь на дачах везде так скверно... Не правда ли?

Но муж решительно был против. Он вдруг припомнил первый год путешествия, вечно глаз на глаз с этой назойливой, влюблённой женой, и с него было слишком довольно!

«Заграница» ему опротивела... Ни Крым, ни Кавказ его не прельщают. И главное... главное, ему «нельзя ехать!» — совсем неожиданно прибавил Невежин.

— Нельзя ехать! — переспросила жена чуть дрогнувшим голосом, поднимая на мужа удивлённые глаза и пересиливая охвативший её страх.

— Ну да, нельзя... Что тебя так удивляет?

— Я не удивляюсь... Ты раньше ничего не говорил...

— Я и сам узнал только на днях... Мне дали серьёзное поручение в канцелярии, и я должен всё лето работать!.. — проговорил он с какой-то суетливой горячностью.

«Он — работать? Правду он говорит или лжёт?»

Она бросила быстрый пытливый взгляд на это свежее, румяное молодое лицо, полное жизни и чарующей красоты. В этом взгляде было и презрение, и сумасшедшая страсть, и недоверие.

И этого красавца хотят отнять от неё?! Зачем же она купила его? За что она испытывает муки ревности, не смея даже показать их, за что она, как ищейка, следит за ним, за что не

---

спит по ночам?.. Она готова простить ему всё, но только он должен принадлежать ей...

Ей показалось, будто он как-то особенно скоро отвёл глаза.

«Лжёт!» — промелькнуло в её уме, и она сказала тихим, ласковым тоном:

— Но разве нельзя отложить эту работу до осени?

— До осени? — вспыхнул Невежин. — Я, кажется, толком говорю, что нельзя... Мне, наконец, надоело бить баклуши.

— Ну что ж, и отлично, мы поедem на дачу, — согласилась Людмила Андреевна.

— Но послушай, однако, Людмила, — мягко заметил Невежин, — что ж тебе из-за меня оставаться? Если ты хочешь ехать куда-нибудь подальше, я могу проводить тебя и потом приехать за тобой... Быть может, твоё здоровье...

— Что ты, что ты, Евгений, — перебила Людмила Андреевна. — Я, слава богу, здорова... Спасибо за внимание! Обо мне не беспокойся... Мне везде хорошо, когда ты бываешь немножко добр со мной, — тихо и покорно прибавила она. — Так куда ты хочешь ехать на дачу?

Она произнесла эти слова по-видимому спокойно, но в душе у неё бушевало. Она жадно ждала ответа, не спуская глаз с мужа. Не дрогнет ли его лицо? Не выдаст ли голос?

— Мне решительно всё равно куда...

— Всё равно? — обрадовалась она. — Не хочешь ли в Ораниенбаум?.. Там море, парк, не таклюдно... Кстати, в Ораниенбауме будут жить Засекины! — вдруг прибавила она, вспомнив, что эта хорошенькая Засекина зимой сильно кокетничала с мужем.

— Как знаешь.

«Нет, не она!» — подумала Людмила Андреевна.

— Впрочем, тебе будет далеко ездить... Лучше поедem в Павловск... Согласен?

— Куда угодно... Мне всё равно! — нетерпеливо ответил Невежин и встал из-за стола.

На другой день Людмила Андреевна проснулась в самом приятном расположении духа, сладко потягиваясь на кровати. Она была полна чудных воспоминаний... Накануне муж поздно вернулся и зашёл к ней в маленькую гостиную, где она, грустная и одинокая, коротала вечер за книгой. Он был добр и ласков. Он так нежно спросил, почему она долго не спит, что она не выдержала: слёзы хлынули из глаз, и она порывисто обвила руками его шею, вся вздрагивая и покрывая его лицо страстными, безумными поцелуями... И он не оттолкнул её, когда она, заглядывая в его смущённое лицо, с нежной мольбой тихо увлекла его за собой...

---

Людмила Андреевна торопливо оделась, собираясь ехать нанимать дачу. Она вернётся к обеду и сообщит мужу о результатах. Он ведь дома будет обедать? После они поедут вместе посмотреть. Она была необыкновенно оживлена за кофе и, казалось, помолодела; глаза её с такою любовью смотрели на мужа, что Невежин невольно смущался. Наконец она уехала, обняв на прощание мужа и не заметив его нетерпеливого, страдальческого выражения лица в минуту этого долгого и нежного поцелуя.

Она нашла прехорошенькую, уютную дачу и торопилась домой, чтоб обрадовать мужа. Мысли её не были особенно мрачны. Она раздумывала об этом внезапном служебном усердии, и оно сегодня не показалось ей таким подозрительным, как вчера... Впрочем, она во всяком случае наведёт справки.

К пяти часам она вернулась, но мужа дома не было.

— Прикажете подавать обед? — доложил лакей, когда пробило пять часов.

— Разве Евгений Алексеевич говорил, чтоб его не ждать?

— Они ничего не изволили сказать.

— Так подождите подавать, пока не вернётся Евгений Алексеевич. Он, верно, скоро будет! Да скажите повару, чтобы не передержал пирожков — барин этого не любит. Да красное вино не забудьте подогреть...

— Слушаю-с.

— Евгений Алексеевич на Арапе уехал?

— Нет-с пешком. Позавтракали и ушли.

— Без меня никого не было?

— Никого-с.

Людмила Андреевна присела в гостиную, но ей не сиделось. «Что могло задержать мужа?... Он ведь обещал дома обедать?» Она порывисто поднялась и заходила по зале, подходя к окнам, прислушиваясь, — не подъедет ли извозчик, не дрогнет ли звонок, — взглядывая на часы.

Снова ревнивые подозрения закрадывались в сердце этой несчастной женщины.

«Зачем он последнее время не ездит на своих лошадях, а ходит пешком... Верно, боится, что кучер проболтается... И почему вдруг эта непонятная перемена — он перестал кутить, раззнакомился со многими приятелями, не играет в клубе... Лучше, если б он по-прежнему кутил, играл в карты, бывал у кокоток... По крайней мере, не забыл бы тогда и меня...»

Горькая улыбка пробежала по лицу Людмилы Андреевны.

«Вот какой ценой она должна покупать... не любовь, нет, а хоть обрывки внимания. И за что? За то только, что злая судьба подсмеялась, не наградив её красивым лицом и в то

---

же время дав ей горячее сердце?.. И разве она в самом деле так некрасива?..»

Она подошла к зеркалу, взглянула на себя и... отвернулась, увидав это плоское, бескровное лицо с заметными морщинами на сухой желтоватой коже, этот длинный, большой, вечно краснеющий нос, неуклюже торчащий между впалых щёк, широкий рот с большими зубами, эти маленькие зелёные глазки, блескшие из тёмных впадин резким блеском.

— И хоть бы сложена была, как другие! — со злобой прошептала она, вытирая нависшую слезу. Чего-чего только она не делала, чтоб пополнеть, и всё напрасно! Сухая, высокая, костлявая, она давно знала, что наружность её не пленяла никого, втайне злобствовала на судьбу, завидуя красивым женщинам и, сознавая, что счастье не для неё, она в то же время мечтала о нём, рисуя самые пламенные картины любви в своей разнузданной, жадной фантазии... Когда наконец она сделалась богата, ей улыбнулось счастье, правда, купленное... потерять его теперь ещё тяжелей... Часы пробили шесть.

— Верно, он не будет! — уныло проговорила она, пошла в столовую и приказала подавать обедать.

Она едва прикасалась к блюдам, волнуемая печальными мыслями... Только бы ей узнать — кто эта женщина, осмелившаяся стать ей на дороге. Только бы узнать!.. А дальше что? А если муж бросит? — стоял роковой вопрос.

Раздался звонок, и Людмила Андреевна обрадовалась.

Но радость была поспешна.

Вместо мужа в столовой появилась плотная, низенькая фигурка господина Назарьева, при виде которой физиономия Людмилы Андреевны вытянулась снова. Эго был пожилой человек степенного вида, с брюшком и лысиной, один из родственников Невежиной, петербургский чиновник средней руки, вечно нывший на скверные дела и вместе с другими родственниками досадовавший, что «эта уродина Людмила сделала невозможную глупость — вышла замуж и, вместо того чтобы помогать родным, растрчивает состояние, втюрившись, как кошка, в беспутного молокососа».

Таковое мнение не помешало, разумеется, господину Назарьеву приветствовать «милую Людмилу Андреевну» самым мягким нежнейшим тенорком *grazioso*\* и заботливо осведомиться, не помешал ли он.

— Быть может, в театр собираетесь?.. так вы без церемоний!.. — продолжал он, ласково задерживая руку Невежиной в своей короткой пухлой руке.

— Мы никуда не собираемся...

---

\* Лирический (*итал.*).



---

— Так я полчаса посижу... Ну, как поживаете?.. Впрочем, и спрашивать нечего... А Евгений Алексеевич... как?.. Давно не видались... Совсем вы нас забыли... Елена давно к вам собирается, да ведь знаете... Сама кормит... не до гостей...

— Я тоже редко выезжаю...

— Что так?.. Стыдно, право, стыдно... Молодая женщина, и сидеть взаперти... Да я на месте Евгения Алексеевича не позволил бы вам... Хе-хе-хе... Куда на дачу?

— В Павловск...

— И мы в Павловск... Надеюсь, вы тогда чаще будете видеться с Лёлей... Дороги только дачи в Павловске это лето, а куда деться?.. В городе оставаться нельзя, сами знаете... дети... чистый воздух... А эти дачи, эти переезды... вот они где! — прибавил господин Назарьев, показывая толстым пальцем на стоячий воротничок рубашки, подпиривший толстую красную шею, и взглядывая своими зоркими глазами: какое произведёт впечатление этот жест на богатую родственницу.

Но богатая родственница только выразила сочувствие, согласившись, что все эти переезды действительно хлопотливы.

— Бедная Лёля совсем потеряла голову от забот... Вы, впрочем, счастливица, не знаете, сколько хлопот с семьёй... Васе вот нужен учитель на лето... Нюту велют поить кумысом... Просто хоть бери место в провинции... Мне предлагают место в Сибири, но ехать туда...

— А что ж... Там, говорят, дёшево жить...

«Тебя бы туда!» — не без злости подумал господин Назарьев, недаром отклонявший от себя поручение жены «позондировать почву», и прибавил:

— Придётся... но каково это будет бедной Лёле?..

Но упоминание о «бедной Лёле», толстой, жирной, смазливой бабёнке, ежегодно рожавшей детей, несколько не смягчило сердца богатой родственницы, и она довольно круто перевела разговор на спасительную погоду, не предвидя, что господин Назарьев в качестве обозлённого родственника преподнесёт ей весьма неприятный сюрприз.

Он поддержал разговор о погоде. «Удивительная погода! Так и тянет на воздух...» Он сам сегодня вернулся из должности раньше и пошёл в Таврический сад.

— И как вы думаете, голубушка Людмила Андреевна, — продолжал господин Назарьев, растягивая приятную улыбку и слова с расчётом завязанного сплетника, — кого мы имели удовольствие встретить... Угадайте-ка?

— Мудрено угадать! — полушутя заметила Людмила Андреевна, начиная жадно слушать.

— Я так и знал, что не угадаете. Милейшего нашего Евгения Алексеевича!

---

И господин Назарьев раскатился самым невиннейшим раскатистым смехом.

Невежина, зная хорошо господина Назарьева, догадалась, что это ещё начало, что самая пакость будет впереди, и, подобравшись вся, воскликнула с искусством опытной актрисы:

— Ах, ведь у меня и из ума вон!.. Евгений утром говорил, что пойдёт в Таврический. Там, говорят, так хорошо.

— Превосходно... («Однако ты таки выдержанная ревнивая шельма!») Знаете ли, зелень, дети, скромная публика. К сожалению, я не мог пожать руки вашему красивому супругу... Он был так занят разговором... Если позволите, ещё стаканчик, Людмила Андреевна! — обратился он, передавая стакан и не без удовольствия замечая, как нервно дрожали её длинные цепкие пальцы...

«Да не тяни ты хоть душу, мерзавец!» — подумала Людмила Андреевна и, сдерживая душившее её волнение, храбро улыбнулась и сказала:

— Вы решительно умеете заинтриговывать, Аркадий Матвеевич... С кем же это так беседовал Евгений?..

— Вот тут-то и конец главе... на самом интересном месте! — шутливо проговорил Аркадий Матвеевич.

Она сгорала от нетерпения узнать, а он — этот мучитель — словно нарочно тешился и не досказывал.

— Вот уж это нехорошо... Начать и не кончить.

— А вы и в самом деле заинтересовались этими пустяками? Не хотите подождать, пока сам Евгений Алексеевич расскажет? Ну-с, извольте, ведь вы не ревнивы, вам можно сказать, но, чур, меня не выдавать! — говорил шутливым тоном Аркадий Матвеевич. — Евгений Алексеич беседовал с очень интересной особой. Такая стройная, смуглая брюнетка. Одета скромно, вид такой строгий, должно быть, интеллигентная особа. Ну, кажется, все приметы. Теперь догадались, кто эта барыня? Верно, из ваших знакомых, не правда ли?

Она слабо кивнула головой, и господину Назарьеву делать было больше нечего. Он скоро ушёл, довольный, что таки пробрал эту скаредную родственницу.

Оставшись одна, Людмила Андреевна тяжело вздохнула. Злоба и ревность терзали её. Она встала и нервно заходила по комнатам, стараясь привести в порядок свои мысли. Наконец она приняла валерьяновых капель, прошла в кабинет мужа и, затворив изнутри, отперла ящики письменного стола своим ключом (она не в первый раз уж делала такие обыски!) и с ловкостью опытного сыщика стала перебирать письма и бумаги. Решительно ничего, ни одного компрометирующего письма! Но вот взгляд её останавливается на

---

каком-то клочке, на котором написан адрес: «Фурштадтская, д. 22, кв. 35». Она запоминает адрес, кладёт клочок на место, и в самом нижнем ящике находит крошечную тетрадку почтовой бумаги. Она заглядывает... начало не предвещает ничего хорошего... это нечто вроде дневника, который имел неосторожность начать Невежин. Он начинался месяца три тому назад словами: «Вчера я встретил оригинальную прелестную девушку», и далее шло всё в том же роде... восторженный панегирик рядом с сознанием своей ничтожности, усиливающимся *crescendo*. Затем шли довольно правдивые замечания о двусмысленности его положения, об отращивании к жене, и, наконец, сегодняшним числом было помечено: «И я снова испытывал чувство омерзения. Господи, когда ж эта подлость кончится? Надо бежать... бежать...».

Еле стоя на ногах, без кровинки в лице, Людмила Андреевна имела мужество прочесть все эти излияния до конца, затем положила тетрадку на место и нетвёрдыми шагами добралась до спальни.

Но тут силы её оставили, и она беспомощно опустилась на кресло, словно подкошенная.

## V Выстрел

Затаив на время волнующие её чувства, Невежина пока ни слова не говорила мужу о сделанном ею открытии. «Она подождёт. Она ещё прежде соберёт улики, чтоб не дать ему возможности солгать, и тогда... тогда поговорит с этим человеком так, как он заслуживает... Она бросит ему в глаза такие обвинения, каких он и не ждёт!» Она теперь ненавидела «этого человека», оскорблённая им, как только может быть оскорблена женщина, и в то же время не пришла ещё ни к какому решению — как поступить ей. «Неужели он так-таки и будет наслаждаться своим счастьем, и она, оплёванная, брошенная, должна влачить одинокие дни? И хоть бы с ней поступили деликатно, пожалели бы её... Одно отвращение, и ни тени участия... Нет! Так с ней шутить нельзя... Он дорого заплатит за своё... отвращение... Он не воспользуется краденым счастьем!»

Она избегала встреч с мужем. Сходились они только за обедом, и оба молчали, если не обедал кто-нибудь из посторонних. Невежин обратил внимание, что жена его за эти дни осунулась, постарела как-то сразу и не так, как обыкновенно, занималась своим туалетом.

---

«Что с ней? Здорова ли она?» — спросил он как-то раз за десертом.

«И он ещё смеет спрашивать о здоровье?!»

Злоба душила эту женщину, но она сдержала себя и с невольной дрожью в голосе проговорила:

— Разве это так интересно?

— Ты, кажется, больна, и, следовательно, надо лечиться...

— Например?

— Могла бы уехать куда-нибудь на воды... за границу... Посоветуйся с докторами! — заметил он, бросая на жену пристальный взгляд и тотчас же отводя его.

Она перехватила этот холодный, безучастный взгляд совсем чужого человека, и ей стоило большого труда справиться с собой. Но это было невозможно, и она медленно и тихо, невольно подчёркивая каждое слово, сказала глухим голосом:

— За границу я не поеду, и заботы о моём здоровье напрасны. Я чувствую себя отлично и... надеюсь прожить ещё долго, очень долго! — вдруг прибавила она и засмеялась нервным, болезненным смехом.

Невежин пожал плечами и больше не заговаривал о здоровье. Несколько смущённый и сконфуженный, вышел он из-за стола и прошёл к себе в кабинет. Этот иронический, многозначительный тон беспокоил его. Так прежде она никогда с ним не говорила, и он вдруг струсил. «Не проведала ли чего-нибудь жена?»

Надо сказать правду, струсил он не за себя. Он знал жену и понимал, что эта женщина в порыве ревности может решиться на всякий скандал, — вот почему он тщательно скрывал от супруги своё знакомство с девушкой, о которой он говорил в дневнике с благоговейным восторгом человека, в первый раз испытавшего чистое чувство без всякой надежды, что оно может быть когда-нибудь разделено — так велика была между ними пропасть. Да разве он смел на что-нибудь надеяться? Он был уже счастлив, что ему позволяли изредка приходить, читать, что его — пустого, негодного человека — не оттолкнули, а напротив, поддержали, вселив надежду, что и для него ещё возможно нравственное обновление. Раздумье о своей негодности, новые мысли, весь ужас брака — всё это ведь явилось именно благодаря этой случайной встрече с девушкой, совсем не похожей на тех женщин, с которыми ему приходилось встречаться прежде, и одна мысль, что жена, узнавши об этом знакомстве, может оскорбить ни о чём не догадывавшуюся девушку какой-нибудь выходкой, каким-нибудь резким словом, приводила его в негодование.

---

«Надо быть осторожным!..» И он достал из письменного стола свой дневник и спрятал его в карман. «Так безопаснее!» — решил он, и вышел из дому.

Горе и страдания Невежиной не помешали, однако, ей собрать самые точные справки. Под густой вуалью отправилась она вечером по найденному адресу и основательно допросила дворника, посулив хорошую подачку за сведения. Оказалось, что квартиру занимает вдова-чиновница с пятью детьми.

— С пятью детьми?.. Молодая?..

— Не так, чтобы очень... Лет за сорок будет! — отвечал дворник и прибавил: — Не сродственница ли вам?

— Да, да... Так вы говорите, за сорок? — изумилась Невежина.

— А может, и больше, кто её знает. Вот... только средствами не то чтобы... Квартирка маленькая, и то одну комнату сдаёт... Жиличка одна живёт...

— Жиличка... Кто?.. как фамилия?

— Барышня одна, учительница, госпожа Степовая.

— Молодая?

— Эта молодая и из себя такая аккуратненькая... Смирная и ласковая барышня, это надо сказать, не то что как другие прочие... Сами изволите знать — всякого жильца есть! — прибавил дворник, махнув рукой. — Живёт тихо и благородно, как следует... Утром на уроки ходит... Редко-редко когда к ней гости ходят... Вот один статный такой, чернявый ходит, всегда двугривенный даёт, как ты ему калитку отопрёшь. Настоящий барин, не то что голь какая из студентов... Вот бы женишок для барышни... Как есть бы парочка! — продолжал дворник, уже успевший несколько раз побывать в пивной и потому находившийся в болтливом настроении.

— Часто он сюда ходит? — нетерпеливо перебила его Невежина.

— Да вам, собственно, о чём же угодно узнать, барыня? — меняя вдруг тон, заговорил дворник. — Уж я и так по своей простоте болтаю вам... Как бы чего не вышло... Сами изволите знать...

Невежина поспешила достать портмоне и подала десять рублей. Хотя дворник и изумился такой щедрой подачке, но вида не показал и, принимая деньги, заметил:

— Вы, значит, насчёт этого чернявенького барина?..

— Ну да... Говорите... Часто он бывает?

— Тэк-с... Тэк-с... — протянул дворник («Понимаем, мол», — говорило, казалось, его подвыпившее лицо с масляными глазами). — Это я могу... Что ж, врать не буду, не то чтобы часто... Часто... этого я не замечал, а я у себя во дворе всё вижу... Вот

---

сегодня, значит, этак с полчаса перед вами будет, как ушёл... Я у ворот был...

— Благодарю... Только вы смотрите, никому ни слова... Понимаете? — заметила она, собираясь уходить.

— Что вы, барыня! Не извольте сомневаться... Одно слово — могила!.. Я это довольно даже хорошо понимаю... Иной раз всякому справка нужна... Я и напередки, если угодно, со всем моим удовольствием. По нашему званию нам всё должно быть известно-с... — говорил он, отворяя дверь дворницкой и провожая за ворота.

«Должно, содержанка, — подумал он, следя глазами за быстро удалявшейся барыней. — А этому господину беспрерывно надо сказать... Небось, тоже отвалит!»

— И народ, подумаешь! — вдруг проговорил он, рассмеявшись, и, вероятно, по этому случаю отправился в пивную на против.

Невежин сидел в кабинете у стола, когда часу в десятом вечера вошла к нему Людмила Андреевна.

Он поднял голову и в полутёмном конце кабинета увидел быстро приближавшуюся фигуру жены.

— Мне надо поговорить с тобой! — произнесла она глухим голосом, присаживаясь в кресло у другого конца стола.

И тон, которым она произнесла эти слова, и злое выражение её бледного, осунувшегося лица, с нервным подёргиванием одной щеки, не предвещали ничего хорошего.

Невежин отодвинул книгу и, стараясь скрыть невольное смущение, охватившее его, проговорил искусственно небрежным тоном, закуривая папиросу:

— В чём дело?

— Мне надо серьёзно поговорить с тобой! — повторила она, подчёркивая слово «серьёзно». — Ты, вероятно, сам догадываешься, о чём? — прибавила она, взглядывая на мужа.

— Лучше без торжественных предисловий... О чём я должен догадываться?

— Зачем ты обманываешь меня? Зачем ты так подло лжёшь?

У Невежина ёкнуло сердце. Краска смущения и досады залила его щёки. «Началось», — подумал он и проговорил:

— Нельзя ли без этих выражений...

— Боже, какая требовательность! — усмехнулась Невежина. — Он же ещё и обижается! Этого я не ожидала... Да, ты лжёшь! Я ведь знаю, что тебя удерживает в Петербурге... Я знаю, какая служба. Вы изволили влюбиться в очаровательного ангела с Фурштадтской и забыли, что у вас есть нравственные обязательства к женщине, спасшей вас от позора. Но разве любовь не подсказала вам, что обманывать не



---

честно? Разве совесть не шепнула вам об этом? Разве у вас не хватило даже настолько мужества, чтобы сказать правду, — и вы всё время лгали?

Невежин всё ниже и ниже опускал голову.

Каждое слово жены хлестало его, как удары бича. И что мог он сказать в своё оправдание? И ненависть к этой женщине росла всё более и более.

А она, словно обрадовавшись случаю освободиться от наплевшей злобы, продолжала:

— Вы знаете, я не обманывала себя... настолько я умна. Я знала, почему вы женились на мне. Вам нужны были деньги, и я дала вам эти деньги. Я любила вас, я не требовала от вас взамен любви, но я ждала по крайней мере уважения и правдивости. Я думала, что вы поймёте, что кроме денег у меня есть и сердце. Я ведь тоже человек. Хоть бы каплю сострадания. Раньше вы хоть были искренни со мной, но потом... потом вы храбро исполняли обязанности мужа, хотя и чувствовали... омерзение. Такой низости я даже и от вас не ждала...

Краска давно отлила от щёк Невежина. Он побледнел и молча смотрел на жену. Теперь она казалась ему ещё отвратительнее, после этих жестоких упрёков.

— Послушайте, — сказал наконец Невежин, — я не стану оправдываться. Вы правы, я женился на вас из-за денег, но ведь вы это знали. Женильба моя была непростительной виной, вы вправе клеймить меня, я сам презираю себя за это. Я вас никогда не любил даже настолько, чтобы забыть свой позор. Теперь вы знаете, почему мне невозможно более жить с вами. Ну да, я люблю, люблю безнадежно, и всё-таки люблю.

Он любит...

«Люблю безнадежно, и всё-таки люблю»!

О, если б он сказал ей хоть что-нибудь подобное. Она бы всё забыла, она готова была бы жизнь отдать за него. Но он любит другую. Даже не жалеет её настолько, чтоб хоть не бросать ей в глаза эти слова любви к другой и чувство ненависти к ней.

Этого она не в силах была перенести. Она вскочила с кресла и, задыхаясь от гнева, произнесла:

— И вы думаете, что я вам позволю безнаказанно шутить чужой жизнью? Вы думаете, что я вас купила, — да, купила, — чтоб вы смеялись надо мной? Не беспокойтесь. Я пойду к вашей «святой» девчонке и скажу ей... что вы такое... Я познакомлю её с вами. А если поздно, если она, ваша святая, уж соблазнилась вашим лицом... Знаем мы этих святых учительниц...

---

— Замолчите, прошу вас, — глухо проговорил Невежин. — О ней ни слова!

— «О ней ни слова!» Так вот же...

И с уст жены сорвалось позорное слово о девушке.

В глазах у Невежина помутилось. На него нашёл один из тех припадков бешенства, когда люди не помнят, что делают. Он взял со стола маленький револьвер и, вздрагивая от гнева, прошептал:

— Уйдите.

А она, как нарочно, не уходила, эта ненавистная женщина, и вдруг раздался выстрел.

Она бросилась в двери. Прибежал лакей и осторожно отнял револьвер из рук бледного, как мертвец, Невежина.

— Ах, что вы сделали, что вы сделали, барин! — сочувственно повторил слуга.

Наконец Невежин пришёл в себя и велел тотчас же позвать доктора. Оказалось, что за доктором уже послали. Тогда он уехал из дома, переночевал у приятеля и утром заявил в полицию, что стрелял в жену.

В тот же день он узнал, что она легко ранена, и просил приятеля передать ей, чтобы она простила ему его поступок, и умолял её, чтобы на следствии она не упоминала никакого имени.

Когда приятель вернулся с известием, что она обещает это, Невежин успокоился. На другой же день он был арестован. От порук жены он отказался.

## VI Два свидания

Волнуемый воспоминаниями о прошлом, Невежин провёл почти без сна ночь после судебного приговора и заснул только на рассвете. Он не слышал, как в исходе седьмого часа надзиратель отворил форточку в дверях его камеры и бросил на койку дневную порцию чёрного хлеба, как затем в коридоре раздавались громкие возгласы: «Кипяток, кипяток!», предупреждавшие узников, имевших свой чай, о разноске кипятка, — и проснулся, против обыкновения, поздно.

Был двенадцатый час. Славный солнечный день врывается в окно камеры, заливая маленькую клетку снопами яркого, весёлого света. Невежин только что окончил свой туалет, приотворил окно, укреплённое цепями, жадно подышал свежим весенним воздухом и занялся варкой кофе на спиртовой

---

лампочке, стараясь продлить это занятие, чтобы как-нибудь убить время.

Не успел он докончить стакана, как дверь камеры с шумом отворилась, и надзиратель произнёс громким голосом:

— Пожалуйте на свиданье!

Это была такая приятная неожиданность, что молодой человек сперва не поверил. Дни свиданий с матерью были у него по средам и воскресеньям, а сегодня была пятница.

«Неужели это она... так скоро!» — пронеслось у него в голове, и он переспросил надзирателя дрогнувшим от радостного волнения голосом:

— На свиданье... мне? Разве сегодня есть свидания?

— Верно, начальник разрешил не в очередь.

Невежин бросился из камеры. Он шёл так скоро, что старый надзиратель едва успевал за ним.

— Где свидание? Общее или звериное, за решёткой? — спрашивал Невежин, когда они спускались с лестницы...

— Разве забыли, что сегодня общих нет. Сегодня только для политических! Вам, выходит, экстренное.

— Ах да, я и забыл. Значит, и мне в камере! — обрадовался Невежин. — Вы будете присутствовать при свидании?

— Вам можно и без надзора! — снисходительно заметил пучеглазый, военной выправки старик, из бывших жандармов. «Ты, мол, не политический, что с тобой-то сидеть!» — подумал старик и прибавил: — Вот провожу вас и сейчас пойду опять наверх за другим господином... С тем и сидеть буду... Сегодня просто пятки горят...

— А что, устали?

— Да как не устать... Каждый на свиданье летом летит, словно угорелый, мне и не поспеть... Ноги мои уж старые.

Невежин умерил шаг и спросил:

— А кто пришёл ко мне... Вы не знаете?

Почему ему знать, кто там сидит в приёмной? Его дело одно: ходи с главного поста наверх и оттуда вниз.

Они спустились. В коридоре, недалеко от главного выхода, со списком в руках, стоял дежурный помощник, не «бестолковый», а добрый, пользовавшийся расположением и посетителей, и заключённых, высокий худощавый брюнет с добрым лицом, не успевшим ещё приобрести равнодушно-официального выражения тюремной крысы.

— Сейчас придут к вам! — мягко проговорил он, поглядывая на часы, и, отмечая на бумажке время, указал на одну из камер.

В эту минуту какая-то молодая дама в глубоком трауре, с корзиной в руках, проходила мимо и взглянула на молодого человека тем необычайно ласковым, сочувственным взгля-

---

дом, которым умеют глядеть только женщины, испытавшие несчастье в жизни.

«Верно, принимает меня не за уголовного!» Невежин остановился, чтобы дать ей дорогу, и в свою очередь взглянул с невольным уважением на это милое, грустное лицо с заплаканными глазами. И этот глубокий траур, и выражение её бесконечно доброго лица, и самая походка... всё свидетельствовало о большом горе. Дама вдруг остановилась и подняла кверху голову. Счастливое, радостное выражение осветило её лицо. Быстро спускаясь с лестницы и весело кивая кудрявой головой, шёл к ней молодой человек... Вот он спустился, протянул ей обе руки и на ходу проговорил, обращаясь к помощнику:

— Уж вы, пожалуйста, не оттяните ни одной минуты... Теперь ровно двенадцать!

И они оба скрылись в соседней камере, сопровождаемые надзирателем.

Невежин вошёл в свою и заходил в волнении взад и вперёд. Несколько минут, протекших в ожидании, показались ему чуть ли не вечностью.

«Скоро ли?»

Он смотрел нетерпеливо на часы, останавливался у дверей, прислушиваясь к шагам в коридоре, несколько раз выглядывал из-за двери... никого не было. Он не сомневался, что придёт Зинаида Николаевна. Кому прийти другому? Целых семь месяцев он её не видал... Вчера только, в суде, но там было так темно. Он давно хотел просить этого свидания с ней и не решался. Теперь, перед разлукой навсегда, он должен её видеть, должен объяснить.

Наконец двери отворились именно в ту минуту, когда Невежин не ожидал этого и стоял в противоположном конце камеры. Невежин быстро обернулся и замер на месте от изумления.

Вместо девушки, которую он ждал, перед ним стояла его жена.

Она робко, точно виноватая, протянула ему руку и промолвила тихим голосом, полным мольбы:

— Прости... Простите, — поправилась она, — что я пришла. Я знаю, вы не хотели меня видеть раньше, но теперь... после приговора...

Невежин взглянул на жену. Боже мой, как осунулась, как постарела она в последнее время! Особенно поразило его выражение какого-то покорного страдания, смягчившее черты её лица, и кроткий, грустный взгляд её глаз.

Ему стало бесконечно жаль эту женщину, жизнь которой была разбита по его вине. Прежняя ненависть к ней давно улеглась в его сердце.

---

Почтительно и осторожно, как подходят к труднобольным, подошёл он к жене, поцеловал её руку и сказал:

— Нам обоим тяжело было видеть друг друга.

Она подняла на него взор, тот же кроткий, молящий, и ничего не сказала.

— Особенно мне, — прибавил Невежин.

— Почему? — проронила она чуть слышно.

— Я слишком виноват перед вами... Вы это знаете. Он предупредительно предложил ей стул и сам сел на другой.

— Я пришла не для того, чтобы нам считаться, — наконец заговорила она. — Довольно было счетов. Я больше была виновата. Из-за меня случилось всё это несчастье... Я забыла, видите ли, что это мне не к лицу — ревновать... Я требовала невозможного...

Невежин молчал. Примолкла и Людмила Андреевна.

— Я пришла теперь, чтобы просить вас, умолять об одном...

— О чём?

— Позвольте мне ехать в Сибирь за вами...

Этой просьбы Невежин никак не ожидал. Она заметила выражение изумления на его лице и торопливо прибавила:

— Я поеду за вами не как жена... О, нет. Я прошу только права заботиться о вас, быть вашей сиделкой, нянькой, чем хотите. Я не буду иметь претензии ни на что. Если хотите, я не буду показываться вам на глаза, но только позвольте быть около вас.

Хотя такое самоотвержение и тронуло молодого человека, однако он решительно ответил:

— Это невозможно... Я никогда не соглашусь, чтобы вы ради меня ехали в Сибирь.

— А вы думаете, что здесь или где-нибудь мне будет лучше? — сказала она. — Не откажите. Не думайте, что я стесню вас... Вы будете свободны... Я буду скрывать от всех, что я ваша жена...

— Неужели вы думаете, что я могу принять такое предложение? — порывисто воскликнул Невежин.

— Ну, хорошо, не надо... Так вот что: я устрою вам возможность бежать в пути. Берите деньги и бегите за границу...

— Благодарю вас. И на это я не могу согласиться.

Она печально поникла головой.

— Послушайте... вы всё ещё сомневаетесь. Вы думаете, что я хлопочу для себя... Так хотите развода? Я готова взять всё на себя. Моя жизнь кончена, а ваша впереди... Верите вы теперь мне?

Глубоко взволнованный, Невежин горячо проговорил:

— Я верю вам, благодарю вас, и...

---

— Отказываетесь?

— Да, отказываюсь. Позвольте мне попробовать стать порядочным человеком! — добавил он с горькой усмешкой.

Снова наступило молчание. Наконец они заговорили о других вещах. Жена расспрашивала мужа о тюремной жизни, Невежин расспрашивал об общих знакомых. Они расстались несколько примирённые. Она выпросила позволение изредка навещать его до отъезда и проводить хоть до Нижнего.

Через час после ухода жены Невежина снова позвали на свидание.

На этот раз он не обманулся. Когда он вошёл в ту же самую комнату, в которой только что виделся с женой, там уже сидела Зинаида Николаевна.

При виде Зинаиды Николаевны Невежина охватило такое волнение, что в первую минуту, растерянный и смущённый, он не находил слов. Казалось, он всё ещё не верил такому счастью.

— Вы пришли... пришли? — бессмысленно повторял он, не сознавая, что говорит, порывисто пожимал протянутую руку и глядел на Зинаиду Николаевну восторженно умилённым, благодарным взором.

Благодаря присутствию этой девушки, от которой словно веяло чем-то чистым и светлым, Невежин весь как-то внутренне умилился и просветлел. Эти славные синие глаза, кротко и грустно глядевшие из-под длинных ресниц, проникали в самую душу, очищая её своим чистым светом.

И маленькая полутёмная камера, казалось Невежину, вдруг просветлела.

А молодая девушка, видимо, не ждала такой встречи.

Смущённая таким проявлением чувства, безмолвно сидела она, склонив голову.

— Я не знаю, как и благодарить вас, — начал наконец Невежин, присаживаясь на стул, — за то, что вы не отказали в моей просьбе... пришли... Я до сих пор не верю, что вы здесь... Я думал... вы не захотите... А мне так хотелось... вас видеть, сказать вам... просить прощения...

— В чём? — проронила Зинаида Николаевна.

— В чём? — переспросил Невежин. — Так выслушайте меня... Ведь скоро и конец этому свиданию... А мне хочется вам многое сказать!.. — продолжал Невежин, волнуясь и спеша поскорей излить свою душу после долгого молчания. — Вы знаете ли, чем я вам обязан?.. Благодаря этой счастливой случайной встрече с вами я понял всю пустоту, всю мерзость моей жизни... Вам, вашим тёплым словам обязан я, что прозрел, что иначе взглянул на окружающее и на самого себя... Я стал думать, стал читать, у вас я увидел честных, хороших людей,



---

на которых прежде клеветал, повторяя ходячие фразы людей нашего общества... И вся прежняя жизнь стала мне отвратительной... Я искренно хотел с нею разделаться... Но я слаб, я бесхарактерен... сразу я не мог решиться... О, как благодарен я вам, Зинаида Николаевна, что вы тогда не оттолкнули меня, что вы позволили мне хоть изредка заходить к вам, говорить о себе и слушать вас. Вы поддерживали во мне надежду подняться, бодрили меня как добрая сестра, советовали не унывать и в минуты отчаяния освещали передо мной пропасть, в которой я был... Я хотел из неё выйти и в то же время скрывал от вас... скрывал главное...

Невежин говорил взволнованным, задушевым голосом. Слезы стояли у него на глазах... Он на секунду остановился.

— Напрасно вы так волнуетесь! — мягко заговорила Зинаида Николаевна. — Вы, кажется, ничего от меня не скрывали.

— Нет... не утешайте... Я скрыл от вас, как я женился... Об этом я никогда не говорил... У меня не хватало сил признаться в такой подлости вам, именно вам. Я несколько раз хотел говорить об этом и... и не решался... Я думал, что тогда вы будете совсем презирать меня, а этого я не мог перенести... Я хотел вам сказать только тогда, когда бы разорвал со всем прошлым... Теперь оно невольно разорвано... Вы были в суде... Вы слышали... Вы видели жену... Так знайте то, что я скрывал... Я женился ради денег... Я продал себя, не понимая, что гублю и свою, и чужую жизнь... Я не любил жену и раньше, а потом, когда я встретил вас, она мне сделалась ненавистна... Притворяться я более не мог... И без того было много притворства. Теперь вы знаете всё! — прибавил тихо Невежин, опуская свою кудрявую голову, словно подсудимый, ожидающий приговора.

Молодая девушка сама ещё ниже склонила голову, чувствуя, что этот голос, полный мольбы и страсти, невольно, как тать, закрадывается в её сердце и будит новые чувства. Давно ли этот человек был для неё просто случайным знакомым, которого она чуть-чуть пожалела, не подозревая, что он любит её... И если бы эта исповедь была сделана раньше, Зинаида Николаевна, наверно, отнеслась бы суровее, а теперь... теперь она ещё более жалела этого красивого молодого человека, слова которого звучали, казалось, таким искренним раскаянием и такой заразительной нежностью скрываемой любви...

И вместо сурового приговора она промолвила тихим голосом:

— Вы почти искупили свою вину... Вы слишком наказаны.

— И вы прощаете?.. Вы? — невольно воскликнул Невежин в радостном волнении.

---

Прощает ли она? Довольно было посмотреть на её лицо, ласковое и грустное, чтоб не спрашивать об этом.

— Какое же имею я право обвинять вас?.. — сказала она.

— О, благодарю вас... Теперь мне будет легче начать новую жизнь! — порывисто воскликнул Невежин. — И вот ещё что. Вы не думайте, что я стрелял в жену из каких-нибудь побуждений... Я не смею сказать причины, но клянусь вам...

— Я всё знаю! — невольно сорвалось у неё.

— Знаете? То есть что же знаете? — испуганно переспросил Невежин.

— Почему вы стреляли! — прошептала Зинаида Николаевна, и на её лице появилось серьёзное, страдальческое выражение. — Вчера ваша жена была у меня...

— Жена... У вас? И она осмелилась? — вспыхнул вдруг Невежин.

— Не волнуйтесь... Она не винит вас, она во всём винит себя... Она глубоко к вам привязана и желает вам счастья...

— Она сейчас была у меня... Предлагала бежать за границу, предлагала ехать со мной в Сибирь...

— И что же? Вы отказались? — с живостью спросила Зинаида Николаевна.

— Конечно... Но что же она говорила вам?..

— Она всё мне сказала... но потом поняла, что я не виновата. Скажите сами, виновата ли я?

И, сказав эти слова, Зинаида Николаевна подняла на Невежина светлый, чистый взгляд своих прелестных глаз.

В этом взгляде были и вопрос, и сострадание. О, как хороша была она в эту минуту, серьёзная и смущённая, без вины виноватая девушка, невольная участница семейной драмы, окончившейся ссылкой.

— Я виноват... что, недостойный, осмелился боготворить вас... Я понимаю, что я для вас чужой... Я ни на что не надеялся. Но это было выше моих сил. Ну да, я люблю безнадежно. Никого никогда я так не любил. С вашим чудным образом я уеду в Сибирь, и он поддержит меня! — вдруг воскликнул Невежин. — Простите, умоляю вас, эту дерзость... В первый и последний раз сорвалось это слово... Скажите, что вы прощаете.

Она давно ему простила и протянула ему руку. Слёзы брызнули из его глаз, и он припал к её руке, покрывая её поцелуями.

Зинаида Николаевна тихо освободила свою руку. Сама взволнованная этой сценой, она чувствовала не одну только жалость к Невежину.

— Успокойтесь... не волнуйтесь! — говорила она испуганным голосом, вся бледная и серьёзная. — Я не могу разделять вашего чувства, но я ценю его...

---

Он просветлел. Мог ли он надеяться на большее?

— И вы когда-нибудь напишете мне... хоть строчку... одну строчку... Вы поддержите меня и там, в далёкой Сибири...

— Напишу... И теперь же напишу к своим родным, чтоб вас приютили. Ведь я сама сибирячка. Вы едете в мой родной город! — с улыбкой прибавила она. — Там не так скверно, как вы думаете. Быть может, ещё и увидимся.

— Неужели может быть такое большое счастье? — как ребёнок, воскликнул Невежин.

Минуты свидания пробежали быстро. Помощник заглянул в двери, и они расстались.

— Прощайте!.. — проговорил Невежин.

— До свидания! — ответила Зинаида Николаевна. — Я ещё навещу вас.

Счастливый поднимался в этот день Невежин на свою галерею.

## VII

### Деловое утро

Василий Андреевич Ржевский-Пряник или, как коротко называли его сибирские обыватели, «генерал», занимавший в старые времена, соответствующие нашему рассказу, видное место в отдалённой Жиганской губернии, в девять часов июньского утра был, по обыкновению, на своём посту — за письменным столом в небольшом щегольски убранном кабинете.

Вполне готовый начать многотрудное деловое утро и уже получивший за чаем обычную порцию внушений от своей супруги, дамы, как узнает читатель, весьма характерной, Василий Андреевич был рад, что долг службы призывал его в кабинет (супруга сегодня была не в духе), и первым делом занялся пересмотром только что полученной петербургской почты.

Это был кругленький, гладкий, невысокого роста, бодрый и живой старичок с манерами человека, бывавшего в свете, из породы мышинных жеребчиков. Свежий, чистенький, румяный, сохранившийся, несмотря на свои шестьдесят лет, с реденькими, тщательно приглаженными седенькими волосами на височках и оголённым черепом, с расплывшимися чертами когда-то красивого лица, Василий Андреевич не глядел козырем: во всей его фигуре не было ни импонирующего юпитерского величия, ни специфической чиновничьей выправки, и

---

если б не изящно сшитый форменный сюртук, обличавший его административную профессию, Василия Андреевича едва ли приняли бы за генерала.

И кабинет, в котором Василий Андреевич нёс, как он выражался, «тяготу своего положения», то есть суетился и волновался, рассказывал анекдоты и слушал их, писал резолюции и временами набрасывался петушком на подчинённых, совсем не имел той внушительной, деловой, солидной обстановки, которой обыкновенно щеголяют петербургские администраторы. Напротив, у Василия Андреевича всё было как-то по-дамски, уютно и весело, и обстановка кабинета напоминала обстановку старого вивера\*, прошедшего молодость не без приятных воспоминаний. И мебель, и масса безделок и сувениров, украшавших стол, — всё говорило, что хозяин имеет вкус не к одним только скучным делам, а обладает и эстетической жилкой. Среди фотографий, развешанных по стенам, было немало женских портретов, преимущественно известных актрис и певиц, и все с собственноручными надписями.

Василий Андреевич прочёл уже несколько бумаг, сделал соответствующие отметки, и лицо его сохраняло по-прежнему добродушное выражение — из Петербурга ни одного запроса, ни одного замечания. Вслед за тем он стал просматривать петербургские газеты, как вдруг лицо его побагровело, нижняя губа оттопырилась, и он швырнул одну злополучную газету от себя.

В те отдалённые времена, о которых идёт речь, в газетах ещё появлялись корреспонденции, приводившие в волнение не одних только господ заседателей, и корреспонденция из Жиганска была хоть и не особенно пикантной, но всё-таки взволновала Василия Андреевича.

Он был донельзя чувствителен ко всяким газетным сообщениям, и если в них не восхищались его деятельностью, то Василий Андреевич забывал и о любви к литературе, и о знакомстве с известными писателями, портреты которых красовались у него в кабинете, и готов был бы запретить все газеты.

Ещё бы! Он, вечный житель столицы, привыкший к удовольствиям и сутолоке столичной жизни, не пропускавший ни одного первого представления, пожертвовал всем этим и приехал в эту трущобу, одушевлённый самыми благими намерениями просветить диких сибиряков, и вдруг деятельностью его не восхищаются, напротив...

— Опять! — прошептал он. — Опять эти негодяи пишут...

Он снова взял в руки газету и вновь перечёл, что пишут «эти негодяи», под собирательным именем которых Василий

---

\* Прожигатель жизни (от *франц. le viveur*).

---

Андреевич разумел несколько лиц, особенно им не любимых, которых он подозревал в сочинении корреспонденций.

«Негодяи», однако, ничего ужасного не писали. В злополучной корреспонденции, сообщавшей обычные, всем известные факты из сибирской жизни, между прочим выражалось сожаление, что на Василия Андреевича имеют нехорошее влияние люди весьма сомнительные...

Это была не первая корреспонденция, и старика волновали не столько факты, сообщаемые в них, сколько предположение, что на него могут иметь влияние... «Он всё сам... На него никто не может иметь влияния!»

— Я разыщу негодяя, который сообщает этому мерзавцу редактору пасквилы... Я его... Я в двадцать четыре часа...

Василий Андреевич был в самом воинственном настроении и уж собрался было по обыкновению послать верховного за подозреваемым корреспондентом, как вдруг двери кабинета растворились, и в комнату вошла высокая, довольно полная барыня лет сорока, сохранившая ещё благодаря косметикам некоторую пикантность своей отцветающей красоты.

Хотя Василий Андреевич добродушно веровал в личное своё мужество и, вспоминая старые времена, когда он был военным и служил адъютантом, любил рассказывать, как благодаря его находчивости не было проиграно окончательно какое-то сражение в крымскую кампанию, тем не менее при виде строгого, недовольного лица с знакомой ему складочкой между густыми подведёнными бровями воинственный пыл Василия Андреевича как-то внезапно погас. Он забыл о корреспонденте, забыл о «мерзавце» петербургском редакторе и, присмиревший, смотрел на свою дебелую супругу в изящном утреннем капоте, плотно облегавшем формы внушительных размеров, далеко не с тем бравым видом, который бы напоминал храброго, мужественного адъютанта, когда-то спасшего честь русской армии.

— Полюбуйся, что мне пишет Катрин! — заговорила её превосходительство резким контрольным голосом, держа в своих выхоленных белых пальцах маленький исписанный листок почтовой бумаги.

— Разве что-нибудь неприятное? — слукавил Василий Андреевич.

— А ты думал — приятное?! Она пишет, что в Петербурге недовольны... что на тебя имеют влияние какие-то авантюристы... Я тебе говорила... Что тебе за охота связываться с этим Сикорским?

При этом имени Василий Андреевич вспыхнул.

— Катрин пишет вздор! — заговорил он своим тоненьким тенорком, представлявшим резкую противоположность с

---

мужественным голосом его супруги. — Какие авантюристы?.. Это всё сплетни... Я никому не позволю водить себя за нос! Я, кажется...

— «Ты, кажется»! — передразнила Марья Петровна. — «Ты, кажется...» Ты простофиля, и больше ничего!.. — проговорила Марья Петровна тоном, не допускающим никакого возражения. — И это всем кажется, кроме тебя!.. Я больше терпеть не намерена... Слышишь? Завёз меня в какую-то трущобу, где ни общества, ни людей, где я должна принимать каких-то чумазных чиновниц. Благодарю... Мне это надоело... Пяти лет довольно... Пиши и просись на другое место, пока тебя не отозвали помимо твоего желания.

Василий Андреевич слушал и только пожимал плечами. Пиши! Легко как рассуждают эти женщины! Точно он не писал и не просился отсюда. Точно ему весело жить в этой дыре, где ещё его не ценят как следует.

И интереснее всего, что Марья Петровна корит его за трущобу... А кто, как не она, заставила его ехать сюда? Если б не честолюбивый червяк, не дававший покоя Марье Петровне, жил бы теперь Василий Андреевич в Петербурге, занимал бы несколько мест в благотворительных учреждениях, рыскал бы с утра до вечера, что-то устраивая и о чём-то хлопоча, и жизнь текла бы весело... Утро с благотворительными дамами, вечера в театре — хорошо было... Все его любили, особенно женщины. Кокотки даже звали не иначе как «cher Basile». Эта жизнь была как раз по вкусу Василия Андреевича, но Марье Петровне хотелось выдвинуть Базиля. Она хлопотала и наконец добилась, что его назначили, и теперь она же винит его...

Всё это пролетало в голове Василия Андреевича, но сказать этого он не решился. Обиженный, он только рискнул заметить:

— Ты, кажется, сама советовала ехать сюда.

— Советовала! Разумеется, советовала. Я думала, что ты сумеешь воспользоваться положением... Зарекомендуешь себя, тебя переведут... ты выдвинешься, а вместо этого... ты даже и не умеешь держать себя как следует... Пойми, у нас дети, и, наконец, я ещё не старуха... чтобы закопать себя здесь...

— Но, мой друг...

— Ах, молчи, пожалуйста! — гневно перебила Марья Петровна. — Какова моя жизнь?.. Что ты мне даёшь?..

Василий Андреевич хорошо знал, что когда супруга касается этого щекотливого вопроса, то лучше всего молчать, подавая лишь по временам реплики, тем более что он ничего и не мог теперь давать ей, кроме платонической любви и безграничного подчинения, что Марье Петровне, по-видимому,



---

казалось недостаточно. И он храбро молчал, умоляя только по временам говорить потише, пока разгневанная петербургским письмом Марья Петровна не излила на лысую голову Василия Андреевича всю накопившуюся желчь скупающей барыни.

«Ну, теперь, кажется, кончено!» — подумал Василий Андреевич, но, на беду его, Марья Петровна увидела скомканный номер газеты... Увидала, прочла, и с насмешливой иронией проговорила:

— Доволен?.. Очень хорошо... Отлично... Теперь ты узнай, кто писал, пригласи к себе и либеральничай с ним... Убеждай, что ты добродетельный чиновник...

Это было уж слишком! Василий Андреевич не выдержал и отважно проговорил:

— Я его призову и... Ты увидишь, что я с ним сделаю!

— Ты-то... Старый дурак!..

И, проговорив эти слова с нескрываемым презрением и уверенностью, что в справедливости их не может быть ни малейшего сомнения, Марья Петровна величественно удалилась, шелестя треном а la Сара Бернар.

Василий Андреевич несколько времени отдувался, пока не почувствовал вновь воинственного настроения.

— Гм... Простофиля... Старый дурак... Она всегда увлечётся. Я покажу, какой я простофиля! Со мной шутки коротки! — проговорил Василий Андреевич и резко позвонил.

Через минуту вошёл курьер.

— Ты чего же копаешься, а? У меня — смотри! — вдруг крикнул Василий Андреевич, принимая начальнический вид.

Курьер вытянулся в струнку, и вид этого замершего курьера, вперившего глаза, в которых, казалось, сверкало рвение перервать горло кому потребуется, несколько смягчил старика.

— Сию минуту послать верхового за Подушкиным! Знаешь?

— Никак нет-с.

— Дурак! Узнай. Спроси там, в канцелярии, где живёт Подушкин. Чтобы сейчас господин Подушкин явился ко мне. Немедленно! По экстренному делу... Понял?

— Понял. Только, осмелюсь доложить, — верховой услан.

— Куда?

— Изволили послать в город...

— Так немедленно послать, когда вернётся. Никого там нет ко мне?

— Есть-с. Трущобинский заседатель Прощалыжников дожидается.

---

— Прощалыжников? Зачем? Пусть явится в приёмный день.

— Изволили приказать явиться сегодня.

— Ах, да... Прощалыжников! — вдруг вспомнил Василий Андреевич. — Прощалыжников! — повторил он суровым тоном. — Зови его. В приёмную зови.

Бедный господин Прощалыжников! Зачем судьба его кинула сюда, в эту злополучную минуту, как раз после бурной супружеской сцены и прочитанной корреспонденции.

Явись он часом-двумя позже, кто знает, может быть, день этот, яркий июньский день, глядящий так весело в высокие окна приёмной комнаты, не имел бы для господина Прощалыжникова такого рокового значения.

Быстрыми, мелкими шажками приближался Василий Андреевич к скромной фигурке, стоявшей у дверей, близ входа, и по мере приближения всё более и более закипал гневом. Когда он приблизился наконец и увидел маленького, коренастого замухрыгу, обросшего щетиной рыжих волос, среди которых сиял, во всём своём великолепии, красно-сизый большой нос и замирали в почтительно трепещущем взгляде серые, заплывшие, лукавые глазки, Василий Андреевич уже окончательно олицетворял собою бога гнева... Он весь побагровел, обыкновенно оловянные глаза метали нечто вроде молний. В эту минуту в голове Василия Андреевича как-то смешались — и этот невзрачный Прощалыжников со всеми его грехами, вольными и невольными, и «эти негодяи», писавшие корреспонденцию, и «простофиля» Марьи Петровны...

И негодование на Прощалыжникова за все его служебные беззакония охватило вдруг с большей силой Василия Андреевича.

— Вы трущобинский заседатель... Прощалыжников? — выкрикнул, подлетая как-то бочком, Василий Андреевич.

— Точно так-с...

— Молчать! — вдруг взвизгнул своим тенорком Василий Андреевич. — Вы позорите мундир... слышите ли? — мундир, который вы носите... Взятки, вымогательства, грабёж... Мерзость... Мне всё известно...

— Позвольте доложить... — пролепетал заседатель.

— Молчать! Под суд... Разбойник... Для вас серой куртки мало... В остроге сгною!.. — продолжал Василий Андреевич, не помня уже себя от гнева, и продолжал выкрикивать слова в упор, то отступая, то снова наскакивая, словно бы собираясь заклевать заседателя.

Господин Прощалыжников трепетал. Он трепетал отчасти искренно, отчасти и с некоторой, не лишённой виртуоз-

---

ности искусственностью, понимая, что в подобных случаях лишний трепет, как лишняя ложка масла в каше, дела не испортит.

И когда Василий Андреевич уже истощил весь свой заряд гнева и остановился, тяжело дыша и не зная, что ему теперь ещё сделать с господином Прощалыжниковым, господин Прощалыжников всё продолжал ещё трепетать и всей фигурой, и замирающим взглядом своих серых глаз.

Эта покорность несколько смутила Василия Андреевича.

— Что можете сказать в своё оправдание? Но помните... мне всё известно! — отрывисто прибавил он.

— Осмелюсь доложить... клевета... Интриги... Это всё корреспондент...

— Что? Какой корреспондент?

— Подучен другим человеком, желающим на моё место... Извольте приказать собрать сведения... Все обыватели меня одобряют...

— Что вы говорите... Какой корреспондент?.. Корреспондент! — вдруг озлился Василий Андреевич. — На вас жалобы со всех сторон.

— Ваше превосходительство... Не погубите!..

— Немедленно подавайте в отставку... Вы более не заседатель... Ступайте!

Прощалыжников ушёл, понутив голову, а Василий Андреевич ещё постоял секунду в зале и, заметив в полуоткрытой двери гостиную жену, привлечённую шумом, не без гордости взглянул на неё, как бы приглашая её убедиться, простофиля ли он, или нет, — и прошёл к себе в кабинет с видом победителя.

— Я покажу, как шутки шутить! — повторял расхохотавшийся старик, присаживаясь к столу. — Я их подтяну!.. Ужасно трудно с этими мерзавцами иначе вести дело...

«Ах, тяжела ты, шапка Мономаха!» — вздохнул Василий Андреевич и, случайно взглянув на портрет какой-то хорошенькой женщины, вспомнил о Петербурге и ещё раз пожалел, что судьба забросила его в этот отвратительный Жиганск.

— Господин Сикорский! — доложил ему вошедший курьер.

— Проси сюда! — проговорил Василий Андреевич и, уткнувшись в бумаги, лежавшие перед ним, принял сосредоточенный, строгий вид погружённого в занятия человека.

Худой, как спичка, низенький и тщедушный на вид господин, лет под пятьдесят, с умным и серьёзным лицом, бесшумно, словно крадучись, вошёл в кабинет.

Он на секунду приостановился, бросил быстрый взгляд на склонившуюся над бумагами и всё ещё рдевшую лысину его

---

превосходительства и, едва улыбнувшись своими тонкими бескровными губами, вместо того, чтобы идти к столу, тихими шагами отошёл к окну.

Несмотря на скромно-почтительную позу, в какой он стоял, выжидая, пока Василий Андреевич окончит свою невинную игру в занятия и обратит на него внимание, этого скромного господина никак нельзя было признать за одного из тех чиновников, которые искренно замирают в присутствии начальства. В его несколько аффектированной скромности не было ни раболепия, ни страха. В ней просто-напросто сказывался житейский такт хорошо дисциплинированного человека, понимающего людей и умеющего отойти, когда нужно, в сторону.

Всё в нём — и холодный взгляд тёмных глаз, глубоко засевших в тёмных впадинах, с резко очерченными седыми бровями, и что-то угрюмое, озлобленное и в то же время приниженное в выражении худого и бледно-жёлтого лица, напоминавшего физиономию отца-иезуита, и глубокие морщины — свидетели бурь и невзгод — на гладко выбритых плоских щеках и на лбу, и саркастически подобранные губы, точно смеющиеся над человеческою несправедливостью, — всё, кончая мягкими, кошачьими манерами, поношенным, но хорошо сидящим костюмом и свежим бельём, показывало в нём человека, знавшего лучшие времена и если и стоявшего в сдержанно-почтительной позе, как теперь, то не в кабинете жиганского чиновника, а в приёмной гораздо более важных лиц и не в таком скромном костюме. Всё намекало, что перед вами человек, потерпевший серьёзное крушение в жизни и вынесший оттуда, кроме хороших манер, немало и озлобления.

Это был Михаил Яковлевич Сикорский, когда-то заметный деятель в Петербурге, обретший, после громкого и скандального процесса, тихую пристань в Жиганске. На счастье его, Василий Андреевич, знавший Сикорского ещё во время его блестящей карьеры, обласкал и пригрел «пострадавшего за своё доверие к людям человека» (так, по крайней мере, объяснял Сикорский своё появление в Жиганске), устроил ему место, и скоро Сикорский сумел сделаться необходимым человеком у его превосходительства. Умевший работать хорошо и толково, он был и домашним секретарём, помогавшим Василию Андреевичу в затруднительных случаях, и интимным человеком, которому Василий Андреевич поверял свои служебные скорби и с которым вспоминал петербургскую жизнь и прежних общих знакомых.

Стоустая молва утверждала, будто господин Сикорский имеет на его превосходительство влияние, и влияние буд-

---

то бы не особенно хорошее. Трудно сказать, каким образом возникла эта молва. Сам Сикорский не подавал к этому ни малейшего повода. Он не только не афишировал своих отношений к Василию Андреевичу, но, напротив, скрывал их и старался быть в тени, всегда понимая, что для человека в его положении скромность есть действительно необходимая добродетель.

И, однако, все жиганцы были уверены, что Сикорский играет роль злого гения при добром, но бесхарактерном Василии Андреевиче, и всё нехорошее в его деятельности приписывали влиянию этого Мефистофеля.

Самолюбивый старик раздражался этими слухами и, пока они не шли дальше Жиганска, не придавал им значения. Но письмо из Петербурга, сообщённое Марьей Петровной, произвело на старика сильное впечатление.

Вот почему он, обыкновенно ласково и радушно встречавший являвшегося каждое утро Сикорского, сегодня нарочно не замечал его несколько минут и даже испытывал к нему неприязненное чувство.

Наконец он поднял голову и, будто удивлённый, проговорил:

— А, вы уж здесь? Я и не заметил...

Сикорский почтительно поклонился.

— Я принёс бумагу, о которой вы изволили говорить вчера, — произнёс Сикорский официальным тоном, подходя к столу и пожимая протянутую ему руку.

— Дайте-ка.

Сикорский подал, и Василий Андреевич начал её читать.

На этот раз бумага показалась ему написанною не так, как следует, и карандаш Василия Андреевича разгуливал по ней. Сикорский посматривал, и только по временам чуть-чуть улыбался.

— Эту бумагу надо совсем исправить. Здесь не то, совсем не то, о чём я просил вас! — заметил брюзгливым тоном его превосходительство.

— Я переделаю, — скромно ответил Сикорский.

— Нет, уж лучше я сам напишу... Надеюсь, я ещё писать не разучился, а то, пожалуй, скажут, что без вас я и бумаги не могу составить! — усмехнулся Василий Андреевич.

Сикорский, отлично изучивший Ржевского-Пряника и уже успевший прочесть корреспонденцию, хорошо знал, «откуда идёт сие», и в ответ на его замечание только изумлённо взглянул на него, не проронив ни слова. По-прежнему невозможно серьёзный, он стал откланиваться.

— Куда вы? — остановил его Василий Андреевич.

— Я боюсь помешать вам.

---

— Всё равно, дела не переделаешь... Его по горло. Присядьте-ка, Михаил Яковлевич, да закуривайте сигару... Старки недурны. Кстати, мне нужно переговорить с вами... Читали вы эту мерзость? — указал старик на скомканный номер газеты...

— Читал...

— Узнаёте автора?

Сикорский скромно заметил, что не знает.

— Об этом мы после поговорим... Эти пасквили всё ещё бы ничего. Ну клевети на порядочных людей, пиши кляузы, — сибиряки ведь недаром кляузники. Но вот что худо: эти нелепые слухи повторяются в Петербурге... Сегодня я получил два конфиденциальных письма! — прилгнул старик для большей убедительности. — И знаете ли, кого называют моим негласным советником?..

— Это любопытно... Кого?

— Вас!

— Меня?!

Сикорский воскликнул это «меня» с таким натуральным изумлением и затем так искренно рассмеялся своим тихим смехом, что у Василия Андреевича отлегло от сердца.

Он и сам почувствовал нелепость такого предположения и засмеялся в свою очередь.

— Знают же они вас! — прибавил Сикорский, с сокрушением пожимая плечами.

— То-то и есть, а между тем спрашивают: правда ли? Все эти мерзости идут, разумеется, отсюда. Вы ведь знаете, как здешние чиновники не любят меня?.. Не ко двору я им... Не даю воли...

— Патриотизм сибирский! — насмешливо вставил Сикорский. — Им всем хочется, чтобы плясали по их дудке...

— Именно... именно... патриотизм сибирский... — повторил Василий Андреевич. — В думе вот тоже... Вот они и кляузничают с этим Шайтановым во главе... Доберусь я до этого Шайтанова... Это всё он... Да... Их тут целая шайка...

— И, надо отдать справедливость, хорошо сплочённая... с газетой к их услугам...

— Нечего выдумывать, так давай пустим слух о влиянии... Прежний знакомый бывает у меня, и... поднимается целая история.

— А в Петербурге, конечно, не знают всей этой подкладки! — снова вставил Сикорский.

— Узнают! Я напишу... Мне уж надоело... Пусть поймут, как ково бороться здесь порядочному человеку... Но пока, знаете ли, Михаил Яковлевич, надо быть осторожным...



---

Старик остановился, смущённый. Но Сикорский с своим обычным тактом пришёл к нему на помощь.

«Он давно замечал, что многие недовольны за то, что Василий Андреевич удостаивает его, несчастного страдальца, своим знакомством... Он глубоко ценит доброту Василия Андреевича и никогда в жизни не забудет, чем он ему обязан...»

У Сикорского дрогнул голос, и слеза повисла на реснице.

— Но если из-за меня, — продолжал он, — являются неприятности, то я не должен пользоваться вашей добротой... Увольте меня от обязанностей вашего секретаря, отнимите и место, которое даёт мне кусок хлеба... Он, видно, стоит другим поперёк горла... Быть может, они тогда перестанут клеветать на вас!

Произошла довольно трогательная сцена. Василий Андреевич, тронутый такою бескорыстною преданностью, проследил и горячо обнял Михаила Яковлевича.

— Бедный страдалец! — шептал добрый старик, легко приходивший в умиление, и смахнул слезу.

Разумеется, он не согласится на такие жертвы. И ради кого? Ради каких-то интриганов, подкапывавшихся под него! Он, слава богу, не боится никого. Ему нужны хорошие работники; здесь, между сибиряками, их не найдёшь, и он требует, чтобы Михаил Яковлевич занимал прежнее место. И место домашнего секретаря пусть остаётся за ним, и прекращать посещений не следует. Он согласен только на одно: чтобы Михаил Яковлевич ходил к нему не каждый день, а раза два в неделю.

— Ради этих мерзавцев я не намерен лишать себя полезного сотрудника и приятного общества! — прибавил старик.

Он повеселел и несколько раз повторил, что напишет в Петербург всю правду об «этих сибиряках». А с корреспондентом он раздается...

— Вероятно, писал Подушкин, но главная язва — это Шайтанов. Никто, как он мутит. Я ведь всё знаю... Знаете ли, составьте-ка записку... То, что я говорил... Именно об этом сибирском патриотизме... Вот вся подкладка... Им хочется, чтобы я плясал по их дудке!.. — повторял старик только что сказанные слова Сикорского. — Отсюда и систематическое обличение. Непременно набросайте записку и, если возможно, поскорей!.. — вдруг заволновался Василий Андреевич.

Сикорский обещал написать.

Вслед за тем совсем уж повеселевший Василий Андреевич, жалуясь, что забот у него по горло, что в первом часу надо на заседание, стал, по обыкновению, болтать. Он рассказал, как вчера начальник отделения Феомпестов напутал, подсмеялся над своим ближайшим помощником, передразнил одного

---

начальника особой части и почему-то припомнил анекдот о каком-то князе Петре Николаевиче Троекурове.

— Знаете... Это тот самый Петька Троекуров, который съел огромное состояние, получил другое и женился на Феньке-цыганке... Помните, какая красавица-то была? — И старик даже крикнул и поцеловал кончики пальцев. — А голос... голос-то... Из-за неё ведь граф Борис Забиякин стрелялся с Петькой... Я у него секундантом был...

Василий Андреевич, питавший особенную слабость к воспоминаниям о титулованных лицах и знавший родословные чуть ли не всех княжеских и графских фамилий, припомнил и второго брата, Василия Троекурова, служившего в дипломатах, но забыл, как звали третьего, и досадовал, что не мог припомнить.

— Ещё на актрисе провинциальной женился... помните?

— Так это Фёдор Троекуров! — вспомнил Михаил Яковлевич.

— Ну да... Фёдор... Тоже добрый парень был... Только ретроград... Он у себя в губернии...

Дверь отворилась, и вошёл курьер.

— Господин Подушкин!

— Проси в приёмную... Так он у себя в губернии всех в страхе держал... И ведь любили! Да... Вот бы какого сюда! — смеялся старик. — Да, кстати, не знаете — пароход пришёл?

— Кажется, пришёл час тому назад...

— Так вот что... С партией должен прибыть один молодой человек, Невежин... Помните, ещё в газетах было о нём... стрелял в жену... О нём мне писала его мать... славная женщина, урождённая княжна Холмская, из бедных Холмских... Просила оставить здесь, принять в нём участие... У меня тут и деньги для него лежат... Так будьте так добры, поезжайте к полицеймейстеру и попросите, чтобы Невежина тотчас бы освободили и прислали ко мне... Вот опять, пожалуй, скажут, что пригреваю ссыльного...

Сикорский встал, чтобы идти.

— Так смотрите же, Михаил Яковлевич, насчёт записки... Сибирский патриотизм и все их шутки... Я, наконец, потерял терпение... Да вот ещё что... Не в службу, а в дружбу. Купите конфет для жены и пришлите. Она сегодня не в духе... Эти дурацкие письма взволновали и её...

Сикорский уехал не совсем довольный известием об этом Невежине, а Василий Андреевич приказал курьеру позвать к себе в кабинет господина Подушкина.

— Я ему покажу, как писать корреспонденции! — подбадривал себя старик, чувствуя, к сожалению, что весь гнев его уже выдохся, и Подушкин, пожалуй, может напакостить.

---

Вместо того чтобы встретить вошедшего грозным напоминанием о «двадцати четырёх часах» и нагнать на него страху, Василий Андреевич, напротив, принял господина Подушкина очень приветливо, с любезной, несколько фамильярной простотой, с какой добродушный и светский старик обыкновенно принимал всех, когда находился в хорошем расположении духа.

На этот раз, впрочем, и другие соображения играли роль. Василий Андреевич хотел позондировать господина Подушкина, а если сразу наброситься на человека, то, пожалуй, и запугаешь. Старик любил иногда притвориться необыкновенно тонким дипломатом.

Правда, он обещал своей воинственной супруге «посвоему» расправиться с корреспондентом, но ведь не будет же Марья Петровна знать, о чём они говорят! Кто помешает ему потом изобразить сцену свидания в том свете, который бы свидетельствовал о непреклонности его превосходительства? Она слышала, как он пушил Прощалыжникова, и, следовательно, не усомнится... Гарантировав себя таким образом на случай запросов жены. Василий Андреевич извинился, что побеспокоил «молодого человека», и, пригласив его присесть, таинственно и серьёзно проговорил, приподнимая очки, спустившиеся на нос:

— Будьте осторожны, молодой человек!

Смуглый «молодой человек» с круглым, добродушным, румяным лицом, окаймлённым чёрными, как смоль, вьющимися волосами, скромный и смирный банковский чиновник, не знавший за собой никаких провинностей, которые бы напоминали ему об особой осторожности, остановил на его превосходительстве свои изумлённые большие чёрные глаза.

— Я дружески хотел вас предупредить... Будьте осторожны, молодой человек! — ещё таинственнее и серьёзнее, понижая голос, прибавил Василий Андреевич.

— В чём?.. Я, кажется... — промолвил господин Подушкин, невольно испытывая смущение от этого таинственного начала.

Василий Андреевич, заметив смущение на лице молодого человека, был очень доволен своим дипломатическим подходом и продолжал:

— То-то — «кажется», а мне всё известно... И не хочу знать, а знаю...

— Но что же именно, ваше превосходительство?

— Вы в переписке с редактором «Курьера»? — не то вопросительно, не то утвердительно заметил Василий Андреевич.

— Как же, он мой знакомый! — простодушно отвечал господин Подушкин.

---

— Ну, вот видите! — с живостью подхватил старик. — Видите, что мне всё известно. Так слушайте внимательно, что я вам скажу, молодой человек. Из Петербурга мне пишут, что этот господин не на хорошем счету... Понимаете? Из-за какого-нибудь простого письма долго ли до беды... Я вам дружески всё это, чтобы осталось между нами... Как бы за корреспонденции того... не досталось вам... Конечно, я ничего не имею против них, хоть вы меня и не гладите по головке, но там они производят нехорошее впечатление. Так я дружески пригласил вас и снова повторяю: будьте осторожны, молодой человек!

Старик, внезапно сочинивший всю эту историю, не без торжествующего вида посмотрел на молодого человека, но был крайне удивлён, не заметив на его лице ни смущения, ни раскаяния. Его лицо улыбалось добродушнейшим образом, и он проговорил:

— Какие корреспонденции? Я никаких корреспонденций не писал, ваше превосходительство!

Василий Андреевич подмигнул глазом, будто говоря: «Ладно, рассказывай — меня, брат, не проведёшь!».

— Ей-богу же, не писал, ваше превосходительство!

— Да что вы меня всё титузуете... Мы здесь с вами частные люди, сидим вот и беседуем. Напрасно вы скрываете. Мне отлично известно, что вы писали... Ну и скажите прямо: писал... В этом ничего нет предосудительного... Пишите с богом... Я, если хотите, дам вам отличный материал...

— Даю вам честное слово, что не я! — проговорил, весь вспыхивая, Подушкин. Василий Андреевич опешил.

— Не вы?

— Не я.

— Так кто же?

— Ну, уж это не моё дело! — обидчиво возразил господин Подушкин.

— Да вы не сердитесь, голубчик... Ну не вы... Я верю... Меня ввели в заблуждение, но, быть может, вы частным образом писали редактору что-нибудь, а он составил корреспонденцию... Ведь я не против... Пусть пишет, но пусть пишет правду... Я первый поклонюсь ему за это в ноги; но писать пасквили... говорить, что будто на меня имеют влияние разные проходимцы...

— Ничего подобного я не писал...

— Верю... верю, и в доказательство попрошу вас об услуге. Сообщите редактору, что его самого вводят в заблуждение.

И Василий Андреевич стал рассказывать, кто и почему им здесь недоволен, пустился в откровенности, объяснял, как ему здесь трудно, и в конце концов заметил:

---

— Вот говорят, будто Сикорский имеет на меня влияние...  
Ведь говорят?

Господин Подушкин дипломатически молчал.

— Ну скажите правду... ведь говорят?

— Говорят...

— Так я вам скажу, молодой человек, что всё это вздор! — горячо начал старик. — Вздор-с. Пошлые сплетни и больше ничего... Я знал Сикорского раньше, ну и всё... Ну дал там ему местечко... Жаль человека... Хоть и замаран хвост у него, а всё-таки жаль... Но он у меня в струне ходит... Понимаете-с, — в струне! — строго заметил старик. — Всяк сверчок знай свой шесток... Я не позволю, чтобы там хоть и несчастный, но проворовавшийся барин смел даже и подумать о влиянии... И я уполномочиваю вас, если хотите, написать обо всём этом редактору... Для меня правда дороже всего...

Василий Андреевич долго ещё говорил на эту тему и, признать-таки, с довольно лёгким сердцем поругивал господина Сикорского. В заключение беседы он выразил удовольствие, что имел случай ближе познакомиться с господином Подушкиным, просил заходить к нему запросто и обещал ему дать много любопытного материала, если бы он захотел писать корреспонденции.

Господин Подушкин, несколько тронутый такою откровенностью, уклонялся, однако, от корреспонденции, но Василий Андреевич, прощаясь с ним, снова повторил:

— Непременно напишите... Доброе дело сделаете... Писать правду всегда можно, даже должно... И меня не щадите, если я того заслуживаю!.. — прибавил его превосходительство. — Но только чтобы была правда, и только одна правда... Ну, до свидания. Да смотрите, чтобы этот разговор был между нами...

«Кто же, однако, писал эту подлую корреспонденцию?» — недоумевал Василий Андреевич и, взглянув на часы, заметил, что уже двенадцать часов и пора завтракать.

Бойкой походкой вошёл он в столовую и, садясь за стол, проговорил:

— Ух... устал... Столько работы, столько работы... А этого Подушкина я распустил... будет помнить! — вдруг прибавил он, обращаясь к Марье Петровне, угрюмо сидевшей за самоваром. — Впрочем, оказывается, что это не он писал... Он только знаком с редактором.

— Так за что же ты распёк Подушкина, если это не он писал? — спросила придирчивая Марья Петровна.

— За что, за что!.. — смешался старик. — Вообще... Их необходимо подтянуть, *ma chérie*.

---

Марья Петровна пожала плечами и тяжело вздохнула, словно бы этим вздохом хотела пожаловаться, что у неё такой муж.

А Василий Андреевич занялся завтраком, шутил с детьми, бросал по временам тревожные взгляды на жену и, убедившись, что она сегодня окончательно не в духе, торопливо допил стакан чаю и пошёл в кабинет досиживать своё многотрудное служебное утро, проговорив на ходу:

— Ужасно много дел... ужасно много...

— Не забудь написать, о чём я просила! — подчеркнула Марья Петровна.

— Напишу... напишу... А знаешь, Невежин приехал...

— Ну так что ж?

— Ничего. Я велел ему прийти... Послать его к тебе?.. Ты ведь знавала его мать...

— Я и его знавала... Пожалуй, пришли! — кинула небрежно Марья Петровна. — Бедный молодой человек! — тихо прибавила она и снова вздохнула.

## VIII

### На новых местах

#### 1

Во время дороги по этапу, в арестантской барже, при остановках в грязных клоповниках, Невежин до некоторой степени понял, что значит «ссылный». Хоть по сравнению с другими арестантами он пользовался большими удобствами в качестве привилегированного, тем не менее это невольное путешествие произвело на него глубокое впечатление. Он сознавал себя приниженным, находящимся в полной зависимости от произвола какого-нибудь грубого офицера, и мысль, что он на многие лета, если не навсегда, обречён на подобную жизнь, по временам доводила его до отчаяния. Он, мечтавший о новой жизни, искренно желавший покончить с прошлым, спасовал перед первым испытанием и, преувеличивая в испуганном своём воображении ужасы ссылки, не раз плакал как ребёнок, лёжа в своей узкой койке на барже. Утешительные слова нескольких спутников, что «и в Сибири люди живут, и живут недурно», плохо действовали на него, и он приехал в Жиганск совсем павший духом.

Тем более подействовал на него приветливый приём Ржевского-Пряника, и в особенности ласковое участие, оказанное ему Марьей Петровной. Невежин был тронут этим вниманием,



---

столь не похожим на холодное, безучастное отношение разных мелких начальствующих лиц, с которыми ему пришлось сталкиваться во время пути. Это его несколько подбодрило и утешило, представляя ссылку не в таком мрачном цвете.

Василий Андреевич тотчас же объявил Невежину, что лично знал его отца («вместе, молодой человек, отличались под Балаклавой») и танцевал не раз мазурку с его татап, обещал пристроить молодого человека при первом удобном случае и, передавая письмо с двумя тысячами, с отеческой лаской посоветовал дома их не держать.

— Здесь ведь не Петербург, mon cher, живо обокрадут. И ещё дружеский совет: не играйте с незнакомыми в карты. Тут шулеров — пропасть...

Невежин был несколько изумлён при виде денег. Он лично догадался, что это от жены, и первой его мыслью было — не брать их. Но он вспомнил, что у него в кармане всего сто рублей, что пока ещё он найдёт место, и... взял.

«На всякий случай!» — утешил он себя, рассчитывая их вернуть.

Его превосходительство просил Невежина заходить, если что понадобится («по утрам он всегда принимает»), и затем повёл его в гостиную и сдал на руки Марье Петровне, ласково промолвив:

— Ну вот и приехал наш молодой человек... Посоветуй ему не особенно скучать... Утешь его...

Марья Петровна и без просьбы мужа готова была утешить этого дьявольски красивого молодого человека из хорошего общества, и притом ещё с такой романической таинственной историей, о которой она читала в газетах. Она встречалась с ним в Петербурге, когда ещё он был холостой, и теперь приняла его как старого знакомого, с тем фамильярно-нежным, покровительственным участием, которое так любят оказывать перезрелые сорокалетние барыни «из общества», имеющие пылкие сердца и старых мужей, «несчастливым» молодым людям, конечно, «порядочным» и, само собой разумеется, не уродам.

— Кто мог бы ожидать, что нам придётся встретиться здесь, мосье Невежин! — заговорила по-французски Марья Петровна, принимая подходящее к данному случаю грустное выражение и протягивая, в знак особого сочувствия, свои обе белые, пухлые, холёные руки молодому человеку. — О, боже, как вы похудели... Сколько должны вы были выстрадать, бедный! — продолжала Марья Петровна, любуясь красивым, несколько бледным и утомлённым лицом и всей стройной фигурой этого интересного молодого человека.

Тронутый Невежин крепко пожимал протянутые руки и благодарил за участие.

---

— Садитесь, садитесь сюда, поближе ко мне... Рассказывайте мне всё, всё, как другу, как матери, принимающей в вас самое горячее участие... Если б вы знали, как я была поражена... Здорова ли ваша татап? Воображаю, как на неё действовало всё это...

Невежин, вместо того чтобы рассказать «всё», ещё раз поблагодарил за сочувствие и прибавил, что татап была здорова, когда он оставил Петербург.

— А она, эта женщина, разбившая вашу молодую жизнь? — продолжала допрашивать Марья Петровна в качестве сочувствующего друга и большой любительницы всяких романтических историй.

Невежина немного смутило это слишком бесцеремонное выпытывание внезапно объявившегося «друга», с которым он встречался раза два в обществе, но он объяснил его добрым чувством и поспешил ответить:

— Моя жена не виновата во всей этой печальной истории.

— Я читала... Она забыла, что чувство свободно! — промолвила Марья Петровна и вздохнула, откинув чуть-чуть назад свою голову.

— Во всём виноват один я!

— О, понимаю, я вас понимаю... Вы джентльмен до конца ногтей... Вы не хотите обвинить жену. Это благородно... Это так благородно, так редко в наше прозаическое время, когда совсем нет рыцарского отношения к женщине... Увы! Мы этим не избалованы!

И, вероятно, в награду за такое благородство Марья Петровна подарила Невежина нежным томным взглядом и, кокетливо поправляя причёску, прибавила:

— Она приедет сюда?

— Нет, — коротко отвечал Невежин.

— Я так и думала... После всего, что случилось... Бедный!.. Так молоды, и... Однако что ж это я? — спохватилась вдруг Марья Петровна, заметив по лицу Невежина, что ему не особенно приятны эти допросы. — Вы меня простите... Моя нескромность — не любопытство, а горячее участие... Мы, впрочем, после поговорим обо всём, когда покороче познакомимся... Надеюсь, вы не откажете мне в доверии, когда узнаете меня поближе?

Невежину оставалось только наклонить голову в знак согласия.

— Ведь у вас здесь никого нет знакомых?

— Ни одной души!.. — грустно промолвил Невежин.

— Так я вас возьму под своё крылышко и постараюсь, насколько возможно, облегчить вам жизнь в этой ужасной дыре, пока мы здесь, если только вам не будет скучно иногда

---

заглянуть к такой старухе? — не без кокетства прибавила Марья Петровна, предвкушая заранее удовольствие интимных дружеских бесед с таким изящным молодым человеком. Своей красотой, манерами, полными скромности и изящества, и безукоризненностью французского выговора он совсем очаровал с первого же раза Марью Петровну, напрасно искавшую в Жиганске таких кавалеров, и заставил её живее почувствовать жажду жизни и вспомнить, что Василий Андреевич — совсем плюгавый старикашка, умеющий только её раздражать и отравлять ей жизнь.

Невежин был слишком светский человек, чтобы не понять, что его вызывают на протест.

Он очень мило протестовал. И протест этот не был с его стороны банальным комплиментом.

Он успел оглядеть свою собеседницу и нашёл, что она просто рисуется, называя себя старухой.

Какая она старуха?

Она глядела совсем моложавой, эта выхоленная, благоухающая, очевидно, заботящаяся о себе, любезная светская барыня, в своём летнем изящно сшитом простеньком платье, полупрозрачная ткань которого, обливая перетянутый бюст, рельефно обрисовывала высокую полную грудь, оставляя открытой белую шею. Её румяное, дышавшее здоровьем лицо с крупными чертами и пышными чувственными губами, подёрнутыми пушком, не утратило ещё красоты и свежести, большие чёрные, слегка подведённые глаза метали ещё искорки неудовлетворённых желаний, а чёрные волосы, гладко зачёсанные назад, были пышны и густы. При внимательном взгляде можно было, правда, заметить веерообразные морщинки у глаз и ту пробивающуюся желтизну лица, которая свидетельствует об увядающей красоте, но это не мешало однако Марье Петровне быть одною из тех женщин, которые нередко приводят в восторг юнцов и старичков.

— Вы заходите ко мне, если вам сделается скучно... Мы поскукаем вместе, поговорим... вы облегчите своё горе... Я понимаю чужие страдания... Я сама так много, так много испытала в жизни... Если, как вы говорите, я не кажусь совсем старухой, то единственно благодаря моему характеру... Я умею терпеть... Каково, подумайте, жить в этой трущобе, где нет людей? А мы живём в этой добровольной ссылке пять лет... Надеюсь, впрочем, что она скоро окончится; вероятно, мужу дадут другое назначение, а пока мы здесь поможем друг другу коротать её вместе... Хотите?.. Я надеюсь, мы будем друзьями — не правда ли?

И Марья Петровна протянула свою руку, которую Невежин поднёс к своим губам.

---

Марья Петровна стала вспоминать о Петербурге, расспрашивала об общих знакомых и, когда наконец Невежин поднялся с кресла, снова просила навещать её.

После ухода Невежина Марья Петровна несколько времени ещё сидела в каком-то томном раздумье на диване, потом поднялась, подошла к трюмо, взглянула на себя с особенной внимательностью, вздохнула и пошла в кабинет к мужу.

— Непременно надо устроить этого несчастного молодого человека, cher Basile! — заговорила Марья Петровна таким мягким, кротким тоном, что cher Basile удивлённо вскинул на жену глаза из-под очков. — Он такой порядочный, этот Невежин...

— Я непременно его пристрою...

— Где?

— Да где-нибудь в канцелярии, или попрошу Артемия Васильевича взять молодого человека к себе... Он возьмёт с удовольствием, если только у него есть вакансия... Хоть наш почтенный Артемий Васильевич и глуп, как «сорок тысяч братьев», но зато добр, как ангел! — пошутил его превосходительство, почувствовавший добродушное настроение при виде жены в хорошем расположении духа.

«Ты-то — орёл!» — подумала Марья Петровна, но вслух этого сегодня не сказала, а только сделала недовольную гримаску.

— Нашёл куда запрятать Невежина... Хорошо для него общество этих чиновников твоего Артемия Васильевича... Ты бы лучше Невежина взял к себе... По крайней мере, порядочный человек был бы около...

— Но куда же к себе, матушка?..

— Сделай его своим домашним секретарём... А то этот Сикорский!.. Из-за него одни неприятности... эти толки о влиянии... Про Невежина никто не посмеет этого сказать... И, наконец... он сослан за такое дело, которое не заставляет краснеть человека... Как ты об этом думаешь cher Basile? — прибавила Марья Петровна, присаживаясь около Базиля и ласково заглядывая ему в глаза. — Старуха Невежина будет очень благодарна, если молодой человек будет в хороших руках... Под твоим наблюдением он приучится к делу...

— А что ж, это недурная мысль... Я ведь сам об этом думал...

— Ну вот и отлично!.. — улыбнулась Марья Петровна.

— Только не сейчас... Сикорский мне пишет одну важную записку...

— Я не говорю, что сейчас... Пусть молодой человек оглядится...

---

— Ну да... да... В самом деле, это ты умно посоветовала, моя милая Marie... **Очень умно, по обыкновению!** — галантно прибавил старик, целуя у жены руку.

В эту самую минуту раздался стук в двери, и после позволения войти в кабинет вошёл Сикорский с конфетами в руках.

По приветливой улыбке, сиявшей на его лице, никто бы и не догадался, что Сикорский, простоявший лишнюю минуту у дверей, слышал весь этот разговор.

Он передал коробку Василию Андреевичу, почтительно поклонился Марье Петровне и с самым невинным видом проговорил, обращаясь к его превосходительству:

— Господин Невежин был у вашего превосходительства?

— Как, же, был... Благодарю вас, Михаил Яковлевич, за исполнение моей просьбы. А вы видели Невежина?

— Видел. Я сам ездил в тюремный замок вместе с полицеймейстером... При мне его освободили... Он так был рад, пресимпатичный молодой человек. Он производит превосходное впечатление.

— Да, да! И на нас тоже он произвёл хорошее впечатление!

Сикорский вслед за тем откланялся, и Василий Андреевич, передавая жене конфеты, промолвил в раздумье:

— Услужливый этот Сикорский и, кажется, истинно предан нам!..

## 2

Невежин сперва поместился в гостинице, а через несколько дней переехал в одну из дальних улиц и поселился в двух небольших комнатах маленького домика, принадлежащего старушке, вдове чиновника.

Несмотря на ласковый приём в доме Ржевского-Пряника, Невежин продолжал хандрить и сиднем сидел у себя дома.

Мысль о том, что ему придётся вечно жить в этом захолустье, отравляла его существование. Он решительно не знал, что ему делать, как начать новую жизнь, как быть полезным, как он обещал той чудной девушке, образ которой жил в сердце, заставляя его сильнее биться при воспоминании о ней. Ах, если б она была здесь, поддержала его!

На что он способен? К чему приготовлен? — не раз спрашивал себя Невежин и с горьким чувством сознавал, что он ни к чему не приготовлен и едва ли сумеет заработать себе кусок хлеба.

Прошёл месяц, а он всё ещё ничего не делал в ожидании обещанного места у его превосходительства и по-прежнему скучал в своей квартирке, которую он убрал не без комфорта и изящества, читал, катался верхом и изредка посещал Ма-

---

рию Петровну, но с ней держал себя осторожно, не пускаясь в откровенности, несмотря на видимое её желание быть другом молодого человека.

Прелести Марьи Петровны не смущали его, хоть он, взглядывая на неё, и находил, что для Жиганска она «бабеч ничего себе».

Был седьмой час вечера на исходе. Томительный зной жаркого июльского дня начинал спадать.

Невежин сидел за письменным столом в небольшой уютной комнате, служившей ему кабинетом, приёмной и столовой, и писал. Лицо его было оживлённо; глаза горели восторженным блеском.

Он исписывал уже четвёртую страничку своего длинного послания к Зинаиде Николаевне Степовой, а всё не было конца письму. Он описывал дорогу, передавал свои первые впечатления, жаловался на скуку, на беспомощность и неумение работать, но главным образом благодарил, изливаясь в восторженных отступлениях, за память, за восточку, за доброе отношение.

Он получил это первое письмо от Зинаиды Николаевны сегодня утром и, радостный и умилённый, снова почувствовавший прилив бодрости и добрых намерений, перечитывал несколько раз небольшое письмецо, полное искреннего расположения и доброй товарищеской ласки.

Она советовала ему не унывать, рекомендовала поближе познакомиться с сибиряками и отнестись к ним без предвзятой мысли и писала, между прочим, что в далёкой Сибири и ему найдётся, конечно, дело. Он может быть полезен, если захочет, в этом всеми забытом краю, где так мало образованных людей. О себе она вскользь сообщала, что была не так здорова, но теперь поправилась.

Квартирная хозяйка уже несколько раз заглядывала в полуотворённую дверь и всё не решалась беспокоить своего жильца. А самовар давно кипел на кухне, стряпка второй раз уж подливала воду, и Степанида Власьева сокрушалась, что жилец так долго сидит, не разгибая спины, когда пора пить чай.

Это была низенькая, крепенькая и бодрая ещё старушка, несмотря на свои шестьдесят лет, которые она с честью вынесла на своих плечах, невзирая на заботы и лишения, выпавшие на её долю после того, как она осталась вдовой с тремя подростками и с очень незначительными средствами, оставленными мужем, чиновником. Хотя муж её и занимал довольно хлебное место, состоя при крепостном столе, и мог бы оставить не один только маленький домишко и тыщонки три денег, а гораздо более, но он не принадлежал к числу бес-



---

совестных хапуг. Правда, он брал взятки, чтобы чем-нибудь пополнить мизерное жалование, получаемое им, но брал «на совесть» и не томил просителей. Даст — ладно, а не даст — бог с тобой.

Когда Невежин явился к Степаниде Власьевне нанимать квартиру, она приняла его с бесхитростной лаской, как родного, благодаря письму своей племянницы, Зинаиды Николаевны, просившей приютить молодого человека.

Она недорого взяла с него за квартиру, кормила на убой, сокрушаясь, что молодому человеку, привыкшему, как она выражалась, к «петербургским тонкостям», не понравится её сытная свежая стряпня, непритворно ужасалась, когда узнавала, что Невежин переплачивал при покупках, и дивилась, что он бросает деньги зря.

Она жалела молодого человека и, замечая, что он хандрит, старалась чем-нибудь утешить его, выдумывала какое-нибудь новое печение, закахивала к нему под каким-нибудь деликатным предлогом и советовала как-нибудь развлечься. Иногда, после настойчивых приглашений жильца, она выпивала у него чашку-другую чаю и любила расспрашивать про Петербург, охая и дивясь, когда ей Невежин говорил про тамошнюю дороговизну. Но более всего любила Степанида Власьевна слушать про разных высокопоставленных особ, как они живут, что делают и тому подобное; Невежин, случалось, коротал вечера с этой доброй простой старушкой. Прощаясь с ним, она всегда ласково говорила:

— А вы, Евгений Алексеич, не очень-то скучайте... Бог даст, привыкнете... Да с огнём осторожнее... Не дай бог — пожар! — неизменно прибавляла Степанида Власьевна, вечно боявшаяся пожара.

Постояв у дверей, старушка вышла на двор, прошла в маленький садишко с огородом, внимательно осмотрела всходы овощей и, вернувшись в дом, приказала подлить самовар и затем решительно вошла к Невежину.

— Да будет вам, Евгений Алексеич!.. Эка засиделись... К спеху, что ли?.. Пора чай пить.

Невежин поднял голову и взглянул на часы.

— А и в самом деле засиделся... Завтра окончу... Знаете ли, от кого я получил сегодня письмо? От Зинаиды Николаевны! — весело проговорил Невежин вдогонку уходившей старушке.

— Ну, что она? Как там живёт? — спрашивала Степанида Власьевна, возвращаясь с подносом вслед за стряпкой, вносившей самовар. — Давно что-то мне Зиночка не писала! — продолжала старушка, расставляя на столе прибор, печенье и сливки. — Вот попробуйте... взварные крендельки. Уж я и

---

не знаю, понравятся ли вам? Вы, чай, привыкли к разным там петербургским пирожным.

— Понравится, наверное понравится! — с улыбкой промолвил Невежин. — Зинаида Николаевна пишет, что была нездорова, но теперь поправилась. Да вы что ж это, милая Степанида Власьевна, всё сами беспокоитесь? Присаживайтесь-ка лучше да выпьем чайку вместе.

Степанида Власьевна присела, и в её добрых глазах засветилась радостная улыбка при виде весёлого и довольного Невежина.

— Вот вы сегодня не такой, как всегда. Так-то и лучше! Да прогуляться бы после чаю вышли. Ишь благодать-то какая! Ныне на редкость-то у нас лето; всего, говорят, господь уродил. Овощ дешёва будет. Так что же Зиночка-то хорошего пишет? Раньше писала, что приедет сюда, да, видно, так только. Места-то здесь находить, батюшка, трудно. Да и после Питера, чай, соскучится у нас.

Степанида Власьевна выпила чашку, налила другую и проговорила, понижая голос:

— Ну, как... не беспокоит вас новый жилец? Комната-то его рядом с вашей спальней...

Невежин сказал, что не беспокоит.

— Не нравится он мне, уж скажу вам по правде, Евгений Алексеич... Да что поделаешь: очень разборчивой быть не приходится. По крайности, комната занята. Шесть рублей платит. Состояние моё, сами знаете, невелико, а сынков, пока в Москве учатся, надо поддерживать. После же мать добром вспомнят! — с чувством прибавила старушка. — И деньжонки, что покойник оставил, целы будут.

— Чем же вам не нравится новый жилец?

— Да как вам сказать... Дурного про него я ничего не могу сказать... Человек, кажется, вежливый, но только странный какой-то...

Старушка выдержала паузу и прибавила, понизив голос:

— Дни спит, а по ночам сидит.

— Читает, верно.

— Бог уж его знает...

— Пожара, видно, боитесь? — улыбнулся Невежин. — Кто он такой?

— Говорит — приезжий, из Красноярска. Из ссыльных тоже... Фамилию-то я запомнила. Однако заболталась я с вами, а у меня тоже свои дела есть, — промолвила, вставая, Степанида Власьевна. — Благодарю за угощение, Евгений Алексеич!

В эту минуту в комнату вошла стряпка и, подавая Невежину письмо, сказала:

---

— Конный привёз.

— Верно, опять вас в гости к генералу зовут... Вы не отказывайтесь — поезжайте, Евгений Алексеич... Всё веселей, чем дома сидеть! — посоветовала старушка.

Записка в самом деле была от генерала. Он просил «милейшего Евгения Алексеевича» приехать, если можно, тотчас же к нему на дачу по весьма важному делу.

Невежин улыбнулся (он уже не раз получал такие записки), однако тотчас же стал собираться.

Через четверть часа Невежин уже ехал верхом на своём, недавно купленном «киргизе» по дороге в Ускоково — деревню верстах в десяти от Жиганска.

Сейчас же за городом дорога пошла лесом. Невежин полною грудью вдыхал славный, чистый воздух, пропитанный вечернею свежестью, запахом скошенной травы и смолистым ароматом леса.

Приближались сумерки, и вечерние тени стали постепенно окутывать безмолвный зелёный лес, озарённый на западе багряным светом заходящего солнца. Кругом стояла тишина. Лишь изредка шарахались дрозды, постукивал запоздалый работник-дятел, да уныло выкуковывала кукушка.

Невежин пустил горячего коника рысью и, проехавши несколько вёрст, снова поехал шагом. Он опустил поводья и невольно задумался, переносясь мыслью далеко-далеко от этого леса, как совершенно для него неожиданно из-за кустов вышли два человека.

Они были плохо одеты, по-крестьянски, с котомками вроде ранцев за плечами и с дубинками в руках. На поясе у одного был котелок.

Невежин вздрогнул от их неожиданного появления, подобрал поводья и машинально взялся за револьвер.

— Подайте Христа ради бродяжкам! — проговорил, выступая вперёд, один из путников.

Невежин устыдился за свой страх и остановил коня.

— Издалека идёте? — спросил он, подавая серебряную монету.

Старый, по-видимому, бродяга с большой тёмной бородой сперва перекрестился и, надевая шапку, проговорил:

— С каторги, родимый, с каторги. Христос тебя спаси! Изпод Кары! А вот товарищ мой свеженький. Не успел приехать из Расеи, как уже соскучился по ней! — весело прибавил бродяга.

Невежин взглянул на «свеженького» — рыжего высокого человека, и лицо его показалось ему знакомым.

— Вместе, господин Невежин, на барже плыли! — проговорил, подходя, рыжий. — Только я тогда с бородой был. Не

---

понравилась Сибирь! Опять в Питер захотелось! Одолжите прежнему спутнику что-нибудь на дорогу!..

Невежин припомнил спутника. Это был один из обитателей петербургских трущоб, ночной рыцарь, судившийся не раз за кражи и наконец сосланный на поселение за грабёж. Он всем рассказывал свою историю и выпрашивал денег, хвастаясь, что прежде был чиновником и что у него дяденька генерал.

Невежин дал денег бывшему спутнику и пустил коня, несколько удивлённый этою лёгкостью встреч с бродягами.

Минут через десять он уже входил к генералу.

Василий Андреевич благодушествовал на балконе. Он тотчас же объявил Невежину, что он наконец может исполнить своё обещание и предлагает ему место своего секретаря.

Невежин с радостью согласился, надеясь, что в этой должности он может быть полезным. Дело было покончено с двух слов.

— Очень, очень рад, что всё так устроилось! — говорил старик, которому жена не давала покоя с этим Невежиным. — Ну, а теперь пойдёте к жене... она на вас сердится, что вы нас совсем забыли... Оправдывайтесь! — пошутил старик.

Марья Петровна приняла Невежина любезно, но не с прежнею интимностью.

— Что вас не видать? Уж не нашли ли в Жиганске каких-нибудь развлечений? — иронически спросила она.

Невежин ответил, что сидел больше дома, а Василий Андреевич весело прибавил:

— Теперь он уж не будет букой... Обязанности службы заставят его бывать чаще у нас... Рекомендую — новый секретарь!

Невежин был особенно оживлён этот вечер. Он весело болтал за чаем с Василием Андреевичем, рассказывал о своём заграничном путешествии, сообщил несколько анекдотов, заставивших от души смеяться старика, потом сел за фортепиано и очень мило сыграл несколько пьес Шопена.

А Марья Петровна слушала эту нервную музыку и сама немножко нервничала. Любуясь этим кудрявым, красивым молодым брюнетом, она мечтательно вздыхала не то от волнения, не то от досады, что Невежин, по-видимому, не замечает её искреннего участия и не откликается на её призыв к дружбе.

А ей бы так хотелось дружбы, чистой, святой дружбы, — мечтала сорокалетняя барыня, бросая украдкой далеко не «святые» взгляды на молодого человека.

Марья Петровна взяла с него слово, что он приедет на днях на целый день. Они погуляют вместе — она покажет ему прелестные места, если только он любитель природы.

---

Когда Невежин собрался домой, его не хотели отпускать в город без провожатого.

— Возьмите конного стражника. Одному ехать небезопасно, — предлагал ему Василий Андреевич.

— Не ездите один. Ни за что! — говорила Марья Петровна.

Но Невежин не соглашался.

— И луна светит, и револьвер есть у меня! — проговорил он, прощаясь.

Через час уж он подъезжал к своей квартире.

Калитка была, против обыкновения, отворена, и, когда он вошёл в неё, ведя за собой лошадь, из-за дома вышла какая-то фигура и быстро проскользнула мимо него.

Он не обратил на неё особенного внимания, но ему показалось, что эта фигура похожа на того рыжего, которого он встретил на дороге.

— Вздор! — проговорил он вслух. — Зачем ему быть здесь! — и, разбудив дворника, отдал ему лошадь и минут через десять бросился в постель.

Скоро он заснул, но под утро проснулся.

Какой-то странный шум раздавался в соседней комнате. Он стал прислушиваться. Снова тот же тихий шум, точно резали чем-то по твёрдому телу.

Невежин раздумывал, что бы это значило, и, решив, что сосед, быть может, от скуки занимается слесарным ремеслом, скоро заснул опять крепким сном молодости.

## IX

### Один из сибирских «чумазых»

#### 1

Исполнив желание Марьи Петровны, Василий Андреевич не имел пока причин жаловаться.

Молодой человек, не знавший, куда девать своё время, горячо принялся за новое дело, занимаясь им с усердием новичка, впервые увлечшегося работой. Работал он скоро, умел схватывать на лету мысли, приходившие в голову его превосходительству, и излагал их не без некоторого стилистического изящества, быстро усвоив тот изысканно канцелярский слог, которым щеголяют чиновники, воспитавшиеся в петербургских канцеляриях. Бумаги Невежина читались легко и были всегда литературны, впрочем, на-

---

столько, насколько требовали бюрократические традиции, и Василий Андреевич, убедившись в способностях Невежина и пользуясь его усердием, не оставлял его без дела, обрадованный, что есть кому обрабатывать детально всевозможные предначертания, неожиданно осенявшие его голову.

Тут надо заметить, что у его превосходительства, как и у многих администраторов, особенно приезжающих в не столь отдалённые места из Петербурга, был какой-то неудержимый зуд к составлению разных записок и проектов, свидетельствующих, разумеется, о добрых намерениях и вместе с тем о совершенном незнакомстве с краем и местными условиями. Каких только мыслей не являлось у Василия Андреевича в тиши кабинета, мыслей, направленных ко благу губернии, которую, кстати сказать, он так же мало знал в действительности, сколь превосходно знал по бумагам!

Но Василий Андреевич обладал изрядной ленцой и не всегда имел терпение поверять бумаге плоды своих административных дум. К тому же и Сикорский умел как-то сдерживать бумажные увлечения его превосходительства, зная очень хорошо, что ему же придётся разрабатывать детально, приискивая данные в разных местных канцеляриях, все эти записки и прожекты, и в конце концов узнать, что их в Петербурге прочтут, улыбнутся и положат под сукно...

Теперь же, при новом и ретивом секретаре, никакой сдерживающей узды не было, и его превосходительство с увлечением предался охватившему его бумажно-реформаторскому порыву.

Он покажет, чёрт возьми, свою прозорливость и дальновидность. Пусть там, в Петербурге, увидят, сколь трудно успешно работать в этом диком крае!

И Василий Андреевич со свойственной ему, как бывшему военному, решительностью бросался от одной темы к другой. То «набрасывал» своим крупным чётким почерком на полулисте почтовой бумаги мысли об улучшении низшей администрации, «связывающей самые лучшие предначертания», то вдруг увлекался инородцами, то бросался к санитарному вопросу, то трактовал о переселенческом деле, предоставляя честь разрабатывать все эти краткие и не всегда разборчивые наброски своему новому секретарю.

Дела было много, и притом Василий Андреевич умел как-то усложнять его своею суетливостью. Часто случалось, что Невежин едва лишь успевал собрать данные по какому-нибудь «вопросу», как уж Василий Андреевич задавал новую работу, оказывавшуюся, по обыкновению, всегда спешной и крайне важной. Невежин не протестовал и принимался за но-



---

вую, стараясь по возможности ознакомиться с «вопросом» по бумажным источникам.

Целый месяц работал так наш молодой человек, не окончив ни одного «вопроса», как однажды Василий Андреевич сказал ему, подавая листок исписанной бумаги:

— Надо составить объяснительную записку к этому конфиденциальному письму. В канцелярии дадут справки, но ещё лучше, если вы обратитесь за ними к Сикорскому. Он знает, в чём дело. Кстати, вы знаете здешнего туза Толстобрюхова?

— Видел как-то раз.

— Не правда ли, типическое рыло? Ха-ха-ха... Из мужиков, батюшка, из мужиков, а теперь миллион у этой канальи... Плут отъявленный!

Невежин, успевший пробежать набросок конфиденциального письма, в котором его превосходительство ходатайствовал за этого «каналью» и «отъявленного плута», был несколько озадачен.

— Все они здесь такие... не удивляйтесь, но у этого «мосье Толстобрюхова» есть всё-таки, знаете ли, добрые чувства... я убедился в этом... Он не сутяга и, *au fond*\*, добрый мужик... следует только не давать ему повадки. Ещё недавно, когда Marie собирала на свои благотворительные учреждения, он пожертвовал пять тысяч, и Marie не нахвалится им. Он обещал ей ещё целый приют устроить. Так вот этот самый мосье Толстобрюхов был у меня на днях и просил о помощи. Дело, видите ли, в том, что этот господин несколько лет тому назад был привлечён к делу и по суду оставлен в подозрении. Здесь немало таких «подозрительных»! — заключил его превосходительство. — Чёрт его знает, насколько он виноват, но, во-первых, это было давно, и, во-вторых, он уверяет, что невинен... Во всяком случае он искупил свою вину и заслуживает ходатайства... Так вы проштудируйте дело, поговорите с Сикорским и составьте записку. Пора простить старика...

— Он, право, заслуживает участия! — вставила Марья Петровна, входя в кабинет и вслушиваясь в разговор. — А пока пойдёмте, господа, пить кофе. Да ты, Basile, совсем замучил бедного Евгения Алексеевича. Я его совсем не вижу... Всё за работой да за работой! Смотрите, Невежин, я наконец рассержусь! — полушутя, полусерьёзно прибавила Марья Петровна, бросая на этого Иосифа Прекрасного взор, полный немого красноречия Пентефриевой жены.

При этом она с грустью вспомнила и лесную прогулку, и катанье при лунном свете вдвоём, и многозначачие пожатия руки.

---

\* В сущности (*франц.*).

---

Но он точно ничего не понимал, этот каменный молодой человек, и словно избегал оставаться с ней вдвоём.

«Уж не боится ли он моего пентюха?» — нередко думала сорокалетняя красавица, ревниво выдёргивая редкие седые волоски в своих пышных волосах и вглядываясь всё чаще и печальнее в зеркало, словно оно могло дать ей ответ: почему Невежин при виде её сохранившихся прелестей не загорается страстью, — увы! — давно уже охватившей бедную женщину и всё сильнее и сильнее разгоравшейся под впечатлением холодного отпора.

## 2

Пока Невежин, к ужасу Степаниды Власьевны, не разгибая спины, штудировал громадное дело о купце второй гильдии Кире Пахомове Толстобрюхове, заглянем в тихую обитель Кира Пахомыча и поближе познакомимся с одним из сибирских «козырей», пользовавшимся репутацией весьма почтенного человека среди большинства таких же «почтенных» жиганских коммерсантов.

Девятый час утра.

Кир Пахомыч давно встал, напился чаю с мясными пирожками и теперь сидел в маленьком своём кабинете, одетый в длиннополый потёртый сюртук наподобие кафтана и бойко действовал толстыми огрубелыми пальцами, щёлкая костяшками на больших счётах. Он проверял лежавший перед ним на письменном столе месячный красиво переписанный отчёт своих многочисленных операций.

Должно быть, результат оказался хорош, ибо Кир Пахомыч, окончив проверку и бережно спрятав очки в футляр, весело крикнул и проговорил:

— Баланец слава тебе господи! А у Антипа Васильевича, поди, не такой. Однако подъегорит его нонече ярманка!

И его широкое, угреватое, тупорылое лицо с крупным мясистым носом и толстыми губами перекошилось в злорадную усмешку, и в заплывших жирком небольших серых глазах блеснул недобрый огонёк. Что-то спокойно хищническое и самоуверенное сказывалось во всей этой широкой кряжистой фигуре и слышалось в том тихом смехе, который раздался вслед за произнесёнными им словами.

— То-то хвост подожмёт. А то, поди ты!

В это время дверь кабинета отворилась, и в комнату вошёл один из служащих конторы Кира Пахомыча. Осторожно и боязливо ступая по комнате, видимо, побаиваясь Кира Пахомыча, конторщик подал хозяину письмо и тихо удалился.

Кир Пахомыч не спеша надел очки и стал читать. И по мере того, как он читал, лицо его становилось угрюмее и злее.

---

А между тем в этом письме было всего несколько строк следующего содержания:

«Милостивый государь, Кир Пахомыч!

Неужто вы не пожалеете безвинно вами погубленного человека? Из-за вас я страдаю, потеряв и честь, и средства к существованию. Сколько лет я втуне к вам обращаюсь, и нет ответа. Помогите, пришлите хоть денег за все злосчастья, мною испытываемые. Письмо посылаю с оказией, питая надежду, что вы наконец ответите и сжалитесь.

Известный вам Антон Тимофеев».

Кир Пахомыч ещё раз перечёл не без труда эти крупно напечатанные строки и только потом заметил, что в конверте была ещё следующая записка:

«Милостивый государь, Кир Пахомыч!

Письмо г. Тимофеева доставляю вам в копии. Подлинник находится у меня. Соболаговолите известить с посланным, когда могу передать его вам, если только вам угодно его получить и иметь более подробные объяснения.

С почтением имею честь быть Николай Келасури».

Кир Пахомыч спрятал оба письма в карман и позвонил.

Вошёл тот же тихий и робкий конторщик.

— Кто принёс письмо?

— Какой-то человек — еврей, должно быть.

— Пошли его сюда!

Через минуту вошёл худенький старичок-еврей.

Кир Пахомыч пытливо взглянул на него и сказал:

— Кто тебя послал?

— Господин Келасури.

— Из каких он? Я что-то такого не слыхал.

— Из ссыльных, Кир Пахомыч, но только, осмелюсь доложить вам, очень образованный господин. Очень...

— Скажи ему, пусть побывает у меня вечером, в девять часов.

Старик еврей исчез, а Кир Пахомыч несколько времени сидел погружённый в раздумье.

— Ишь, подлецы! — наконец злобно проговорил он.

И старая, давно забытая история невольно пронеслась перед Киром Пахомычем.

История, о которой теперь вспомнил Кир Пахомыч, сидя в своём стареньком жёстком кресле перед письменным столом, была, пожалуй, одной из самых невинных «историй» в тёмном, как тайга, прошлом сибирского туза и миллионера.

Не попади эта неприятная записка в руки какого-то подозрительного незнакомца, которого Кир Пахомыч сразу заподозрил в недобрых намерениях относительно своего карма-

---

на, он, конечно, не стал бы терять времени на такие пустяки, как воспоминания.

Как человек практический, не имевший дурной привычки считаться с совестью и приучившийся долгим опытом мерить всё и всех на деньги, он и вообще-то не любил вспоминать кое-какие эпизоды из своего прошлого, тем более, что они уже слишком пахли острогом, а с тех пор, как он постепенно из «Кирьки — варнацкой души» сделался почтенным и уважаемым Киром Пахомычем, и подавно все эти эпизоды как-то затерялись в памяти, прикрытые давностью и общим почётом и уважением.

Если Кир Пахомыч и вспоминал иногда о своём прошлом, то вспоминал всё хорошие вещи, рассказывая не без заносчивого, горделивого чувства, как он был прежде последним мужиком и как благодаря своим трудам и терпению сделался богачом, который за свои деньги может купить кого угодно.

Само собой разумеется, что, повествуя под пьяную руку о своих трудах, Кир Пахомыч, по примеру некоторых автобиографов, о многом умалчивал, кое-что недосказывал, представляя слушателям обширное поле для догадок и, по-видимому, нисколько не заботясь о том, что посторонние люди не получают точных сведений о первоначальном источнике его богатства.

Так, например, рассказывая, что ему шибко повезло на ямщине (цены в те поры на перевозку клади стояли хорошие), Кир Пахомыч деликатно обходил молчанием один предшествующий эпизод в его жизни, бывший с ним в то время, когда он молодым парнем служил ямщиком на одной из станций сибирского почтового тракта и за вороватый и отчаянный нрав приобрёл кличку «варнацкой души». Хотя Кир Пахомыч и упоминал вскользь, что возил «кульеров» и был ничего себе ямщиком, но никогда не проговаривался, как одною тёмною осеннею ночью он остановил лошадей и, снявши у крепко заснувшего седока-доверенного, неумеренно выпившего на станции, сумку с деньгами, зарыл её под кедром и преспокойно отправился далее, не забыв по приезде попросить у оплоумевшего доверенного на водку.

Он высидел, правда, месяца четыре в остроге, но был отпущен на все четыре стороны, откупившись небольшой сравнительно долей из украденных им денег. А денег в сумке оказалось до трёх тысяч, и эти-то три тысячи и послужили основанием дальнейшему преуспеянию, попавши в умелые руки.

Вскоре после этого он для отвода глаз отправился на прииски, там, между прочим, выгодно скупал краденое золото, и когда, года через два, действительно занялся ямщиной,

---

то ему, как он выражался, «шибко повезло», особенно после того, как на обоз, который он вёл сам, напали разбойники и отбили на значительную сумму чаёв. Это дельце, устроенное не без участия Кира Пахомыча, дало ему хороший барыш от перевозки, и хотя возбудило было подозрения, но Кир Пахомыч этим не смущался, зная очень хорошо, что деньги всё прикроют.

Вскоре после этого он пошёл в гору. Ходили тёмные слухи, будто в те же времена Киру Пахомычу повезла не одна только ямщина, но и партия хорошо изготовленных лондонских кредитных билетов, но слухи эти не подтвердились. По крайней мере, исправник, производивший негласное дознание и ездивший на заимку Кира Пахомыча, где — по чьему-то доносу — будто бы хранилась партия, клятвенно уверял, что все эти слухи вздор, и в доказательство мог бы представить куш самых подлинных кредитных знаков, полученных им от Кира Пахомыча. Но он, впрочем, так далеко не шёл, а ограничился официальным изложением дела. И когда вслед за тем на заимку Кира Пахомыча приехал следователь и сделал настоящий обыск, то уехал ни с чем.

С той поры счастье не переставало ему везти. Он шёл уверенными, твёрдыми шагами к цели и рвал, где только было можно. Безнаказанность только увеличивала его дерзость, развивая в этом энергичном мужике презрение к людям и уверенность, что всякого чиновника можно купить. Он оставил однако насиженные места, где про него ходила не особенно лестная молва, и перенёс свою деятельность в Жиганскую губернию. Он записался в купцы, и скоро Кира Пахомыча считали одним из самых богатых жиганских обывателей. Целый округ был в руках у Кира Пахомыча. Сеть кабаков была раскинута им, и сам исправник побаивался Толстобрюхова, так как от него зависело, карать или миловать. Один исправник, негодный Киру Пахомычу, даже слетел с места благодаря неудовольствию Кира Пахомыча за придирки. Это была сила, с которой надо было считаться.

Несмотря на наружное спокойствие точно застывшего в своём кресле Кира Пахомыча, он испытывал неприятное, досадливое чувство, когда ровно в девять часов в кабинет к нему вошёл высокий, хорошо одетый брюнет с лицом, сразу выдающим принадлежность этого господина к восточным человекам.

Красивый, статный, обладавший мягкими манерами человека, бывавшего в обществе, он не без апломба отрекомендовался строго и пытливо глядевшему на него хозяину Николаем Саркисовичем Келасури и, протянув руку с большим перстнем на пальце, проговорил с заметным акцентом восточного человека, что крайне рад случаю, доставившему

---

ему удовольствие лично познакомиться с таким почтенным и уважаемым человеком, как Кир Пахомыч.

Но Кир Пахомыч молча выслушал это приветствие и знаком своей жилистой здоровой руки указал на стул, стоявший поблизости.

Несколько секунд длилось молчание, во время которого и гость, и хозяин оглядывали друг друга.

И только когда и тот и другой сделали, казалось, один другому безмолвную оценку, Кир Пахомыч сухо спросил:

— Вы здесь постоянно проживаете или проездом?

— Теперь постоянно...

— Тэк-с, тэк-с!.. — протянул Кир Пахомыч и небрежно прибавил: — Какое там письмо у вас, что вам понудилось меня видеть? Признаться, я хорошо не понял, какое у вас ко мне дело.

— Собственно говоря, пустое дело, Кир Пахомыч! Самое незначительное дело! — отвечал, приятно улыбаясь и открывая ряд блестящих зубов, господин Келасури. — И если я позволил себе беспокоить вас, то единственно в видах вашего же интереса... Ко мне, как вам известно, доставлено письмо господина Тимофеева к вам, с просьбой самого Тимофеева попросить вас помочь ему. Обстоятельства его в настоящее время довольно трудные, и вы, конечно, как добрый человек, не откажете в его просьбе... Посылать его письмо к вам я не решался... Письмо, изволите знать, могло попасть в другие руки, так я предпочёл предварительно послать копию.

— Однако по каким правам этот Тимофеев лезет ко мне? Какой такой этот Тимофеев?

— Чиновник бывший, Кир Пахомыч... чиновник... Судился, если изволите припомнить, за кражу дела из суда и был приговорён.

— Так мне-то какое дело? — резко перебил Кир Пахомыч, и в его глазах блеснул огонёк.

— А уж этого я не знаю, Кир Пахомыч, право, не знаю! — ещё мягче проговорил восточный человек. — Я, собственно, из участия к несчастному человеку, обратившемуся к моему посредству.

— Где же его письмо? Дайте-ка посмотреть...

Господин Келасури вынул из кармана какую-то бумажку, но, однако, не передал её Киру Пахомычу, протянутая рука которого опустилась на стол и стала медленно отбарабанивать трель по столу, а попросил позволения прочитать её.

— Уж я читал! — остановил его Кир Пахомыч.

— То-то что не всё изволили читать, Кир Пахомыч... Я, видите ли, не решился послать копию всего письма из осторожности... Так не угодно ли будет послушать?



---

Кир Пахомыч презрительно усмехнулся и промолвил:

— Что же, читайте... Что там пишет какой-то Тимофеев... Чудно что-то всё это!

Тогда господин Келасури, тихо и не спеша, понизив голос почти до шёпота, прочёл письмо с следующей прибавкой, которой не было в копии:

«Вы очень хорошо знаете, Кир Пахомыч, за что я попал под суд... Не напои вы меня тогда, когда я польстился на ваши пять рублей и принёс к вам на дом дело, я не был бы теперь несчастным человеком... Я никак не думал, что вы поступите так жестоко и, воспользовавшись доверчивостью, бросите в печку дело у меня на глазах... Тогда, когда я ползал в ногах ваших, вы обещали выгородить меня и, во всяком случае, обеспечить мою семью, но вы нарушили слово и от всего отреклись... Я был наказан, а вы оставлены в подозрении. Справедливо!.. И все думали, что я получил от вас большую сумму. Снова взываю теперь к вашей совести: я в нищете с семьёй... Помогите мне, вознаградите за всё, что вы сделали... Если же вы останетесь глухи, я буду просить передать это письмо губернатору и постараюсь отомстить вам. Последний раз пишу».

По мере чтения лицо Кира Пахомыча делалось суровее и бесстрастнее, и, когда господин Келасури окончил чтение, только движение личных мускулов широкого, корявого лица Толстобрюхова выдавало его волнение. Но у него уже готов был план.

— Ловко подведено, нечего сказать! — проговорил он. — Только знаешь ли, брат, чем это пахнет? Это — вымогательство... А что, если я сейчас за полицией пошлю, ась? — вдруг пригрозил Кир Пахомыч и со злой насмешкой взглянул на восточного человека. — Пусть полиция разберёт, каково это приходиться к людям и застрашивать их, чтобы вымогать деньги...

Но «восточный человек», по-видимому, знал, с кем имеет дело. Он хоть и побледнел, но не без иронии заметил:

— Напрасно будете посылать за полицией: ведь подлинное письмо я не принёс... Оно у меня припрятано в надёжном месте, Кир Пахомыч.

Кир Пахомыч только бессильно крикнул и хрипло проговорил:

— Сколько?

— Вот так оно лучше, Кир Пахомыч, а то горячиться... это к чему же? Совсем не нужно. И должен вам сказать, что это письмо было бы вам особенно неприятно теперь, когда пишут доклад о вас в Петербург... Я имел случай познакомиться с делом и знаю, что новый секретарь Невежин, которому по-

---

ручено написать доклад, не на вашей стороне. Так это письмо вместе с мнением господина Невежина, пожалуй, и поколеблют генерала. Как вы думаете, Кир Пахомыч?

Кир Пахомыч смутился и с меньшей сухостью стал относиться к господину Келасури.

А тот между тем продолжал:

— В этом деле есть, собственно говоря, одно компрометирующее показание против вас — показание Тимофеева. Так если б его устранить...

Кир Пахомыч вздрогнул, но не отвечал ни слова.

— Это показание, говорю я, если бы уничтожить, так господину Невежину не на что было бы опереться в объяснениях...

— А как вы можете сделать это?

— Очень просто: я живу рядом с Невежиным, и когда его не будет дома...

Кир Пахомыч всё не отвечал и, спустя минуту, сказал:

— Так за письмо сколько?..

— Дёшево, Кир Пахомыч... Самые пустяки... Одну тышчонку... Пятьсот пошлю Тимофееву, и пятьсот — себе за хлопоты... Затем Тимофеев, после того как пошлют в Петербург бумагу, будет вам уж не опасен.

— Тысячу? За такие пустяки? Это как же? Бери три сотни и неси письмо...

Но господин Келасури даже обиделся и поднялся с места. Он раскланялся и уж дошёл до дверей, как Кир Пахомыч вернул его.

Сторговались на пятистах рублях. Келасури обещал на другой же день передать письмо.

— Но только уж вы сами потрудитесь приехать за ним, Кир Пахомыч! Я за полицией не пошлю! — усмехнулся господин Келасури. — Можно тогда переговорить и насчёт другого дельца! — прибавил восточный человек, раскланиваясь.

Он весело шёл домой, довольный, что так ловко обработал Кира Пахомыча, поймав его на удочку. Письмо, составленное им от имени Тимофеева, было делом его собственных умелых рук, отличавшихся способностью подделываться под всякие почерки. А с почерком Тимофеева он хорошо познакомился из дела, которое небрежно валялось на столе Невежина, и Келасури, бывший до сего времени в более отдалённых странах и слышавший от Тимофеева его историю, воспользовался теперь случаем хорошего шантажа, надеясь при случае повторить его...

Что же касается до самого Тимофеева, то хотя он время от времени и обращался с просьбами о помощи к Киру Пахомычу, но у него никогда и не являлось мысли застрашивать

---

погубившего его человека. Он был для этого слишком прост и слишком порядочен, этот бывший маленький пьяненький чиновник.

Оставшись один, Кир Пахомыч встряхнул головой и, хрипев по адресу только что ушедшего гостя непечатное ругательство, задумался. Скоро, однако, лицо его просияло. Хорошая мысль блеснула в его голове, и он отправился спать, решившись назавтра поговорить с полицеймейстером: нельзя ли силой отобрать у Келасури компрометирующее его письмо и выпроводить его из Жиганска.

«Верно, этот мошенник недобрыми делами занимается!» — возмутился даже почтенный Кир Пахомыч, обдумывая свой план оплести шантажиста и за более дешёвую цену приобрести письмо.

## X

### Добрая старушка

В тот самый вечер, когда «восточный человек» имел свидание с Толстобрюховым, Степанида Власьевна торопливо вошла к Невежину и как-то таинственно проговорила, понижая голос:

— Вот что, Евгений Алексеич... Осмотрите-ка хорошенько, целы ли ваши вещи...

— Что случилось, Степанида Власьевна? Зачем мне осматривать вещи? — спросил Невежин, удивлённо взглядывая на озабоченное лицо доброй старушки.

— А то и случилось... Недаром не нравится мне этот черномазый... Завтра же откажу ему! — продолжала старушка, внимательно оглядываясь по сторонам. — Уж вы, пожалуйста, Евгений Алексеич, осмотрите-ка у себя в ящиках. Долго ли до греха... Уходите из дому — дверей не запираете; здесь, батюшка, всякого отчаянного народу много... На то и Сибирь!

— Да у меня и осматривать-то особенно нечего, Степанида Власьевна...

— Ну однако... На одном столе-то сколько вещей!.. И зачем вы вот этот портсигар не спрячете? — упрекнула старушка, указывая на большой серебряный портсигар, лежавший на столе. — Всегда он у вас здесь валяется. Не носите его, так лучше спрятать. То-то, видно, вам, петербургским богачам, добра своего не жалко! — ворчала Степанида Власьевна, беспокойно следя, как Невежин осматривал ящики письменного стола и комода.

---

— Ну, вот видите — напрасная тревога. Всё цело! — объявил Невежин.

Но Степанида Власьева тем не менее не успокоилась, а напротив, ещё таинственнее покачала головой.

— Странно, очень странно! — протянула она.

— Да вы успокойтесь, Степанида Власьева. Присядьте-ка лучше да расскажите, в чём дело.

— Присесть-то я присяду, а только дело совсем щекотливое. Никогда не бывало у меня такого подозрительного жильца, как вот этот! — сердито сказала старушка, энергично махнув маленьким кулачком по направлению комнаты, в которой жил черномазый. — Пьяницы, признаться, живали... ну, шумливый, беспокойный народ — это правда, но чтобы какая-нибудь, можно сказать, низкость — этого, слава богу, не случилось. Да и Прасковья-то наша сдурела, ведь только вот сейчас рассказала про его все таинственности... Однако и её ругать нельзя, если рассудить по совести, хотя, признаться, я и намылила ей голову! — вставила старушка. — Ей тоже не в догадку, видите ли, зачем это он усылает её именно тогда, когда ни меня, ни вас нет дома. Непременно завтра же велю ему убираться. Пусть он оставит нас в покое! — снова сердито прибавила Степанида Власьева, поправляя сбившийся на затылок старенький, затасканный чепец. — Что ему нюхать по чужим комнатам!

— Да разве он нюхал, как вы говорите? — вставил, улыбаясь, Невежин, рассчитывая, что этот вопрос приведёт расхажившую старушку к скорейшему изложению дела.

— То-то и есть, что нюхал, и, должно быть, не один раз... Нет ли у вас здесь каких-нибудь врагов, Евгений Алексеич? — совсем неожиданно спросила Степанида Власьева, видимо, старавшаяся найти объяснение мучившей её загадки.

— Едва ли! — усмехнулся Невежин. — Я здесь почти ничего не знаю.

— И я полагаю, что так. И с какой стати иметь вам врагов?.. Кому вы мешаете? Нет, тут, видно, что-нибудь другое... Покойник муж мой всегда говорил: со всех сторон, говорит, Стешенька, вещь разгляди, и так и этак, тогда, говорит, найдёшь и причину. Так вот, ушла я, видите ли, часу в седьмом проведать одну знакомую. Утром на базаре стряпка её мне сказывала, что барыня заболела, — простыла, вернувшись с поля, — так я и пошла посидеть к ней. Тоже ведь больному человеку скучно одному, да ещё безо всякого призора. К бедному больному человеку кто пойдёт! — простодушно вставила старушка, словно бы оправдываясь, что она ушла со двора. — Вас дома не было, так я уж без вас вашу-то комнату своим замком заперла, а ключ отдала Прасковье. Хорошо-с. Как

---

только я за ворота, черномазый-то этот к Прасковье: «Сходи, говорит, в булочную, на Большую улицу, сухариков сладких купить. Там, говорит, очень хорошие сухарики!» — и запер за ней двери. А этому, с позволения сказать, варнаку вовсе не сухарики нужны были.

Старушка перевела дух и, не замечая, по-видимому, нетерпения своего слушателя, с прежнею обстоятельностью продолжала:

— Прошло этак, должно быть, с четверть часа, как Прасковья ходила, вернулась домой, стучится, а он что-то долго не отворяет. И покажись Прасковье, будто в вашей комнате кто-то ходит. Думает: вы дома, и давай шибче стучать. И слышалось ей, будто замок запирают; вслед за тем раздались шаги, и двери отворил ей черномазый. Принял это он сухарики, дал ей гривенник и ушёл к себе. Прасковья подошла к вашей комнате, глядит — на запоре; попробовала замок, а замок-то не замкнут — впопыхах-то забыл, верно, подлый человек, запереть. Тогда Прасковья — за ключом; видит — ключ не на том месте, куда она его положила... Ну, замкнула она комнату как следует, а у самой — сомнения... Как я пришла домой, она мне всё и рассказала. Оказывается, что не в первый раз это он её усылал. Наверное, он что-нибудь недоброе затевает! — заключила Степанида Власьевна свой рассказ.

Невежин вспомнил странные звуки по ночам, раздававшиеся прежде в комнате соседа, вспомнил ночную встречу с подозрительной фигурой, напомнившей ему того рыжего, которого он видел вместе с бродяжкой на дороге в Ускоково, и рассказ Степаниды Власьевны вместе с этими фактами приобретал в его глазах некоторое значение.

«Но если бы меня хотели обокрасть, то давно бы обокрали!» — подумал Невежин, недоумевая вместе со Степанидой Власьевной о цели этих непрошенных посещений соседа.

— Уж не дело ли интересуется любопытного соседа? — проговорил смеясь Невежин, машинально переводя взгляд на толстое дело, лежавшее на столе. — Впрочем, к чему оно ему?

— Какое дело? — торопливо переспросила Степанида Власьевна.

— Да вот о Толстобрюхове.

— О Толстобрюхове, Кире Пахомыче? Что ж, видно, нехорошее это о нём дело?

— Не очень хорошее, Степанида Власьевна! — засмеялся Невежин.

— И вы держите его на столе и уходите со двора, не запирая даже комнаты?! — испуганно воскликнула Степанида

---

Власьева. — Что вы, что вы, Евгений Алексеич! Как можно, батюшка? Сохрани бог, вы ещё невинно в беду попадёте! Ведь этот самый Толстобрюхов первый богач здесь... Он на всё решится... Покойник мой говорил, что такого отчаянного человека и между разбойниками не скоро найдёшь... Из-за него уж погиб один пьянчужка-чиновник. Богачу-то ничего, а каково чиновнику-то с семьёй? Бог-то правду видит, да не скоро скажет! Кто их знает, быть может, и черномазый-то за сухариками из-за этого самого дела посылает!.. Ах, какой же вы неосторожный, Евгений Алексеич... Спрячьте, спрячьте его поскорей, — волновалась старушка чиновница, как видно, хорошо знавшая опасность хранения сибирских дел. — Сейчас же спрячьте!

Невежин, несколько изумлённый такой настойчивостью испуганной старушки, однако, послушался и запер в ящик дело.

— Так-то оно лучше, а и ещё того лучше — совсем не держать дел у себя.

— Завтра я его во всяком случае снесу.

— Кончили, значит?

— То-то нет... хочу посоветоваться...

— И не носите его домой лучше... А насчёт чего это дело? Оправить, что ли, хотя Кира Пахомыча? — полюбопытствовала старушка.

— Хотят-то хотят, но я хочу объяснить, что этого не следует...

Старушка любовно взглянула на молодого человека и, тихо покачивая головой, проговорила:

— Ох, Евгений Алексеич, как бы вы не напрасно хлопотали... Оправят его и без вас, если нужно... В ответ на эти слова Невежин рассмеялся.

— Однако вы, Степанида Власьева, мрачно на людей смотрите...

— Насмотрелась я, батюшка, здесь-то, насмотрелась... Вам-то снову оно, пожалуй, и не так видно. Не доводилось, как посмотрю, вам со всякими людьми жить. Не то ещё увидите. Ну, да, впрочем, извините, батюшка, я старуха простая, мелю себе, что на ум взбредёт. Дай вам бог успеха. А уж завтра соседа у вас не будет... Довольно ему по чужим комнатам лазить. Только — знаете ли что — я этого ему прямо не скажу. Как вы думаете, ведь не следует говорить?

— Конечно, не следует.

— Ну вот, и я так думаю, как вы! — обрадовалась Степанида Власьева. — Я ему скажу, что получила депешу, племянница, мол, едет. Хорошо будет так соврать?..

— Отлично.



---

— Бог даст, и в самом деле враньё-то в руку будет! Вот-то хорошо было бы!.. А уж очень-то хвалила вас Зиночка, — простодушно прибавила Степанида Власьевна, не замечая, какое хорошее впечатление произвели эти слова на молодого человека.

Старушка ушла, осмотрев предварительно со вниманием все болты в ставнях и посоветовав на ночь запирасть изнутри дверь на задвижку, а Невежин долго ещё ходил по комнате, обрадованный, что эта девушка хвалила его недостойного, и какие-то смутные надежды неволью закрадывались, в его сердце.

Резкий звонок вывел его из задумчивости. Он заглянул за дверь и увидел телеграфиста.

— Не мне ли телеграмма?

— Нет, Степаниде Власьевне.

— Вот диковина. От кого бы это?.. Уж не случилось ли чего с сыновьями? — испуганно говорила Стенанида Власьевна, принимая дрожащими руками депешу. — Страсть не люблю я этих депеш. Ну-ка, прочтите поскорей, Евгений Алексеич, а то без очков мне и не прочитывать.

Невежин расписался в получении телеграммы и громко прочитал следующее:

«Еду на „Ермаке“. Буду Жиганске субботу».

И ещё веселее и громче, голосом, полным волнения, прочёл подпись: «Зинаида Степовая».

— Ну вот и напроорочила! — радостно воскликнула добрейшая старушка. — Ну вот и «суприз». Теперь и врать не надо. Прасковья, слышала? — обратилась она к Прасковье, которая, проводив телеграфиста, уже стояла в дверях с вытаращенными глазами по поводу такого неожиданного события, как получение её барыней телеграммы.

— А что? — испуганно отозвалась старая стряпка.

— Как что?.. Зиночка едет.. вот что!

Едва ли сколько-нибудь привлекательное даже и в дни цветущей молодости, широкое, скуластое, с плоским носом, Прасковьино лицо, обыкновенно суровое и угрюмое, вдруг растянулось в самую добродушную улыбку. Казалось, всё лицо её улыбалось: и нос, и щёки, и подбородок, и большие, несколько напоминавшие тюленьи, глаза. И эта улыбка скрасила некрасивое лицо выражением любви и доброты.

— Зинаида Николаевна? — переспросила она и вдруг весело засмеялась. — Этого, значит, вон?

— Завтра же вон...

— Уж я ему сегодня скажу, как вернётся.

— И скажи... Однако извините, Евгений Алексеич, — спохватилась Степанида Власьевна, — мы тут-то у вас болтаем и только вам мешаем.

---

Но Невежин удержал старушку. Ему так хотелось поговорить о Зинаиде Николаевне. И они вдвоём долго ещё болтали о ней. Старуха тётка много рассказывала об этой доброй «славной Зиночке», вспоминая её гимназическую жизнь.

— Никогда не забывала она тётку-то свою! — прибавила, смахивая с глаз слёзы, растроганная старушка, заключая свои воспоминания. — И самой-то, должно быть, в Питере не сладко приходилось, а она нет-нет да и пришлёт деньжонок либо мне, либо моим сыновьям. Редкая девушка Зиночка!..

Невежин долго не мог уснуть и всё расхаживал по комнате, мечтая о близком приезде Зинаиды Николаевны. Самые разнообразные планы сплетались в его голове, и будущая жизнь казалась ему полной смысла и значения, точно приезд этой девушки должен был совсем переделать его жизнь.

«А жена?» — пронеслась, как молния, мысль в его голове, и все эти смелые мечты о новом счастье разлетелись в прах. И мрачное настроение овладело молодым человеком.

Да, наконец, разве смеет он думать о счастье?.. Разве в ответ на его признание не ответила она, что не может разделить его чувства?..

Грустный, он лёг наконец спать, и долго ещё думал о своих отношениях к Зинаиде Николаевне. Как обыкновенно бывает с бесхарактерными людьми, быстро переходящими от впечатления к впечатлению, он скоро успокоился на мысли, что будет пользоваться дружбой молодой девушки.

«И это уж счастье!» — шептал он, засыпая с сладкими мечтами о таком счастье, которое, однако, рисовалось ему не в отвлечённой форме, а воплощённое в красивом образе молодого, полного жизни, женского существа...

Он уже не различал, мечтал ли он, или в грёзах сна видит красивую, задумчивую девушку, как вдруг пронзительный лай на дворе разбудил его, рассеяв чудное виденье.

Собака вдруг смолкла. Невежин стал прислушиваться. Рядом раздавался храп соседа. Молодой человек собирался было снова заснуть, как вдруг до его слуха явственно донёсся тихий стук ставней в соседней комнате.

Невежин тихо приподнялся и стал слушать. Не было сомнения, что пробовали отворить окно.

Он ощупал под подушкой револьвер и, охваченный волнением, стал ждать, что будет дальше.

---

## XI

### «Сибирские» ощущения

Прошло несколько мгновений в напряжённом ожидании. После стуков, повторившихся несколько раз, вновь наступила мёртвая тишина. Но ненадолго. Через минуту Невежин, услышав чьи-то осторожные шаги около дома, и вслед за тем тот же стук, но уже более смелый и громкий, повторился у следующего окна. Очевидно, нетерпеливая рука вора, рассчитывавшего на крепкий сон квартиранта, действовала уже слишком бесцеремонно.

Страстное желание новых ощущений, доселе никогда не испытанных, безотчётно охватило молодого человека, и в его уме быстро созрел план поймать вора.

Осторожно, стараясь не шуметь, поднялся он с постели и перешёл в соседнюю комнату. Свет, проникавший сквозь щели ставней, позволил ему оглядеться в полумраке. Снова раздался стук у третьего окна. Тогда Невежин быстро подошёл к крайнему, четвёртому окну, выходившему на двор, чуть слышно вынул чеку из болта и, возбуждённый, притаив дыхание, прижался в простенке между двумя окнами, испытывая ощущение, подобное тому, что испытывают страстные охотники, поджидая зверя.

Расчёт Невежина оказался верным. Через несколько мгновений раздались шаги и послышался стук. Ставень подался и полегоньку отворился с тихим скрипом. Бледный, слабый свет зачинающегося утра рассеял мрак комнаты, и снова наступила тишина.

Невежин чувствует, что сердце его бьётся чаще и что нервная дрожь пробегает по всему телу. Ему вдруг делается жутко. Разные рассказы об отчаянных сибирских грабителях, не останавливающихся перед убийством, невольно приходят в голову. Он упрекает себя в малодушии и крепче сжимает в руке маленький револьвер.

Струя сырого, холодного воздуха ворвалась в комнату через отворённое тихо окно. Невежин подобрался, повернул голову и ждёт, чувствуя, как закипает в нём злобное чувство к ближнему одновременно с волнением страха и какого-то странного любопытства.

Прошло несколько секунд томительного ожидания, пока из окна высунулась коротко остриженная, с маленькою плешью, рыжая голова. Вслед за тем Невежин увидел безбородую, отвратительную рябую физиономию того самого рыжего, с которым Невежин вместе плыл на барже и потом встретился в лесу.

---

При виде этого героя петербургских трущоб молодой человек стал гораздо спокойнее и, не двигаясь, ждал момента, когда вор влезет в окно.

Не подозревая опасности, рыжий перелез в комнату и хотел уже двинуться далее, как вдруг, повернув голову, увидел перед собой Невежина с револьвером в руке, направленным в него.

Эта неожиданная встреча до того поразила рыжего, что он в первую минуту ошалел от изумления и глядел испуганным трусливым взглядом на молодого человека, словно бы спрашивая: что это значит?

— Если двинешься с места, пушу пулю в лоб! — внушительно проговорил Невежин, заметив движение рыжего броситься к окну.

Тот замер на месте, вздрагивая и беспомощно озираясь вокруг своими бегающими воровскими глазами.

— Ты один пришёл? — допрашивал Невежин.

— Один!

— Ты знал, что я здесь живу?

— Нет, не знал, ей-богу, не знал... Если б я знал, то ни за что бы не полез к вам... Я тоже добро помню... А как же...

— Ты бывал здесь прежде?.. Помнишь, в ночь после того, как я тебя встретил в лесу? Я ведь узнал тебя...

— Это правда. Я заходил сюда...

— Зачем? Не к Келасури ли ты заходил?

Невежину показалось, что при этом имени лицо рыжего смутилось.

— Нет, я такого не знаю... Так заходил понаведаться — не лежит ли что плохо...

— Ты, брат, лжёшь, и я сейчас же выстрелом разбужу соседей!

— Не губите меня, господин Невежин, и я вам за это расскажу всю правду! — взмолился рыжий.

— То есть как это не губить?

— Дайте мне хорошую затрещину за мою неосторожность и отпустите меня... Клянусь богом, я сегодня же уберусь из Жиганска, будь он проклят!

Молодой человек, казалось, раздумывал.

— Какая вам польза, если вы меня задержите? — продолжал шёпотом рыжий. — Я ведь всё равно убегу... Только введёте меня в лишний расход на полицию да лишнего врага наживёте, а узнать — ничего не узнаете... Я ведь не вас обкрадывать пришёл! — таинственно прибавил рыжий. — Дайте слово, что отпустите меня, и я вам услужу, а сам поскорей уйду из этого города. То ли дело в Питере?.. — заключил рыжий с цинической усмешкой.

---

— Ну, чёрт с тобой, рассказывай! — проговорил Невежин, невольно заинтересованный.

— Я верю такому господину, как вы. Так слушайте: приходил я сюда за делом, которое лежит у вас на письменном столе.

— По поручению Келасури?

Рыжий утвердительно махнул головой и чуть слышно прошептал:

— Дело-то, господин Невежин, уберите поскорей. За выкраску хорошие деньги дают... Да опасайтесь соседа... Я его ещё в Питере знал. Он — отчаянный человек, даром что франтом одет. И очень ловок... Затем, с вашего позволения, я удалюсь! — униженно проговорил рыжий.

Невежин кивнул головой.

Рыжий быстро перелез через окно и, скрывшись в калитке, побежал по улице.

Молодой человек запер окно и, вздрагивая от холода, бросился в постель. Но заснуть уж он не мог от только что испытанного волнения. Наконец он зажёл свечку и стал читать.

Вскоре он убедился, что и его странный сосед не спит. За стеной раздавались его мерные и спокойные шаги по комнате.

Наступившее затем дождливое холодное утро, предвещавшее наступление осени, было полно неожиданностей.

Во-первых, как только Прасковья внесла самовар, явилась Степанида Власьева и в смущении объявила, что сосед настоятельно просит отложить переезд до следующего дня, протестуя против такого внезапного предложения переместить квартиру.

— Как быть? Посоветуйте, голубчик! — спрашивала Невежина добрая старушка.

— Пригрозите ему, что вы обратитесь в полицию...

— Грозить-то я боюсь... Кто знает, как он оплатит за это.

— Так пусть до завтрашнего дня проживёт. Дело-то я сегодня же унесу.

— Скорее бы он убрался только! — вздохнула Степанида Власьева. — А уж я без вас не выйду из дому — будьте спокойны! — внушительно промолвила она, уходя от Невежина.

Напившись чаю, Невежин достал из письменного стола объёмистое толстобрюховское дело, внимательно пересмотрел в нём все страницы, затем перечитал свою памятную записку, составленную для Василия Андреевича, положил её в портфель и собирался было уходить, как в двери к нему тихо постучали.

— Войдите!

В дверях появился неожиданный гость — Сикорский.

Хотя Невежин и встречался с Михаилом Яковлевичем в доме у Василия Андреевича и хотя Сикорский был всегда

---

необыкновенно ласков с Невежиным, тем не менее Невежин до сих пор не делал визита Сикорскому, и потому появление его, да ещё в такой ранний час, несколько удивило молодого человека.

Вкрадчивый и любезный, как всегда, Михаил Яковлевич извинился, что так рано побеспокоил милейшего Евгения Алексеевича, пожал руку с своей обычной сладкой улыбкой и, присаживаясь, шутливо прибавил:

— Я потревожил ваше одиночество в качестве чрезвычайного посланника. Старик наш послал меня просить вас сейчас принести к нему дело Толстобрюхова.

«Опять это дело! Все точно сговорились заботиться о нём!» — невольно усмехнулся про себя Невежин и проговорил, придвигая Сикорскому ящик с папиросами:

— Я только что собирался нести его...

— И отлично. Если угодно, поедem вместе, у меня извозчик. А то наш старик рвёт и мечет...

— Это почему?

— Да сейчас ему доложили, будто это дело хотят похитить. Вы понимаете, какая могла бы быть неприятность для старика, если бы этот слух оказался справедливым...

Невежин изумился. Откуда могли узнать об этой истории?

— Вы удивляетесь? — усмехнулся Сикорский. — Вам непонятна цель, с которой хотели украсть дело?

— Признаюсь всё это не совсем для меня понятно...

— Поживёте здесь — просветитесь! Цель очень некрасивая — шантаж...

Невежин совсем был сбит с толку этим заявлением.

— Здесь немало негодяев, которые не прочь добывать себе средства таким путём! — проговорил с благородным негодованием Сикорский. — Вчера к Толстобрюхову явился некий артист, сосед ваш, требуя денег за какое-то письмо и предлагая украсть дело. Но только, пожалуйста, чтобы всё это было между нами... Старик просил не разглашать об этой истории, — вставил Сикорский. — Здесь ведь нас, ссыльных, недолюбливают, особенно если нам дают возможность честно заработать кусок хлеба, — прибавил Сикорский и меланхолически вздохнул.

— И сам Толстобрюхов сказал об этом Василию Андреевичу? — спросил Невежин, не совсем довольный замечанием Сикорского о «нас, ссыльных».

Сикорский на это ответил как-то уклончиво, умолчав, однако, что сообщил об этой истории он сам и что намекнул при этом Василию Андреевичу на опасность давать дела «таким неопытным молодым людям, как милейший Евгений Алексеевич», к которому, кстати заметить, Сикорский питал не

---

особенно дружелюбные чувства, особенно с тех пор, как Невежин заменил Сикорского в качестве домашнего секретаря.

Умолчал Михаил Яковлевич также и о том, что поехал он к Василию Андреевичу доложить об этой истории вслед за тем, как Толстобрюхов, ценя в Сикорском опытного советника, рано утром приезжал к Михаилу Яковлевичу посоветоваться и уехал от него к полицеймейстеру значительно успокоенный.

— Тут, Евгений Алексеевич, надо быть очень, очень осторожным, — заметил Сикорский. — Уж вы извините, что я позволяю себе лезть с непрошеными советами, но поверьте...

Он не договорил, а только нежно взглянул на молодого человека и взялся за свой фетр.

— Так поедem вместе? — сказал он, подымаясь со стула.

— Поедемте.

Дорогой Сикорский, между прочим, полюбопытствовал узнать, написал ли Невежин доклад и какое впечатление произвело на него чтение толстобрюховского дела.

Невежин ответил что доклада не писал, но составил для Василия Андреевича памятную записку.

— А из чтения дела я вывел заключение, что этот Толстобрюхов большой мерзавец и что Василий Андреевич, вероятно, был введён в заблуждение, имея намерение просить за такого негодяя.

Сикорский выслушал эту горячо произнесённую тираду, не моргнув глазом, и только во взгляде его промелькнуло выражение не то насмешки, не то презрения, когда он проговорил:

— Однако вы из горяченьких, многоуважаемый Евгений Алексеич!..

И при этом засмеялся тихим, сдержанным смехом, открывая ряд своих белых зубов, что придавало его худому длинному лицу некоторое сходство с лисьей мордой.

Хотя Василий Андреевич и нахмурился, когда Невежин вместо доклада подал ему краткую памятную записку, но, прочитав её, он вполне согласился, что просить за Толстобрюхова невозможно.

— Спасибо вам, Евгений Алексеич, за работу. Я просмотрю дело ещё раз сам. Меня, кажется, с этим Толстобрюховым ввели в заблуждение! — вставил старик, бросая взгляд на безмолвно сидевшего у окна Сикорского.

И затем, прощаясь с Невежиным, старик проговорил:

— А об этом предполагаемом похищении дела, пожалуйста, никому ни слова. Этого мерзавца Келасури сегодня же вышлют из города. Ну, а теперь частная просьба. Жена нездорова и просит вас посидеть с ней вечер. Непременно приходите...



---

Невежин возвращался домой в хорошем расположении духа. Сознание, что и он на что-нибудь полезен, несколько приободрило его. По крайней мере, есть хоть маленькое дело, о котором он может, не краснея, сообщить Зинаиде Николаевне. Он и в самом деле думал, что это первое дело, порученное ему, получит то направление, которое диктовала человеческая справедливость, не подозревая в эту минуту, что сегодня же будут пушены в ход все возможные пружины, чтобы изменить мнение Василия Андреевича.

Дома Невежина встретила Степанида Власьевна таинственным сообщением, что от жильца только что уехал частный пристав, о чём-то беседовавший с ним целых полчаса, и что жилец укладывается, собираясь сегодня же уезжать.

— И только злой он какой, если б вы знали! — прибавила Степанида Власьевна. — Прасковья слышала, как он кому-то грозился. «Я, говорит, им задам. Будут ещё меня помнить!» Уж не мне ли он собирается задать? Как вы думаете? — испуганно спрашивала старушка.

## XII

### Толстобрюховская «история»

— Надеюсь, вы к нам, Евгений Алексеевич? — любезно остановил Василий Андреевич в тот же вечер Невежина, встретив его на улице.

Невежин ответил утвердительно.

— И отлично, отлично... жена вас ждёт! — весело продолжал Ржевский-Пряник, пожимая руку Невежину. — Развлеките хоть вы её, молодой человек, а то у Marie опять нервы... Когда у неё шалют нервы, она хандрит, бедная... А уж меня извините — иду в собрание... Надо показаться в обществе...

Старик вдруг оборвал речь, весь как-то подтянулся, приосанился, выпячивая вперёд грудь, и, бросая умильный взгляд на проходившую мимо молодую миловидную женщину, проговорил, понижая голос, по-французски:

— Заметили? Очень недурна, а? И сложена как! — игриво продолжал он, слегка подталкивая молодого человека. — Должно быть, не здешняя... Одета со вкусом и прехорошенькая. Вы не знаете, кто такая?

Невежин невольно улыбнулся, глядя на петушившегося старика, и отвечал, что не знает.

— Верно, приезжая... Здешние туземки не очень-то часто ласкают глаз, — рассмеялся Василий Андреевич, провожая

---

любопытным взглядом турниюр удалявшейся женщины. — На этот счёт вам здесь будет плохо, молодой человек! — прибавил старик, подмигивая глазом Невежину.

И затем, снова принимая степенный вид, Василий Андреевич спросил:

— Ну, а этот мерзавец, сосед ваш, уехал?

— Уехал.

— То-то... Я просил, чтобы его немедленно выпроводили... Кстати, ещё раз попрошу вас обо всей этой «истории» никому ни слова... Держите её в строжайшем секрете...

— Будьте спокойны, Василий Андреевич.

— И лучше жене ничего не говорите. Вы ведь знаете, дамы не умеют держать секретов! — конфиденциально прибавил старик, прощаясь с молодым человеком.

А между тем слухи об этой «истории» с утра облетели город и успели уже принять характер чудовищной сплетни, в которой крупица правды была окутана самыми фантастическими подробностями. И главным виновником этих слухов был, разумеется, сам же Василий Андреевич, который не удержался, чтобы не рассказать «под строжайшим секретом» эту «историю» чуть ли не всем лицам, бывшим у него в тот же день, и таким образом, благодаря болтливости Ржевского-Пряника, весь город говорил о толстобрюховском деле. Рассказывали, будто Невежин прямо-таки за три тысячи привёз дело Толстобрюхову, который тут же его и сжёг в печке; ходили, впрочем, и другие варианты сплетни, а именно — будто Толстобрюхов подкупил какого-то человека, и тот ночью похитил дело, ранив при этом Невежина. На другой день уже передавали за верное, что Толстобрюхов сидит в остроге, но вслед за тем, когда многие видели Толстобрюхова на улице, «история» передавалась под другим соусом, и торжество Толстобрюхова не подвергалось никакому сомнению. Обыватели только рассчитывали, во что обойдётся Киру Пахомычу вся эта «музыка». Наконец, когда изо всех этих разнообразных вариантов выяснилась более или менее правдивая версия, обыватели не хотели верить, что дело Толстобрюхова цело и лежит на письменном столе Василия Андреевича. Редактор местной газеты хотел было сообщить «верное» известие об этом деле, но верное известие не могло попасть в газету, словно бы для того, чтобы публика продолжала повторять неверные известия.

Виновник всех этих толков, всколыхавших на несколько дней стоячее провинциальное болото, Кир Пахомыч Толстобрюхов был крайне недоволен оборотом, какой вдруг приняло его дело, и находился в мрачном расположении духа.

В самом деле, разве не обидно?

---

Он пожертвовал целых пять тысяч на благотворительные дела в полной уверенности, что этой ценой он восстановит свои права, при следующих же выборах сделается городским головой и таким образом увенчает свою карьеру. Ему обещали, за него хлопотали разные влиятельные чиновники, связанные с ним более или менее крупными подачками; сам Василий Андреевич, которого нельзя было подкупить деньгами, но можно было задобрить лестью, намекнул ему, что всё, что от него зависит, будет сделано, и вдруг какой-то приезжий мальчишка становится на дороге этому искушённому во всяких тёмных делах миллионеру, привыкшему в течение долгой своей жизни деньгами оплачивать всякую мерзость и считать чуть ли не всякого человека за товар, продающийся по сходной цене.

Сикорский, первый сообщивший Киру Пахомычу о новом обороте дела, явился вместе с тем на другой день и ангелом-утешителем. Он советовал не унывать, он надеялся, что «старик, прочитавши дело, убедится в совершенной невинности почтенного Кира Пахомыча» и поймёт, что суд, оставивши его в подозрении, совершил величайшую несправедливость. О, он знает, и, по несчастию, горьким опытом, как часто страдают невинные люди за свою доверчивость...

Михаил Яковлевич говорил так убедительно и при этом с таким трогательным смирением, что Кир Пахомыч, не привыкший к изысканному лицемерию и тонкой артистической игре столичных дельцов и действовавший всегда с грубой наглостью сибирского «чумазого», вытаращил ещё более свои пучеглазые глаза и, слушая эти речи, на минуту поверил в голубиную чистоту красноречивого оратора.

Но только на одну минуту, не более.

Этот матёрый сибирский волк, привыкший «рвать с нахрапу», был всё-таки настолько умён и настолько знал людей, что сквозь туман трогательных речей сейчас же почуял в своём собеседнике такого же матёрого волка, как и он сам, но только волка петербургского, умевшего заговаривать зубы и носить овечью шкуру.

И хотя Кир Пахомыч в ответ и промолвил из приличия, что «на свете много несправедливых делов бывает», и даже крикнул при этом, желая изобразить сочувственный вздох, но по всему было видно, что он не прочувствовал надлежащим образом невинности Михаила Яковлевича и в глубине души, вероятно, осудил Сикорского за то, что он, несмотря на своё образование и ум, тратит время на пустые разговоры, тогда как надо говорить дело.

— Так вы полагаете, Михаил Яковлевич, что дело повернётся по-старому? — спрашивал Кир Пахомыч, несколько успокоенный словами своего утешителя.

---

— Весьма вероятно! — промолвил Михаил Яковлевич, но уже более сухим тоном. — По крайней мере, я так полагаю, хотя, разумеется, уверить вас в этом не могу. Старик переменчив.

— Нельзя ли заплатить этому Невежину, язвы его? — задал вопрос Кир Пахомыч с своей обычной грубостью.

Сикорский иронически улыбнулся.

— Пожалуй что и нельзя.

— Богат он, что ли?

— Нет, не богат.

— Так отчего же нельзя? — простодушно изумился Толстобрюхов.

— Не возьмёт!

— Видно, глуп ещё, мальчишка? — переспросил Кир Пахомыч.

— Глуп не глуп, а нельзя! — нетерпеливо заметил Сикорский.

— Так как же быть?

— А вы вот лучше, Кир Пахомыч, отправляйтесь-ка сейчас по своим благоприятелям да их попросите как следует...

— К кому? — промолвил Толстобрюхов, почёсывая затылок.

— Да вот, например, Иван Петрович Пятиизбянский мог бы замолвить за вас доброе словечко Василию Андреевичу. Старик ценит его советы и, между нами сказать, побаивается Ивана Петровича. Ну, а затем прощайте. Желаю вам успеха! О моём участии ни слова!

— А уж я вас, Михаил Яковлевич, уже поблагодарю за ваши добрые советы! — проговорил, понижая голос, Кир Пахомыч, с особенной нежностью пожимая руку Сикорского.

Сикорский отступил шаг назад, презрительно оглядел хозяина с ног до головы и, злобно усмехнувшись, строго проговорил:

— Вы всё глупости говорите. Не надо мне никакой благодарности. Я ведь взяток не беру. Умейте вперёд лучше различать людей!

И с этими словами, гордо приподняв голову, он вышел из кабинета, оставив Кира Пахомыча с вытаращенными глазами.

«Из-за чего же он орудует?» — задавал себе вопрос и не мог его решить Толстобрюхов в то время, как славный кровный серый конь мчал Кира Пахомыча к господину Пятиизбянскому.

«Этот вот даром не станет хлопотать!» — вздохнул Толстобрюхов, поднимаясь минут через пять к своему благоприятелю и раздумывая, сколько придётся ему заплатить за «доброе словечко».

---

### XIII

#### «Пентефриева жена»

В этот злополучный вечер, когда Василий Андреевич с такою легкомысленною настойчивостью упрашивал Невежина развлечь свою скучающую супругу, забывши, по примеру многих мужей, что во время «нервов» подобные развлечения для женщин в сорок лет, да ещё с таким увлекающимся темпераментом, как у Марьи Петровны, весьма и весьма опасны, — в этот вечер вслед за звонком Невежина в квартиру Ржевских вместо красноногого высокого лакея Филата двери отворила пожилая, худощавая, одетая с щегольской опрятностью петербургская горничная, которую Марья Петровна называла Пашей, а остальная прислуга и даже многие чиновники почтительно величали Прасковьей Никаноровной.

Её манеры, хорошо сидящее тёмное шерстяное платье, ловко надетый белый чепчик с распущенными по-французски сзади концами сразу обличали хорошо выдрессированную горничную, привыкшую жить в «хороших домах», — а какой-то вид особой значительности, сказывающийся под скромно сдержанным выражением худого смуглого, «себе на уме» лица, напоминал Невежину знакомый тип любимиц-горничных, которые подолгу живут в доме, знают отлично привычки, слабости и любовные шашни своих барынь и умеют хранить в тайне их секреты, пользуясь за то особенным положением и делаясь незаменимыми.

— Барыня не так здорова и просит пожаловать к ней в кабинет! — приветливо промолвила Паша, снимая пальто с Невежина и взглядывая на молодого человека тем ласково-почтительным взором, каким смотрит прислуга на гостей, особенно приятных хозяевам.

— Вы, верно, не здешняя? — спросил её Невежин.

— Ещё бы! Мы — петербургские... — не без достоинства отвечала, улыбаясь, Паша. — Я у барыни уж пятнадцать лет живу, с тех пор как оне вышли замуж! — прибавила она, и вслед за тем бесшумно скрылась из прихожей.

Невежин вошёл в большую, пустынную залу, прошёл через слабо освещённую гостиную и, остановившись у закрытых дверей с опущенными портьерами, тихо постучал.

— Entrez, entrez\*! — глухо донёсся до него мягкий ласковый голос.

Он отворил двери и, приподняв портьеру, очутился в небольшой комнате, обитой «весёленьким» кретоном. Эту ком-

---

\* Войдите, войдите (*франц.*).

---

нату хозяйка называла своим «маленьким кабинетом», куда допускались только близкие люди.

Этот маленький кабинет был уютным женским гнёздышком, убранном с кокетливым вкусом избалованной женщины, привыкшей к изящному комфорту и хорошо понимавшей, что в известные годы обстановка много значит.

Мягкая мебель — низенькие пуфы, диванчики и стульчики, обитые разноцветной материей, — цветы в красивых горшках и жардиньерках, крошечный письменный стол с несколькими фотографиями, изящная этажерка, два-три японских столика с массой дорогих безделок, пышный туалетный алтарь, весь в лентах и кружевах, и большое трюмо в углу — таково было убранство этого гнёздышка, освещённого томным светом матового голубого фонаря и небольшой лампы под нежным абажуром на небольшом столике перед диванчиком, на котором полулежала с книгой в руке Марья Петровна.

В комнате стоял тонкий, раздражающий аромат женского будуара; весёлый огонёк камина приветливо горел в нежном полусвете этого уютного уголка.

— Вы не можете себе представить, как я рада, что вы пришли наконец ко мне! — проговорила Марья Петровна, протягивая свою белую пышную руку, оголённую до локтя под широким рукавом капота. — Садитесь сюда поближе и рассказывайте, отчего вы меня совсем забыли? — продолжала она с тихим, нежным укором в голосе и во взгляде. — Я совсем расхворалась и расхандрилась и, как видите, сижу одна... Надеюсь, вы извините, что я принимаю вас запросто и в таком больничном наряде. Я сейчас брала ванну, — прибавила Марья Петровна.

Невежин между тем успел оглядеть хозяйку и нашёл, что она вовсе не похожа на страждущую. Напротив, сегодня она выглядела довольно интересной в своём шитом шелками белом кашемировом капоте, тонкая ткань которого, ниспадая по бёдрам красивыми складками, плотно облегала роскошный бюст, обрисовывая его пышные формы. Крошечный кружевной белоснежный чепец, кокетливо накинутый на подобранные сзади блестящие чёрные волосы, моложавил её лицо, отливавшее здоровым румянцем. Чёрная бархатка на открытой шее оттеняла её белизну. Её большие чёрные глаза блестели, крупные чувственные губы складывались в улыбку, и вся она, оживлённая, возбуждённая и благоухающая, глядела совсем помолодевшей красавицей, полной свежести и жажды жизни.

— Что с вами? Давно вы расхворались? — спрашивал Невежин, опускаясь на низенький стул.

---

— Что со мной? — переспросила Марья Петровна. — Что бывает с женщинами в наши годы! — полушутя ответила она, пожимая плечами. — Доктора называют это нервами... Все смеются и не верят нервам, а между тем...

Она на секунду остановилась, подавила вздох и продолжала, опуская глаза:

— А между тем в этом нет ничего удивительного, а напротив, очень много грустного, по крайней мере, для нас, женщин! — проговорила она тихо и раздумчиво. — Ну, да что об этом говорить — это всё старо, как божий мир... Лучше рассказывайте о себе, ведь я вас сто лет не видела... Надеюсь, вы не на минутку? Вы не убежите от больной?

— По крайней мере, если вы не прогоните! — любезно отвечал Невежин.

— Ну, этого вы не скоро дождётесь!.. — улыбнулась Марья Петровна. — Вы думаете, приятно быть в одиночестве? Ведь я была бы одна, совсем одна, если б вы не пришли. Василий Андреевич ушёл, дети собираются спать... Даже Филат, и тот оставил меня, отправившись на какую-то свадьбу, — смеясь, вставила она будто вскользь. — Не приди вы, и я, признаться бы, трусила...

— Трусили? Чего? — удивился Невежин.

— Жиганских грабителей! — рассмеялась Марья Петровна.

— Я буду сегодня, если позволите, вашим рыцарем-хранителем! — шутя проговорил Невежин.

— С удовольствием позволяю. А пока грабители не пришли, будем пить чай! — весело заметила Марья Петровна, видимо, любуясь своим собеседником.

Она придавила пуговку; вошла Паша, поставила поднос и удалилась.

— Вам неудобно там пить чай?.. — спохватилась Марья Петровна. — Садитесь сюда ко мне на диван и рассказывайте, что вы делали всё это время? Кого видели? Почему не заходили ко мне?

— Я всё время работал, Марья Петровна! — оправдывался молодой человек, пересаживаясь на диван.

— Не отговаривайтесь... Лучше просто скажите, что вам не хотелось скучать с такой старухой, как я. Ведь правда? — прибавила она, наклонясь к нему совсем близко, так что он ощутил прикосновение её волнующейся груди.

— К чему вы на себя клевете, Марья Петровна! — остановил её Невежин и деликатно отодвинулся, решившись, несмотря на охватившее его волнение, остаться Иосифом Прекрасным.

— То есть как клевету? — прикинулась непонимающей Марья Петровна.



---

— Вы ведь очень хорошо знаете, что вы не старуха.

— Увы, старуха... Ведь мне, молодой человек, тридцать шесть лет! — проговорила она, утаив целых четыре года.

— И тем не менее...

— И тем не менее вы, кажется, собираетесь сегодня быть настоящим рыцарем и говорить комплименты! — перебила она его, смеясь. — Что ж, говорите... я здесь их не слыхала, а вы знаете, что женщины их любят... Так я, по-вашему, не старуха?..

— Далеко нет...

— И, пожалуй, ещё на старости лет могу нравиться? Не так ли?

— И даже очень! — отвечал Невежин.

— Уж не вам ли? — иронически шепнула опытная кокетка, оживляясь, как старый парадёр\*, слышавший знакомые звуки музыки.

— Отчего ж бы и нет? — легкомысленно проронил в ответ молодой человек, благодаря чересчур близкому соседству Марьи Петровны.

Марья Петровна как-то грустно усмехнулась и, вся вспыхивая, тихо-тихо проговорила:

— Спасибо и за фразу... И, однако, я об этом не догадывалась... Напротив, вы точно избегаете меня! Тогда как я... — прибавила она чуть слышно — и оборвала речь.

Невежин поднял на неё глаза. Она глядела на него своими влажными глазами, полными страсти и мольбы, вся млеющая, с зардевшимися щеками и полуоткрытыми губами, — настоящая жрица Венеры.

И он — да простит ему благосклонная читательница — забыл в это время и благоразумное решение, и светлый, чистый образ Зинаиды Николаевны, и добродушного Василия Андреевича. Кровь стучала в виски, глаза застилались туманом, животное вступало в свои права, — и рука его как-то нечаянно искала и нашла её горячую мягкую руку. И она, как нарочно, придвинулась к нему, обдавая его горячим дыханием и ожигая теплотой своего благоухающего тела, в то время как губы её страстно шептали:

— А я вас так долго ждала... Ведь я люблю вас, люблю, мой красавец!

И с этими словами, забросив руки, она с тихим воплем обвила шею Невежина, прильнула к его губам долгим, жгучим поцелуем и замерла на его груди. После этого бедный молодой человек совсем потерял голову и — к сожалению, должен сообщить — перестал быть Иосифом Прекрасным.

---

\* Верховая лошадь, выдрессированная для парадов.

---

Невежин засиделся долго. Марья Петровна не хотела его отпустить без ужина. Всё та же Паша подала им холодную закуску. Они поужинали вдвоём, запивая шампанским. Марья Петровна уже не плакала, не жаловалась на нервы и, что ещё удивительнее, не разыгрывала роли оскорблённой невинности, не требовала клятв, а весело болтала, оживлённая и весёлая. Прощаясь с молодым человеком, она сияла счастьем, повторяя те глупые слова, которые говорят в таких случаях девяносто девять женщин из ста, уверенная, что они что-нибудь да значат, мечтавшая, что подобные счастливые свидания, способные укрепить её расстроенные нервы, будут часто повторяться.

«Tu l'a voulu, George Dandin!» — повторял несколько раз почему-то припомнившееся выражение Невежин, выходя из подъезда и как-то недоумевающе пожимая плечами. Признаться, он совсем не походил на влюблённого, возвращающегося со счастливого свидания; по крайней мере, он, по примеру влюблённых, ни разу не вспомнил нежных слов, которые только что слышал, и был очень рад, что с своей стороны не расточал никаких обещаний этой «пылкой бабе», считая её единственной виновницей (о неблагодарный молодой человек!) всего «инцидента» и обещая себе впредь не утешать больную без свидетелей и не поддаваться искушению.

Он прошёл несколько шагов, собираясь кликнуть извозчика, как вдруг с остановившихся на улице дрожек его окликнул визгливый тенорок Василия Андреевича.

— Ну, что, молодой человек, развлекли Marie? — добродушно спрашивал Василий Андреевич. — Что, она не хандрит теперь? Как вы её оставили? — продолжал допрашивать старик не без некоторого беспокойства в голосе, словно бы предчувствуя, в случае неблагоприятного ответа, неминуемость одной из тех сцен, которые чаще всего делала ему Марья Петровна перед отходом ко сну. Уж как он ни старался, бывало, именно в это время избегать их, но, как нарочно, случалось, что именно в эти поздние часы бедному Василию Андреевичу чаще, чем по утрам, приходилось получать самые оскорбительные прозвища, выслушивая ламентации\*\* нервной супруги.

При этом вопросе Невежин, надо признаться, почувствовал некоторую неловкость, вроде того вора, у которого спросили, хорошо ли он сберёг порученную ему вещь.

Однако он, не покривив душой, отвечал, что Марья Петровна «кажется, в духе».

---

\* Ты этого хотел, Жорж Данден! (франц.).

\*\* Жалобы (от франц. *les lamentations*).

---

— И отлично... и превосходно... Вот за это спасибо! — восклицал Василий Андреевич, крепко потрясая руку Невежина. — А то она у меня, бедняжка, такая болезненная... Нервы... Это, знаете ли, такая штука... такая скверная штука! — повторял Василий Андреевич, хорошо знавший по опыту, какая это штука. — Тут, батюшка, никакие лекарства не берут! — рассмеялся Василий Андреевич. — Смотрите же, не забывайте нас, заходите чаще! — прибавил добродушный старик и, ещё раз поблагодарив молодого человека за то, что он развлёк больную, весёлым голосом приказал кучеру ехать домой.

## XIV Встреча

### 1

Публика, ожидавшая прибытия парохода, радостно встрепенулась, когда в седьмом часу тёплого августовского вечера раздались свистки и пароход, попыхивая чёрным дымком и плавно рассекая замершую гладь реки, отливавшую блеском закатывавшегося солнца, тихим ходом, осторожно минуя мелкие места, приближался к Жиганску.

— Ну вот и дождались наконец! — радостно проговорила Степанида Власьевна и, поднявшись со скамейки, направилась вместе с Невежиным вперёд, к перилам старой баржи. — Жаль только, что обед перестоит! — прибавила она с некоторою грустью.

Ещё несколько долгих минут напряжённого ожидания публики — и наконец пароход, застопоривши машину и гудя выпускаемыми парами, приставал к пристани.

— Но где же Зиночка? Где Зиночка? — вдруг заволновалась старушка.

Вся подавшись вперёд, она оглядывала пассажиров, стоявших на площадке, и взволнованно повторяла:

— Я не вижу Зиночки, Евгений Алексеич! Её нет... Вы видите, где она?

Невежин давно увидел эту красивую стройную девушку в тёмном ватерпруфе\* и скромной чёрной шляпке, стоявшую у борта, против каюты второго класса, и, охваченный радостным волнением, с восторгом любовался милым лицом, пол-

---

\* Летнее пальто (от *англ. water-proof* — водонепроницаемый).

---

ным знакомого выражения какой-то серьёзной вдумчивости и усталости.

— Да где же она? — спрашивала Степанида Власьева.

— Вот она, вот Зинаида Николаевна! — воскликнул наконец Невежин, указывая на молодую девушку в тот самый момент, когда пароход остановился у пристани.

Зинаида Николаевна услышала своё имя, произнесённое радостным голосом, который она тотчас узнала. Что-то дрогнуло в её лице при звуках этого голоса.

— Тётя, здравствуйте! — весело приветствовала она Степаниду Власьевну. — Здравствуйте, Евгений Алексеевич! — прибавила она тише и сдержаннее и, как показалось в ту минуту Невежину, даже с заметною сухостью в голосе.

Едва положили сходни, как Степанида Власьева и Невежин уже были на пароходе. Старушка тётка несколько раз принималась обнимать Зиночку. Радостные слёзы катились по её сморщенным щекам; не находя слов, она только улыбалась своей доброй улыбкой и шептала:

— Наконец-то дождались тебя!

— С приездом, Зинаида Николаевна! — проговорил дрогнувшим голосом Невежин, подходя к Зинаиде Николаевне, когда Степанида Власьева выпустила из своих объятий племянницу.

Зинаида Николаевна протянула руку, хотела что-то сказать, но, взглянув на смущённое лицо Невежина, тотчас же отвела глаза, сама почему-то смутившись. И, словно бы недовольная этим смущением, она отвернулась и заговорила со Степанидой Власьевной.

«Хоть бы одно слово», — подумал Невежин, и его лицо затуманилось. Зинаида Николаевна заметила эту внезапную перемену и обратилась к нему:

— Надеюсь, вы недурно живёте в Жиганске, Евгений Алексеевич? Об этом, впрочем, после переговорим, а теперь помогите мне с вещами. Вот вам билет. Пойдёмте, тётя!

Этот тихий, ласковый голос снова оживил молодого человека. Он взял из рук Зинаиды Николаевны саквояж, и они втроём пошли с парохода, пробираясь среди переселенцев.

— Прощай, барышня! Прощай, касатка! — раздавались восклицания баб, когда Зинаида Николаевна проходила между ними.

Оставив дам на пристани, Невежин снова вернулся на пароход за багажом Зинаиды Николаевны.

— А вы, Евгений Алексеич, нынче и поклонов не замечаете? — раздался над его ухом знакомый вкрадчивый голос Сикорского. — Я вам два раза кланялся, а вы — ноль внимания! — шутливо продолжал Сикорский, пожимая обеими ру-

---

ками протянутую руку. — Изволите встречать кого-нибудь или так приехали от скуки посмотреть на публику, как и я, грешный? — спрашивал Сикорский, успевший уже наблюдать встречу Невежина с приезжей девушкой и принять это к сведению.

— Племянница моей хозяйки приехала...

— Не красивая ли девушка в тёмном ватерпруфе, с чудными косами?

— А вас это очень интересует? — улыбнулся Невежин.

— Ещё бы, — отвечал Сикорский, смеясь. — Ведь в Жиганске всё интересует, особенно такая интеллигентная барышня... Среди здешних обывательниц она невольно бросается в глаза... Сейчас видно, что не здешняя.

— Вы не ошиблись — эта барышня из Петербурга!

По тону, каким ответил Невежин, Сикорский сразу понял, что расспрашивать более не следует, и вдруг, словно бы спохватившись, заметил:

— А я-то хорош! Болтаю с вами и забыл вам передать, что Василий Андреевич сегодня три раза посылал за вами.

— Зачем?

— А не знаю. И Марья Петровна тоже горела желанием вас видеть... У бедной опять нервы! — неожиданно прибавил Михаил Яковлевич самым серьёзным тоном, взглядывая на Невежина своими маленькими зелёными глазками.

Невежин чуть-чуть смутился и сухо поблагодарил за извещение.

— Что же прикажете передать, если спросят? Я сейчас туда. Будете сегодня или нет?

— Нет, не буду! — резко отвечал Невежин и, приподняв шляпу, пошёл вслед за матросом, который нёс на спине сундук Зинаиды Николаевны.

«Так и передадим!» — мысленно подчеркнул Сикорский, снимая свой фетр с самой любезной и милой улыбкой.

Затем, не спеша, он направился к выходу, выступая словно цапля и ласково кланяясь встречаемым знакомым. На пристани он нарочно прошёл мимо Зинаиды Николаевны и бросил на неё пытливый, внимательный взгляд.

— Кто этот старик с неприятной физиономией? — осведомилась Зинаида Николаевна, поймавшая пристальный взгляд Сикорского.

— Это, Зиночка, Сикорский. Может, слышала? Говорят, он у вас в Питере банк какой-то разорил! Не знаю, правда или нет...

— Так вот эта знаменитость! — заметила Зинаида Николаевна с чувством отвращения. — Ваш жилец с ним знаком? — спросила она, помолчав.

---

— Кажется, Евгений Алексеич у него не бывает, а встречаться приходится у генерала. Ведь Евгений Алексеевич место Сикорского у генерала занял. Только — несдобровать Евгению Алексеичу.

— Что? Почему несдобровать, тётя? — с живостью спросила Зинаида Николаевна.

— Да потому, что Евгений Алексеич... как бы это сказать... и горяч, и доверчив, и не знает здешних порядков... Вот хоть бы с делом Толстобрюхова.

И Степанида Власьева стала рассказывать, как Невежин думает помешать «оправить» Кира Пахомыча...

— Помнишь этого миллионера, про которого худая молва идёт?

— Всё готово... Можно и ехать! — проговорил Невежин, подходя к дамам.

Дамы уселись в сибирскую тележку, а Невежин поехал на извозчике сзади, снова просиявший после ласкового «спасибо» и милой улыбки, которыми наградила его Зинаида Николаевна не столько за хлопоты, сколько за те рекомендации, которыми наградила Невежина добрая Степанида Власьева, сообщая племяннице свои соображения о деле Толстобрюхова.

## 2

Дома Невежин нашёл записку Василия Андреевича, приглашавшую его немедленно пожаловать по весьма экстренному делу. Невежин знал слабость старика к этим «экстренным делам», и решил не идти сегодня. Ещё бы! Ему так хотелось побыть с Зинаидой Николаевной, поговорить с ней, если только она захочет с ним говорить, как, бывало, говорила в Петербурге.

И он ходил теперь у себя, прислушиваясь к её голосу, раздававшемуся за стеной, и волнуясь, как юноша, при мысли: пригласят ли его сегодня обедать туда... вместе, или принесут обед к нему в комнату, как обыкновенно.

Наконец к нему вошла Степанида Власьева.

— Что ж это вы, батюшка, спрятались у себя в комнате? — покорила она его. — Идёмте обедать вместе на радостях... И то щи перестояли...

— Да, может быть, Зинаида Николаевна хотела бы одна обедать... без посторонних...

— Эка ещё что выдумали! Без посторонних! Так я вам скажу, что вы для меня не посторонний! Идите-ка, идите... Зиночка сама велела вас звать! — говорила старушка весёлым тоном, сияя радостью и счастьем и словно бы желая передать эту радость и другим. — И только похудела же она в вашем

---

подлом Петербурге! Верно, кормят-то там небогатых людей скверно! Ну, да здесь мы её откормим!.. Не правда ли, Зиночка, мы тебя здесь откормим? — спрашивала Степанида Власьева, входя с Невежиным в свою комнату, где стол был накрыт и дымились щи. — Ну, садитесь-ка, Евгений Алексеич, чай, и вы проголодались?

Весёлый и радостный сел Невежин около Зинаиды Николаевны и первое время не находил слов. Чем-то тихим, спокойным и свежим веяло на него в присутствии этой девушки, и он то и дело взглядывал на неё, словно бы удостовераясь, — тут ли она? И эта скромная комнатка и скромный обед, которым так радушно угощала хозяйка, — всё казалось Невежину необыкновенно привлекательным и славным благодаря Зинаиде Николаевне.

— А ведь ваш генерал совсем обезумел! — заговорила Степанида Власьева в конце обеда.

— Как так? — засмеялся Невежин.

— Да так же! Совсем не даёт человеку отдохнуть. Я и забыла давеча вам сказать, ведь он за вами трёх гонцов посылал. Прасковья сказывала, что так один за одним и летали... Вам бы пойти узнать, что такое? Может, и в самом деле что важное...

Невежин объяснил, что, наверное, ничего нет важного и что он сегодня не пойдёт.

— Как бы он не рассердился, Евгений Алексеич...

— Ну и пусть посердится! — весело заметил Невежин.

После обеда долго ещё не расходились. Зинаида Николаевна расспрашивала Невежина о его занятиях, о людях, с которыми он познакомился, и Невежин рассказывал, набрасывая довольно живые характеристики.

— И вы не скучали здесь?

— Сперва очень...

— А теперь?

Невежину показался даже странным этот вопрос. Как мог он скучать теперь, когда Зинаида Николаевна здесь!

— Теперь?.. — переспросил он. — Теперь, напротив, я счастлив, как только может быть счастлив человек! — порывисто проговорил он.

Зинаида Николаевна вдруг притихла.

— А вы надолго сюда? — спросил Невежин. Этот вопрос привёл её в смущение.

— Не знаю ещё... Посмотрю, как занятия пойдут...

Самовар весело шумел на столе, и Зинаида Николаевна рассказывала о своей поездке в Крым, скрыв, впрочем, от слушателей, что эта поездка была вызвана серьёзной болезнью. Там она поправилась и решила ехать сюда.



---

— Родные места захотелось повидать и тётю! — прибавила она.

— И хорошо сделала, что так решила! — весело заметила Степанида Власьевна. — Только бы не соскучилась по Петербургу.

— Не соскучусь, тётя, если будет дело. Уроки и здесь, верно, найду, как и в Питере.

В это время вошла Прасковья и сказала, что Евгения Алексеевича спрашивают.

— Опять от генерала! Ихняя горничная пришла: такая важная, что твоя барыня!.. — прибавила Прасковья.

Невежин вышел в прихожую. Там стояла Паша.

— Вот вам записочка! — таинственно прошептала она, передавая записку.

Невежин развернул маленькую раздушенную записочку и прочитал следующие слова:

«Мне необходимо вас видеть. Приходите, прошу вас.

М. Р.»

— Очень просили вас прийти, Евгений Алексеич! — промолвила Паша. — Марья Петровна нездоровы и совсем одни! — прибавила она, понижая голос.

И эта записка, и этот тон старой горничной показались Невежину отвратительными. Он разорвал записку и сухо ответил, что не может быть.

Паша молча раскланялась и ушла.

— Ну что, опять к генералу зовут? — спрашивала Степанида Власьевна.

— Опять...

— Так надо идти?

— Нет, не надо...

— Быть может, в самом деле что-нибудь важное, если так настойчиво зовут? — вставила Зинаида Николаевна.

— Пустяки! Просто генеральша скучает и потому просит пожаловать...

— Вы, видно, ей понравились, Евгений Алексеич? — смеясь, заметила Степанида Власьевна.

— Да она-то мне не нравится, — отвечал Невежин, чувствуя, что краснеет.

— Ну, уж это вы напрасно... Я не знаю, как она характером, а что из себя, так надо сказать... видная, красивая дама.

— И молодая? — вставила Зинаида Николаевна, поднимая глаза на Невежина.

Этот вопрос и этот внимательный взгляд ещё более смутили молодого человека. Теперь, рядом с Зинаидой Николаевной, он с чувством глубокого отвращения вспомнил о послед-

---

нем свидании с Марьей Петровной и с каким-то озлоблением проговорил:

— Совсем не молодая и вообще неприятная женщина!

Зинаида Николаевна больше не расспрашивала, и разговор перешёл на другие темы. Степанида Власьевна вспомнила прошлые времена, когда Зиночка была гимназисткой. Зинаида Николаевна оживилась этими воспоминаниями, рассказывала про учителей, про товарок, о том, как впервые у неё явилась мысль ехать в Петербург учиться.

А Невежин слушал, глядя на Зинаиду Николаевну очарованным взором.

И когда они за полночь разошлись, он долго ещё припоминал и её слова, и её взгляд, серьёзный и ласковый.

Не спала и Зинаида Николаевна в соседней комнате. Лёжа в постели, она долго и мучительно думала и несколько раз спрашивала себя, зачем она приехала сюда, и не лучше ли тотчас же уехать.

И красивый образ молодого человека стоял перед ней, наполняя её сердце мучительным чувством сострадания и любви.

«Любви ли?» — спрашивала она снова теперь, как спрашивала и прежде, после памятного свидания в тюрьме.

## XV

### Зинаида Николаевна

#### 1

«Зачем она приехала?»

Этот вопрос неотступно стоял теперь перед Зинаидой Николаевной, и совесть её требовала искреннего, добросовестного ответа. Отвечать уклончиво, обманывая самоё себя, как обыкновенно делают слабые натуры, боящиеся категорических ответов, Зинаида Николаевна не умела и не хотела. Вот почему она долго не могла заснуть, проверяя свои первые впечатления встречи и восстанавливая в памяти своё знакомство с Невежиным и дальнейшие отношения, сблизившие столь неожиданно эти две совершенно противоположные натуры.

«Любила ли она его, когда ехала сюда?»

Она по совести могла ответить, что нет. По крайней мере, ей так казалось. Она жалела молодого человека, чувствуя перед ним как бы некоторую виноватость как перед человеком,

---

пострадавшим за своё чувство к ней, но если бы ей сказали, что это чувство жалости и сострадания незаметно перешло в другое, более сильное, она первая бы рассмеялась. «Не её романа такие пустые люди, как Невежин!»

Отчего ж теперь этот самый человек сделался ей вдруг так близок? Отчего она так интересуется им, отчего думает о нём? Отчего при первой встрече так радостно забилося её сердце, и она принуждена была употребить усилие, чтоб не выдать охватившего её волнения? Она нарочно так сухо обратилась к нему с первым вопросом, тогда как ей хотелось броситься к нему...

«Неужели... это самое?» — спрашивала себя Зинаида Николаевна, чувствуя, как жутко и сладко замирает её сердце. Неужели она, порешившая, что после неудачного романа её первой молодости, разбившего её сердце, безраздельно отданное неразделённой привязанности, она не в состоянии больше отдаться чувству, — неужели она сама заразилась страстью молодого человека и питает к нему нечто гораздо большее, чем сострадание и дружба?

«Да... да!..» — отвечали учащённое биение её сердца, ожившийся взгляд её прекрасных глаз, её стыдливо и страстно рдевшие щёки.

Она пробовала отнестись к Невежину критически, и не нашла в своём уме ни прежнего строгого осуждения, ни прежней снисходительной жалости умной, серьёзной девушки к человеку, размотавшему свои лучшие годы так пошло, глупо и бесцельно, — всё это исчезло в теперешних её мыслях о Невежине. В эти минуты он представлялся ей совсем в другом виде — бедной жертвой обстоятельств, человеком, полным лучших качеств, понявшим весь ужас прежней жизни, как только его коснулось хорошее влияние и он увидел хороших людей, не похожих на тех, среди которых вращался.

И Зинаида Николаевна вспоминала, с какой охотой он просиживал, бывало, вечера в её скромной комнатке, слушая чтение книг, открывавших перед ним иные цели, иные задачи. А эти споры её с ним, в которых она оставалась победительницей, довольная, что заставила молодого человека сознать бесцельность прежней жизни... И как он искренно и горячо желал другой жизни, желал работать... А потом этот несчастный выстрел в защиту любимого человека, и, наконец, это деликатное молчание на суде, — молчание, из-за которого он был осуждён.

Чем больше думала Зинаида Николаевна о нём, вспоминая прошлое, тем более в розовом свете рисовался ей Невежин, являясь перед ней в каком-то ореоле, созданном её воображением под впечатлением глубокого чувства, охватившего

---

девушку с той неотразимой силой, которая присуща натурам сильным и глубоким.

Теперь уж она в свою очередь, спрашивала себя: любит ли он её, и имеет ли она право принять эту любовь?.. Быть может, в нём зародилось чувство под впечатлением несчастной личной жизни?..

И разве может она возбудить глубокую страсть? — спрашивала себя эта скромная девушка, не сознававшая своей красоты. Его страстное признание там, в тюрьме, могло быть вызвано нервным состоянием, исключительностью положения, благодарностью за нравственное возрождение... Ему могло казаться, что он любит, только казаться... И теперь, пожалуй, только кажется...

«А если в самом деле любит?»

Зинаида Николаевна даже вздрогнула от счастья и, закрыв глаза, мечтала об этом счастье. Любит! О, сколько счастья впереди для неё, не знавшей блаженства взаимной любви! Она сделает его счастливым! Она будет его другом, пестуном, товарищем! Она поддержит его в житейской борьбе, поддержит в минуты уныния и слабости, поможет ему сделаться человеком, которым будет гордиться... Труд вдвоём, скрашенный привязанностью, днём — работа, а долгие вечера — вместе за чтением, за беседой... Она не будет более одинока... Она знает теперь, что без личного счастья жизнь не полна...

Но эти радужные мечты о реабилитации, составляющие обычное утешение женщин, любящих слабых и бесхарактерных мужчин, внезапно были рассеяны.

Перед ней стал образ несчастной, худой, некрасивой женщины, глядевшей, казалось, с насмешливым, обидным взором. Эта женщина — жена его, всё ещё любящая мужа и удалившаяся за границу, где она, больная, изнеможённая, до сих пор оплакивает свою разбитую жизнь... Она поступила честно, самоотверженно с ним. Она предлагала ему развод, сама приезжала тогда, после суда, к Зинаиде Николаевне и, глубоко несчастная и оскорблённая, всё-таки имела мужество простить... Она передала Зинаиде Николаевне историю этого рокового выстрела, она рассказывала, скрывая своё горе, как он любит Зинаиду Николаевну, она просила и умоляла Зинаиду Николаевну не оставлять его одного в Сибири... А это недавнее письмо, полученное Зинаидой Николаевной из-за границы, в котором она опять спрашивает: неужели Зинаида Николаевна не сжалится и не поедет туда... к нему. «Обо мне не думайте... Я буду счастлива вашему счастью!» — прибавляла она, однако умолчав, что она совсем больна и чахнет, как слышала Зинаида Николаевна от видевших эту женщину за границей.

---

Так разве она доконает её? Имеет ли она право строить своё счастье на несчастьи ближнего? Да и он, разбивший чужую жизнь, осмелится ли? Не она ли должна удержать его, если б он и решился?..

— Никогда он не узнает, что я его люблю, никогда, — твёрдо проговорила Зинаида Николаевна.

Но, приняв это героическое решение, она не выдержала. Слая женская натура взяла своё, и глухие рыдания вырвались из её взволнованной груди.

Долго ещё она оплакивала свою похороненную любовь, и, когда под утро наконец заснула, страдальческое выражение светилось в её прекрасных чертах.

Воспользуемся же её тревожным сном и познакомим читателя с прошлым Зинаиды Николаевны.

## 2

Зинаида Николаевна в детстве лишилась родителей и рано принуждена была сама зарабатывать свой хлеб. Она смутно помнила высокого, широкоплечего, черноволосого отца, с большой красивой кудрявой головой, который был первым её учителем. Он каждый день по вечерам занимался с ней, часто ласкал свою любимицу, единственную дочь, и, усадив, бывало, девочку на свои могучие колени, после урока рассказывал ей разные интересные истории, пока девочка наконец не засыпала.

Они жили в тайге, на небольшом глухом прииске богатого золотопромышленника Баскакова, где отец был управляющим. Она хорошо помнила, что любила и побаивалась своего отца, особенно в те дни, когда он бывал почему-либо гневен. Тогда все боялись Николая Лукича Степового. Его большие чёрные глаза метали молнии из-под нависших густых бровей, и сухощавое побледневшее лицо с огромной чёрной бородой глядело сурово. Он не брал свою девочку на колени и долго просиживал один в своей небольшой комнате, служившей ему кабинетом. Никто из служащих не решался попадаться ему в такие минуты на глаза.

Только впоследствии дочь узнала, что отец её был человек сильного характера и упорной воли. Он происходил из бедной семьи тюкалинских мещан, потомков ссыльного воронежского мужика, сосланного за поджог из мести. Отец Степового не пользовался доброй славой: про него ходила молва, будто бы он не гнушается добывать средства разными тёмными делами. Сыну грозила бы участь пойти по стопам отца, если бы его не послали на прииск искать счастья, благодаря вмешательству дяди, конторщика у Баскакова.

---

Бойкий, понятливый, начавший службу рабочим, он скоро огляделся и понял, что с одной физической силой ничего не достигнешь, и задумал учиться. В свободное время он выучился читать и писать, при помощи машиниста шутя прошёл четыре правила и научился обращаться с машинами. Смышлёный и усердный, он вёл воздержанную жизнь, и на него обратил внимание старик Баскаков, сам сделавшийся богатым золотопромышленником из приисковых конюхов. Степового взяли в контору, постепенно повышали его и наконец сделали управляющим одного вновь открытого прииска.

Степовому было тогда лет около сорока; он в это-то время и женился на младшей сестре Степаниды Власьевны, миловидной молодой дочери жиганского чиновника. Познакомился он с ней бывши проездом в Жиганске. Девушка понравилась ему, он ей, — и дело сладилось.

Мать Зинаиды Николаевны была совершенная противоположность отцу по характеру. Тихая, слабого здоровья, застенчивая до робости, неуверенная в себе, она была олицетворённая кротость и доброта. Супруги жили хорошо. Степовой боготворил свою жену и глядел, что называется, в глаза своей «Гутеньки». Так они прожили восемь лет, как Степовой скоропостижно умер от разрыва сердца.

Молодая вдова переехала с Зиной в Жиганск. После смерти мужа у неё оказалось тысяч около десяти. Непрактичная, не знавшая людей, молодая женщина отдала пять тысяч займа одному знакомому жиганскому купцу, который самым бессовестным образом обманул доверчивую женщину.

Потеряв половину своих денег, молодая женщина стала усиленно работать, занимаясь шитьём, чтобы по возможности не тратить денег и оставить их на образование своей ненаглядной Зиночки и ей же на чёрный день. И без того слабое, хрупкое здоровье надорвалось от непосильного труда и бессонных ночей. Молодая женщина с ужасом увидала, что работать не в состоянии; злой недуг постепенно подтачивал её силы, а средства уходили. Часто тихо плакала она по ночам, боясь разбудить спящую около Зиночку, и часто неслышно подходила к дочери, и скорбные слёзы лились обильнее из глаз матери. А жизнь с каждым днём уходила. Зиночка с тревогой глядела на мать, и ночью, бывало, когда мать начинала сильно кашлять, маленькая девочка в рубашонке являлась перед матерью и, глотая слёзы, подавала ей лекарство.

— Спи, спи, Зиночка... Милая... Мне ничего... Мне лучше... — говорила мать.

Но вдруг рыдания вырывались из худой, истерзанной недугом груди, и мать, предчувствуя близость вечной разлуки

---

с этой милой девочкой, с какой-то порывистой страстностью прижимала к себе тихо плачущего ребёнка.

Прошло несколько лет, тяжёлых лет подтачивающей чахотки, и одним ранним весенним утром молодая женщина умерла, прижимая руку Зиночки к своим губам и глядя умоляющим взором на Степаниду Власьевну, давно уже обещавшую любить и беречь Зиночку, как родную дочь.

Смерть матери сильно подействовала на четырнадцатилетнюю Зиночку. Она захворала и, оправившись после нервной горячки, как-то вся притихла и стала серьёзной. Тяжёлая утрата и ранние заботы о будущем сделали её сосредоточенней, заставляя работать молодую головку. Эта бледная, исхудавшая кроткая женщина с тоскливым взором, заглядывавшая, бывало, в глаза своей девочки, — эта любящая до самоотвержения мать осталась с тех пор на всю жизнь в сердце дочери светлым, чудным, поэтическим образом.

Зиночка была деликатным, кротким созданием. В ней счастливым образом соединились лучшие качества отца и матери. От первого она наследовала красивые черты лица, ум и упорство воли, от второй — чистый, ясный взгляд прелестных глаз и кротость души. Нечего и говорить, что добрая Степанида Власьевна ласкала сиротку не меньше, чем своих сыновей, и Зиночка, видевшая, как иногда тяжело приходится тётке, с шестого класса гимназии уже достала себе урок и, радостная и счастливая, приносила, бывало, несколько рублей растроганной Степаниде Власьевне.

Зиночка занималась прилежно и усидчиво. Нельзя сказать, чтоб занятия ей давались легко, но зато всё, что она усваивала, она знала основательно. Отцовская энергия сказывалась и в ней, и она кончила курс одной из первых.

Но это, однако, не удовлетворило её. Ей хотелось учиться ещё, и она лелеяла мечты ехать в Петербург. Случайная встреча с одним из жильцов Степаниды Власьевны, немолодым невольным гостем Сибири, прошедшим в ссылке лучшие годы молодости и, несмотря на многие испытания, сохранившим бодрость жизни и веру в идеал, ещё сильнее укрепила в молодой девушке желание учиться. Благодаря книгам жильца она впервые познакомилась с некоторыми из лучших произведений корифеев литературы и науки; перед её возбуждённым духовным взором открылся новый мир, мысль заработала.

Она поняла, как мало она ещё умственно развита, и благородная жажда знания, самоотверженная потребность быть полезной охватила юное, честное создание с неудержимой силой.



---

То был первый духовный кризис, пережитый молодой девушкой. Нечего и говорить, что она благоговела перед человеком, который первый разбудил её.

— Уезжайте, непременно уезжайте учиться, Зинаида Николаевна! На житейскую борьбу надо выходить хорошо вооружённым! — говорил этот энтузиаст шестидесятых годов внимательно и благоговейно слушавшей его девушке.

Он говорил так, этот идеалист, несмотря на свои сорок лет, а сам с грустью думал, что эта милая девушка уедет... Да... Милая, хорошая девушка, на которую он украдкой взглядывал восторженным, любовным взглядом, в котором было нечто гораздо большее, чем дружеское расположение.

И в его голове невольно бродили заманчивые мечты о возможном счастье, которое бы тёплым лучом согрело его одинокую жизнь, если бы это молодое красивое создание осталось около него навсегда.

Но он недаром был идеалистом. Он гнал эти мысли, ругая себя эгоистом, готовым погубить молодое создание.

— Мерзость, мерзость! — говорил он, оставаясь один в своей комнате. — Человеку сорок, а он...

И, скрывая от ничего не подозревающей юницы свои горячие чувства, он подбивал её как можно скорее оставить это сонное болото — Жиганск.

Зиночка готова была хоть сейчас ехать, но на что ехать? И она решила набрать как можно более уроков и в течение года скопить себе на дорогу денег, а там, в Питере, она как-нибудь пробьётся.

Степанида Власьева предлагала ей помощь, но Зиночка, зная, что у Степаниды Власьевны на руках сыновья-подростки, которых нужно было отправлять в университет, наотрез отказалась, решившись год усиленно работать.

Но в одно прекрасное утро жилец с весёлой улыбкой объявил ей, что неожиданно получил деньги, с которыми, мол, решительно не знает что делать, и просил Зиночку не обидеть его и взять по-товарищески на дорогу.

Тронутая и благодарная девушка, не подозревавшая, разумеется, с какими трудами были заняты эти «ненужные» деньги, согласилась, дав себе слово вернуть их из первых же уроков, и через несколько дней уехала в Петербург, провожаемая горячими пожеланиями Степаниды Власьевны и жильца. Занятая мечтами о занятиях, она и не догадывалась, что жилец, провожая её, хоронил свои последние мечты о личном счастье.

Не догадывалась об этом и Степанида Власьева, к удивлению своему заметившая, что жилец вскоре после отъезда Зиночки стал «закучивать».

---

Трудненько было Зинаиде Николаевне в Питере, особенно в первое время, пока она не огляделась и не достала себе занятий. Приходилось жить в крошечных полутёмных комнатах, сырых и неприветных, питаться, иногда по неделям, одним чаем с ситником и щеголять зимней порой в летнем пальто и обуви, давно требовавшей обновления. Всего доводилось испытывать, рассчитывая каждый грош.

Но молодая девушка не унывала — недаром же в ней была упорная воля отца, — и все эти маленькие беды переносила шутя. Счастливая, что достигла заветной цели, она отдалась занятиям с энергиею и страстностью недюжинной натуры. Вся проникнутая важностью поставленной себе цели, гордая сознанием, что сама, без помощи, достигает её, она с каким-то суровым аскетизмом давила в себе невольные порывы молодой жизни, требующей не одних только занятий, не одних только книг, и не без внутреннего пренебрежения относилась к тем из товаров, которые, по её мнению, слишком увлекались жизнью со всеми её радостями, и если б тогда Зинаиде Николаевне сказали, что наука нисколько не мешает полюбить кого-нибудь, она ответила бы полнейшим отрицанием, с горделивой нетерпимостью фанатичной неофитки.

Она вела жизнь какой-то суровой подвижницы, эта студентка, избегая знакомств, чтобы не терять даром времени, сторонясь от всего, что отвлекло бы её от работы. День её был распределён со строгой аккуратностью, от которой она отступала в самых редких случаях. Утром она была на лекциях, затем шла домой, обедала, после отправлялась на уроки и вечера оканчивала за занятиями у себя дома.

Она отказалась от стипендии, которую ей предложили члены сибирского кружка в Петербурге, говоря, что есть девушки беднее её и более достойные стипендии, и никакие убеждения товаров, хорошо знавших положение Зинаиды Николаевны, не могли поколебать решения молодой девушки.

— Вы дурите, Степовая... Что за цель отказываться от стипендии? Или вы хотите всё время голодать? — уговаривали её землячки.

Зинаида Николаевна в ответ замечала, что пока она не голодает и что надеется скоро достать уроки.

Уроки действительно были найдены, но какие уроки!.. За четыре часа в день она получала тридцать рублей в месяц и ухитрялась ещё из этого заработка ежемесячно отсылать по десяти рублей Степаниде Власьевне на уплату своего долга жильцу. При этом она всегда писала тётке, что живёт превосходно и ни в чём не нуждается.

---

Через год она выплатила долг, перебралась в лучшую комнату и стала обедать каждый день... Случайно подвернувшаяся работа по статистике, доставленная ей одной из товарок, улучшила её положение: она выкупила шубу, завела кое-какие вещи, подписалась в библиотеку и, посылая Степаниде Власьевне к Святой двадцать пять рублей, писала, что она теперь богачка и проживает целых тридцать рублей в месяц.

На математическом отделении Зинаида Николаевна была лучшей студенткой, и скоро её занятия обратили на себя внимание одного профессора, довольно известного учёного, талантливые и живые лекции которого приводили в восторг слушательниц.

Профессор заметил эту скромную, миловидную студентку, всегда слушавшую профессора с каким-то восторженным вниманием. Он как-то заговорил с ней, желая пощупать её знания, и она, вспыхнувшая до ушей, отвечала так хорошо и толково, что профессор в скором времени предложил Зинаиде Николаевне приходить в лабораторию заниматься.

Она, разумеется, приняла предложение с глубочайшей благодарностью, не подозревая, что более близкое знакомство с профессором, столь ею чтимым и уважаемым, приведёт к большому разочарованию.

Счастливая, что допущена в святилище учёного, Зинаида Николаевна работала там с каким-то благоговейным трепетом и, разумеется, не замечала страстных взоров старого сатира, которыми нередко награждал её женолюбивый профессор, и не понимала его тонких, будто вскользь брошенных намёков на её красоту и изящество.

Благоговевшая перед профессором, она приписывала особенное внимание и любезность, оказываемые ей, высокой доброте его сердца и не догадывалась, зачем это он, окончив занятия, тратит своё драгоценное время на разговоры с ней. Она торопилась уходить, чтобы не мешать ему, а он нередко удерживал её, расспрашивал, прощаясь, сильно пожимал ей руку, задерживая её в своей руке. Что-то заставляло её тогда торопиться ещё более, но она всё-таки ничего не понимала, пока однажды профессор совершенно для неё неожиданно не завёл интимного разговора о том, что он несчастлив в своей семье, что жена его старуха, но что он сам, несмотря на свои года, ещё юн сердцем.

Она слушала, опустив глаза, и сердце её почему-то упало, точно она ждала чего-нибудь тяжёлого.

И вдруг он взял её за руку. Она подняла детски испуганный взгляд и совсем растерялась при виде маленьких глазок, горевших каким-то плотоядным блеском, при виде взволно-

---

ванного, раскрасневшегося старого лица, показавшегося ей теперь отвратительным, страшным.

А он продолжал говорить, что она может возродить его к какой-то новой жизни, и предлагал ей любовь, и снова говорил о её красоте и нелепости предрассудков...

Что говорил он ещё, девушка не слыхала. Она видела только это искажённое страстью, противное, поглупевшее лицо старика, она почувствовала прикосновение влажных губ к своей щеке, и чувство оскорбления, страха и отвращения охватило все фибры её чистого, целомудренного существа. Слезы хлынули из её глаз, и она выбежала из кабинета.

Профессор имел настолько глупости, что бросился за ней, просил забыть «этот порыв чувства», никому о нём не рассказывать и приходить к нему по-прежнему.

Зинаида Николаевна ни слова не отвечала, торопясь уйти, убежать скорее... И когда она очутилась на улице, она не шла, а бежала, точно за ней гнались.

Только дома она несколько пришла в себя и дала волю жгучим слезам, почувствовав всю силу нанесённого ей оскорбления...

И на другой день Зинаида Николаевна в первый раз не пошла на курсы. Ей стыдно было идти туда, стыдно было встретиться с профессором. Страшное разочарование впервые стало знакомо молодой девушке.

На следующий день она, однако, пошла на курсы и на лекции женолюбивого профессора не смела поднять глаз на него. А он, по обыкновению, читал восхитительно, увлекая слушательниц... Талант так и бил ключом в его чтении, сверкая остроумием, неожиданно блестящими сравнениями, необыкновенною ясностью изложения. Зинаида Николаевна невольно взглянула на него, и лицо его теперь было совсем не то, что в тот день...

Лекция была окончена, и он как ни в чём не бывало пошёл через аудиторию. Но вот его взгляд кого-то ищет... Он останавливается.

— Отчего это вы, госпожа Степовая, пересели на другое место?

Зинаида Николаевна вспыхнула и отвечала, что ей так удобнее.

Он усмехнулся, пристально взглянул на неё и пошёл далее.

С тех пор Зинаида Николаевна уж не ходила больше заниматься к профессору и на вопросы товаровок отвечала, что ей надоели эти занятия. На лекциях она сидела постоянно сзади и старалась не попадаться на глаза профессору. Зато на экзамене он её чуть не оборвал к общему изумлению всех курси-

---

сток. Он особенно долго её экзаменовал, и хоть она отвечала превосходно, профессор играл с нею как кошка с мышью, стараясь поставить её в тупик, что, разумеется, было ему не трудно. Отпуская её наконец и сделав одобрительный отзыв, он заметил, однако, что она гораздо бы лучше знала предмет, если б не бросила занятия в лаборатории.

Никто, разумеется, не понял скрытого смысла этого намёка и не догадался, почему в ответ на эти слова Зинаида Николаевна вспыхнула и сурово сдвинула брови, почувствовав к этому профессору ещё большее отвращение.

Курс окончен. Степовая получила медаль; её работа по высшему математическому анализу напечатана и замечена специалистами. Но, к удивлению своему, Зинаида Николаевна вдруг увидела, что это её не удовлетворяет, что годы прошли один за другим в постоянных занятиях, а между тем она совсем отстала в смысле общего развития, и при массе разнородных знаний у неё нет определённого мирозерцания, которое бы обобщало и давало направление всем этим знаниям. И вот теперь она принялась читать, стараясь наверстать прошлое время. Новый мир открылся перед ней, тот мир, о котором когда-то намекал ей жилец, и ряд сомнений, ряд вопросов зародился в пытливой головке. И она отдалась теперь книгам, как прежде науке, по-прежнему сторонясь от жизни, по-прежнему подавляя в себе жажду жизни и ведя жизнь отшельницы в громадном городе. Уроки и книги, книги и уроки, изредка театр и тесный кружок знакомых.

Так прошло ещё два года до памятной встречи у одной из знакомых с оканчивающим курс медиком.

Это был весёлый, красивый, неглупый блондин лет двадцати пяти, с саркастическим складом ума и наклонностью к ухаживанию. Он заспорил о чём-то с Зинаидой Николаевной, назвался проводить её домой и просил позволения зайти как-нибудь к ней «ещё поспорить». Дня через три он явился и стал затем ходить почти каждый день. Он подсмеивался над затворничеством Зинаиды Николаевны, над её увлечением одними книгами и незнанием жизни, кокетничал с ней своими радикальными взглядами, высказывал намерение по окончании курса не сделаться «врачом-буржуем», а посвятить себя служению народу и ехать в деревню, советуя и ей сделать то же, и в конце концов заговорил о любви... Зинаида Николаевна уже давно увлеклась им и полюбила его со всей страстью долго подавленного чувства. Решено было, что по окончании курса они повенчаются и уедут в деревню: он будет земским врачом, а она сельской учительницей.

Прошло несколько месяцев, счастливых месяцев, общих надежд, совместного чтения, споров, весёлых прогулок рука

---

об руку и влюблённых поцелуев. Экзамен окончен, а о свадьбе нет разговора, и весёлый блондин стал реже посещать свою невесту, отговариваясь разными предложениями и откладывая своё намерение ехать на служение народу...

Наконец летом Зинаида Николаевна получила письмо (она и до сих пор почему-то сохраняет это жестокое письмо), в котором молодой человек сообщил ей, что он принял порыв чувства за настоящее чувство и потому не смеет связывать и её, и себя, тем более, прибавил он, нельзя связывать себя браком человеку, которому, быть может, впереди предстоит «борьба».

Этот удар был жестоким ударом для молодой девушки; но он сделался ещё тяжелее, когда через несколько времени она узнала, что её герой женился на богатой девушке и завёл себе недурную практику, пристроившись к одному знаменитому врачу. Такого разочарования она не ждала.

И она ещё более замкнулась в самой себе, оскорблённая в своей привязанности, в своей вере в любимого человека.

Затем она уехала в деревню... Это время было одним из светлых воспоминаний Зинаиды Николаевны... Два года прошли как-то хорошо и спокойно среди крестьян... Учительница сделалась скоро общей любимицей, и разные шипы её деятельности не могли сломить её энергии. Но не в меру усердный становой, слишком проникнутый духом наступившего времени, сделал то, чего не догадались сделать недоброжелатели Зинаиды Николаевны из сельской аристократии. [Он донёс на неё куда следует,] и Зинаида Николаевна должна была оставить место, [без права быть сельской учительницей.]

Она вернулась в Петербург и снова забегала по урокам...

А молодые годы один за одним уходили. А жить, как нарочно, хотелось.

В это-то время она и встретилась в Петербурге с Невежиным.

## XVI

### Объяснения

#### 1

Когда, на следующий день после приезда Зинаиды Николаевны, Невежин рано утром пришёл к Василию Андреевичу, то сейчас же заметил, что его превосходительство не в духе. Молодой человек хотел было извиниться, что вчера не при-

---

шёл, но Ржевский-Пряник предупредил его и заметил раздражённым тоном:

— Я вчера за вами пять раз посылал... Вас искали и нигде не могли найти, а между тем было экстренное дело...

— Но Сикорский, вероятно, говорил вам, где я был...

— Что Сикорский, Сикорский! — вспыхнул старик, перебивая речь. — Сикорский всегда исполнял мои поручения с усердием... Сикорский?! Ну, да, он передал, что вы встречали на пароходе какую-то барышню и изволили сказать, что не будете... Но я после посылал записку; кажется, можно было бы догадаться, что я не из каприза беспокоил вас, а вы всё-таки...

Невежина начинал раздражать этот тон старика. Таким образом он никогда с ним не говорил, и Невежин недоумевал, что это значит. Он насупился и стоял молча, ожидая конца выговора.

— Вы хотя бы предупреждали, когда вам нужно исчезнуть на целый день, по крайней мере, я не гонял бы верхового даром... А то, согласитесь сами, экстренное дело, вы необходимы, я посылаю, и вам не угодно пожаловаться...

Невежин и не подозревал, конечно, что раздражение его превосходительства было вызвано вовсе не тем, что Невежин не пришёл вчера, а совсем другим обстоятельством. Неприход Невежина был только предлогом излить раздражение и продолжать свои вариации на эту тему минут около пяти.

Невежин выслушал их до конца, закусив губы, и, когда его превосходительство наконец окончил, проговорил:

— Но ведь это дело поправимое, Василий Андреевич. Если моё первое непоявление по вашему зову так раздражает вас и вызывает такие длинные упрёки, то не лучше ли избавить и вас, и меня от повторения подобных сцен, — увольте меня от обязанностей вашего секретаря...

Старик совсем опешил.

— Ну вот... вы уж и обиделись!.. Точно и нельзя старику пожуричь... Я и не думал... ей-богу, не думал обидеть вас... Ну... ну... не сердитесь, Евгений Алексеич, и не думайте говорить об увольнении! — упрасивал, внезапно смягчаясь, старик.

И с обычною своею экспансивностью Василий Андреевич встал, привлёк к себе Невежина и, целуя его, проговорил со слезами на глазах:

— Ведь я вашего отца знал, приятели были, — неужели вы старику всякое лыко в строку?.. Я понимаю, у вас были *circonstances atténuantes*\*: вы встречали знакомую, и — говорят — хорошенькую, ну так бы и сказали...

---

\* Смягчающие обстоятельства (франц.).



---

Невежин чувствовал себя неловко пред стариком. Он вспомнил памятное свидание с его женой, окончившееся так неожиданно, и ещё раз пожалел о своей опрометчивости. Вместе с тем он и обрадовался, что старик, видимо, не догадывается, как молодой человек успокоил тогда нервы Марьи Петровны.

А его превосходительство между тем, почувствовав прилив откровенности, продолжал:

— Я сознаюсь, за что я на вас сердился... Мне передали, будто вы хвалились, что повернёте дело Толстобрюхова по-своему...

— Это вздор. Ничего подобного я никому не говорил.

— Честное слово?

— Честное слово!

— Ну, значит, меня ввели в заблуждение... Ещё раз извините меня! — проговорил Василий Андреевич, протягивая руку. — А теперь — об этом самом толстобрюховском деле... Я прочёл и нахожу, что вы несколько увлеклись...

— То есть как увлёкся?..

— Очень просто. Не зная здешних людей, вы заключили, что Толстобрюхов уж невесть какой злодей, а он, право, ещё лучше многих здешних тузов...

Невежин хотел было возразить, что ещё недавно сам Василий Андреевич согласился с мнением Невежина относительно оценки Толстобрюхова, но промолчал.

— Я вижу, вы не согласны со мной?..

— Не согласен...

— Поживёте здесь — согласитесь... Но, чтоб не насиловать ваших убеждений, я попрошу Сикорского составить доклад... Он неразборчивый, — улыбнулся его превосходительство, — и с удовольствием напишет, что ему прикажут...

Невежин горько улыбнулся. «Вот и первое его дело, в котором он мечтал быть полезным, пошло прахом!» — подумал он, не понимая, как это Василий Андреевич, человек, без сомнения, бескорыстный, мог совершить вопиющую несправедливость — хлопотать о заведомом мерзавце, который не прочь был вступать в сношения с такими господами, как Келасури.

А между тем дело было простое. Благодаря хлопотам Толстобрюхова и преимущественно его деньгам, Василия Андреевича со всех сторон осаждали просьбами, и даже сам Пятиизбянский, контрировавший с его превосходительством, вчера приезжал просить за Толстобрюхова, рассказав, между прочим, сплетню, сочинённую Сикорским, будто Невежин хвалится, что он повернёт дело по-своему, причём Пятиизбянский прибавил, что он, разумеется, не верит, чтобы воль-

---

нонаёмный секретарь из ссыльных мог иметь влияние на его превосходительство, который обещал уже давно ходатайствовать за Толстобрюхова.

Это окончательно взорвало Василия Андреевича, и он обещал ещё раз пересмотреть дело, и если найдёт возможным, то просить за Кира Пахомыча.

Таким образом, Кир Пахомыч, руководимый советами Сикорского, хоть и посеял ещё несколько тыснонок, но зато рассчитывал выйти победителем и в конце концов снять с себя клеймо подозрения, мешающее ему быть избираемым в общественные должности. Кира Пахомыча грыз честлюбивый червяк — ему хотелось сделаться городским головой.

Передав Невежину две-три бумаги и проект собственноручной записки для разработки, Василий Андреевич любопытствовал узнать: кто такая эта приезжая барышня? Откуда она приехала? Зачем приехала?

— О красоте её Сикорский вчера так много рассказывал, что заинтересовал и меня, и Marie... **В особенности Marie заинтригована...** В самом деле она так хороша?

Невежин удовлетворил любопытство старика и заметил, что действительно хороша.

— Значит, есть теперь за кем ухаживать, а? — шутиливо спрашивал, подмигивая, его превосходительство.

Но Невежин так серьёзно ответил, что за такими девушками ухаживать нельзя, что Василий Андреевич, заметивший неудовольствие молодого человека, тотчас же прекратил свои шуточки.

Невежин собирался уже откланяться, как в кабинет вошла Паша и доложила, что барыня просит Евгения Алексеевича к себе на одну минуту.

— Идите, идите, Евгений Алексеич! Marie вчера целый день была не в духе и всё расспрашивала Сикорского о приезжей красавице... Вы ведь знаете женщин? Пока их любопытство не удовлетворено — они беспокойны... А у Marie вдобавок ещё эти нервы! — прибавил старик с кислой улыбкой.

## 2

Не с приятными чувствами входил и Невежин в будуар Марьи Петровны.

При виде этой женщины, сидевшей на низеньком диванчике в том самом костюме, в каком она была в памятный вечер, с распущенными волосами и оголёнными руками, эти неприятные чувства усилились до отвращения, и неблагоприятный молодой человек, оглядев её быстрым холодным взглядом,

---

нашёл сегодня Марью Петровну смешною в этом наряде вакханки. И морщинки вокруг подведённых глаз, и тёмные мешки под ними, и слой румян, покрывавший рыхлые щёки, и ожиревшие мясистые руки, и желтизна открытой шеи... словом, все недочёты перезревшей красавицы бросились сегодня в глаза при дневном свете.

Томный, грустный вид, с каким Марья Петровна встретила молодого человека, молча указывая на кресло, несколько не тронул Невежина.

«Неужели она станет упрекать и разыграет трогательную сцену? Не может быть... у неё всё-таки довольно такта!» — думал Невежин, присаживаясь в почтительном отдалении.

— Отчего вы вчера не пришли, Невежин? — заговорила она тихим голосом.

— Некогда было, Марья Петровна.

— А я вас так ждала, так ждала!.. — проронила она с упреком.

«Начинается!» — подумал Невежин, решившись молча выдержать первый натиск.

— И хотя бы вы написали строчку, а то так резко ответили Паше на моё приглашение... Этого, признаться, я не ждала от вас... Не ждала!.. — проговорила она после паузы.

И Марья Петровна приложила батистовый платок к глазам, утирая слёзы и взглядывая одним глазом на Невежина.

Он сидел молча, не произнося ни одного слова утешения.

«Неужели всё кончено? — думала с тоскою в сердце Марья Петровна, чувствуя озлобление отвергнутой женщины, мечтавшей на склоне лет изведать счастливые минуты с этим красивым молодым человеком, возбуждавшим её желания. — Зачем же тогда, в тот вечер...»

И, чувствуя себя глубоко несчастной и обиженной, Марья Петровна нервно всхлипывала.

А Невежин вместо утешения по-прежнему упорно молчал.

Это молчание, этот безучастный взгляд, говорившие лучше слов, что мимолётный каприз молодого человека едва ли повторится, задели за живое уязвлённое самолюбие. Она торопливо утёрла слёзы и проговорила с неожиданной усмешкой:

— И я-то хороша. Разнервничалась. Я и забыла совсем, что вам вчера было не до приглашений. Вы встречали какую-то приезжую красавицу? — прибавила она, зорко всматриваясь в Невежина.

Он невольно покраснел, когда отвечал:

— Да, я встречал одну знакомую.

— Какая-то учительница, говорят? — с пренебрежением кинула Марья Петровна.

---

— Да, она приехала сюда давать уроки.

— Только для этого?

— А для чего же более?

— Вам об этом лучше знать, мосье Невежин! — усмехнулась Марья Петровна.

Невежин опять покраснел и резко проговорил:

— Кажется, уж вы знаете ещё лучше, чем я.

— Не знаю, а догадываюсь.

— О чём?

— Что эта барышня, похожая на монашенку, вероятно, ваша пассия.

— Вы правы. Я глубоко и искренно уважаю эту девушку,

— Вот как! — протянула она. — Я и не догадывалась, что вы можете так глубоко уважать женщину! — иронически прибавила Марья Петровна и, как бы спохватившись, заметила: — Однако что же я злоупотребляю вашим временем, когда вам нужно спешить домой? Простите великодушно.

И, протянув руку, Марья Петровна с улыбкой светской женщины простилась с Невежиным.

Но когда он ушёл, чувства злобы, ревности и оскорблённого самолюбия вырвались наружу.

— Я покажу, как оскорблять женщину! — бешено повторяла она сквозь слёзы, истерично рыдая. — Я покажу...

Рыдания делались всё сильнее и сильнее и перешли в истерику.

— Что с тобой, Marie, что с тобой, милая? — испуганно спрашивал Василий Андреевич, прибежавший в будуар.

— Ничего, пройдёт... Не беспокойте барыню! — проговорила Паша, ухаживая за барыней.

Но в это время Марья Петровна открыла глаза.

— Что с тобой? Что тебя расстроило? — снова спрашивал Василий Андреевич.

— Уйди вон, старый дурак! — вдруг крикнула Марья Петровна, и истерика усилилась.

— Уйдите, барин! — шепнула Паша.

И Василий Андреевич, махнув безнадёжно рукой, ушёл в кабинет с видом поджавшей хвост провинившейся собаки, со страхом думая о нервах жены, которых даже и Невежин не мог сегодня успокоить.

---

## XVII

### Неожиданная экскурсия

#### 1

Никак не ожидавший, что объяснение с сорокалетней Юной окончится так благополучно и, главное, без тех «порций» мелодраматических сцен с переходами от нежнейшего *piano* к бурному *fortissimo*, сопровождаемому истерикой, до которых такие охотницы женщины перезрелого возраста, когда видят, что дело любовной интриги окончательно проиграно, Невежин спускался с лестницы в том счастливом расположении духа, в каком бывают школьники, неожиданно избежавшие длинного выговора за совершённую шалость.

Хотя, казалось бы, прежний опыт и должен был напомнить ему, что женщина — и особенно женщина, загоревшаяся поздней страстью, — всё прощает, кроме оскорблённого самолюбия, и не слишком-то радоваться этому кажущемуся хладнокровию Марьи Петровны, но, занятый своим чувством, счастливый, что Зинаида Николаевна здесь, что он её может видеть каждый день, Невежин забыл о многом, о чём бы следовало помнить, и не сомневался, что весь этот «прискорбный эпизод» закончен. Разумеется, Зинаида Николаевна никогда не узнает об его «непростительно глупом легкомыслии», как называл про себя этот неблагодарный молодой человек своё поведение во время свидания, окончившегося столь неожиданно, по крайней мере, для самого Невежина.

Он и теперь, правда, готов был каяться задним числом по примеру всех слабохарактерных людей, что позволил увлечься мимолётным животным капризом и этим самым как бы осквернил своё чистое чувство к любимой девушке, но эти покаянные мысли пролетали быстро и нашли себе оправдание в тех ссылках на слабость человеческой природы, к которым обыкновенно прибегает в подобных случаях большинство мужчин, так что, выйдя на подъезд губернаторского дома, Невежин считал себя почти невиноватым.

Во всём, конечно, была, по его мнению, виновата она — эта «старая, опытная кокетка со своими подведёнными глазами и оголёнными рыхлыми руками — чёрт бы её побрал!».

Успокоив на чужом обвинении совесть, Невежин вышел на улицу, взглянул и остановился, изумлённый странным зрелищем.

Толпы народа — мужчины, женщины, подростки и даже дети, — разбившись на кучки, бежали, обгоняя друг друга,

---

стремясь по одному направлению. Толпа эта гудела сдержанным ропотом, взволнованная, возбуждённая, любопытная, спеша куда-то. По временам из кучек раздавались полные ненависти восклицания:

— Повесить их мало, подлецов!

— Среди бела дня и такой грех!

— И чего смотрит полиция?

— Полиция!.. Только название что полиция!

Невежин недоумевал, в чём дело. Он остановил какого-то мимо бегущего человека в поддёвке и спросил, куда бежит народ.

— Туда! — торопливо отвечала, не останавливаясь, «поддёвка», указывая куда-то рукой.

— Целую семью сейчас вырезали злодеи. Целую! — пояснила, останавливаясь и переводя дух, какая-то ветхая старушонка, слышавшая вопрос Невежина. — Ни одной живой души не оставили, батюшка! Вот оно что! Среди бела дня. Видано ли такое дело?!

И с последними словами старушка торопливо засемила своими слабыми ногами, видимо, изнывая от нетерпения скорее попасть на место, где было совершено преступление.

Охваченный чувством ужаса и вместе с тем любопытством, Невежин двинулся за толпой, невольно ускоряя шаги, и через несколько минут остановился вместе с другими перед небольшим одноэтажным деревянным домом почти в центре Большой улицы, где уже стояла громадная толпа, сдержанная и угрюмая. Полицейские сновали в толпе, упрашивая разойтись, но никто не обращал на них внимания, никто не думал уходить, и городовые притихали, чувствуя, что скажи они теперь грубое слово — толпа их разнесёт.

Прибывавшие жадно выслушивали подробности убийства, передаваемые в толпе, крестились, проклинали убийц и смотрели на этот маленький дом, серенький, покосившийся, где только что пролилась кровь. Ворота были заперты, и калитка охранялась городовыми, пропускавшими во двор только публику почище. Каждый раз, когда кто-нибудь возвращался оттуда, толпа волновалась, и новые подробности переходили из уст в уста.

Следователь и прокурор уже там... Девочка ещё жива. Деньги все похищены. Десять тысяч было... Вещи все целы... Не успели взять злодеи...

Прислушиваясь ко всем этим толкам, Невежин случайно обернулся и среди массы голов увидел знакомое лицо того самого рыжего, которого он уж два раза встречал при исключительных обстоятельствах. Рыжий, очевидно, смутился и в ту же минуту исчез куда-то.

---

У Невежина невольно мелькнуло подозрение.

— Пропустите, господа, пропустите, пожалуйста!

Толпа расступилась, пропуская полицеймейстера, за которым молодцевато шёл Ржевский-Пряник, то и дело прикладывая пальцы к козырьку фуражки в ответ на поклоны и снятие шапок.

Старик был взволнован.

— Чтоб были разысканы эти зверюги! — вдруг крикнул он, видимо, для успокоения толпы, обращаясь к следовавшему за ним частному приставу.

Тот почтительно наклонил голову.

— Злодеи, мерзавцы!.. — сердито повторил он.

— Повесить их мало! — раздалось в толпе. Его превосходительство повернул голову и, увидав Невежина, приостановился.

— Пойдёмте вместе... Хотите?

Невежин охотно согласился.

Вслед за стариком он вошёл в калитку, оттуда они подошли к раскрытому крыльцу, у которого стоял ещё кипевший самовар. Но перед входом на крыльцо все остановились. В сенях лежал ещё тёплый труп старого человека с окровавленной головой и с тусклым взглядом выкатившихся глаз, полных, казалось, застывшего ужаса. Около валялся окровавленный лом.

— Это сам хозяин!.. — проговорил полицеймейстер, невольно понижая голос.

Вошли в комнату, небольшую, чистенькую, среди которой стоял стол с приготовленным чайным прибором, и снова все остановились. У самого стола лежала полуодетая старая женщина, в капоте, залитом кровью. Рядом в маленькой тёмной комнатке, освещённой одним окном, зрелище ещё ужаснее: два детские трупа лежали среди комнаты, а в тёмном углу, за печкой, ещё труп — молодой женщины в сарафане... И среди тишины, царившей в детской, словно бы для контраста, весело заливалась канарейка в клетке.

У Невежина кружилась голова от этого вида трупов и крови, и он был доволен, когда все вошли в третью комнату, где были живые люди. Его превосходительство молча поздоровался с прокурором, следователем и врачами и приблизился к кровати, на которой лежала девочка лет пятнадцати, издававшая по временам стоны.

— Будет ли она хоть жива? — тихо спросил, отходя, старик.

Доктор безнадёжно пожал плечами.

В эту минуту Невежин заметил, что девочка раскрыла глаза, уставилась на него и, припоминая, казалось, что-то, вдруг



---

протянула вперёд руки и громко вскрикнула полным мольбы и ужаса голосом:

— Не убивайте... не убивайте меня!

Доктора подошли к ней. Подбежал и частный пристав, пришедший с генералом, всё время зорко и напряжённо всматривавшийся во всё и что-то записывавший в записную книжку.

— Кого вы боитесь? — спросил он.

— Этого... чёрного... с большой бородой... Ах!

И с этими словами девочка снова потеряла сознание.

— Напрасно вы беспокоите больную! — заметил с неудовольствием один из врачей.

Но молодой частный пристав в ответ значительно усмехнулся и передал следователю слова больной.

Следователь, толстый, приземистый господин, видимо растерянный, между тем вместе с другим полицейским чиновником составлял протокол осмотра. Его сонное, одутловатое лицо, свидетельствовавшее о любви к кутежам, не вкушало особенного доверия к его способностям следователя. Растерянность и неумелость так и бросались в глаза. Невежин сразу догадался, что среди всех этих господ нет ни одного опытного в розысках человека, и только разве вот этот молодой, юркий частный пристав ещё может что-нибудь сделать. Недаром он пользовался репутацией хорошего сыщика.

Отдав приказание перевезти сильно израненную девочку в больницу, его превосходительство вышел на двор, сопровождаемый всеми чинами.

— Срам... срам! — проговорил старик. — Полиция совсем распущена... Среди бела дня, и такое ужасное преступление!

Полицеймейстер угрюмо молчал.

— Непременно надо найти убийц... Непременно... господин Спасский! — обратился его превосходительство к молодому частному приставу. — Я на вас надеюсь... Если вы отыщете мне убийц... я сумею наградить вас! — прибавил, понижая голос, старик. — Надобно немедленно начать розыски. Сделано распоряжение?

— Сейчас будет сделано! — ответил полицеймейстер.

— Сейчас будет сделано! — передразнил его превосходительство. — Это чёрт знает что такое... Немедленно же начинайте!.. Поручите это господину Спасскому.

— В таком случае я попрошу позволения через два часа уехать...

— Уехать? Вы думаете — убийцы уже бежали?

— Точно так-с.

— Что ж, с богом... И помните, что я вам сказал... Если поиски ваши увенчаются успехом, то... — Он не закончил речи

---

и, обратившись к Невежину, тихо заметил по-французски: — Вот интересное путешествие... Хотите ехать с Спасским?

— С большим удовольствием.

— Хотите взять господина Невежина? Он вам не помешает?

— Очень буду рад! — промолвил Спасский и прибавил: — Через два часа я заеду за господином Невежиным.

В одиннадцать часов утра к квартире Невежина подъехала телега, и в ней сидел одетый в штатское платье человек, в котором Невежин только после объяснения узнал частного пристава Спасского.

## 2

— Надолго мы едем? — спросил Невежин, когда телега покатилась.

Спутник его неопределённо пожал плечами.

— Кто знает? Иногда эти поездки затягиваются... В прошлом году, например, я гнался за одним артистом целых две недели...

— И поймали?

— Поймал! — самодовольно отвечал Спасский. — Теперь, впрочем, всё будет зависеть от того, верны ли мои подозрения, или нет... Если верны — сегодня же к ночи нагоним молодца, который легко мог орудовать этим убийством...

— Но почему вы думаете, что убийца непременно бежал из города? — спрашивал Невежин.

— Показание девочки навело меня на мысль об одном очень ловком негодяе, который уж несколько раз вывёртывался из разных дел... Ну а затем эти два часа не прошли даром. Я навёл справки по всем дворам, откуда можно достать лошадей, и оказалось, что примерно через четверть часа после убийства выехал человек, очень похожий по признакам на того самого, кого я подозреваю.

— И вы имеете сведения, куда он поехал?

— Если бы имел, дело было бы очень просто! — усмехнулся пристав. — То-то нет...

— Почему же мы едем в эту сторону, а не в противоположную, например? — спрашивал Невежин, заинтересованный рассказом.

— Так, по некоторым соображениям предполагаю, куда он должен направиться... Впрочем, и по другим дорогам послана погоня...

— И вы надеетесь на успех?

— Это, батюшка, трудно сказать. В этих делах, как и во всяких, счастье много значит... Только зверь, за которым мы

---

едем, очень крупный и опасный... Врасплох его не поймашь... Того и гляди след заметёт, и во всяком случае легко в руки не дастся... Револьвер, конечно, вы взяли с собой?

— Взял, а что? Разве может понадобиться?

— Так, на всякий случай... Всяко бывает! — загадочно проговорил пристав.

Телега между тем выехала за город.

— Ну, теперь валяй всю! — крикнул Спасский ямщику. — А вы хорошенько держитесь, Евгений Алексеевич, а то и вывалиться легко.

Ямщик гикнул, и лошади, прижав уши и вытянувшись, понеслись во всю прыть по широкой почтовой дороге.

Через час, отмахавши двадцать две версты, тройка, еле дыша, остановилась у станции.

— Что, не случилось так езжать? — спрашивал Спасский. — Устали?

— Нет, ничего.

Они вошли на станцию. Спасский о чём-то стал шептаться с смотрителем. Через пять минут лошади были готовы.

— Ну, что... какие вести? — спросил Невежин.

— Проехал! — отвечал Спасский.

И на его лице играла та радостная улыбка, которая бывает у охотников, напавших на след зверя.

— Он был, значит, здесь, на станции?

— Нашли дурака! Он переменил лошадей в деревне, в трёх верстах, и очень торопился, как сообщают агенты.

— Какие агенты?

— Да полицейские, двое здоровенных парней. Они впереди нас едут. А вы думали, что мы только вдвоём с вами отправились на охоту? Благодарю покорно! Я ещё пожить в своё удовольствие желаю! — засмеялся Спасский.

Телега опять понеслась. Ещё станция, другая. Везде сведения были одни и те же — «проехал».

На третьей станции путешественники сделали передышку — закусили.

— А скверная ваша служба! — заметил Невежин, поглядывая на своего спутника, торопливо закусывавшего после рюмки водки.

— Д-д-д-а... Нельзя сказать, чтобы приятная!.. — философски заметил частный пристав. — Угодно будет по второй? — промолвил он, наливая рюмки. — Водка порядочная!

— И главное, за эту каторгу гроши платят! — заговорил он, прожёвывая кусок сыра. — Все это знают, и все нас ругают за то, что мы изыскиваем дополнительные средства для личного существования... Прикажете ещё?

Невежин, однако, от третьей рюмки отказался.

---

— Мы здесь, в Сибири, имеем репутацию, так сказать, классических воров! — с весёлым смехом прибавил Спасский.

— Но эта репутация, конечно, преувеличенная? — деликатно подал реплику Невежин.

— Ну... лгать не стану. Где можно благородно взять, берём... Понимаете ли: благородно... Этак сорвать с какого-нибудь толстомордого купчины... Ведь и они рвут?.. Или, например, приобрести какой-нибудь предмет необходимости или роскоши за пятерню... Это мы любим...

— Что это значит, «за пятерню»?

— А это значит на чиновническом жаргоне — за пожатие руки. Ха-ха-ха!.. Но опять-таки повторяю: благородно... Однако время-то не терпит... Едем, Евгений Алексеевич... Надеюсь, разговор наш имеет чисто конфиденциальный характер? — прибавил неожиданно Спасский.

— В этом могли бы не сомневаться!..

— То-то я и говорю с вами откровенно, как с порядочным человеком... Спроси меня, впрочем, сам его превосходительство, я бы и ему то же сказал... Да и кто этого не знает! — прибавил Спасский. — Беда только в том, что многие неблагородно берут...

— То есть как это неблагородно?

— Вымогает, пристаёт или сорвёт, да ничего не сделает... По-моему, это вовсе уж неблагородно!.. — пояснил, садясь в телегу, Спасский.

Стемнело, когда телега подъехала к четвёртой станции. Едва наши путешественники выскочили из телеги, как к Спасскому подошёл один из «агентов», высокий, молодцеватый парень, и стал о чём-то докладывать.

Невежин увидел, что лицо пристава озарилось улыбкой. Он отдал полицейскому какое-то распоряжение и, когда тот ушёл, сказал Невежину:

— Ну, кажется, накроём голубчика. Он должен ночевать в заимке, верстах в пятнадцати отсюда. Глухое место... Там один старый поселюга живёт. Притон настоящий содержит. Я велел ещё двух мужиков на подмогу взять, и затем отправимся.

— А разве опасно, что вы принимаете такие предосторожности?

— А чёрт их знает, на кого там нарвёмся!

Через четверть часа, после того как напились чаю, три тройки одна за другой тронулись в путь и, проехав версты три по большой дороге, свернули в сторону. Дорога шла лесом. Ночь выдалась, что называется, воробьиная, ни зги не видать, и лошади тихо подвигались вперёд среди безмолвия непроницаемого мрака. Колокольчики были подвязаны.

---

Все хранили молчание. Так проехали час. Время, казалось Невежину, тянулось необыкновенно долго.

— Что, скоро заимка? — спросил он.

— Теперь, верно, скоро! — тихо и нервно ответил Спасский и стал закуривать папироску.

При свете спички Невежин заметил, что спутник его взволнован. И сам он был в нервном, напряжённом состоянии.

Наконец впереди мелькнул слабый огонёк. По приказанию Спасского тройки остановились.

— Это и есть заимка, — вполголоса сказал один из мужиков.

Все вышли из телег и тихо один за другим пошли по направлению мигавшего огонька в глубоком молчании. Телеги остались сзади.

Когда среди безмолвия ночи вдруг невядалеке твякнула собака, затем другая, третья, и огонёк вдруг исчез, Невежина охватило то безотчётное чувство страха и волнения, которое испытывают люди в ожидании неизвестной опасности.

## XVIII

### Старый знакомый

Собаки стали заливаться сильней. Слышно было, что вблизи фыркают лошади, но как ни напрягал Невежин зрение, а жилья не видал.

— Стучаться, что ли, ваше благородие? — раздался тихий голос передового.

— Подожди... Вы здесь, Евгений Алексеевич? — спросил Спасский.

— Здесь...

— А задние?

— Все здесь! — отвечал чей-то голос сзади Невежина.

— Стучись! — разрешил Спасский. — Имейте револьвер наготове, — шепнул он.

Невежин и без предупреждения нервно сжимал в кармане пальто ручку револьвера.

Раздался стук в ворота. Никто не выходил. Только собаки бешено лаяли. Наконец послышались шаги, и чей-то голос беспокойно спросил:

— Кто тут?

— Прохожие... Пусти переночевать, Макарыч! — отвечал Спасский изменённым голосом.

---

— Сколько вас?

— Двое, двое, Макарыч... Из Вяткиной пробираемся.

Ворота открылись. У ворот с фонарём в руках стоял какой-то человек. Невежин успел разглядеть в нём высокого старика.

— Здорово, Макарыч! — заговорил Спасский своим голосом, быстро подходя к старику. — Принимай, брат, гостей... Много их.

И все шесть человек очутились на дворе.

— Да вы кто такие будете? — тревожно спросил старик.

— Не узнал, что ли?.. Ну-ка посмотри хорошенько.

Невежин видел, как сразу передёрнулось лицо старика, когда он, подняв фонарь, увидел Спасского... Но, видимо, стараясь казаться спокойным, он поклонился и с напускным спокойствием проговорил:

— Чуть было не обознался, ваше благородие... Милости просим...

— Ну, Макарыч, теперь, брат, рассказывай: кто да кто у тебя?..

— Да проезжий один, ваше благородие...

— Проезжий... Заблудился, видно? Мы за ним-то и приехали к тебе в гости... Веди-ка к нему!.. Да смотри, Макарыч, без баловства!.. — строго прибавил Спасский. — Нас видишь ли сколько.

Макарыч бросил беспокойный взгляд из-под седых нависших бровей на своих, видимо, неожиданных, гостей и, не говоря ни слова, пошёл вперёд.

Через минуту все вошли в небольшую комнату.

— Здесь, — прошептал Макарыч, указывая на дверь.

— Один?..

— Один! Спит, должно быть...

— А вот мы его побудим!.. Иди-ка вперёд, Макарыч!

И с этими словами вслед за стариком в двери вошли Спасский и Невежин. На кровати, в углу комнаты, лежала чья-то мужская фигура. При свете огня Невежин, к удивлению своему, увидел знакомое лицо Келасури.

— Его-то нам и нужно! — весело проговорил Спасский.

В эту минуту Келасури проснулся и сонным, недоумевающим взглядом глядел на стоявших перед ним людей. Но вдруг его лицо, смуглое, заросшее бородой, с загнутым, как у хищной птицы, армянским носом, исказилось выражением ужаса. Зрачки глаз расширились, губы вздрагивали. Ещё секунда, и он, полуодетый, присел на кровати, озираясь вокруг с видом зверя, застигнутого врасплох. Ловким движением руки он незаметно достал из-под подушки револьвер и нервно сжимал его в своей волосатой руке.

---

Невежин наблюдал за ним. Он видел, как мрачно блистали его большие тёмные глаза, острые и горячие, как быстро ощущения страха, злобы и отчаяния отражались на этом сухом, мускулистом, напряжённом и сосредоточенном лице, как напрягались жилы на его низком, сморщенном лбе, покрытом каплями пота... Казалось, этот человек не пришёл ни к какому решению. Так прошла ещё секунда-другая — и решение, очевидно, было принято. Лицо Келасури застыло в выражении спокойного изумления.

— Чуть было не напугали меня! — проговорил он сдержанным спокойным тоном, пряча револьвер и вопросительно глядя на Спасского.

Тот ещё накануне снова преобразился в полицейского чиновника, и Келасури отлично его узнал.

— Совершенно напрасно, господин Келасури! — отвечал самым добродушным тоном Спасский и неожиданным движением достал из-под подушки револьвер. — Долго ли до греха с перепугу! Лучше его спрячем! — прибавил он, опуская револьвер в карман.

Келасури ещё с большим удивлением взглянул на Спасского, по-видимому недоумевая.

— А я вот к вам маленькое дельце имею! — продолжал Спасский.

— Ко мне? — переспросил, всё ещё удивляясь, Келасури.

— Да, так, кое-какие сведения нужно собрать... Так уж вы сообразовайте одеться... Не стесняйтесь, пожалуйста...

Когда Келасури одевался, Спасский не спускал с него глаз, следя за каждым его движением.

— Я к вашим услугам... Что вам угодно? — спросил, одевшись, Келасури.

На нём был хорошо сшитый городской костюм.

— Ты бы, Макарыч, вышел пока... Эй! Степанов... займи-ка Макарыча!.. Да чтобы он как-нибудь того... грехом, не убежал... Понимаешь?.. — прибавил Спасский, отдавая приказание вошедшему полицейскому. — Садитесь-ка, господин Келасури, и не будьте, пожалуйста, на нас в претензии, что мы вас беспокоили... Сами понимаете, служба уж такая...

Келасури пожал плечами и не проронил слова.

— Ну-с, так вот дельце какое... Скажите, пожалуй, давно ли вы из Жиганска?..

— Вчера...

— Так-с... В котором часу изволили выехать?..

— А право, не помню хорошо... Знаю, что рано... часу этак в шестом... А почему вас это так интересует?..

— Сейчас скажу... Прежде только объясните: сюда как вы попали?



---

— Да, полагаю, так же, как и вы... Сбился с дороги...

— Сбились с дороги?... Так, так-с... А выехали в шестом часу?... — как бы в раздумье протянул Спасский, видимо, доставляя себе удовольствие тянуть эту прелюдию допроса. — Значит, об убийстве в Жиганске не слыхали?

— А разве случилось убийство? — так спокойно переспросил Келасури, что Невежин готов был в эту минуту думать, что Спасский ошибается, подозревая этого человека.

— Как же, пять человек убито... Но только девочка-то жива, господин Келасури! — неожиданно прибавил Спасский, глядя прямо в глаза Келасури.

Ни один мускул не дрогнул на его лице. Он только презрительно поджал губы и, усмехнувшись, промолвил:

— Уж не меня ли вы подозреваете?..

— То-то вас, господин Келасури. Нечего перед вами играть комедию... Вы, слава богу, человек умный и сами, я думаю, догадались... Кстати, что это у вас за шрам?... — вновь неожиданно спросил Спасский, указывая пальцем на свежую довольно большую царапину под самым глазом. — Верно, ушиблись?..

— Ушибся! — смеясь, ответил Келасури. — А ведь вы, господин Спасский, напрасно прикатали за мной, ей-богу, напрасно... Конечно, это ваше дело, а всё-таки... напрасно... Я ещё убийцей не бывал! — проговорил он сухо и сдержанно, точно скрывая про себя обиду. — Руки для этого слишком чисты! — брезгливо прибавил он, показывая свои небольшие мускулистые руки.

— А всё-таки я вас арестую.

— Вижу, что так...

— И, уж извините, обещаю вас.

— Сделайте одолжение...

Спасский позвал полицейского и что-то шепнул ему, Невежин в это время перехватил полный ненависти взгляд Келасури, брошенный на Спасского.

— Не лучше ли, господин Келасури, без всяких этих миндальностей, — снова сказал Спасский.

— То есть как?

— Да так... Сознавайтесь... ведь это дьявольски смелое убийство — дело ваших рук?..

— Охота вам вздор говорить, господин Спасский... А впрочем... — Какая-то мысль, очевидно, пробежала у него в голове, и он вдруг сказал: — Попросите-ка этого господина выйти на минутку...

Невежин ушёл в соседнюю комнату, где Макарыч и ямщик находились уже связанными.

Через минуту Спасский позвал Невежина.

---

— Сделка не состоялась!.. Сейчас Келасури предлагал мне пять тысяч, если я его выпущу отсюда! — весело говорил Спасский.

— И не думал... Лжётё вы! Предложи вам и тысячу, вы, наверное бы, выпустили! — проговорил Келасури.

Вошли двое полицейских и стали обыскивать Келасури. Ничего подозрительного не найдено было ни на нём, ни в его чемодане. Спасский, видимо, начинал беспокоиться. Тем не менее он приказал связать Келасури, и когда это было сделано, сам Спасский начал обыскивать комнату. Обыскали весь дом — ничего не нашли. Тогда кто-то подал мысль осмотреть телегу. Келасури вздрогнул.

Через десять минут Спасский возвратился сияющий. В руках у него была большая пачка денег и билетов.

— А ведь остроумно придумано... Как вы полагаете, где были деньги? — обратился он к Невежину.

— Где?

— Врублены в бок телеги... Откуда это у вас столько денег, господин Келасури?

— А почему вы думаете, что это мои деньги? — нагло переспросил тот.

— У следователя вы, наверно, будете разговорчивее... Смотрите в оба за ним! — строго проговорил Спасский, и, приставив к Келасури двух полицейских, он вышел в соседнюю комнату и снял допрос с Макарыча и ямщика.

С рассветом три тройки ехали обратно, везя арестованных. На одной из них между двух полицейских сидел Келасури с наручниками. Спасский был необыкновенно весел и всю дорогу болтал без умолку, вспоминая прежние свои подвиги.

К вечеру приехали в Жиганск, и три арестанта были тотчас же заключены в острог.

## XIX

### В театре

#### 1

Вечером следующего дня назначен был дебют только что приехавшей актрисы Панютиной, о таланте которой шла хвалебная молва. Говорили, что такой замечательной артистки в Жиганске ещё не было, и приезд её в Сибирь после триумфов на разных сценах объясняли какой-то романической исто-

---

рией. В местном «Листке» была напечатана её биография с целым букетом хвалебных отзывов других провинциальных газет, и репортёр, собиравший эти сведения и одарённый южной впечатлительностью, на всех перекрёстках кричал о необыкновенной красоте и не менее необыкновенном уме «божественной примадонны», жалуясь, что редакция «Листка» значительно исказила доставленную им биографию, исключив самые «горячие места» из его впечатлений при знакомстве с артисткой. Наконец, сам Ржевский-Пряник, старый театрал, проводивший свою молодость среди актрис и понимавший толк в сценическом искусстве, усердно пропагандировал Панютину, которую раньше видел на клубных сценах Петербурга, и с обычной своей экспансивностью всем рекомендовал идти посмотреть замечательную актрису, причём многим конфиденциально прибавлял, щуря свои маленькие глазки, как кот, которому чешут за ухом, что Панютина прехорошенькая, препикантная женщина...

К восьми часам вечера маленький жиганский театр, обыкновенно пустой, был полон. Представители более видного чиновничества, богатого купечества, инженеры, военные, учителя и, наконец, знаменитости разных уголовных процессов — «бубновые тузы» на покое — словом, «весь Жиганск» был налицо. Дамы, наполнявшие ложи, особенно щеголяли сегодня своими костюмами, а купеческие жёны и брильянтами. Мужчины принарядились и имели праздничный вид, восторженный репортёр поминутно выбегал из залы и озабоченно сиял, точно сам он до некоторой степени был виновником торжества.

У рампы толпилась кучка молодых людей из местных франтов, среди которых обращал на себя внимание высокий белокурый господин, принимавший различные позы с напускным видом небрежного равнодушия. Он то вытягивался, то наклонялся вперёд, напоминая собой дрессированного жеребца, выведенного для гонки на корде. Тут же, серьёзный и сосредоточенный, с внушительным видом человека, сознающего бремя предстоящих обязанностей, стоял и рецензент «Листка» — гроза бедных артистов, давно уже собиравшихся «проучить» строгого зоила, не дававшего пощады.

Оркестр, способный привести в бешенство даже самого нетребовательного слушателя, только что окончил какое-то «морсо»\* и собирався вновь терзать уши, когда в крайней ложе, минут за пять до восьми часов, появилась представительная фигура её превосходительства, сопровождаемая бодрящимся и, видимо, весёлым стариком супругом. Вслед за тем в

---

\* Отрывок (от франц. *le morceau*).

---

залу вошёл, молодцевато потряхивая бёдрами и приветливо пожимая знакомым руки, полицеймейстер. Он был в духе и, весело улыбаясь, тотчас же сообщил новость, что только что пойман и другой подозреваемый участник убийства. «Теперь Келасури заговорит!» — таинственно прибавлял он, подмигивая глазом и поглядывая по временам на губернаторскую ложу.

Марья Петровна сегодня была особенно эффектна в своём тёмно-вишнёвом бархатном платье, отделанном кружевами, с букетиком белых роз у груди. Испанская кружевная косынка, наброшенная на голову, не закрывала её блестящих чёрных волос, гладко зачёсанных назад, что значительно моложавило её красивое, свежее, горевшее парижскими румянами лицо, а прелестно подведённые глаза искрились огоньком. Презрительно шурясь, она лениво обводила глазами публику лож и партера, отвечая чуть заметными кивками на почти-тельные поклоны, как вдруг с лица её исчезла улыбка, и она быстрым движением взяла с барьера бинокль и навела его в задние ряды кресел.

— Однако я ожидала, что у твоего Невежина лучший вкус! — проговорила Марья Петровна слегка вибрирующим от волнения голосом, обращаясь к мужу.

— А что?... Чем ты, Marie, недовольна Невежиным? — засуетился старик, несколько удивлённый, что жена, которая, казалось, так расположена была к молодому человеку, теперь употребила выражение: «твой Невежин».

— Эта его пассия... приехавшая курсистка, совсем не привлекательна, — протянула Марья Петровна, презрительно сжав губы. — Верно, это она рядом с ним, в костюме кающейся грешницы? — насмешливо прибавила она, кивнув головой на партер.

Василий Андреевич навёл бинокль и смотрел на Зинаиду Николаевну едва ли не долее, чем бы следовало для подачи своего мнения, на этот раз положительно несогласного с мнением супруги. Он, напротив, нашёл, что эта девушка необыкновенно привлекательна и изящна в своём скромном чёрном костюме, но, не желая портить себе вечера, обещающего удовольствие, дипломатически проговорил, окончив осмотр:

— Ничего особенного, конечно, но...

— Но что?

— Но всё-таки... недурна! — прибавил он, не решаясь слишком погрешить против истины.

— Удивляюсь, как ты, знаток красоты, — подчеркнула она ядовито, — не видишь в этой девушке чего-то вульгарного... А этот нос, губы!.. И, наконец, она и не молода... Впрочем, теперь для тебя, кажется, всякая юбка недурна! — прибавила

---

Марья Петровна с презрительной усмешкой, стараясь подавить закипавшее раздражение...

— Ты, верно, Marie, её худо рассмотрела! — оправдывался Василий Андреевич. — Конечно, в ней есть что-то вульгарное — не спорю, ты права, — но черты лица...

Но Марья Петровна не слушала и снова навела бинокль, терзаемая неодолимым желанием ещё раз взглянуть на девушку, благодаря которой она была жестоко оскорблена Невежиным.

«Так вот она, эта виновница!» — думала Марья Петровна, жадно впиваясь глазами в Зинаиду Николаевну.

И глухая ненависть всё более и более разгоралась в сердце отставной красавицы при виде Зинаиды Николаевны, которая сидела рядом с этим красивым Невежиным, видимо счастливым и сияющим, не перестававшим о чём-то разговаривать с своей соседкой и, казалось, забывшим обо всём на свете.

— Ну, что... Остаёшься ты при прежнем мнении, Marie? — добродушно спросил ничего не подозревавший супруг.

— Пожалуй, ты прав, Basile. Теперь я лучше рассмотрела... Эта... особа не так дурна! — тихо, совсем тихо, едва сдерживая волнение, проговорила Марья Петровна самым ласковым тоном.

И Василий Андреевич, давно не помнивший, чтобы жена в чём-нибудь с ним соглашалась, не без радостного удивления услышал её ласковый, даже нежный голос и, взглянув на жену, слегка побледневшую, но улыбающуюся, с блестящими глазами и горделиво поднятой головой, сказал с рыцарской любезностью:

— Зато ты, Marie, сегодня необыкновенно аванжна.

— Ты находишь? — усмехнулась Марья Петровна. — Однако сейчас начинают! Посмотрим, какова твоя хваленая Панютина! — любезно прибавила эта актриса-зрительница и повернулась к сцене, когда среди внезапно наступившей тишины взвился занавес.

## 2

Шла пьеса малоизвестного драматурга, пьеса, не отличающаяся большими достоинствами, но с недурно намеченными двумя-тремя характерами, дающими благодарный материал для игры. Особенно удачна была главная женская роль, исполнявшаяся дебютанткой.

Панютина показала себя незаурядной актрисой. Высокая, статная, с выразительными чертами лица, с чудным голосом, способным выражать разнообразные оттенки, она с первого же акта приковала внимание зрителя. И, глядя на эту власт-

---

ную, энергичную молодую женщину, каждое слово которой выдавало скрытую ненависть к старому, суровому богачу-мужу, зритель чувствовал, что с подобной женщиной шутить нельзя, что, раз ею овладеет страсть, она охватывает её всю, и горе тем, кто стоит на пути. С первого же действия было видно, что бесхарактерный, слабый молодой человек, влюбившийся в неё, станет её жертвой, если только и она полюбит его. Но она ещё словно в раздумье и как бы сама боится рокового чувства. Ей, видимо, и нравится этот красивый, слащавый, восторженный юноша, и в то же время она его слегка презирует, понимая всю слабость и ординарность его натуры. Но страсть заразителна, и когда в конце первого акта юноша в пламенных речах говорит ей о своей любви, во всём лице её, во всей фигуре чувствуется внутренняя борьба, и наконец она так холодно и жёстко смеётся, стараясь этим смехом скрыть овладевшее ею волнение, что зрители притаили дыхание, с тяжёлым чувством, точно в ожидании надвигавшейся грозы.

«Уйдёт ли этот влюблённый юноша после такого оскорбительного смеха подобра-поздорову?» — невольно проносилось в голове у каждого.

Но юноша, по примеру всех слащавых юношей, не только не понял опасности и не ушёл после этого презрительного смеха, но в новом монологе стал изливать свои чувства и просить как милости — не гнать его, позволить ему хоть изредка её видеть... словом, повторил всё то, что неизменно повторяется в таких случаях с сотворения мира.

И она слушала, слушала, и эта любовная музыка речей опьяняла её.

Зритель чувствовал, что гроза надвигается ближе и ближе, когда артистка вдруг проговорила шёпотом, суровым и в то же время полным страсти: «Любить меня не забава... Можете ли вы так любить?».

Юноша, конечно, обещает, не понимая, что он обещает, и когда артистка со словами, полными рокового значения: «Смотри же, я тебя предупредила!» — вся трепещущая, счастливая, замирающая от страсти, бросается к нему на шею, — весь театр дрогнул от рукоплесканий, и вызовам после первого акта не было конца.

— Что, какова... какова Панютина? — восторженно говорил Ржевский-Пряник, обращаясь к жене.

Но Марья Петровна даже не удостоила ответом мужа, который, искоса взглянув на жену, немедленно исчез из ложи, чтобы пойти за кулисы и поздравить артистку с огромным успехом.

Марье Петровне было не до разговоров. Она вся находилась под обаянием игры и невольно отождествляла себя с ге-

---

роиней пьесы. Ей хотелось по крайней мере походить на неё и думать, что положение её сходно. И она несчастлива с мужем — правда, он не суровый тиран пьесы, но от этого ведь не легче! И она хочет любви и счастья, которое уже было началось, если б не эта... Злоба и жажда страсти душили её. Она в эту минуту ненавидела Зинаиду Николаевну и Невежина со всей силой оскорблённого самолюбия и неудовлетворённого желания. И обида принимала более острый характер после того, как она видела их вдвоём, счастливых и радостных, после того, как она вновь вспоминала оскорбительное пренебрежение, с каким этот обласканный ею Невежин разорвал отношения... И это в благодарность за то, что она принесла ему в жертву супружеский долг!.. — думала Марья Петровна, доставляя себе удовольствие иллюзии — быть в виде жертвы... Ничего подобного ещё не случалось с ней раньше... Она, положим, и прежде увлекалась и даже не раз приносила в жертву любви супружеский долг, но всегда она бросала любовников, а не они её! — подумала Марья Петровна, припоминая длинный ряд прежних своих увлечений.

Невольно взглянула она в партер, но тех, кого она искала, не было. Вместо них она встретила пристальный взгляд Сикорского, давно уже незаметно наблюдавшего за ней. В ответ на его низкий почтительный поклон она лёгким движением головы подозвала его и, поднявшись с места, вышла в коридор.

— Извините, Михаил Яковлевич, что беспокою вас... Василий Андреевич, верно, за кулисами, и мне не к кому обратиться. Принесите, пожалуйста, стакан воды... Здесь сегодня такая жара...

Чуткое ухо Сикорского уловило особенную любезность в тоне голоса, а взгляд его увидал самую милую и ласковую улыбку, какой давно не дарила Михаила Яковлевича недолюбливавшая его Марья Петровна.

«Не за водой ты меня, матушка, позвала!» — подумал он, и в то же время спросил:

— Не позволите ли принести вам лимонаду?

— Нет, нет... воды.

Через минуту он уже подавал воду и спрашивал:

— Как вам понравилась Панютина?

— Хороша...

— Все от неё в восторге... Вот только Евгений Алексеич недостаточно ею восхищён...

— Ему она не нравится? — с самым равнодушным видом усмехнулась Марья Петровна.

— То-то, не особенно... Да он и не смотрел на сцену!.. — засмеялся Сикорский. — Он больше занят был своей соседкой...



---

Прехорошенькая барышня! — как бы невзначай кинул Сикорский, глядя с самой невинной улыбкой на Марью Петровну.

— В самом деле?.. Признаться, я не обратила особенного внимания... Так, мельком взглянула!.. — ответила Марья Петровна всё тем же спокойным тоном.

Но голос её слегка дрогнул, и гримаска пробежала по лицу.

— Сдаётся мне, что наш молодой человек от этой барышни без ума...

— А она? — вырвался нетерпеливый вопрос у Марьи Петровны.

— Она... О, тут целая романическая история... Если позволите, я вам когда-нибудь расскажу, а теперь не смею беспокоить вас рассказом... Сейчас начинают!.. — прибавил Сикорский, наклоняя голову.

— Так приезжайте после спектакля рассказать эту историю!.. Я люблю романические истории! — проговорила она с искусственным смехом.

— Это про какую историю? — подхватил Василий Андреевич, подходя к ним весёлый и сияющий после четверти часа, проведённой за кулисами за комплиментами Панютиной.

— Про одну пикантную историйку, ваше превосходительство! — проговорил Сикорский, удаляясь с почтительным поклоном.

Начался второй акт. С появлением Панютиной театр затих. Все взоры были устремлены на артистку, теперь счастливую женщину, наслаждающуюся взаимной любовью, мягкую и нежную, пока муж не узнаёт о неверности жены и не грозит выгнать её из дома, лишив наследства. И только что началась сцена объяснения с мужем, в которой жена высказывает, что она его никогда не любила и что любит другого, причём, в свою очередь, грозит мужу местью, если он посмеет исполнить свои угрозы, как в двери боковой ложи вошёл полицеймейстер и доложил, что только что получено известие о побеге Келасури из острога.

«Чёрт бы его побрал!» — подумал Василий Андреевич, выходя недовольный в коридор, чтоб сделать нужные распоряжения.

---

## XX

### Любопытная «историйка»

После спектакля Сикорский поехал к Ржевским-Пряникам и за чайным столом рассказал обещанную романическую «историйку», ожидание которой заставило Марью Петровну волноваться во всё продолжение спектакля. Рассказ Сикорского, полный пикантных подробностей, частью сообщённых ему, частью вымышленных им самим, произвёл на влюблённую барыню сильное впечатление и окончательно убедил её в невозможности вернуть Невежина. Несмотря на умение скрывать свои ощущения, Марья Петровна всё-таки не могла скрыть от проницательных взоров такого опытного сердцеведа, как Сикорский, волнения, возбуждённого в ней рассказом. Сикорский и раньше подозревал, что потерей места частного секретаря при Василии Андреевиче он обязан его супруге и что особенное покровительство, оказываемое «стариком» Невежину, было делом рук Марьи Петровны и, главным образом, её любовных вожделений и расстроенных нервов. Теперь он вполне убедился, что «баба влюблена, как кошка», и втайне ликовал, что Невежин оказался дураком, уклонившись, по-видимому, от чести успокаивать нервы опытной в амурах перезрелой красавицы.

Она не простит этого Прекрасному Иосифу, лишившему её такого удобного случая. Его шансы упадут, и влюблённая супруга теперь сама подаст мужу мысль удалить молодого человека, — надо только взвинтить её хорошенько!

Так думал Сикорский и продолжал «взвинчивать», рассказывая не без патетического одушевления перипетии романтической истории, окончившейся для Невежина ссылкой в места не столь отдалённые.

— Не правда ли, любопытная историйка? — обратился он с вопросом, взглядывая на Марью Петровну с самым невинным видом.

— Да... любопытная! — проговорила задумчиво Марья Петровна.

— Как же, Михаил Яковлевич, вы раньше нам не рассказали? — упрекнул старик, очень любивший слушать всякие пикантные рассказы.

— Я и сам только что сегодня о ней узнал.

— Откуда? — с живостью спросила Марья Петровна.

— О, из самых достоверных источников! — отвечал с улыбкой Сикорский. — Я получил письмо из Петербурга от брата, и он между прочим сообщил мне то, что я имел честь рассказать вам.

---

Сикорский умолчал только о том, что сообщение это было ответом на его просьбу навести подробные справки о деле Невежина, и брат его, присяжный поверенный, написал ему о слухах, ходивших о деле Невежина среди адвокатов.

— Во всяком случае, Невежин поступил по-рыцарски, скрыв от суда имя девушки... Не правда ли, Marie?

Но «Marie» на этот раз не только не приняла стороны молодого человека, а напротив, резко отнеслась к нему. И жена Невежина, которую прежде она готова была считать виновницей семейной драмы, теперь нашла в Марье Петровне неожиданную горячую защитницу!

«Несчастливая страдалница! Сколько она перенесла из-за этого человека! Его поведение относительно жены возмутительно, бесчеловечно! Жениться из-за денег... какая гадость! Не пощадить её чувств!.. Признаться, она никак не ожидала, чтобы этот молодой человек... был так испорчен!»

— Но, послушай, Marie, ведь ты сама же не раз говорила, что чувство свободно и что его купить нельзя!.. — пробовал было возразить Василий Андреевич, удивляясь такой внезапной перемене в отношении к Невежину. — Ты прежде сама защищала молодого человека.

— Ну так что же?.. Я прежде не знала подробностей всей этой истории. Я думала, что жена подала повод к разрыву...

— Она, говорят, была ревнива, как только может быть ревнива отвергнутая женщина! — вставил Сикорский.

— И вдобавок дурна, как смертный грех, — прибавил Василий Андреевич, как бы в доказательство, что эти две причины вполне уважительны для того, чтобы отнестись снисходительно к Невежину.

— А кто ж его заставил в таком случае жениться? — резко остановила мужа Марья Петровна.

— Мало ли какие бывают причины...

— Он запутался в долгах! — заметил Сикорский.

— Раз женился — неси свой крест! — не без торжественности промолвила Марья Петровна и вздохнула. — Браком шутить нельзя... Брак — это... это... таинство... Из-за какой-то студентки стрелять в жену!.. Вот к чему приводят все эти нынешние идеи! — совершенно неожиданно выпалила генеральша, закипая всё большим и большим раздражением. — Нет, я положительно разочаровалась в Невежине... Сделай это какой-нибудь нигилист, а то человек из хорошего круга, с хорошим воспитанием... Несчастливая жена брошена, а эта героиня не довольствуется тем, что осквернила семью, а ещё едет сюда за героем (подчеркнула она), чтобы открыто жить по их правилам, в гражданском браке! После этого разве можно удивляться, что открытый разврат вводится в догму эти-

---

ми барышнями с высшим образованием! — негодуяще прибавила добродетельная жрица адюльтера.

— Но почему ты знаешь об их отношениях? — робко заметил Василий Андреевич, возмущённый, что жена клеветает на совершенно незнакомую девушку.

Марья Петровна сверкнула глазами и спросила:

— А зачем же она сюда пожаловала?

— Невежин говорил, что повидаться с тёткой...

— Повидаться с тёткой? И ты поверил? Очень умно придумано, но только совсем неубедительно... Она приехала, чтобы броситься на шею этому великодушному молодому человеку и сделать из него такого же адепта нигилизма, как и она сама... Недаром она курсистка!..

— А ведь вы угадали, Марья Петровна! — снова вставил Сикорский, с интересом наблюдавший за результатом своей «историйки». — Я кое-что слышал о госпоже Степовой, и знаю, что она из красных барышень... Она уж удостоилась быть выгнанной из одной деревни, где после окончания курса была учительницей и где, конечно, пропагандировала идеи всеобщего благополучия... Вероятно, и здесь, на родине, она, как горячая патриотка, будет пропагандировать идеи сибирского патриотизма и, чего доброго, обратит милейшего Евгения Алексеевича в местного патриота... «Америка для американцев»... «Сибирь для сибиряков!»

И Сикорский, этот старый Яго, засмеялся своим беззвучным смехом, поглядывая на Василия Андреевича.

— Вот видишь ли? — воскликнула Марья Петровна, довольная, что нашла союзника. — А ты... ты...

— Что я? — оторопел бедняга Василий Андреевич, почувствовавший, что готовится бурная сцена.

— А ты, по обыкновению, готов защищать всякую смазливую рожицу и не видишь, что у тебя делается! — со злостью, хотя и без всякой последовательности, прибавила Марья Петровна.

Сикорский благоразумно откланялся, предоставив Василию Андреевичу одному выдержать продолжение семейного шторма, неминуемость которого Сикорский предвидел.

И он не ошибся. Только что он вышел за двери, как Марья Петровна, дав волю своему гневу, обрушилась на супруга.

---

## XXI

### Ревность

Последствия ловко и вовремя рассказанной Сикорским любовной историйки, украшенной узорами «сибирского патриотизма» и намёками на неблагонадёжность приезжей курсистки, не замедлили обнаружиться.

Взвинченная как следует, Марья Петровна кипела гневом и преследовала мужа разными зловещими предостережениями, пугая его, по обыкновению, «Петербургом», которого так боялся Василий Андреевич. Как ни жаль молодого человека, а его следовало бы удалить! Если, благодаря этой «сибирской патриотке», Невежин впутается в какую-нибудь глупую историю и в Петербурге узнают, что Невежин — секретарь Василия Андреевича, нечего сказать, хорошо будет его положение!.. И за этой госпожой надо зорко смотреть... Нынче сам знаешь какие времена!

Так донимала Марья Петровна бедного старика, повторяя внушения Сикорского.

Не терял, разумеется, времени и сам вдохновитель всей этой интриги — Сикорский, передавая Василию Андреевичу сплетни своего же сочинения, циркулирующие будто бы в городе насчёт этого «милого, но несколько легкомысленного молодого человека».

«Конечно, это глупые сплетни, но всё-таки нет дыма без огня...»

И, с видом глубочайшего сожаления, что ходят такие «глупые сплетни», Михаил Яковлевич тем не менее рассказывал их с подробностями, отлично зная, что именно следует подчеркнуть в них для вящего уязвления его превосходительства. Разумеется, сильнее всего подчёркивалась «невероятная чепуха», что Невежин будто бы хвастает своим влиянием на Василия Андреевича через Марью Петровну и везде рассказывает, что с его поступлением в секретари дела пошли лучше...

Одно только дело Толстобрюхова направлено, по мнению господина Невежина, не так, как следует, но молодой человек не теряет надежды убедить его превосходительство, что Толстобрюхов негодяй, за которого не следует хлопотать... Кроме того, ходят слухи, что Евгений Алексеевич болтлив и не умеет держать в секрете бумаг, ему порученных.

Весь этот вздор преподносился Василию Андреевичу не сразу, а в небольших дозах, с хорошо рассчитанной постепенностью, благодаря которой всякая чепуха может у некоторых людей принимать вид правдоподобия, и, конечно, с мастер-

---

ством опытного сплетника, который передаёт подобные слухи не потому, что они заслуживают веры, а единственно как образчик тех «невероятных нелепостей», которые могут распространяться в таком «провинциальном болоте», как Жиганск.

И, разумеется, Сикорский первый же защищал Невежина.

— На бедного Евгения Алексеевича клеветают так же, как клеветали и на меня! — прибавлял обыкновенно Сикорский, заключая порцию собственных сплетен. — Невежин не настолько глуп, чтобы говорить чепуху вроде той, о которой толкуют в городе. Если он и выражает неудовольствие, что дело Толстобрюхова приняло, по его мнению, неправильный оборот, то согласитесь, ваше превосходительство, что от этого ещё далеко до нелепостей, о которых рассказывают...

— А разве Невежин рассказывал об этом деле? — спросил недовольным тоном старик. — Ведь я просил его ни слова о нём не говорить, и он мне дал слово!

— Молод Евгений Алексеевич... А ведь молодость болтлива, Василий Андреевич! — с улыбкой, полной сочувствия к «болтливой молодости», прибавлял Сикорский. — Мы, старики, понимаем цену молчания, а они...

И он тихо смеялся и умолкал.

Вначале Ржевский-Пряник вместе с Сикорским решительно не верил всем этим сплетням, распускаемым про Невежина, и не раз защищал его перед Марьей Петровной, требовавшей удаления Невежина с упорным постоянством Катона и постоянно пугавшей бедного старика Петербургом. Но мало-помалу и он стал думать, что нет дыма без огня. Когда же и до Марьи Петровны, при посредстве Сикорского, дошли слухи о том, что Невежин будто бы хвалился своим влиянием на самую Марью Петровну, она так напала на мужа, что он обещал наконец удалить Невежина.

Но доброта Василия Андреевича всё-таки несколько возмущалась. Он чувствовал некоторую неловкость при мысли, что ему приходится лишить человека места без всякого видимого повода. Невежин ему нравился. Он был так приличен, так быстро умел схватывать мысли его превосходительства и облекать их в изящную форму... Бумаги, составленные им, положительно были хороши, а Василий Андреевич любил хорошо составленные донесения, без того лапидарного подъясческого слога, которым пропитаны были все произведения сибирского чиновничества. Наконец, Невежин был из хорошего общества, с ним можно было поговорить; если он и «пострадал», то всё-таки не за позорное деяние вроде растраты, подлога или мошенничества, а за «сердечные дела», к которым сам Василий Андреевич чувствовал некоторую

---

склонность, припоминая те прошедшие времена, когда он ещё не был «старым колпаком», по брезгливому выражению его супруги. Не мог он забыть и того, что Невежин был сын заслуженного генерала и что с матерью его он когда-то танцевал мазурку...

Всё это заставляло Василия Андреевича, по обыкновению всех бесхарактерных людей, «тянуть» дело и на вопросы Марьи Петровны, скоро ли будет уволен Невежин, дипломатически отвечать, что он его уволит, как только Невежин окончит большую работу, порученную ему.

— А Сикорский разве не может?

— Сикорский и без того, бедный, завален работой...

Приходилось довольствоваться этими объяснениями, тем более, что настаивать было и неловко. Не сама ли Марья Петровна упрашивала мужа сделать Невежина секретарём, не она ли так расхваливала его?!

И Василий Андреевич недоумевал такой перемене во взглядах супруги и однажды добродушно спросил:

— Отчего ты, Marie, так невзлюбила Невежина?

Пойманная врасплох, Марья Петровна смутилась, но, взглянув на Василия Андреевича, быстро оправилась и проговорила:

— Ты глупости говоришь! С чего мне невзлюбить твоего Невежина?

— Но ты веришь глупым сплетням. Ну, посуди, разве возможно, чтобы он мог сочинить нелепость, будто имел на тебя влияние?

Марья Петровна ещё пристальнее взглянула на мужа и, усмехнувшись, заметила:

— Этому я не верила... Надеюсь, Невежин достаточно умен для того, чтобы не сочинять таких пустяков... Если я и советую удалить его, то оберегаю тебя... Не довольно ли разве и без того доносов на тебя?... Ах, **Basile, Basile, как это всё надоело...** И этот скверный Жиганск... Скорей бы отсюда уехать. Просись непременно... Я уже писала Катрин...

К удивлению Василия Андреевича, супруга его была на этот раз необыкновенно ласкова и любезна и, заканчивая разговор, даже поцеловала в плешивый лоб супруга и снова повторила, что Жиганск ей до смерти надоел...

Таким образом, Невежин продолжал ещё работать у его превосходительства, пока над мирным Жиганском совершенно неожиданно не разорвалась бомба в виде обширной и необыкновенно воинственной корреспонденции, напечатанной в одной столичной газете.

Корреспонденция эта всколыхала сонное болото и перепугала бедного старика...



---

## XXII

### «Бомба»

Кто не жывал в глухих провинциальных захолустьях, тот, разумеется, не представит себе впечатления, произведённого в сонном Жиганске этой обширной корреспонденцией, напечатанной вдобавок в газете, хорошо известной своим воинственным направлением. Это, собственно говоря, была не корреспонденция, а грозный донос, облечённый в литературную форму, — донос, в котором крупницы правды терялись в море самой фантастической лжи. Прочитывая это произведение, человек, хорошо не знакомый с русской жизнью и с литературными приёмами известных газет, в самом деле мог бы подумать, что Жиганск находится в состоянии полнейшей анархии и что всевозможные неблагонадёжные элементы, благодаря необъяснимому попустительству местных властей, держат чуть ли не в руках весь город и ждут только благоприятной минуты, чтобы открыто объявить Жиганскую республику.

Нечего и прибавлять, что автор грозно зывал: «Кавеант консулес!»\* и серьёзно предостерегал против открытия высшего учебного заведения, если только правительство не имеет в виду создать правильные кадры «сибирских патриотов» и «сделать из Сибири будущую Польшу».

«Больше грозной власти, пока ещё есть время!» — эффектно заканчивалась передовая статья, написанная, несомненно, опытной рукой, по поводу этой корреспонденции.

И странное дело! Несмотря на очевидную нелепость этих предостережений, Василий Андреевич, прочитав корреспонденцию, пришёл в неописанное смущение. Он сознавал, что всё в ней лживо, с начала до конца, и всё-таки перетрусил до того, что в первую минуту решительно потерял голову и не знал, как ему быть и что предпринять.

Только через полчаса он несколько пришёл в себя и задал вопрос: кто бы мог написать эту корреспонденцию и какая цель была у издателя не только печатать её, но ещё и подчеркнуть, предпослав ей передовую статью.

«Ведь не мог же он не понимать, что печатает заведомую ложь!..»

Так рассуждал старик, и всё-таки трусил, ожидая вслед за этой громоносной статьёй какой-нибудь неприятности.

«Но кто, однако, написал такую мерзость?» — ломал голову его превосходительство, сгорая от любопытства узнать автора.

---

\* Берегитесь! (*лат.*). Буквально: «Пусть консулы будут бдительны».

---

Он перебирал разных лиц и не мог остановиться ни на ком. Он снова перечитал корреспонденцию. По некоторым местам её видно было, что автор, очевидно, пользовался официальными бумагами — перепиской его превосходительства, — и вообще был знаком со многими канцелярскими тайнами, — и это ещё более волновало доброго старика.

«Не догадается ли Сикорский?» — решил его превосходительство и тотчас же послал за ним верхового.

Через четверть часа Сикорский входил в кабинет Ржевского-Пряника, смущённый и взволнованный.

— Читали? — проговорил Василий Андреевич, указывая на номер газеты.

— Читал... Вернее: имел несчастье прочесть.

— Каково?

Михаил Яковлевич только пожал плечами и вздохнул, возведя очи к небу, как человек, желавший выразить безмолвное сочувствие к положению его превосходительства.

— Кто бы это мог написать? Как вы думаете? Уж не Аркадий ли Аркадиевич? Он ведь терпеть меня не может и человек очень лукавый... на все руки... Когда нужно — либеральничает, когда нужно — первый рекомендует энергию. Не хочет ли он на моё место сесть? Но ведь ошибается. Его всё равно никогда не назначат. Никогда! И он это должен понимать, этот интриган. Я знаю: он науськивал писать на меня доносы... было дело!

— Едва ли это Аркадий Аркадиевич! — внушительно промолвил Сикорский. — Он бы не стал сам себя бичевать. Ведь тут и ему досталось на орехи. Вы изволили обратить внимание на то место, где намекается на сочувствие некоторых чиновников к «Жиганскому курьеру»? Кто же эти «некоторые», как не сам Аркадий Аркадиевич? Да и, вдобавок, он ведь и сам из сибирских патриотов! — улыбнулся Сикорский. — Конечно, Аркадий Аркадиевич не мечтает о Сибирской республике, но всё-таки...

— Тёплый парень, а? — закончил за Сикорского Василий Андреевич и нетерпеливо прибавил: — Так кто же мог написать?

— Уж не Пятиизбянский ли? — словно бы в раздумье промолвил Сикорский.

При этом имени лысина Василия Андреевича побагровела, и он прокричал задыхающимся от волнения тенорком:

— Пятиизбянский?! А ведь правда, что больше некому. От этого юса\* можно ждать решительно всякой пакости. Он,

---

\* Законник, крючок (устаревшее бранное слово, происходящее от двух букв славянской азбуки).

---

он, непременно он! — вскрикивал в волнении Василий Андреевич и, вспомнив, вероятно, привычки военной службы, осыпал при этом Пятиизбянского самыми площадными ругательствами.

О, он знает хорошо этого заматерелого взяточника!.. Уж давно он подкапывается под него... давно фрондирует, заявляя на каждом шагу о своих архиблагонамеренных убеждениях.

— Ещё недавно он позволил себе чересчур много по поводу того, что я держу при себе Невежина... «Это дискредитирует достоинство власти!..» Хапуга старый! А взяточничество не дискредитирует?! А дружба со всякой сволочью, с разными кабатчиками, а пьянство с сиволапыми мошнами не дискредитирует?! — выкрикивал старик. — Я вот сам поеду в Петербург. Непременно поеду и объясню там, в каком положении находится здесь благонамеренный администратор. Со всех сторон интриги, противодействия, доносы... Это чёрт знает что. И после этого работай!.. Спрашиваю я вас: возможно ли что-нибудь сделать при таких условиях?!

Пока Василий Андреевич хорохорился, Сикорский молча сидел, покуривая папироску, и, когда старик наконец окончил, Михаил Яковлевич спросил:

— Что же вы предполагаете теперь делать? Оставьте статью без внимания или напишете опровержение?

— Я сам напишу куда следует. Объясню, что всё в этой корреспонденции ложь... всё, с начала до конца. Какие такие неблагонадёжные элементы здесь играют роль?! Кто здесь попустители? Я, слава богу, тридцать пять лет служу своему государю и понимаю, что делаю. Если один или двое из политических ссыльных служат писцами в банке, то это разве попустительство? Что ж, лучше ли будет ожесточать их, лишая куска хлеба? И разве правительство имеет это в виду?! Надо не уважать правительство, чтобы допустить такую низкую месть. Ну, человек виноват — накажи его, но из этого не следует, что я должен преследовать его даже лишением куска хлеба.

Долго ещё говорил на эту тему добрый старик и в конце концов всё-таки решил, что надо «вообще подтянуть», и, отпустив Сикорского, послал за полицеймейстером и долго с ним беседовал.

— А Келасури так и не найден? — спросил он в заключение.

— Ещё нет сведений.

— Ах уж эта полиция. Ах, что за полиция у нас, господин полицеймейстер!

---

## XXIII

### Новая неприятность

Однажды ранним утром, вскоре после получения в Жиганске знаменитой корреспонденции, Василий Андреевич распечатал поданную телеграмму, прочёл и... смутился. Его вызывали в Петербург, но с какой целью — этого лаконическая депеша не объясняла. Василий Андреевич, едва успевший несколько успокоиться после «боевой» корреспонденции и уже набросавший, при помощи Сикорского, обстоятельную объяснительную записку, получив это неожиданное приглашение, совсем упал духом.

«К чему его вызывают? Разумеется, для объяснений, но по какому поводу?» Невольно он сопоставлял этот вызов с появлением корреспонденции, хотя, с другой стороны, утешал себя мыслью, что это неправдоподобно. Если бы статья действительно произвела там впечатление, то он бы, конечно, получил запрос, но до сих пор никакого запроса не было.

Бедный старик в волнении ходил по кабинету, приказав никого не принимать, когда к нему вошла супруга.

— Что ещё случилось? — тревожно спросила она, заметив расстроенный вид мужа.

— Ничего особенного, мой друг... Зовут в Петербург... Вот, прочти...

Марья Петровна прочла телеграмму и, изменившись в лице, протянула с ядовитой иронией:

— Поздравляю... Дождался-таки...

— Чего дождался?

— Он ещё спрашивает? Скажите, какая наивность!.. Разве не ясно как день, что тебя вызывают для объяснений, после которых поблагодарят за труды и скажут, что такой администратор, как ты, не нужен... Поздравляю! Очень приятная новость!

— Ты, Marie, мрачно смотришь... Если бы хотели сменить, то прямо бы написали...

— Утешайся... утешайся этим... Нечего сказать, придумал утешение...

Взволнованная и раздражённая, предвидевшая неприятную перспективу в случае потери места жить где-нибудь в четвёртом этаже на Песках или в дальней Коломне и растрачивать последние крохи когда-то хорошего состояния, Марья Петровна, вместо того чтобы поддержать и ободрить мужа, продолжала его терзать с искусством и беспощадностью женщины, считающей себя глубоко несчастной, пока не довела Василия Андреевича до беспомощного состояния мокрой ку-

---

рицы, забывшей об Инкерманском сражении, и не заставила его просить её совета.

Тогда только она несколько смягчилась, и тотчас же проявила свою способность не теряться, обнаружив вместе с тем меньший пессимизм насчёт их положения. Во-первых, она немедленно же пошлёт депешу Катрин за разъяснениями, во-вторых, они уедут в Петербург вместе, в-третьих, пусть он поручит Сикорскому написать записку и откроет там глаза на положение края, сообразуясь с веяниями Петербурга, а она, в свою очередь, будет хлопотать, чтоб ему дали место где-нибудь в России, а не в этой ужасной трущобе. Слава богу, у неё есть связи. Родные её ещё не забыли... Катрин доказала, что готова для неё всё сделать...

— Понимаешь ли, для меня! — подчеркнула Марья Петровна.

После этих слов Василий Андреевич несколько оправился и стал было уверять жену, что он на отличном счету в Петербурге, но она, видимо, не особенно этому верила и довольно бесцеремонно прервала его излияния вопросом:

— Когда ехать?

Решено было немедленно же собираться, чтобы ехать через неделю, а не на последнем пароходе. Собраться она успеет. Мебель можно будет поручить продать потом, если, даст бог, они не вернуться.

— Ты говори всем, что тебя вызывают в какую-нибудь комиссию, как опытного человека! — внушала Марья Петровна и закончила вопросом: — А имя автора этой корреспонденции узнал?

— То-то нет... Одни предположения, что Пятиизбянский...

— В Москве побывай у издателя... Объясни ему... Попроси написать опровержение.

Василий Андреевич покорно соглашался на всякое предложение Марьи Петровны и, когда разговоры были окончены, послал за Сикорским и просил его как можно скорей окончить записку.

— Через неделю уезжаю в Петербург. Вызывают для участия в комиссии по вопросу о железной дороге! — соврал Василий Андреевич.

Эта новость смутила Сикорского.

— Но вы вернётесь? — спросил он.

— Вернусь, если не найду ничего лучшего.

Сикорский вздохнул и напомнил Василию Андреевичу о своём положении. Десять лет страданий, десять лет незаслуженного позора. Неужели ещё долго терпеть?!

Ржевский-Пряник старался утешить его. Он дал честное слово лично поддержать своё ходатайство, не имевшее успе-

---

ха. Он нарочно съездит в министерство юстиции... Пусть Михаил Яковлевич составит краткую памятную записку и напишет прошение на высочайшее имя. Он всё это возьмёт с собой и передаст куда следует, с соответствующими объяснениями...

А здесь его, вероятно, не потревожат и оставят на месте. Ещё недавно председатель контрольной палаты хвалил его...

— Могут назначить вместо вас человека, который будет иначе смотреть на нас, несчастных, и тогда...

Он не досказал и беспомощно склонил голову.

Василий Андреевич пожал руку Сикорскому и снова дал слово похлопотать, чтобы Михаилу Яковлевичу разрешили вернуться в Россию. Сикорский рассыпался в благодарностях, но тем не менее ушёл от него сумрачный и недовольный, зная, как трудно полагаться на обещания Ржевского-Пряника.

Он не пошёл в этот день на службу и долго ходил в своей небольшой квартирке в тяжёлом раздумье. И прежняя его блестящая жизнь известного банкового дельца проносилась перед ним.

«И хоть бы сохранились деньги, из-за которых он пострадал! — в бессильной злобе думал он. — А то всего каких-нибудь пятьдесят тысяч, на которые существует семейство!»

— Дурак... дурак! — шептал вслух Сикорский, и бледные его губы шептали кому-то проклятия.

В тот же день в Жиганске уже было известно о полученной Василием Андреевичем телеграмме, вызывающей его в Петербург, хотя ни его превосходительство, ни Сикорский никому ещё не говорили об этой новости. Распространилась она в городе благодаря привычке господ телеграфистов сообщать по секрету о всякой более или менее интересной телеграмме, которая получалась или проходила через Жиганск. Таким путём в Жиганске нередко узнавались всевозможные новости, имеющие не только общественный интерес, но и интерес совершенно частного характера. Новость это произвела, конечно, сенсацию, и к вечеру уже все говорили, что Ржевского-Пряника сменяют из-за корреспонденции. Стали, как водится, разбирать, каков был Василий Андреевич, и большинство находило, что старик ничего себе... человек добрый, с которым жить можно. Правда, и при нём без денег не подвинешь никакого дела, хотя сам он был безукоризненно честен, но к этому все так привыкли, что решительно не могли себе представить возможности одним не брать, а другим не давать, и потому за это не строго судили. Одно только не нравилось в нём, и особенно чиновникам, — это то, что он приблизил к себе Сикорского, нередко подсмеивался над сибиряками и часто заставлял ждать чиновников, пока болтал у себя в кабинете с разными «уголовными» господами.

---

В тот же день Кир Пахомыч Толстобрюхов был с визитом у Марьи Петровны и вручил ей три тысячи на благотворительные дела, по её усмотрению, прибавив к этому просьбицу — не отказать напомнить его превосходительству похлопотать в Петербурге о его дельце, которое затянулось благодаря господину Невежину. Марья Петровна обещала и, когда Кир Пахомыч ушёл, деликатно попросив сохранить в тайне его посильное пожертвование, спрятала деньги в свою шкатулку, решив, что они могут пригодиться в Петербурге.

В тот же вечер и Невежин, возвратившись домой, сообщил Зинаиде Николаевне, что он пока опять свободен, что вызвало крайнее соболезнование как в ней, так и в добрейшей старушке Степаниде Власьевне.

— Что же вы теперь будете делать, Евгений Алексеич?

— Евгений Алексеевич приищет себе другое занятие! — вступилась девушка.

— Ой, ой... трудно ведь здесь найти место. Ты вот по урокам целый день ходишь, а много ли зарабатываешь? Всего тридцать рублей, а Евгению Алексеичу на такие деньги не прожить. Он ведь привык не к такой жизни, как мы с тобой.

— Надо привыкать! — серьёзно проронила девушка.

Но Невежину эта перспектива не особенно улыбалась. Однако он промолчал и подумал про себя, что поступил умно, не отослав назад тысячи рублей, присланной его женой.

В тот же вечер сливки «уголовных страдальцев на покое» собрались на квартире Сикорского, взволнованные вестью о возможной смене «этого милого и прелестного старика», как называли Ржевского-Пряника «невинные» страдальцы.

## XXIV

### Испытание любви

#### 1

Прошёл почти месяц с отъезда Ржевского-Пряника, а Невежин, по-видимому, не особенно заботился о приискании работы. Правда, на вопросы Зинаиды Николаевны он отвечал, что хлопочет, но говорил это лишь для того, чтобы избежать неминуемого признанья в том, что чёрная работа какого-нибудь писца ему вовсе не интересна.

Он незаметно начинал скучать, несмотря на присутствие Зинаиды Николаевны. Всё как-то было не то, на что надеялся, чего ждал от её приезда этот балованный, не привыкший



---

к труду человек. Его начинала тяготить серенькая, будничная жизнь маленького домика, полная мелких интересов и забот о куске хлеба. Та нравственная переработка, о которой он мечтал в минуты просветления, под влиянием чувства к Зинаиде Николаевне, оказывалась одним лишь добрым намерением, вспышкой бесхарактерной слабой натуры. Старая закваска брала своё: серьёзно вдумываться, работать, даже любить он был неспособен.

И эти чтения вдвоём с Зинаидой Николаевной, которые сперва ему так понравились, начинали надоедать молодому человеку. Он мечтал, что они окончатся наконец интимным признанием, вслед за которым наступит счастливая пора любви, а между тем ничего этого не было. Зинаида Николаевна после принятого ею решения держала себя сдержанно до холодности, избегая всякого повода для каких бы то ни было излияний с его стороны, и когда однажды Невежин, охваченный страстным желанием, вдруг заговорил было ей о своей любви, девушка строго остановила его.

— Ни слова об этом, Невежин, если хотите остаться друзьями!

— Но разве вы не видите?.. Я вас люблю... Люблю, люблю! — повторял он страстным шёпотом, схватывая её руки.

Она с трудом сдерживала волнение. Страстное чувство охватило её всю, зажигая огонь в крови. Вспыхнув до ушей, она резким движением отдернула руки и ещё суровее и глуше проговорила, не поднимая глаз:

— Замолчите... Вспомните о своей жене... Неужели вы бы хотели доконать её?

С этими словами она встала и быстро вышла из комнаты.

Невежин почувствовал себя оскорблённым, как капризный ребёнок, неудовлетворённый в своём желании. Он не понял значения её поступка и поспешно объяснил её поведение холодностью и сухостью её натуры. Как у всех слабохарактерных, неспособных на глубокое чувство натур, его любовь стала слабеть ввиду препятствий, и с той минуты, как Невежин понял, что нравится девушке, прежнее чувство восторженного благоговения в нём исчезло, сменившись лишь одним желанием обладать девушкой, но и это желание, как все его желания, было лишь порывом капризной, но не сильной страсти. Он чаще и чаще стал находить теперь в девушке недостатки, которых не смел видеть прежде, когда увлёкся новым для него типом, питая это увлечение благодаря последствиям внезапной вспышки и рокового выстрела. В отдалении она казалась ему более праздничной и нарядной. Теперь же, чем ближе он узнавал эту девушку, тем более начинал не то что бояться её, а чувствовать перед ней какую-то внутрен-

---

нюю неловкость, точно она была для него живым укором его собственной пустоты и слабости. Её трудовая, будничная жизнь, её суровые взгляды на обязанности, её убеждения и правила — всё это не находило отклика в его душевном мире и казалось теперь ригоризмом, мало поэтичным в женщине. И манеры её он стал находить не всегда изящными, и костюм вульгарным, и руки недостаточно выхоленными. В ней не было, по его мнению, «породы», ничего раздражающего, кокетливого — словом, того, что нравится мужчинам, привыкшим к развращённой, пряной интродукции любви. Всё в ней было просто, ясно и определённо. Любовь к ней — Невежин это понимал — обязывала к чему-то серьёзному, строгому, до которого он должен был подняться. Долг, обязанности, работа, известный строй ума и чувства — вот что сулила ему привязанность такой девушки, как Зинаида Николаевна, а между тем все эти понятия были для него одними словами... Он понимал их умом, и только.

После бывшей сцены эти чтения вдвоём как-то сами собой прекратились. Зинаида Николаевна стала ещё сдержаннее, а Невежин чаще стал уходить из дому, встречаясь с девушкой за обедами и изредка по вечерам, когда не было спектаклей. Он был по-прежнему мил и любезен, но уже не повторял признаний, а Зинаида Николаевна, суровая на людях, нередко плакала по ночам, задавая себе вопрос: не виновата ли она перед Невежиным, не слишком ли она сурова с ним?.. И чем реже она видела Невежина, тем задумчивее и серьёзнее становилось её лицо, и глухая ревность подымалась в её сердце.

Она смутно чувствовала, что эта внезапная любовь к театру вызвана была красивой приезжей актрисой Панютиной, но, разумеется, не догадывалась, какие интимные и приятные утренние tête-à-tête проводит Невежин у Панютиной, коротая время с этой умной, кокетливой, пикантной актрисой в весёлой болтовне, полной прелести игривых недомолвок, полупризнаний, намёков, кокетства и блёсток лёгкого ума. А главное: с этой женщиной чувствуется так легко и свободно. Ничто не напоминает ему о долге, об обязанностях, о работе, о внутреннем совершенствовании. Напротив! И эти полузакрытые глаза, блестящие огнём желания, и этот выразительный шёпот речи, и гибкий, извивающийся стан, и пожатие горячих влажных рук, и эти быстрые переходы настроения — всё говорило о радости и наслаждении любви, ни к чему не обязывающей, ничего не требующей и словно говорящей: «Живи, пока живётся».

И Невежин пользовался этими «счастливыми мгновениями» с той же беззаботной лёгкостью, с какой и прежде срывал цветы жизни, с какою женился и с какою чуть не сделался

---

присяжным любовником Марьи Петровны, не задумываясь о будущем.

Он «развлекался», тщательно, впрочем, скрывая от обитательниц маленького домика своё увлечение хорошенькой актрисой, и в этот период времени был особенно ласков и со старушкой Степанидой Власьевной, и с Зинаидой Николаевной, и с Прасковьей. Он точно старался задобрить их, инстинктивно боясь всяких объяснений, которые бы могли нарушить беззаботный покой его наивно-эгоистической натуры.

## 2

Однажды Зинаида Николаевна вернулась с уроков весёлая и радостная и, снявши с себя засыпанную снегом шубку, не заходя к себе, постучалась к Невежину.

Невежин впустил её и удивился. Такой оживлённой он давно её не видал. Лицо её, свежее и румяное с мороза, точно всё сияло. Сияли её лучистые глаза, сияла улыбка. При виде её, такой жизнерадостной и красивой, Невежин, хандривший всё утро вследствие размолвки с Панютиной, невольно и сам просиял и как-то весело с внезапно нахлынувшей нежностью проговорил, крепко пожимая руку девушки:

— Садитесь, садитесь, Зинаида Николаевна... Вы ведь такая редкая стали гостя!

Но она не присела и, снимая меховую шапочку, быстро проговорила:

— Я к вам с приятной вестью, Евгений Алексеич... Вам предлагают занятия...

— Занятия? — переспросил он, не выказывая особенной радости. — Какие занятия?

Этот равнодушный тон кольнул её. Если б он знал, сколько было стараний и хлопот с её стороны в течение этого месяца, чтобы достать ему работу! Она обращалась ко всем знакомым, просила, убеждала и, счастливая теперь, что её усилия увенчались успехом, спешила порадовать его приятным известием, а он с таким небрежным равнодушием спрашивает: «Какие занятия?».

— В страховом агентстве, место конторщика... Жалованья сорок рублей в месяц, работа от девяти до трёх часов!.. — торпливо говорила Зинаида Николаевна, спеша обрадовать Невежина хорошим местом. — Сегодня мне говорил агент, у которого я даю уроки, что он с удовольствием предлагает это место вам... В ожидании лучшего и это место недурно... Не правда ли, Евгений Алексеич?

Едва заметная, невольная презрительная гримаска быстрой тенью скользнула по красивому лицу Невежина и оставилась на губах.

---

— Место конторщика? — протянул он. — Непривлекательное занятие!

Но, заметив в ту же секунду, что с лица девушки сбежало вдруг весёлое и сияющее выражение, которым только что дышало оно такой неотразимой прелестью, и глаза её прямо глядели на него с каким-то серьёзным недоумением, — Невежин вдруг спохватился и с подкупающей искренностью ба-loванного школьника, боящегося огорчить доброго учителя, проговорил торопливо и мягко:

— Благодарю, благодарю вас, милая Зинаида Николаевна, за хлопоты обо мне... Ведь это вы устроили мне место?.. Поверьте... я глубоко тронут... Я завтра же пойду к агенту узнать, какие именно предстоят мне занятия... Сегодня ведь поздно?.. Непременно пойду ровно в десять часов и подробно переговорю... Но, видите ли, я боюсь, что скучная и бесцельная конторская работа мне скоро опротивит... Сидеть целый день, переписывая цифры или глупейшие бумаги, — ведь подобная работа, согласитесь, не может привести в восторг? Как вы думаете? — спрашивал Невежин, улыбаясь и лицом, и глазами как-то мягко и застенчиво, словно оправдываясь и в то же время желая избежать дальнейших неприятных объяснений.

— Не спорю, работа не особенно приятная! — отвечала девушка, невольно смягчаясь при взгляде на Невежина.

— Ну вот видите... Вы сами согласны. Так к чему же я её возьму?..

— Но ведь вам необходимы занятия... Вы сами говорили, что у вас средств нет... И, значит, разбирать пока нечего! — прибавила Зинаида Николаевна.

— Пока я не нуждаюсь ещё и могу ждать более подходящих занятий... Мне мать помогает! — внезапно прибавил он и тотчас же смутился при этой лжи, не смея признаться, что живёт на деньги, присланные раньше женой.

Зинаида Николаевна молча взглянула на него и медленно вышла из комнаты.

За обедом Невежин снова заговорил о месте. Он пойдёт завтра справиться... непременно пойдёт! «Только уж вы не сердитесь!» — слышалось в его тоне.

— Да если вам не нравится — к чему же ходить?..

— Нет, всё-таки...

Он снова стал бранить эту глупейшую конторскую работу. Она ему не по душе. Он это чувствует. Он лучше постарается приискать что-нибудь лучшее...

— Например?

Он сам не знал, что именно. Но в эту минуту ему пришла мысль, что он мог бы заняться адвокатурой, и он тотчас же сказал об этом и прибавил:

---

— Всё же это лучше... Не так ли, Зинаида Николаевна?

— Вы серьёзно хотите заняться этим? — недоверчиво спросила она.

— А то как же? Или вы в самом деле думаете, что я ни на что не способен? — улыбнулся Невежин.

Она взглянула на него и сама улыбнулась. Решительно на него нельзя было долго сердиться!

### 3

Дня три спустя Степанида Власьевна говорила племяннице:

— И на что нашему милому Евгению Алексеевичу место... К чему за сорок рублей ему гнуть спину?.. Тоже нужда большая!..

— Почему вы так думаете, тётя?

— А потому, что он и без места проживёт. Сегодня ему пришла повестка... Подал почтальон, так я, подумавши, не мне ли, и посмотрела... На три тысячи повестка!.. — с восторженным благоговением проговорила старушка. — На три тысячи! К чему тут места? Станет он о местах думать, когда такие деньги получает. Мать-то у него, видно, богатая, Зиночка?

Зинаида Николаевна не отвечала, подавленная, взволнованная этим известием. Как молния, блеснула в голове её мысль, что жена посылает Невежину деньги, и это возмутило её.

Но в следующую же минуту она устыдилась своего подозрения. Этого не может быть... На такое унижение он не способен!

— Мать-то у него богатая, Зиночка? — повторила Степанида Власьевна.

— Право, не знаю, тётя... Верно, богатая, если посылает сыну такие суммы...

— А то, быть может, жена посылает... Жена, говорят, у него богатая...

— Что вы, что вы, тётя!.. Разве он станет брать от жены!

— И то правда, Зиночка... Не станет Евгений Алексеич... Да скажи ты мне, из-за чего это он в неё стрелял, Зиночка?.. Вот уж никак бы не подумала, что Евгений Алексеич может стрелять в человека... Насолила, видно, ему жена-то!.. Ты знаешь эту историю, Зиночка?

Но Зиночка ответила, что ничего не знает, и ушла в свою комнату, оставив Степаниду Власьевну в неизвестности насчёт «истории», которая давно возбуждала любопытство доброй старушки.

Невежин сразу догадался, от кого эти деньги. В тот же день он читал письмо жены, в котором она между прочим умоляла

---

его не отказываться от посылаемой безделицы и умоляла чаще писать ей. О себе она коротко сообщала, что живёт в Мон-трё и что чувствует себя лучше. Это ласковое и нежное письмо умилило Невежина, скоро успокоив чувство унижения, испытанное им в первые минуты, и он не без удовольствия спрятал деньги в карман и в тот же день привёз Панютиной роскошный серебряный чайный сервиз.

Но, разумеется, Зинаида Николаевна не должна была знать, откуда эти деньги. И когда Степанида Власьевна, передавая повестку, добродушно поздравила его с большим получением, Невежин за обедом рассказал длинную историю о том, что мать его получила большое наследство и прислала ему три тысячи.

Зинаида Николаевна поверила этой выдумке и мучилась, что могла хоть на минуту заподозрить человека, который вдобавок ещё так просто и искренно просил её взять пятьсот рублей на какое-нибудь доброе дело, что девушка не могла отказать и крепко пожала ему руку, сказав, что пошлёт эти деньги в пользу учащихся сибиряков.

Скоро, однако, благодаря неосторожности самого Невежина ложь его обнаружилась.

Как-то, через несколько дней, Зинаида Николаевна, зайдя на кухню, увидела, что Прасковья с любопытством разглядывает какой-то конверт.

— Что вы смотрите, Прасковья?

— Да вот чудной конверт вымела сегодня из комнаты Евгения Алексеевича, барышня... Ишь, какие на ём картинки... Никогда таких не видала! — сказала она, подавая конверт в руки Зинаиды Николаевны.

Та взглянула на конверт и узнала почерк Невежиной. На конверте крупными буквами было написано: «Со вложением трёх тысяч».

— Это швейцарские марки! — прошептала она упавшим голосом, выходя из кухни.

«Так вот от кого эти деньги! И он берёт их от жены!» Долго она сидела у себя в комнате, раздумывая о Невежине. В первые минуты она почувствовала презрение к нему, к себе за то, что могла любить человека, у которого нет даже чести. По остроте боли и оскорбления, которое испытывала Зинаида Николаевна, она поняла, как сильно любит этого человека, и это сознание заставило её ещё беспощаднее относиться к нему. Теперь перед строгим её судом был не тот Невежин, каким она раньше представляла его себе, а другой — лживый, пустой, бесчестный. И она его любила! Однако вслед за тем она ж сама стала приискивать оправдания, придумывая их с находчивостью любящей женщины. И, надо правду сказать, эта

---

защита была ловкой защитой хорошего адвоката... Не должна ли она поддержать его, падающего, слабого? Чувство сострадания и сожаления пересиливали другие чувства, когда она представляла себе его, красивого, свежего, смеющегося, его улыбку, ласковую и нежную... Она не раз ловила себя на этом и... её охватывал стыд...

Мысли её путались. Голова горела. Она чувствовала позор этой любви и презрение к самой себе.

«Вырвать, вырвать надо это чувство!» — шептала она, и слёзы тихо катились из глаз девушки.

Она вышла из дому и пошла бесцельно бродить. Незаметно она вышла на окраину города, как звон колокольчиков заставил её поднять голову. Мимо неё пронеслась лихая тройка, и в изукрашенной кошёвке сидел Невежин с Панютиной. Она успела заметить их весёлые, оживлённые лица, и торопливо опустила глаза.

«Вот кого ему нужно... Вот кого он любит!» — подумала она, чувствуя презрение и зависть, негодование и обиду.

После этой встречи Зинаида Николаевна более не колебалась. Приговор Невежину был подписан в её сердце, и не было смягчающих обстоятельств. Он — пустой, лживый, поверхностный человек без правил, балованный эгоист, которого спасти невозможно и которому верить нельзя.

«Уехать отсюда!» — повторяла она, словно боясь, что присутствие Невежина может смягчить этот приговор и не позволит скорее похоронить эту постыдную любовь.

Неделю она прохворала и не выходила из комнаты. Когда, наконец, бледная, осунувшаяся, с заострившимися чертами, она вышла к обеду и встретилась с Невежиным, который искренно и горячо приветствовал её выздоровление, сердце у неё сжалось, и краска залила щёки. Но она справилась скоро с собой и отвечала на приветствие словами, от которых веяло холодом. «Лжёт?» — спрашивала себя девушка, вслушиваясь в звуки этого мягкого вкрадчивого голоса, и подумала, что если и лжёт, то лжёт бессознательно...

— За что ты так неласкова, Зиночка, с Евгением Алексеичем? — спрашивала вскоре Степанида Власьевна, искренно полюбившая молодого человека.

— Вам так кажется, тётя! — отвечала племянница, отводя глаза от проникновенного взгляда старушки.

— Он ведь такой милый, ласковый, этот Евгений Алексеич... Его жалеть надо!

«Все, видно, его жалели!» — подумала с горькой улыбкой Зинаида Николаевна и ничего не ответила.



---

## XXV

### «Короли в изгнании»

Сикорский, крепко было приунывший при известии об отъезде своего доброжелателя, снова приободрился после собрания, бывшего у него вечером того дня, когда Ржевский-Пряник объявил ему эту печальную новость.

На этом интимном вечере было решено интересное дело.

В небольшой гостиной Сикорского, убранной не без кокетливой простоты, свидетельствовавшей, при какой скромной обстановке «несёт свой крест» бывший заправила лопнувшего банка, в этот памятный вечер собралось маленькое, но избранное общество.

За исключением одного человека, за круглым столом, накрытым белоснежной скатертью, сидели, прихлёбывая чай, главнейшие «короли в изгнании», как прозвал один местный остряк этих известных героев уголовных процессов, проживавших, после бурной и блестящей жизни в столицах, «на покое» в захолустном Жиганске.

С хозяином читатели знакомы. Остаётся представить гостей.

По правую руку амфитриона, сидевшего за самоваром, сидит молодой человек, лет тридцати с небольшим, в тёмной, видимо, ещё столичной жакетке, недурной собой, с вьющимися белокурыми волосами, ниспадавшими почти на плечи, что придаёт его физиономии несколько мечтательный вид шиллеровского героя. У него тонкие черты худощавого, бледного лица, бородака *à la Henri IV* и **серые небольшие глаза**. Взгляд этих глаз какой-то неопределённо беспокойный, не останавливающийся долго на одном предмете, точно у человека, который что-то забыл или неожиданно встретился с кредитором. Тем не менее в лице Жиркова было что-то располагающее — и добрая приветливая улыбка, и мягкая ласковость выражения, так что люди, мало его знавшие, охотно верили, когда Жирков в порыве откровенности, с дрожью в голосе и с увлажнёнными глазами, рассказывал, что он жертва печального недоразумения и собственной опрометчивости. Нет сомнения, что, повторяя в эти откровенные моменты ещё в тюрьме придуманную историю об «умирающей матери», которую надо было отправить за границу, вследствие чего он «задержал» на неделю несколько тысяч, данных ему клиентами для вноса судебных пошлин, — Жирков и сам верил в «умирающую мать». И хотя в трогательной истории сына, желающего спасти мать, не было ни одной йоты правды, Жирков всё-таки каждый раз

---

при этом рассказе неизменно вытирал набегающие слёзы, искренно волнуясь, как хороший актёр, проникшийся изображаемой им ролью.

Этой искренности и лёгкости проникновения всевозможными ролями, помимо лживости и легкомысленности характера Жиркова, немало, вероятно, помогала и бывшая профессия молодого человека, прежнего бойкого, талантливого московского адвоката, блиставшего одно время либеральными речами, тонкими обедами и художественным изяществом обстановки. Жирков тогда начинал приобретать в Москве известность как хороший адвокат. Среди товарищей он пользовался репутациею «доброго, умного малого», несколько бесхарактерного и чересчур женолюбивого. Он был со всеми в ладу; близкие знакомые ласково называли его «Мишенькой», и многие коллеги завидовали его необыкновенной способности занимать деньги и успокаивать нетерпение кредиторов устно и письменно. Когда, наконец, Жирков запутался, и кредиторы, изверившись в «литературу успокоения», стали его травить, молодой адвокат растратил деньги клиентов и, к изумлению коллег, не сумел отвертеться от скамьи подсудимых.

Патетически, не без ораторского искусства рассказанной сказке об «умирающей матери» присяжные заседатели, однако, не поверили, ибо сумма денег, растраченная адвокатом, представляла собой такую внушительную цифру, что на неё можно было бы послать на Ривьеру десятка два умирающих матерей, а не то что одну, и притом совершенно здоровую, хотя и подкошенную горем при такой бесстыдной публичной лжи на мать, которая своему же любимцу Мишеньке отдала последние крохи.

В Сибири Жирков не пропал. Интеллигентный и способный молодой человек очаровал своим умом и деловитостью местное начальство, которое помогло ему устроиться довольно хорошо для его нового положения. Кроме того, Жирков давал юридические советы, писал просьбы по серьёзным делам и, когда не хватало средств для удовлетворения прежних широких привычек эпикурейца и женолюбца, время от времени прибегал к займам, с успехом пользуясь (особенно вначале) мифическими телеграммами или бездорожьём, задержавшим получение будто бы высланных денег.

Он был добродушен и услужлив, мил и остроумен, и его охотно принимали везде. Все в Жиганске любили Жиркова и вдобавок невольно его жалели.

«Такой милый, образованный человек — и вдруг так жестоко пострадать из-за умирающей матери!» — говорили обыкновенно знакомые с легендой дамы. Мужчины, не со-

---

всем доверявшие легенде, коротко замечали: «Умный человек, а влопался!» — и снисходительно пожимали плечами, пока не испытывали на себе неотразимости уверений Жиркова о неисправности почтово-телеграфного ведомства и, к счастью своему, не были ещё знакомы с его художественными записками успокоения.

Сосед Жиркова представлял собою другого рода тип. Это был сгорбленный старик с сухим, измождённым, морщинистым лицом, на котором словно застыло угрюмое выражение равнодушия. Он молча прислушивался к разговору, посасывая скверную сигару, и по временам озирался присутствующих спокойным взглядом своих выцветших старческих глаз, глубоко сидящих под густыми седыми бровями. Костюм на нём был жалкий: чёрный изношенный наглухо застёгнутый сюртук лоснился и белел по швам; бельё было сомнительной чистоты.

Глядя на этого угрюмого старика, никто бы не догадался, что ещё несколько лет тому назад Рудольф Иванович фон Таухниц был грозой целого ведомства — суровым, надменным начальником, перед которым дрожали подчинённые, и потом — героем громкого процесса, завершившего ссылкой долгую службу генерала из остзейцев. В течение трёх бесконечных дней суда этот старик, в шитом генеральском мундире, с грудью, сверкавшей звёздами и орденами, ещё полный энергии и жизни, храбро боролся с позором публичного обвинения в лихоимстве. Кто видел тогда этого затравливаемого, но всё ещё не сдававшегося крупного зверя, в бессильной злобе метавшего взгляды, сверкавшие то ненавистью, то презрением, на бесчисленных свидетелей, бывших подчинённых, ещё недавно раболепных, а теперь спешивших наперерыв забросать его грязью, — тот едва ли узнал бы в этом жалком, хилом, нищенски одетом дряхлом старике грозного и в суде генерала, шаг за шагом, с энергией отчаяния отбивающегося от массы подавляющих мелких косвенных улик, — так он изменился. Старик, переживший в эти три дня целую вечность, вышел после приговора, шатаясь, из суда, разбитый нравственно и физически под игом позора, увенчавшего закат его дней. Он отлично понимал, что суд над ним вызван был не столько его злоупотреблениями, сколько закулисной борьбой чужих честолюбий, желанием унижить прежнего главного начальника обвинённого, и что он был лишь козлом отпущения. И это ещё более уязвляло самолюбивого генерала.

Надо отдать справедливость: он нёс кару с достоинством, никогда никому не рассказывая о своём деле, не жалуясь, никого не обвиняя, не драпируясь в мантию невинно по-

---

страдавшей жертвы. Жил он в Жиганске в какой-то конуре, в одной из дальних глухих улиц, более чем скромно, почти бедно, на ничтожные средства, отсылая большую часть своей эмеритуры (единственный свой доход) престарелым сёстрам, которым он всегда помогал. Одиноким и брошенный, одряхлевший и удручённый сознанием чересчур жестокого позора, самолюбивый старик систематически избегал знакомств и не показывался ни на каких собраниях. Он и на улицу выходил только в ранние часы, сохранив старую привычку совершать ежедневные прогулки, и только изредка, и то по приглашению, заходил к Сикорскому, который давал ему иногда работу по поручению Ржевского-Пряника, желавшего чем-нибудь помочь Таухницу.

Совершеннейшую противоположность представлял собой vis-à-vis Таухница — господин Кауров, один из «птенцов славной стаи» интендантов, судившихся после последней турецкой войны, — румяный, весёлый толстяк громадных размеров, с большой круглой головой, на которой начинали серебриться чёрные, щетинистые, коротко остриженные волосы. В Жиганске недаром прозвали Сергея Сергеевича Каурова «весёлым интендантом». И его толстое мясистое лицо хорошо упитанного борова, обрамлённое окладистой, выхоленной, надушенной бородой, скрывающей трёхэтажный подбородок, — лицо с плотоядным широким ртом, крупным вздёрнутым кверху носом, словно что-то нюхающим, с маленькими, оплывшими жиром и отливавшими маслянистым блеском весёлыми глазами, — и этот густой, сочный хохот, колыхавший его грандиозное брюхо, — и выражение довольства, беззаботности и нахальства, которым, казалось, дышала вся его колоссальная фигура, начиная с лица и кончая толстыми короткими пальцами, которыми Кауров игриво отбивал такт по столу, любуясь по временам игрой крупного брильянта на мизинце, — и щегольской костюм, и безукоризненное бельё — одним словом, решительно всё свидетельствовало, что этот «король в изгнании» несёт бремя ссылки весело и легко, в отличной квартире, с превосходным поваром, не отказывая себе и в других развлечениях, соответствующих склонностям «весёлого интенданта».

И Кауров, разумеется, не плакался на судьбу, а только ругался, что его законопатили в этот подлый Жиганск, где ни за какие деньги нельзя достать восхитительной румынки, хорошего рокфора\* и настоящего кло-де-вуже\*\*. С весёлым цинизмом признавался он под пьяную руку, что у него оста-

---

\* Сорт сыра.

\*\* Сорт вина.

---

лось-таки сотни две тысяч про чёрный день, и жил не стесняясь: держал лошадей, вёл большую игру, задавал обеды, имел широкое знакомство, часто повторяя, что у кого есть деньги, у того всегда найдутся друзья. Семья Каурова не жила с ним, и он, кажется, не стеснялся этим, меняя часто молоденьких экономок и награждая их при уходе с щедростью, заставлявшею многих жиганских швеек и горничных добиваться этого места. В откровенные минуты Кауров прямо говорил, заливаясь раскатистым смехом, что назначь его опять интендантом, он снова огрел бы матушку-казну, потому что... потому что он, Сергей Сергеевич Кауров, слава богу, не дурак и, попавши в Голконду, не будет стоять, разинув рот, в то время, как другие собирают сокровища. Попался же он, собственно говоря, по своей же глупости: пожалел крупного куша, когда не следовало, и угодил в места не столь отдалённые.

— Но, конечно, ненадолго. Нас простят. Мы ведь верные слуги отечества, люди благонамеренные, столпы в некотором роде, не то что эта неблагонадёжная гольтьба, потрясающая основы, — с хохотом прибавлял Кауров.

Рядом с ним сидел Хрисанф Андреевич Мосягин, бывший почётный гражданин и миллионер, судившийся за поджог пустых лавок в одном из городов Поволжья. Мосягин, хоть и старый уже человек, но на вид ему не более пятидесяти лет; лицо у него мускулистое, крепкое, с тем смиренным выражением, какое бывает у монахов в публике, борода реденькая, клинышком, глаза небольшие, круглые и зоркие, как у кобчика. Он не толст, не худ, а, как выражается сам про себя, «мужик в пропорцию». Несмотря на то, что преступление сравняло его, по званию мещанина из ссыльных, с остальными присутствовавшими здесь гостями, Мосягин всё-таки держит себя в их обществе с некоторой осторожной почтительностью. Это — хищник, стяжатель, скупец и философ, любящий пофилософствовать за стаканом чая о суете мирской вообще и о неблагодарности детей в особенности. Он, видите ли, «после несчастья, посланного ему богом», передал сыновьям, вместе с фирмой, всё своё состояние, а они забыли родителя и лишают его, беднягу, самого необходимого.

Так иногда жалуется Мосягин, скрывая, что у него есть капитал, и капитал большой, хранящийся в одном из банков и положенный на имя свояченицы, не старой ещё женщины, которая приехала в ссылку оберегать покой престарелого страдальца. Живёт он скаречно, но и в ссылке не забывает дел: в компании с одним жиганским купцом ведёт хлебную торговлю и при случае даёт деньги под проценты, под большим секретом. Ссылка для этого бывшего миллионера, царя

---

хлебной торговли Поволжья, — новая арена для его стяжательных талантов, но эта арена мала, и, главное, он боится, что его, бесправного, обманут, и потому Мосягин в ссылке грустит и всё хлопочет о помиловании, для чего часто захаживает к Сикорскому за советами. Сперва было он обращался к Жиркову, но, поплатившись ста рублями, нашёл, что это убыточно... Сикорский же одолжает Мосягина даром, имея на то свои причины.

Последний гость, с которым остаётся познакомиться читателя, — господин Пеклеванный, известный в кругу жиганских кутил под именем «Гришки Пеклеванного». Этот высокий кудластый брюнет с широким выбритым лицом калмыцкого типа и небольшими неглупыми глазами, обличьем и развязными манерами напоминающий не то маркёра, не то трактирного забулдыгу, не имел чести разделять печальной участи «королей в изгнании». Господин Пеклеванный приехал в Сибирь добровольно, влекомый сюда, если верить его словам, цивилизаторской миссией — желанием послужить своими талантами тёмному, некультурному краю, так нуждающемуся в образованных людях. И он служил краю в качестве не особенно разборчивого ходатая по разным делам, прославившись гораздо более как неутомимый скандалист, затевавший в пьяном виде «истории», обычным результатом которых бывали драки с переменным счастьем, так что рассказы о таких происшествиях были в Жиганске самыми частыми новостями, разнообразившими адскую провинциальную скуку. То Пеклеванный кого-нибудь бил, то Пеклеванного били. То он смазывал физиономию какого-нибудь приятеля-собутельника горчицей или обливал голову пивом, то с ним проделывали нечто подобное. Все эти маленькие «недоразумения» как с чужими физиономиями, так и со своей не особенно смущали Пеклеванного, часто бывавшего в таких переделках. После дня-другого сиденья дома с примочками арники, он как ни в чём не бывало показывался в людях, пил на мировую или великодушно забывал полученную мятку и с прежним апломбом ораторствовал, где только мог, о том, что он «истинно русский человек» и высоко держит знамя законности, порядка и культуры.

---

## XXVI

### «Идея»

Главной темой разговоров был, конечно, отъезд Ржевского-Пряника.

— Неужели старик так и не вернётся сюда? — спрашивали со всех сторон у Сикорского.

— Едва ли вернётся!.. — авторитетно отвечал Сикорский, грустно покачивая головой.

Эти слова близкого «старику» человека вызвали непритворное сожаление среди «королей в изгнании». Все хвалили Василия Андреевича; всякий вспоминал о том или другом факте внимания. Другого Ржевского-Пряника им не дожидаться. Каждый из присутствующих с тревогой думал о будущем.

Один только Таухниц угрюмо молчал, не принимая почти никакого участия в оживлённой беседе. Не всё ли равно ему — останется или нет Ржевский-Пряник, и кто будет на его месте? Он во всяком случае не думает просить о помиловании и вообще не станет обращаться с какими бы то ни было просьбами и докуками к местной администрации, и потому был совершенно равнодушен к вопросу, волновавшему остальных присутствующих.

А все, несомненно, были взволнованы. Особенно волновался Сикорский, хоть и умел скрыть своё волнение под маской непроницаемости. Пройдут для него красные дни с отъездом Василия Андреевича. Каково будет жить с новым начальством? Начальство в Сибири при желании ведь может каждому из «королей» отравить жизнь. Оно может лишить их права жить в Жиганске и в двадцать четыре часа отправить на жительство в какую-нибудь трущобистую дыру. Положим, с «королями» так поступать стесняются, но кто знает, как посмотрит на них «новый» и под какими впечатлениями он приедет сюда? [Что если под «сибирскими», навеянными петербургскими сибиряками?] Что если он проверит все эти бесчисленные жалобы и озлобленные выходки «Жиганского курьера» против уголовных ссыльных и лишит некоторых из них мест! Ведь могут найтись советники, которые скажут, что неудобно и неприлично какому-нибудь банкократу или человеку, сосланному за подлог, служа по вольному найму, от имени правительства контролировать какое-нибудь учреждение и делать ещё замечания.

Обо всём этом вспомнил Сикорский, и, разумеется, невесёлые мысли волновали его. Непокойны были Жирков и Мосягин, да и Кауров, хоть и говорил, что ему «наплевать» и что он постарается выхлопотать право жить в Царском Селе



---

вместо Питера и помимо местной администрации, всё-таки несколько приуныл, слушая пессимистические пророчества Сикорского.

— Да полноте вам, родной Михаил Яковлевич, пугать нас!.. Бог не без милости, свинья не без поросят! — наконец проговорил он.

«Тебе-то хорошо с деньгами», — подумал Сикорский и сказал:

— Я не пугаю, дорогой Сергей Сергеевич... Я только комбинирую...

— Лучше велите-ка своей Милитрисе Кирбитьевне подать нам по рюмке водки... Тогда комбинации будут не такие мрачные! — с весёлым хохотом продолжал Кауров. — Уж Пеклеванный изнывает... Сосёт ведь у тебя под ложечкой, друг Пеклеванный, а? — обратился Кауров к тому тоном панибратства, в котором слышалась едва заметная нотка некоторого пренебрежения. — Сколько сегодня выпил?.. Было дело, а?

— Верно, и ты, беззаботный интендант, не без греха... Говорят, за завтраком у тебя сегодня пили много...

— А что ж ты не приехал, коли знал, что у меня пьют... Как это ты прозевал случай, а? — подсмеивался Кауров.

Между тем миловидная, чисто одетая горничная, шурша платьем и жеманно опуская глаза каждый раз, как Кауров пристально взглядывал на неё своим масляным взором, поставила на стол различные холодные закуски, хлеб, масло, разных сортов водки и несколько бутылок вина.

Сикорский слегка нахмурил брови, заметив взгляды Каурова, но тотчас же разгладил их и с обычной своей любезностью предложил гостям закусить, наполняя рюмки водкой. Все, кроме Таухница, выпили с видимым удовольствием и стали закусывать.

— Что ж вы, Рудольф Иванович? Хоть рюмку вина выпейте да закусите чего-нибудь!.. Сыр недурён! — прибавил Сикорский, обращаясь к Таухницу.

— Благодарю. Вы ведь знаете: я не ужинаю. Он взглянул на свою серебряную луковицу и стал собираться. Сикорский начал его удерживать.

— Поздно... Одиннадцатый час, а мне в Слободку.

— Моя лошадь к вашим услугам, Рудольф Иванович! — с почтительной аттенцией\* предложил Кауров.

— И моя тоже! — повторили Жирков и Пеклеванный.

Но старик, поблагодарив, отказался и стал прощаться.

— Жаль, что вы не остались, Рудольф Иванович! — говорил ему в передней Сикорский конфиденциальным тоном, с

---

\* Учтивость (от *франц. l'attention*).

---

особенной ласковой почтительностью пожимая ему руку. — Я было хотел спросить вашего совета насчёт одного дела, мною задуманного. Впрочем, я завтра побываю у вас... Оно и лучше: побеседуем наедине.

Старик даже не любопытствовал узнать, в чём дело, и только промолвил, что он целый день дома.

— А ведь отлично сделал мрачный генерал, что ушёл! — воскликнул Кауров, когда Сикорский проводил Таухница. — Помилуйте! Сам не пьёт и только других стесняет своим строгим видом... За вами очередь, дорогой Михаил Яковлевич! Мы без вас уже по второй выпили.

— Вам можно и по третьей, а мне вредно.

— Ну для меня, Михаил Яковлевич.

— Так и быть, разве для вас. Сергей Сергеевич!

И, налив рюмку портвейна, Сикорский чокнулся с Кауровым.

За ужином ели и пили много. К концу ужина лица у всех гостей были возбуждены. Разговоры оживились. «Весёлый интендант» рассказывал о жизни в Бухаресте и постоянно прибавлял, обращаясь к Пеклеванному:

— Понимаешь ли ты, как было хорошо, а?

На что Пеклеванный подмигивал глазом и отвечал, что понимает.

Мосягин ел молча, с жадностью человека, вознаграждающего себя за скудную пищу дома хорошими кушаньями, за которые не придётся платить, и пил одну водку. Жирков, откинувшись на стул, смаковал дорогое красное вино. Все были веселы, но никто не был пьян. Сам Сикорский, угощая гостей, почти ничего не пил. Когда интендант окончил свои воспоминания, Михаил Яковлевич значительно проговорил:

— У меня, милые гости, есть одно предложение... идея, о которой я хотел бы поговорить с вами... Только наперёд буду покорнейше всех просить держать пока мою идею в секрете...

Все глаза обратились с любопытством на Сикорского.

Михаил Яковлевич продолжал:

— Вы знаете, конечно, с каким озлоблением относятся сибиряки к приезжим, к людям, не разделяющим сибирских взглядов. Вы знаете тоже, какова здесь местная печать... какие проводит она тенденции и с какою наглостью позорит и клеветает на людей, имеющих несчастье быть в нашем положении. Никого эти гнусные газеты не оставляют в покое... Ещё на днях, помните, Сергей Сергеевич, какую гадость напечатал «Жиганский курьер» про вас?

— Мерзавцы! — проговорил в ответ Кауров.

---

— Всё это навело меня на мысль, — продолжал Михаил Яковлевич, — что было бы весьма полезно основать здесь орган, который бы проводил здоровые, истинно русские идеи, ничего общего не имеющие с тем, что пишут там разные «сибирские патриоты» [и разная политическая шваль], — орган, который бы помогал администрации в её стремлениях сделать что-нибудь для края... Одним словом, недурно было бы иметь газету вполне приличную, которая бы противодействовала вредному сибирскому влиянию. [Василий Андреевич совершенно разделяет эту мысль и готов лично в Петербурге хлопотать о разрешении, так что с этой стороны мы почти обеспечены. Подобная газета, мне кажется, могла бы иметь успех, если её повести бойко и живо, тем более что «Жиганский курьер» своими главными обличениями давно возмущает всех порядочных людей. Что вы на это скажете?]

— А ведь это... идея! — проговорил со смехом Кауров. — Иметь свою газету... Ей-богу... идея!..

— «Курьер», наверное, закроют после статьи московской газеты, и, следовательно, не будет конкурента! — заметил Пеклеванный.

— Да и ведётся он скверно! — промолвил Жирков.

— Но только где вы найдёте людей?.. Кто будет писать, а?.. — спросил Кауров.

— Об этом беспокоиться нечего... Михаил Петрович работал в московских газетах и немного знаком с журнальным делом. Он поможет нам... Не правда ли?

Жирков утвердительно кивнул головой.

— А затем... не боги же горшки лепят... И здесь найдутся люди, способные писать... Я хоть и не литератор, а, надеюсь, сумею толково и литературно изложить свои мысли... Таухниц обещал... Григорий Григорьевич, вероятно, тоже не откажется принять участие...

Пеклеванный даже вспыхнул от удовольствия и проговорил, что он будет очень рад.

— Надеюсь, и вы, Сергей Сергеич...

— Что вы... что вы! — с хохотом перебил Кауров. — Я отроду не писал...

— Попробуйте, это не так трудно! — улыбнулся Жирков.

— И пробовать не буду...

— Дело не в этом, господа. Сотрудники найдутся, но прежде всего надо приискать издателя и редактора. Не откажите нам в этом, Григорий Григорьевич!

Сам Пеклеванный в первую минуту смутился от подобного предложения, до того оно было невероятно. Гришка Пеклеванный, герой всевозможных скандалов, в роли издателя и редактора?!

---

— Утвердят ли? — проговорил он и даже как будто сконфузился.

— Чем ты не редактор? — сказал Кауров с улыбкой.

— [Василий Андреевич даст о вас] прекрасный отзыв, ругаясь за вашу благонадёжность, — заметил Сикорский.

— Я... что же... я согласен!..

— [Так подавайте завтра же прошение в главное управление по делам печати... Михаил Петрович его составит... он знает форму...] Теперь лишь остаётся обеспечить издание на первый год. В первый год, разумеется, будет дефицит...

При этих словах «весёлый интендант» сделался вдруг серьёзен, а Мосягин задумчиво опустил глаза.

— Нужна будет пустяжная сумма... тысяч пять! — проговорил Сикорский, — и мы рассчитываем на вас, добрейший Сергей Сергеевич, и на вас, Хрисанф Андреевич.

— Я, поверьте, с полным моим удовольствием, если б имел деньги, — заговорил Мосягин. — Вы ведь знаете, что дети меня обобрали, и я...

— Полно... полно, Хрисаша, не ври... Деньги-то у тебя есть, милый человек! — перебил его со смехом Кауров. — Я дам, пожалуй, половину, дай и ты... Ведь дело-то хорошее: понимаешь ли — газета, а? Даром будешь читать...

Но Мосягин упёрся и лишь после усиленных настояний Сикорского, сопровождаемых кое-какими намёками, обещал достать у свояченицы тысячу рублей без процентов. Тогда Кауров обозвал Мосягина «скарёдным Хрисашкой» и объявил, что даёт четыре тысячи без всяких условий.

Произошла трогательная сцена. Сикорский облобызал Сергея Сергеевича и сказал благодарственный спич. Вслед за тем он послал за шампанским, и господа «бубновые тузы», будущие руководители общественного мнения, долго ещё пировали.

[На следующий же день было написано прошение и объяснительное письмо от имени Василия Андреевича, — письмо, в котором мотивировалась необходимость для края органа, согласного с видами администрации, указывалось вредное направление сибирских газет и сообщалось, что как редактор, так и будущие сотрудники известны его превосходительству за людей вполне благонадёжных. В тот же день всё это было отправлено в Петербург, и Василий Андреевич ещё несколько раз повторил Сикорскому, что он лично будет хлопотать о разрешении.

— Такая газета нужна Сибири... Это моя давнишняя идея!.. — говорил старик. — Посоветуйте только Пеклеванному вести себя теперь поскромнее... всё-таки редактор...

---

Неловко быть вечным героем скандалов... За это сибирская пресса его съест!.. — прибавил, смеясь, его превосходительство.

— Он обещал, он обещал! — успокаивал Сикорский. — Разумеется, Пеклеванный несколько скандальный редактор, но, согласитесь, Василий Андреевич, что, кроме Пеклеванного, не на ком было остановиться... Зато он истинно русского направления человек и вполне политически благонадёжен... За это можно поручиться... Да, наконец, ведь он будет только для вывески! — заключил, улыбаясь, Сикорский.

В тот же вечер Сикорский с Жирковым сидели вдвоём, рассуждая о смете «Сибирского гражданина», как окрестили они новый орган.

И в то время как Жирков, увлечённый перспективой литературных занятий, которые, думал он, дадут ему влиятельное положение в Жиганске и новый заработок, набрасывал широкие планы ведения газеты, причём настаивал, чтобы газета велась в умеренно либеральном духе, — Михаил Яковлевич, слушая молодого человека и одобрительно кивая головой, думал о том, как он отомстит теперь своим врагам — этой ненавистной ему «клике» «Жиганского курьера».

«Останутся довольны», — мечтал Сикорский, вполне уверенный, что этот мягкий и податливый Жирков явится в его руках лишь послушным орудием и что тон газете будет давать он, Сикорский. Он знал, какого направления держаться и какие теперь в моде песни... Он будет петь их и заставит Жиркова вторить ему — для этого он найдёт средства... Кто знает, к чему приведут эти песни?.. Они могут обратить на себя внимание, и благодаря им его наконец простят, возвратят все права, и звезда его взойдёт снова.

Но прежде всего нужно доконать этих «мерзавцев», не оставляющих его и здесь в покое. Он знает, как доконать их при помощи газеты... Он припомнит им все оскорбления, которые он перенёс благодаря им... Он всё поставит на счёт.

И, предвкушая заранее это наслаждение, старый расхититель посмеивался своим тихим беззвучным смехом, весело потирая руки.

Через несколько дней секрет о новой газете уже не был секретом. Пеклеванный крепился день-другой, но на третий не удержался, чтобы не сообщить, что скоро будет издаваться газета — орган истинно русских людей «и в самом, понимаете ли, благородном направлении».

— Кто же будет издавать?

Пеклеванный принял значительный вид и объявил, что это пока секрет. Но после шестой рюмки он уже рассказывал,

---

что будет издавать газету он, дворянин Пеклеванный, который откроет новые горизонты и покажет, чёрт возьми, что именно нужно для Сибири.

По этому случаю надо было выпить ещё. После десятой рюмки Пеклеванный уже кричал, помахивая кулаком и припоминая обиды, нанесённые «Курьером», в хрониках которого имя Пеклеванного часто фигурировало, что он в лоск положит «Курьер».

— Я убью его своей газетой... Патриоты сибирские подожмут хвосты. Моя газета будет органом порядочных людей... У меня в газете соберётся цвет интеллигенции... Цвет!.. Такой газеты ещё не было в Сибири.

С этих пор Пеклеванного стали называть редактором.

— Выпьём, редактор! — говорили при встречах его собутельники.

Сибирская пресса подхватила эти слухи, и в ближайшем же номере «Жиганского курьера» появилось известие, что затевается новый орган — «орган бубновых тузов».

Пеклеванный получил головомойку от Сикорского и дал зарок не пить. Он напустил на себя солидную важность. В самом деле, ведь он теперь редактор! И когда прежние приятели говорили ему: «Выпьём, редактор!» — он строго покачивал головой и значительно прибавлял:

— Не пью... Не до того теперь... У меня газета на шее. И в самом деле он выдерживал неделю-другую — до «случая».]

## XXVII Медовый месяц

Медовый месяц Панютиной и Невежина окончился скоро благодаря «весёлому интенданту». Он явился серьёзным соперником молодого человека, хотя и не открывал вначале своих козырей. Молодая красивая актриса серьёзно пленила Каурова, напомнив ему одну из тех соблазнительных румынок, на которых он, бывало, просаживал немало казённых денег, и Кауров стал ухаживать за актрисой с терпеливым упорством человека, уверенного, что в конце концов достигнет цели — следует только не горячиться и переждать первые восторги этой «идиллии всухомятку», как цинично называл он всякое ухаживание за женщинами, не сопровождавшееся сумасшедшими тратами. Он положительно забрасывал Панютину букетами, подносил ей от имени публики ценные подарки, ежедневно являлся к ней после репетиции и, терпе-

---

ливо выслушивая тонкие насмешки в ответ на свои любовные намёки, только щурил, как кот, свои масляные глазки, и, целуя на прощанье белую, пухлую ручку актрисы, приговаривал со вздохом:

— До свидания, божественная королева!

— До свидания, верный рыцарь!

— И вы по-прежнему безжалостны к верному рыцарю? — шутливо прибавлял он.

— Безжалостна! — смеясь, отвечала Панютина.

— И нет никакой надежды?

— Никакой! — говорила она всё тем же шутливым типом.

Он снова покрывал поцелуями её руку, грустно покачивал головой и удалялся, встречая нередко в прихожей весёлого, довольного Невежина. Влюблённому толстяку, при всём его добродушии, в минуты подобных встреч хотелось перервать горло этому счастливцу, ставшему ему на дороге, но вместо того он с особенной любезностью пожимал ему руку и только презрительно косил глаза на цветы и конфеты, которые привозил Невежин.

— Недолго тебе, шаромыжнику, придётся носить цветочки! — шептал он сдавленным от зависти голосом.

Однако терпение «весёлого интенданта» начинало истощаться. Прошёл целый месяц — он сделал актрисе по крайней мере тысячи на две подарков, а она, казалось, не подавала никакой надежды на благосклонность к влюблённому интенданту и позволяла только целовать свои красивые руки не выше локтей да пожирать глазами роскошную шею и круглые плечи, когда Кауров заставлял её иногда полуодетую в уборной. Знаток и любитель красивого женского тела, он вздрагивал от восторга, мысленно совсем оголяя актрису, и начинал не на шутку сердиться этот сластолюбивый толстяк, из-за женщин попавший в Сибирь. Небрежное равнодушие красивой пикантной женщины только разжигало его желания, и он наконец решил, что пора пустить Невежина «насмарку» и «kozyрнуть» как, бывало, умел козырять он в те счастливые времена, когда был интендантским «аркадским принцем».

И Кауров однажды не явился к Панютиной «за приказаниями», как шутя называл он ежедневные свои визиты, а вместо того прислал письмо, полное нежных и страстных излияний, после которых шло деловое объяснение. С обстоятельностью серьёзного человека Кауров точно обозначил весьма солидную сумму, которую он был бы готов повергнуть к стопам божественной королевы для обеспечения её от всяких случайностей жизни, в случае, если она не отвергнет его любви, и почтительно прилагал теперь же чек на три тысячи без



---

всяких условий, как слабую дань её красоте. В заключение он просил дать ответ через три дня.

Предложение было заманчиво. О нём стоило серьёзно подумать. Влюблённый интендант предлагал актрисе по три тысячи в месяц, брал всё её содержание на свой счёт, предлагая к её услугам свою квартиру, и, кроме того, обещал при расставании выдать десять тысяч. Не трудно было сообразить, что судьба посылает ей маленькое состояние, которое даст ей возможность в будущем не вести цыганской, полной всяких случайностей жизни. С деньгами можно и условия заключать более выгодные, и взять, наконец, самой антрепризу. Надоели уж Панютиной и эти перекочёвки из Казани в Симферополь, из Симферополя в Орёл, из Орла в Сибирь, и зависимость от антрепренёров, и страх за своё жалованье, и переходы от лишней к показной, дутой роскоши «первого сюжета». Она знала действительную цену громадных окладов, которые ставились в контрактах, знала лёгкость театральных крахов и исчезновения антрепренёров, и собственным горьким опытом понимала, что без сбережений провинциальной актрисе приходится плохо... «Мёртвые сезоны», интриги, лишаящие выгодного ангажемента, борьба самолюбий, заставляющая выйти из труппы... мало ли терний для актрисы, хотя и заметной на провинциальных сценах, но не имеющей счастья быть знаменитостью, за которую гоняются. Была бы она знаменитостью, не приехала бы в Жиганск на пятьсот рублей в месяц! «Романическая история», заставившая будто бы ехать её в Сибирь, была ловкой выдумкой антрепренёра, повторённой доверчивым репортёром местной газеты, — не более. Она вот служит искусству десять лет, и до сих пор никакого солидного обеспечения... Брильянтов тысячи на две да разные подарки — вот и всё её состояние. Пора подумать и о будущем, пока она ещё молода...

В этой женщине, выросшей в атмосфере провинциальных кулис, интриг и бесшабашного прожигания жизни, с привычками лёгких, мимолётных связей перелётной птицы, тем не менее была практическая жилка предусмотрительной женщины, и чувствовалось то инстинктивное стремление к оседлой жизни, силу которого не могло заглушить долгое артистическое бродяжничество. Она обрадовалась «случаю», никак не предполагая, что Кауров может так щедро оценить её благосклонность. Невежин, правда, ей нравился — он такой красивый, милый, порывистый, этот «Женечка», как она называла его, — но ведь любви к нему не было, как и у него к ней. Так нравились ей десятки людей, с которыми она сходилась после лишнего бокала шампанского и расходилась перед отъездом в другой город. И она

---

не задумалась пожертвовать этой случайной связью в виду такого серьёзного предложения Каурова, и быть верной новому любовнику.

— Да и этот толстяк вовсе не противен! — проговорила она вслух, присаживаясь к столу, чтобы написать Каурову короткий ответ: «Согласна. Завтра вас жду, милый Сергей Сергеевич!».

Но это решение, обдуманное и спокойное, столь не похожее на роли тех страстных «драматических» кокоток, которых так хорошо изображала Панютина на сцене, не помешало ей отдать этот последний свободный вечер Невежину, и она провела его вместе с ним, особенно нежная, возбуждённая, как будто стараясь горячими ласками вознаградить и себя, и Невежина за горечь разлуки. Это был сумасшедший вечер, по окончании которого Панютина, томная и усталая, объявила, что этот вечер — лебединая песнь их любви, и не отказала себе в удовольствии маленькой трогательной сцены с объяснениями и слезами, пожалуй, и искренними.

— Последний?! Почему?..

Она, не стесняясь, правдиво объяснила Невежину, почему решила расстаться с ним, и просила его не сердиться, а вспоминать их весёлый месяц любви без злого чувства.

— Ведь и ты любил не меня, а мои ласки! — сказала она, смеясь сквозь слёзы, и прибавила: — Разойтись месяцем раньше, месяцем позже, не всё ли равно? И, наконец, говорят, у тебя есть невеста... Я ведь видела эту красивую строгую барышню!

Но Невежин принял вид оскорблённого любовника и проговорил горячий монолог, полный негодования и оскорбительных намёков, что вызвало сперва удивление Панютиной, а потом досаду.

«Неблагодарный! Он ещё читает мне мораль!» — подумала она и, насмешливо улыбаясь, спросила, по какому праву он оскорбляет её? Разве она давала ему какие-либо обещания? Разве они чем-нибудь связаны? Разве она требовала от него каких-нибудь клятв?

— В вас, Невежин, скверное мужское самолюбие говорит — вот и всё! Разойдёмтесь-ка лучше по-приятельски... Я не хочу с вами ссориться... Слышите ли? — прибавила она смягчённым ласковым тоном.

И протянула Невежину свою красивую обнажённую руку, которую Невежин поцеловал с видом дующегося ребёнка, не сознающего своей вины.

---

## XXVIII

### «Страдалец»

#### 1

На следующий же день Панютина переехала в роскошную квартиру «весёлого интенданта», а Кауров, ради соблюдения приличий, перебрался в гостиницу. Узнавши об этом, Невежин вечером не пошёл в театр и просидел дома, меланхолически раздумывая об испорченности актрисы, связавшейся с этим толстяком ради денег. Философствуя на эту благодарную тему, он, конечно, не вспомнил о своей женитьбе и находился в неопределённо тоскливом настроении бездельного человека, для которого после весёлого праздника совсем неожиданно наступили будни, серые, однообразные, с томительной скукой впереди. Он сожалел, что не богат. Тогда бы этот праздник не кончился так внезапно. «Да, без состояния невесело жить, что там ни проповедуй моралисты!» — философствовал Невежин и грустно задумался, вспомнив о своём опустевшем бумажнике. Он сосчитал свои капиталы: от трёх тысяч, недавно полученных, осталось всего триста рублей. Всё остальное, кроме пятисот рублей, истрачено на цветы, на конфеты, на подарки, на катания.

— Нет, надо иначе жить, не так глупо! — внезапно решил он, охваченный вдруг тем порывом не то сожаления, не то раскаяния, который, как шквал, рябит поверхность бесхарактерных натур, набегая на них вслед за какой-нибудь неудачей.

В самом деле, он глупо растратил присланные деньги, не подумав о своём положении. «Конечно, можно бы написать жене...» Но Невежин в ту же минуту отогнал соблазнительную мысль. Этого он не сделает. Он может ещё принять деньги от жены, попросить... никогда... Решительно надо взяться за какую-нибудь работу... Чего лучше адвокатура. Жирков, пожалуй, согласится принять его к себе в помощники. Он ещё недавно говорил, что у него много дел... Во всяком случае, надо переговорить с этим добрым, симпатичным Жирковым. Он даст совет.

И Невежин припомнил недавнее своё знакомство с «жертвой недоразумения», окончившееся неожиданной исповедью в трактире об «умирающей матери» — исповедью, которая так тронула Невежина, что заставила его при первом же брошенном Жирковым вскользь намёке о временном денежном затруднении предупредительно предложить ему сто рублей. Жирков великодушно согласился на это, небрежно сунул сто-

---

рублёвую бумажку в карман, после чего крепко потряс Невежину руку и сказал, что возвратит «эти пустяки» на днях.

— Я вчера получил телеграмму, что деньги высланы! — с стремительной горячностью проговорил Жирков, ничем не вызываемый на эту ложь.

Он даже с решительным видом полез в боковой карман за этой мифической телеграммой и, несмотря на протесты Невежина, озабоченно искал её в бумажнике, пока наконец не воскликнул:

— Так и есть, осталась дома!.. Нет, вообразите, что у нас за почта! Мне телеграфируют, что пятьсот рублей высланы три недели назад, а денег нет... Говорят... мосты сорваны, что ли?

И вслед за тем Жирков велел подать бутылку шампанского, после которой новые знакомые расстались приятелями.

Невежин теперь вспомнил, что Жирков звал его работать в новой газете. Тогда он отказался... «Но отчего не попробовать?.. Не так это трудно!..» — думал Невежин, и решил попробовать.

Затем мысли его обратились к Зинаиде Николаевне. Теперь, после разрыва с Панютиной, холодное отношение девушки было ему ещё неприятней, и он легкомысленно мечтал вернуть прежнее расположение Зинаиды Николаевны, в котором не сомневался. Она всё-таки ведь его любит!

Прошла неделя. Панютина была забыта. Зинаида Николаевна снова занимала его воображение. Ему опять казалось, что он любит её, а она к нему несправедлива и даже жестока.

Зинаида Николаевна, видимо, избегала его. При редких, случайных встречах она почти не говорила с Невежиным и сухо отвечала на его вопросы. И он отходил грустный, считая себя несчастным, одиноким, несправедливо обиженным.

«За что она сердится? — наивно спрашивал себя Невежин, шагая по комнате с мрачным видом. — Она, конечно, не знает об его отношениях к Панютиной... Да если б и знала? Монах он разве? Не за то ли, что он не бросился тогда на это место конторщика?»

Он постепенно начинал обвинять Зинаиду Николаевну. К чему она приехала сюда, зная, что он её любит... К чему были эти чтения, эти прогулки вдвоём, эти заботы о нём? Для того, чтобы, в конце концов, читать проповеди о труде и обязанности?! Не из-за неё ли попал он в эту проклятую дыру? Не поступи он тогда как джентльмен, не скрой он на суде причину этого глупого выстрела, присяжные оправдали бы, и жизнь его не была бы вконец изгажена. И всего этого она не ценит, холодная, бессердечная сибирячка!

Он искал случая объясниться с ней, но такого случая, как нарочно, не представлялось. С раннего утра она уходила на

---

уроки, обедала с тёткой раньше Невежина и по вечерам сидела опять-таки со Степанидой Власьевной. Его теперь не звали, как прежде, почитать вдвоём, с ним не делились впечатлениями; он, видимо, был как-то незаметно отчуждён от интимной жизни маленького домика.

И Невежин, не зная, как убить время, ещё острее чувствовал одиночество ссылки, оставаясь наедине сам с собой.

При мысли, что он может надолго остаться в Сибири, на него нападал ужас. Что, если хлопоты матери, несмотря на её связи, не помогут? Неужели он должен пропадать здесь, одинокий, беспомощный, — он, привыкший к иной жизни?!

И Невежин, думавший, как и все эгоисты, только о себе, готов был в такие минуты сожалеть об единственно хорошем своём поступке — о молчании на суде. Он проклинал этот дурацкий выстрел, готов был сожалеть о разрыве с женой и, слабый и жалкий, плакал, считая себя глубоко несчастным, обиженным, что на его любовь отвечают равнодушием... И красивый образ девушки преследовал его, возбуждая желания. Ему хотелось её участия, любви, ласки, без которых ему, как балованному ребёнку, жизнь казалась невозможной...

## 2

Как-то, после одной из таких вспышек, в комнату к нему зашла Степанида Власьевна с тарелкой горячих пирожков.

Добрая старушка, по-прежнему расположенная к Невежину, увидав его расстроенным, с глазами, полными слёз, воскликнула:

— Что это с вами, родной мой? Или получили какую-нибудь печальную весточку?

В этом вопросе было столько тревоги, участия и доброты, глаза старушки так ласково, вдумчиво смотрели на молодого человека, что Невежин с чувством пожал руку Степаниды Власьевны и, ещё более взволнованный, отвечал:

— Нет, милая Степанида Власьевна, никаких печальных вестей я не получал, а так... взгрустнулось... Невесело здесь! — прибавил он с печальной улыбкой, подвигая старушке стул.

— Ах ты, бедный мой! — участливо протянула Степанида Власьевна, присаживаясь на стул и ставя на стол тарелку. — Ещё бы!.. Какое здесь для вас веселье после прежней-то жизни? К хорошему-то привыкать легко, а к худому трудно... Там, в Петербурге, у вас и родные, и знакомые, и развлечения какие угодно... И жили-то вы в полное своё удовольствие, и занятия, верно, имели, а здесь что?.. Как тут не заскучать?.. Я и то говорю Зиночке, что нельзя всякого человека на один аршин мерить... Она вот нигде не скучает, всё будто около чего-то суетится, ну а другой не может... Воспитания не такого. То-то

---

оно и есть! Да вы пирожки-то кушайте, пока горячие... Кушайте, кушайте, Евгений Алексеич!.. — настаивала старушка.

Чтоб не обидеть Степаниды Власьевны, Невежин отведал пирожка.

— А вы, голубчик Евгений Алексеич, всё-таки духом-то не падайте, не поддавайтесь скуке. Скука эта, что червь, точит человека. Бог милостив... Перемелется, мука будет, поверьте старухе. Потерпите, что делать... Может быть, там в Питере за вас похлопочут, вы и в Россию вернётесь. И не таким, как вы, возвращали права... А вы, слава богу, не какой-нибудь там преступник, и, слышала я, вас уж слишком строго засудили. Мало ли каких ссор не бывает между мужем и женою?.. То-то оно и есть. Все мы под богом ходим...

И, помолчав, старушка спросила, стараясь скрыть любопытство под тоном равнодушия:

— Видно, супруга-то ваша, Евгений Алексеич, уж очень вас обидела, а?

— Меня? — удивился Невежин. — Да разве вы не знаете, за что я сослан? Разве Зинаида Николаевна вам не рассказывала?

— То-то не рассказывала подробностей... Говорила только, что вы, бедненький, были несчастливы в супружестве... Верно, супруга не любила вас?

— Напротив, очень!

— Значит, вы разлюбили жену?

— Я никогда её и не любил, Степанида Власьевна... Она была гораздо старше меня, некрасива, ревнива...

— Так зачем же вы, голубчик, женились? — добродушно воскликнула старушка.

Невежин молчал. Старушка догадалась.

Но, мучимая любопытством, она всё-таки не могла не спросить:

— Ревнива, говорите вы?..

— Очень...

— Что ж пирожки-то! Простынут! — спохватилась старушка и, покачав головой, прибавила: — Так... так... Это бывает!.. Другая такая ревнивая, что не дай бог...

И так как Невежин всё-таки не рассказывал окончания истории, то старушка, сгорая от нетерпения скорей узнать конец, снова заговорила:

— У нас тут в Жиганске тоже была такая история... Муж влюбился в другую, да и...

Она вдруг спохватилась, останавливая испуганные, широко раскрытые глаза на Невежине...

— Нет, не то, Степанида Власьевна... Я не такой злодей! — улыбнулся Невежин. — Мой выстрел был сделан в порыве

---

глупой вспышки за то, что жена поносила одну совершенно невинную девушку...

— Которую вы любили?.. — подсказала Степанида Вла-сьевна.

— Да.

— А она?

— Она об этом и не знала тогда... Уж после узнала от же-ны...

— Ишь ты... Жена, значит, объяснила той-то... Что ж даль-ше?..

— Дальше? После суда жена простила меня... Развод пред-лагала...

— Ещё бы не простить... Тоже насильно мил не будешь... А та-то, любимая?..

— Та? — переспросил Невежин. — Та меня, видно, не лю-бит!.. — грустно прибавил Невежин.

— Вишь какие дела-то на свете бывают! — раздумчиво проронила старушка. — Не лю-бит! Бедный, бедный! — по-жалела старуха.

И, снова помолчав, сказала:

— А вы всё-таки духом-то не падайте... Свет не клином со-шёлся... Ещё найдёте себе милее по сердцу, как в Питер вернё-тесь... Ведь жена развод даёт!.. Жизнь переменится... Молоды ещё... Слава богу!.. Да не сидите вы сиднем дома... Сходили бы куда, в театр, что ли, всё развлечение, а то в своей-то комна-те да с горькими мыслями и жизнь горше покажется... Право! Вот прежде не сидели дома и не скучали так... Да к Зиночке когда бы зашли, с ней бы словом перекинулись, всё бы лег-че, чем одному киснуть! А то в последнее время между вами точно кошка пробежала...

— Верно, Зинаида Николаевна сердится?

— Да за что ей сердиться на вас?.. Она только с виду строга, Зиночка, а сама предобрая... Нечего вам и ссориться. Уж не-долго и видать-то её... всего недельку какую-нибудь...

— Как недельку? — воскликнул Невежин.

— Да разве она вам не говорила ничего?

— Ничего...

— Ишь какая!.. Она ведь уезжает!

— Уезжает? — переспросил Невежин упавшим голосом, испытывая острое чувство обиды. — Куда?

— Да за границу... Уже и паспорт выправила... Докторшей хочет сделаться и потом уж совсем вернуться сюда. Говорит, что дети здесь мрут зря... Да вы ступайте к ней... ступайте. Она вам сама лучше всё расскажет... А мне на кухню надо... А что ж пирожки?.. Так и не съели?.. Не нравятся, видно?

— Не хочу.



---

— То-то и есть... И аппетиту нет... А всё оттого, что дома сидите. Идите же к Зиночке, — прибавила старушка, уходя из комнаты.

## XXIX

### Последнее объяснение

— Мне необходимо переговорить с вами, Зинаида Николаевна! — воскликнул Невежин, переступая порог этой небольшой комнатки, светлой, уютной, с цветами на окнах, видимо, убранной умелой и аккуратной женской рукой. — Вы позволите?

Зинаида Николаевна, не ожидавшая увидеть Невежина, невольно вздрогнула при звуках этого знакомого, нежного голоса. Она подняла свои глаза, серьёзные, строгие и удивлённые, на взволнованное лицо молодого человека и в ту же минуту опустила их на книгу, за которой сидела у стола. Кровь быстро отлила от её щёк, и страдальческое выражение появилось в чертах осунувшегося, бледного, но всё-таки прекрасного лица. Углы губ вздрагивали, и тонкие пальцы нервно перевёртывали страницы книги.

— Садитесь! — промолвила тихо девушка дрогнувшим голосом, наклоняя голову, словно готовая слушать.

— Я давно хотел объясниться с вами, Зинаида Николаевна, — обиженно начал Невежин, присаживаясь рядом с девушкой, — но вы избегали меня... вы не хотели меня видеть последнее время... Ведь это так?

— Так! — тихо проронила девушка, ещё ниже наклоняя голову.

— За что же вы вдруг изменились ко мне?

Зинаида Николаевна молчала.

— Я хочу знать... Я прошу... Я требую! — воскликнул Невежин.

— Зачем? И разве вам, Невежин, не всё равно — изменилась ли я, или нет? Будьте правдивы...

Она проговорила эти слова холодно и строго. Этот тон ещё более обидел молодого человека.

— Всё равно?! — переспросил он с горькой усмешкой. — Этого... этого я от вас не ожидал... «Всё равно!» Точно вы не знаете, не видите, не чувствуете, как я люблю вас... Да, люблю, как никогда никого не любил! — с порывистой восторженностью повторял Невежин, искренно веря в эту минуту, что любит эту красивую девушку, вздрагивавшую от

---

его слов, и чувствуя, что от этого объяснения зависит его судьба.

«Она не уедет!» — мелькнуло в его голове, и он продолжал:

— И вы ещё спрашиваете: «не всё ли равно»? Скажите же, чем я провинился?.. Что я сделал такого, что вы лишили меня даже того дружеского расположения, которое давали взамен моей привязанности... За что эта презрительная холодность?

«К чему он так говорит? К чему он требует ответа?» — невольно подумала девушка, с болью в сердце слушая эти, казалось, искренние слова. И чувство сострадания и жалости невольно закрадывалось в её душу.

— Что ж вы молчите? Или я не стою даже ответа?

— Мне тяжело говорить. Вы сами должны знать...

— Но я не знаю. Клянусь богом, не знаю! — воскликнул Невежин.

Зинаида Николаевна взглянула на него, и сердце её сжалось больней.

«Увы! Ведь он говорит правду. Он даже в эту минуту не понимает, отчего она изменилась к нему. И она любила такого человека!»

— Оставим лучше эти объяснения... Они бесполезны! — холодно промолвила девушка.

— Бесполезны?! — порывисто подхватил он, почувствовав острую боль оскорблённого самолюбия. — Ещё бы! Вам, видите ли, тяжело, а мне не может быть тяжело? И вы даже не удостоиваете сказать, в чём обвиняете меня! Нечего сказать, это по-христиански. Очень хорошо поступлено... Превосходно!.. Так зачем же вы приезжали сюда? Зачем сближались со мной, зачем питали мою любовь? Зачем? Зачем? Что это было: кокетство или опыты реабилитации? Христианская любовь или... или развлечение холодной бесстрастной натуры? И когда вас полюбили, питая надежду, что и вы, наконец, ответите взаимностью, вы отталкиваете человека, а сами великодушно уезжаете... Что ж! Верно, опыты реабилитации не удались? Я, по вашему мнению, негодный человек? Я праздно провожу время. Я не несу обязанностей? Так что ли?..

Зинаида Николаевна слушала эти обвинения с тяжёлым чувством. Она порывалась было что-то возразить, но Невежин продолжал:

— Если это и так, если я в самом деле слабый, негодный, гадкий человек, — неужели хорошо бросить его в этой проклятой дыре одного, без поддержки? Пусть пропадает! Это что же? Тоже по морали святых людей?! Хороша мораль! Да вы хоть бы вспомнили, из-за кого я здесь, бессердечная девушка! — вдруг крикнул возбуждённо Невежин.

---

Это уж было слишком даже и для терпения Зинаиды Николаевны. Тяжкое обвинение, с лёгким сердцем брошенное в глаза, возмутило девушку до глубины души.

— Не лгите, Невежин! — сурово остановила она. — Вы отлично знаете, что я не виновата в этом! — И, взволнованная, с бледным лицом и строгими глазами, она проговорила: — Вы требуете ответа? Извольте, я дам его, хоть мне и тяжело, но вы сами хотите... Так слушайте.

Тон её был так строг и серьёзен, что Невежин невольно притих и опустил глаза.

— Вы помните там, в тюрьме, наше свидание?.. Вы помните, что говорили тогда?.. Я поверила вам... Я думала, что вы в самом деле сознали ужас и пустоту прежней жизни и искренно хотите начать новую... Я жалела вас, Невежин, жалела, что была отчасти невольной причиной вашего несчастья, и в то же время радовалась, что несчастье заставит вас серьёзно поработать над собой и сделает вас другим человеком... Вы так горячо, казалось, этого хотели, рассказывая свою исповедь... Сперва я жалела, а потом... потом полюбила вас, Невежин! — прошептала Зинаида Николаевна, не глядя на него. — Но я старалась скрывать это чувство, и вы знаете, почему. Я не могла доконать больную, умирающую женщину, которая вас любит... Я думала, что и вы способны на серьёзное чувство и поймёте его в другом... Но я ошиблась... Вы, говоривший о своей любви, в то же время профанировали эту любовь... Я ведь знаю ваши отношения к Панютиной... Знаю, отчего они оборвались...

— Но это была не любовь!..

— А что же?.. — строго спросила Зинаида Николаевна.

— Так... увлечение...

Зинаида Николаевна грустно усмехнулась.

— Пожалуй, вы правы... У вас ведь всё увлечения, за которые вы не считаете себя ответственным... Но вы лгали и в других случаях... Эта история с деньгами...

— Какая история?..

— Вы и это забыли? Забыли, что не мать посылала вам деньги, а жена... И вы брали их!.. Вы продолжали жить на счёт женщины, которую не любите, вместо того, чтоб честно работать!.. И вы могли думать, что можно уважать такого человека?! А разве любовь возможна без уважения! Думали ли вы об этом?..

Невежин вспыхнул от стыда, унижения и досады.

— Ну да... я брал от жены... Я не просил её... Она сама посылала, и я не хотел её обидеть отказом, но если вы знали об этом, отчего ж вы не сказали мне... отчего не остановили?

---

— Останавливать от таких поступков?... — горько усмехнулась Зинаида Николаевна. — Я и то старалась оправдать вас и... не могла... Я много передумала тогда и пришла наконец к грустному заключению, что вы...

Она остановилась, словно приискивая слово.

— Что же вы не договариваете? Что я погибший человек? — промолвил тихо Невежин.

— Что вы совсем не тот человек, каким создало вас моё воображение! — досказала Зинаида Николаевна.

Прошла тягостная минута молчания. Невежин сидел, опустив голову, и не уходил. Чувство унижения, уязвлённого самолюбия, досады и в то же время неудержимое желание возвратить любовь этой девушки, которая ещё щадила его после всего, что он позволил себе сказать ей, — все эти ощущения волновали его... «Она уедет, а он останется здесь один... Нет, это невозможно!»

И он порывисто стал молить о прощении. Он несправедливо осмелился обвинять её, тогда как сам виноват во всём... О, он только теперь понял, чего лишился, потеряв её привязанность... Он сознаёт свою мерзость, но он исправится, только пусть она не уезжает, пусть вернёт расположение, пусть испытает его любовь...

— Неужели вы и любви моей не верите? — горячо и порывисто восклицал он.

Зинаида Николаевна отрицательно покачала головой и проронила:

— Разве это любовь?

— Так что ж это?

— Каприз балованного человека, который скоро пройдёт... Вы, Невежин, сами себя не знаете... Вы так же легко увлеклись мною при встрече, как увлеклись потом Панютиной и как увлечётесь многими другими... Теперь вам снова кажется, что вы любите...

— Кажется?

— Да, кажется. От безделья, от скуки. Любят не так.

— Так разве я и любить не могу?

— Не можете... Вы любите одного себя. И к чему вам моя привязанность? Вы скоро бы тяготились ею... Мы слишком не похожи друг на друга, между нами — пропасть. Для вас идеал жизни — бесконечно весёлый праздник, на котором вы бы блистали. Для меня жизнь — серенькие будни, нелёгкая задача труда и обязанностей...

— И вы... вы теперь презираете меня?

— Мне жаль вас, Невежин. Вот всё, что осталось от прежнего! — проговорила Зинаида Николаевна с какой-то вдумчивой серьёзностью. — Не сердитесь на меня за то, что я

---

высказала... Вы сами этого требовали! — мягко прибавила она.

С каждым её словом Невежин чувствовал себя более и более несчастным. Его охватило то неопределённо чувствительное настроение, которое у поверхностных натур заменяет глубокое чувство. Слёзы подступали к горлу. Он хотел что-то сказать, о чём-то умолять, но слов не находилось, и он вдруг припал к ногам девушки, рыдая и покрывая её руки страстными поцелуями и слезами.

Странные ощущения овладели на минуту девушкой. Она чувствовала презрение к Невежину, и ей было бесконечно жаль его. Эти поцелуи оскорбляли её и в то же время, сладко волнуя, заставляли трепетно биться сердце... Она медлила отнимать руки. Ещё мгновение, и она готова была, пожалуй, простить его, но мысль, что в ней говорит не человек, считающий чувство святыней, а чувственность женщины, вдруг пронеслась в её голове, и она с какой-то брезгливостью отдернула руки и, вся замирая от стыда за себя, проговорила резко и повелительно:

— Встаньте, Невежин... Не унижайтесь по крайней мере!

И Невежин вскочил, как ужаленный, и выбежал из комнаты. Придя к себе, он бросился на постель и плакал, как беспомощный капризный ребёнок, потерявший дорогую игрушку.

А Зинаида Николаевна ещё долго сидела, словно окаменевшая, на своём месте.

Через два дня Невежин переехал на другую квартиру, объяснив Степаниде Власьевне внезапный переезд необходимостью жить в центре города для занятия адвокатурой. Прошло ещё три дня, и Невежин получил письмо от Зинаиды Николаевны. Письмо было мягко и серьёзно. В нём Зинаида Николаевна ещё раз просила извинения за всё, что должна была по совести сказать ему, и оканчивала письмо следующими словами: «Поверьте, я искренно порадуюсь, если до меня дойдут слухи, что вы стали другим человеком. Вы молоды. Ещё есть время поработать над собой».

Невежин тотчас же побежал в маленький домик, надеясь ещё раз увидеть Зинаиду Николаевну, но не застал девушки. Степанида Власьевна объявила ему, что Зиночка утром уехала, и прибавила:

— О вас вспоминала перед отъездом. Просила сообщать в письмах, как вы живёте... То-то оно и есть! Напрасно не зашли с ней проститься, Евгений Алексеич!

---

### XXX

## Приезд «нового»

Благословенный Жиганск утопал в невылазной грязи. Наступила весна.

С её приходом разрешилось наконец и томительное ожидание жиганцев, остававшихся после отъезда Ржевского-Пряника долгое время без «хозяина губернии». На Святой неделе получена была телеграмма, что Ржевский-Пряник переводится в одну из великороссийских губерний, а в Жиганск назначается генерал-майор Добрецов. Он должен был приехать с первым пароходом.

Когда получена была телеграмма о назначении военного генерала, многие чиновники обрадовались, предполагая, что военный плох в бумажных делах. Но дальнейшие сведения омрачили эту радость. По этим известиям, генерал был образованный, справедливый и честный человек, умел терпеливо и усидчиво работать, несмотря на свой преклонный возраст, и отличался характером упорным и несколько подозрительным.

Эти слухи, ходившие в Жиганске, производили сенсацию, радуя одних и смущая других... Люди, которых интересы, положение, часто даже самое существование зависит от личных качеств одного лица, не могли не волноваться и не ловить с жадностью слухов о таком лице.

Ранним погожим майским утром, свежим и ярким, на реке раздался резкий свист, и первый в эту навигацию пассажирский пароход, ведя арестантскую баржу на буксире, подходил к Жиганску.

Необыкновенно галантный, щеголяющий обходительностью и манерами полицеймейстер, добрый, безобидный старый человек, любивший более кутнуть и пошуметь для «порядка», чем блюсти порядок в такой клоаке, как Жиганск, ожидавший с рассвета запоздавший пароход, слыша свисток, встрепенулся, как испуганная птица, подтянулся и, подрагивая ногой, спешной бравой походкой подошёл к краю баржи и с большей против обыкновенного начальственной аффектацией в голосе приказал конному стражнику скакать к Аркадию Аркадиевичу и доложить, что пароход идёт.

— Да живей, живей, братец! — с полицеймейстерской молодцеватостью прибавил он.

Пожилой исправник, с дореформенной физиономией го-голевских персонажей, красный и от узкого мундира, и от волнения, покраснел ещё более и, нервно обдёргивая перчатки, сосредоточенно и упорно смотрел напряжённо выта-

---

ращенными глазами на дымок парохода, заранее испытывая приближение внутреннего трепета не столько от сознания какой-нибудь крупной вины, сколько от унаследованной долгими годами привычки трепетать при встрече с начальством.

То же ощущение, но лишь в более скрытой форме, проявлялось и в господине Спасском — этом «молодом из ранних» частном приставе, том самом, который ловил Келасури и признавался Невежину, что берёт «благородно». Он сбегал на берег, чтобы удостовериться, в порядке ли стоят извозчики у пристани, достаточно ли очищена от грязи улица, и, вернувшись, то и дело беспокойно поглядывал по сторонам, выискивая: нет ли чего-нибудь такого, что могло бы оскорбить взор начальства.

Минут через десять к пристани подкатил Аркадий Аркадиевич Перемётный в полном параде.

Предшественный полицеймейстером, Аркадий Аркадиевич торопливой деловой походкой проходил вперёд, стараясь сохранить на своём угреватом, некрасивом лице вид полнейшего равнодушия и с обычной приветливостью здороваясь с встречавшимися знакомыми в публике.

— А вы кого встречаете, Кир Пахомыч? — любезно спросил он, приостанавливаясь около Толстобрюхова и пожимая ему руку.

— Дочка едет, Аркадий Аркадиевич.

— А наше вот дело начальство встречать. Дождались наконец!

— Какого бог даст? Нам бы лучше вас не надо! — шутливо заметил Кир Пахомыч.

— Лучше будет, лучше! — не без игривости, подмигнув глазом, отвечал Аркадий Аркадиевич, проходя далее.

Пароход между тем приставал.

— Однако пассажиров много! — тихо заметил вице-губернатор.

— Полнёшенек пароход! Вон, вероятно, и его превосходитьство, господин начальник губернии! — ещё тише проговорил полицеймейстер, указывая глазами на военного генерала, стоявшего среди пассажиров.

— Должно быть, он...

Ещё минута-другая, и Аркадий Аркадиевич, сопровождаемый полицеймейстером и исправником, первые прошли на пароход, направляясь к рубке, около которой, по указанию капитана, стоял губернатор.

— Честь имею представиться... Временно исправляющий должность начальника губернии!.. — проговорил Аркадий Аркадиевич, прикладывая руку к козырьку фуражки.



---

Маленького роста, седой, как лунь, старичок весьма скромного вида, бодрый и свежий, встретил вице-губернатора вежливо, но без особенной приветливости.

Протянув ему руку и сказав обычное: «Очень приятно познакомиться!» — старик генерал, несколько сконфуженный при виде собравшейся и глазающей публики, поздоровался с полицеймейстером и, покосившись на исправника, выразил удивление, что последний приехал его встречать.

Затем, после минуты-другой неопределённого тягостного положения, в котором находился и генерал, очевидно, спешивший на квартиру, и встречавшие чиновники, почтительно стоявшие около него, старик направился с парохода, приказав своему лакею позаботиться о вещах.

— Смотри только в оба, братец... Как бы не украли чего!.. — шутиливо заметил генерал.

Полицеймейстер вспыхнул от этих слов.

«Однако, хорошо у него мнение о жиганской полиции!» — подумал он.

Едва генерал ступил на берег, как по мановению невидимой руки Спасского была подана коляска, запряжённая парой славных серых рысаков, и подскочивший полицеймейстер предложил его превосходительству садиться.

— Чей это экипаж?

— Здешнего купца первой гильдии Толстобрюхова, ваше превосходительство!

Старик поморщился и проговорил:

— Уж лучше доеду в вашем экипаже, если позволите!

— Не угодно ли мой? — предложил Аркадий Аркадиевич.

Но дрожки полицеймейстера уже были поданы, и генерал, поблагодарив Аркадия Аркадиевича за предложение, пожал ему руку и попросил заехать к нему часа через два — «поговорить кое о чём».

— А пока я немного отдохну. Устал с дороги. Старость даёт себя знать! — прибавил старик, садясь в дрожки и приглашая полицеймейстера с собой.

Полицеймейстер вскочил, присевши бочком. Дрожки понеслись, подпрыгивая на ухабах.

Аркадий Аркадиевич ехал к генералу несколько встревоженный. Этот скромный на вид старичок с проницательным взглядом, говорившим, казалось, что эти небольшие серые глаза многое видели на своём веку, не особенно понравился Аркадию Аркадиевичу. Хотя он и не «раскусил» ещё приехавшего генерала, но с первой же встречи почувствовал, что с ним надо держать ухо востро.

И впечатление произвёл он совсем не такое, какое производили прежние начальники.

---

В нём не было ни юпитерского величия старинных «хозяев губерний», ни генеральского нахрапа, ни приветливой развязности и откровенного амикошонства многих администраторов новейшей формации. Что-то простое, серьёзное и вместе с тем «себе на уме» сказывалось во взгляде, в манерах, в сдержанной речи этого скромного старичка.

Генерал принял Аркадия Аркадиевича Перемётного в кабинете. Как только они уселись, старик попросил гостя дать ему общее понятие о положении края, о чиновниках, об обществе, о ссыльных.

— Я, конечно, читал в Петербурге отчёты о состоянии губернии, — прибавил он, — но мне бы хотелось, прежде чем я лично ознакомлюсь с людьми и делами, услышать живую речь знающего человека.

Аркадий Аркадиевич не напрасно слыл в Жиганске за «очень ловкого сибиряка», умевшего ладить с начальством. Смышлёный и лукавый, знавший край и людей и отлично понимавший теорию приспособления, хотя и незнакомый с сочинениями Дарвина, Аркадий Аркадиевич, несмотря на то, что не внушал особенного доверия своим непосредственным начальникам, тем не менее умел ловко и незаметно водить их за нос, оставаясь при этом всегда в тени, в качестве исполнителя чужих велений, и скромно предоставляя право ответственности руководимым людям.

В ответ на просьбу генерала Аркадий Аркадиевич стал знакомить его превосходительство с положением дел, не пускаясь, впрочем, в большие подробности и делая оценки людей с дипломатической осторожностью. Несмотря на видимую откровенность, общий тон его административной исповеди был, однако, трудно уловим.

«Новый» слушал внимательно, чуть-чуть наклонив свою седую коротко остриженную голову. Изредка только он вставлял замечания или делал вопросы, показывавшие, что генерал приехал в Жиганск уже ознакомленный и, по-видимому, обстоятельно, с положением дел и особенно с людьми.

И всякий раз после подобного замечания Аркадий Аркадиевич становился ещё осторожнее, выжидая, когда старик покажет все свои козыри.

— Говорят, будто здесь невозможное взяточничество? — спросил генерал, когда Перемётный смолк. Аркадий Аркадьевич чуть-чуть пожал плечами.

— Эти толки — ходячее мнение, ваше превосходительство!..

— Но справедливое? — улыбнулся старик.

— Сами извольте проверить. Я полагаю, однако, что эта слава о сибирском взяточничестве значительно преувеличе-

---

на, хотя разумеется, и не стану, безусловно, отвергать злоупотреблений... Они, несомненно, существуют, но вам, конечно, известно, какими нищенскими окладами вознаграждаются сибирские чиновники.

— Да... да... Штаты действительно мизерны, и я очень хорошо понимаю, что никакая власть не в силах при таких условиях уничтожить взяточничество... Но уменьшить его... не допускать хоть грабительства, стараться, чтобы по возможности исполнялся закон, — это будет моей главной задачей... И я буду непреклонно преследовать её... Попался — прошу не пенять! — отдам под суд! Потакать грабежу и произволу не стану. Не вправе-с как представитель власти! — строго и серьёзно прибавил старик.

«Стара песня!» — подумал про себя Аркадий Аркадиевич и заметил с видом соболезнавания:

— Людей здесь мало, ваше превосходительство. Поневоле приходится не всегда быть разборчивым...

— Конечно, конечно, но всё-таки можно, я думаю, тщательнее выбирать их... Я слышал, например, что недавно назначены исправниками двое господ, отставленные моим предместником за наглое взяточничество... Разве нельзя было сделать лучшего выбора? — спросил генерал, останавливая на собеседнике взгляд и тотчас же отводя его.

Аркадий Аркадиевич, назначивший во время своего калифства на час этих двух исправников, несколько смутился от неожиданного вопроса.

«Откуда он успел всё это узнать?!» — промелькнуло в его голове.

Он, однако, поспешил ответить, что, действительно, лица, о которых говорит его превосходительство, были уволены при Ржевском-Прянике, но лишь на основании доноса, ничем не проверенного.

— Это не резон!.. — вставил генерал. — Доносам не следует доверять.

— Я, разумеется, не могу вполне ручаться за этих господ, но по совести думаю, ваше превосходительство, что они не хуже других.

Генерал помолчал и затем снова спросил:

— А этого господина горного исправника, который грабит прииски и засекает рабочих и о котором производится несколько дел, тоже, видно, нечем заменить?

— Действительно, этот господин пользуется нелестной репутацией, и совершенно верно, что дела о нём, по разным жалобам, находятся у прокурора, но если прокурорский надзор не нашёл уважительных поводов к преследованию, то согласитесь, ваше превосходительство, что увольнять чело-

---

века, которого вполне одобряли двое предместников вашего превосходительства, я не имел никакого нравственного права... Снова повторю: репутация этого господина действительно скверная, но его терпели, и мог ли я, калиф на час, принять какие-либо меры, если бы даже и считал его виноватым...

— О, разумеется, разумеется... Я просто осведомился... Если нет веских улик, то, конечно, благоразумие предписывает... ждать их! — прибавил с едва заметной улыбкой старик. — Ну, а как тут у вас ведут себя ссыльные? — круто переменил разговор генерал.

— Какие, ваше превосходительство? Политические или уголовные?

— Про первых я имею сведения... Нет, я хотел спросить вас насчёт разных уголовных тузов, про всех этих Сикорских, Жирковых, Кауровых?..

— Кажется, ведут себя смирно.

— Но мне говорили, что они здесь играют роль!.. Говорят, будто Сикорский служит в совете, Жирков в контрольной палате, а другие в разных правительственных учреждениях. Это верно?

— К сожалению, совершенно верно, ваше превосходительство.

— Это мне кажется вовсе неприличным! — не без горячности проговорил старик. — Давать места, и места ответственные, в правительственных учреждениях людям безнравственным и опозоренным потому только, что эти господа сами громко называют себя консерваторами и благонадёжными людьми, — это значит компрометировать самые правительственные учреждения... Согласитесь, что если каждый вор и мошенник назовёт себя консерватором, из этого ещё не следует, чтобы подобных консерваторов считать порядочными людьми... С такими консерваторами только дискредитируется честный консерватизм... Пусть морочат людей в своей газете, но пусть знают своё место... Сикорскому предложите немедленно оставить совет... Человек, обокравший банк, не должен служить у нас. Люди, сосланные за подлоги, не могут контролировать других! — строго прибавил старик.

— Я уже говорил Сикорскому и ждал только приезда вашего превосходительства... Он сегодня же будет уволен... Что же касается других, они вне нашей компетенции...

И Аркадий Аркадиевич излился в благородном негодовании по поводу приёма на службу подобных господ. В самом деле, бедных тружеников, местных чиновников, обходят, а разным уголовным проходимцам дают места! Это, как совершенно верно выразился его превосходительство, совершенно дискредитирует власть... Все чиновники были обижены

---

назначением Сикорского... Он, с своей стороны, не раз докладывал об этом предместнику его превосходительства, но представления не были уважаемы...

Старик молча слушал ламентации Аркадия Аркадиевича и, казалось, не очень доверял их искренности. Но он ни слова не сказал и только хмурил брови да потирал свои маленькие сухие руки.

После продолжительной беседы, во время которой генерал ощупал со всех сторон Аркадия Аркадиевича, они расстались, по-видимому, недовольные друг другом.

В тот же вечер старик, имевший обыкновение заносить в дневник свои впечатления, между прочим записал следующее:

«Приехал в Жиганск. Впечатление неблагоприятное. Грязь и беспорядок. Чувствую, что предстоит много труда и неприятностей на новом посту. Постараюсь исполнять обязанности, насколько хватит сил. Всё, о чём слышал в Петербурге, кажется, оправдывается. Перемётному не доверяю. Хоть он и много говорил, а сказал мало. Видно, самому придётся мне копаться в этой грязи и расчищать её... Полицеймейстер, кажется, добрый человек, но не на своём месте, и недостаточно энергичен для Жиганска. Сикорский, известный банкократ, служит и играет роль. И другие уголовные молодцы — тоже. Приказал немедленно уволить Сикорского. И других подобных надо убрать. Срам!».

Через две недели старик уже писал такие строки: «Чиновники распущены. На службу являются поздно. Подтянул. Работаю с утра до вечера, и чем дальше в лес — тем больше дров. Некому доверять. Взятничество поголовное, но без фактов не гоню людей. Можно выгнать и невинного. Чем более знакомлюсь с здешними делами, тем более убеждаюсь, какая здесь клоака. Мои помощники ненадёжны во всех отношениях. Перемётный лебезит передо мной, но не внушает доверия. Пятиизбянский не лучше, но держит себя приличнее. Старый вор, а считает себя настоящим консерватором. Хорош консерватор!.. Полицеймейстера надо сменить, но кого назначить? Рекомендуют Кувалду. Говорят, что он расторопен и на глазах не станет грабить, как грабит на месте горного исправника. Этот Кувалда с виду настоящий разбойник, а лучшего, говорят, нет! Раскаиваюсь, что сюда приехал. При всём желании сделать добро чувствую, что сделать зла могу сколько угодно, а добра нисколько. Должен сам перечитывать дела — иначе обманут. Один из моих начальников отделения недодаёт жалованье мелким чиновникам. Я об этом слышал, но никто из обиженных не жалуется, и я... пока молчу. Жалоб на исправников и заседателей не оберёшься, и

---

всё одно и то же: произвол, вымогательство, потворство кулакам. Еду на днях в губернию. Беру с собой Ливанского. Кажется, порядочный человек, вероятно, потому и был раньше в загоне! Одному в этом чиновничьем сибирском лесу — невозможно».

«Перечитывал сибирские письма Сперанского. Как недалеко ушла местная администрация с тех пор. Изо всего персонала наших чиновников двое с университетским образованием, а остальные?! Есть исправники почти безграмотные. И с таким-то народом приходится работать! Помогите мне, боже, исполнить долг свой по совести!»

## XXXI

### «Счастливым молодой человек»

#### 1

Из числа многочисленных пассажиров, отправлявшихся в середине июня из Жиганска на пароходе «Ермак», едва ли не самым счастливым и весёлым был наш старый знакомый Невежин. Ещё бы! Он покидал «не столь отдалённые места» вполне помилованный и восстановленный в своих правах, и притом — наследником огромного состояния, оставленного ему женой, скончавшейся ранней весной на чужбине, в полном одиночестве.

Эти известия пришли в Жиганск почти одновременно, в конце мая. Смерть жены, оставившей ему всё состояние, заставила Невежина умилиться и проронить несколько слезинок, а затем... затем невообразимая радость охватила молодого человека... Он теперь свободен и богат! Богат и свободен! Нечего и говорить, что у него явилось желание немедленно же оставить этот мерзейший Жиганск, чтобы поскорей вознаградить себя за тяжёлое время ссылки. Всего год, правда, пробыл Невежин в ссылке, но и этот год теперь, ввиду будущей блестящей перспективы, казался ему длинным, невыносимо тоскливым годом. Но это всё прошло. Впереди что-то бесконечно весёлое, праздничное! Разумеется, он сперва поедет в Петербург, чтобы получить наследство и поблагодарить мать за хлопоты — это ведь она добилась скорого помилования, а затем отправится отдохнуть за границу: сперва в Баден-Баден, потом купаться в Трувиле, осень проживёт в Париже, зиму в Италии...

А потом?

---

«Об этом Невежин пока не особенно задумывался, благо ближайшее будущее было очень хорошо... И «порядочная» жизнь порядочного человека, с двадцатью тысячами годового дохода, рисовалась в его воображении шаблонными картинками, которые запечатлелись в его мозгу с детства и манили к себе всю жизнь. Изящная обстановка, хорошие лошади, тонкие завтраки с приятелями, красивые женщины, блеск, роскошь, удовольствия света...

Невежин давным-давно, разумеется, забыл о своей любви к Зинаиде Николаевне, и если бы не Степанида Власьева, заходившая изредка к Невежину, чтобы сказать о полученном от Зиночки письме, едва ли Невежин и вспомнил бы о девушке, которая, думал он, поступила с ним недобросовестно и неблагодарно. Бог с ней, с этой проповедницей акрид и мёда! После её отъезда Невежин скоро успокоился, тем более что новые знакомства давали ему возможность убивать время. Он принимал участие в концертах любителей, пел, играл, ухаживал за дамами, устраивая пикники и всё откладывая занятия адвокатурой, так как жена опять прислала денег (хотя он и не просил), и, следовательно, ему не нужно было думать о завтрашнем дне. У него, впрочем, нашлось и занятие. Он писал в новой газете театральные и музыкальные рецензии. Это занятие доставляло Невежину удовольствие. В глазах любителей-дам этот дьявольски красивый, изящный молодой человек был интереснее от того, что писал рецензии, милые, лёгкие, нежные и остроумные, как и он сам. Любители-певцы тоже не имели причин быть недовольными. Невежин никого не порицал — все у него пели мило и, во всяком случае (если уж певец совсем безголосый), «с большим выражением», за что и его товарищи по музыкальным упражнениям находили, в свою очередь, что у Невежина необыкновенно приятный тенор *gracioso* и «много, много чувства». Словом, наш молодой человек всем нравился и везде был принят.

Он сошёлся с Жирковым и через него ближе познакомился с Сикорским. С тех пор, как уехал Ржевский-Пряник и, следовательно, Невежин не стоял у него на дороге, Сикорский относился с необыкновенной любезностью к молодому человеку и умел-таки очаровать его. Бывая в обществе «королей в изгнании», Невежин в конце концов поверил, что Сикорский «невинный страдалец», преследуемый злобой, как верил, что Жирков «жертва недоразумения», пострадавшая из-за умирающей матери. Ему дела не было до их прошлого; он чувствовал, что эти люди — свои люди по внешней порядочности, вкусам и привычкам, и стоял за них горой, когда их, случалось, начинали бранить в обществе. Но у Каурова он не бывал. «Весёлый интендант», серьёзно влюбившийся



---

в актрису и уже истративший на неё гораздо более, чем обещал, ревновал Панютину к этому «красивому прощелыге» и поставил решительное условие Панютиной — не встречаться с ним.

Так проводил свою жизнь в ссылке Невежин и, по правде говоря, не особенно скучал.

Но когда, совершенно неожиданно, Невежин сделался богатым наследником и свободным человеком, вся эта жиганская жизнь с её интересами показалась ему такой ничтожной в сравнении с той жизнью, которая его ожидала.

Скорей, скорей из Жиганска!

Он уехал бы с первым пароходом, но его упросила Панютина ехать вместе на третьем. Она наконец оставляла своего «толстяка», и то загостившись у него дольше, чем хотела, и собиралась теперь на Кавказ отдохнуть до сезона, весёлая и довольная, имея в шкатулке переводный билет на двадцать тысяч и тысяч на десять брильянтов. Интендант умолял её остаться ещё, предлагал большие деньги, но она давно скучала и наотрез отказалась от предложения, пренебрегая возможностью совсем обобрать влюблённого интенданта.

«С меня довольно!» — решила она и, встретив как-то на улице Невежина, предложила ему вместе скоротать скуку дороги до Нижнего и «помянуть старое».

— Идёт? — смеясь, прибавила она, обжигая Невежина горячим взглядом.

Невежин, разумеется, обрадовался.

— Так едем на третьем пароходе и берите каюты рядом...

— Отчего не одну? — пошутил Невежин.

— А что будет с влюблённым интендантом? Я не хочу обижать его... И до отхода парохода мы по-прежнему с вами в ссоре... Слышите ли, красивый мужчина! — прибавила Панютина, протягивая ему руку и пощипывая своими пальцами его ладонь. — Будьте же терпеливы, милый мальчик.

## 2

С вечера на «Ермак» стала собираться публика — пассажиры, провожавшие и просто гулявшие. Часам к десяти на пароходе уже была давка. Все места, где можно было бы присесть, были заняты. На палубе трудно было пройти. Разгуливавшие на площадке толкали друг друга.

Вечер стоял прелестный. Полный месяц кротко и бессмысленно глядел сверху, играя в притихшей реке чудным серебристым светом. Невдалеке скользила лодка, и оттуда неслась хоровая песня.

В рубке первого класса за столом сидела компания провожавших Невежина. Между провожавшими было несколько

---

дам. Весёлый и оживлённый Невежин то и дело приказывал подавать замороженные бутылки шампанского, любезно угощая присутствующих. Разговоры не умолкали, прерываемые смехом. После шампанского все были несколько возбуждены и все чувствовали потребность выразить сочувствие милому Евгению Алексеичу. Много было сказано любезностей и произнесено тостов. Дамы крепко жали на прощанье руку молодого человека, а мужчины, раскрасневшиеся от вина и жары, лобызались с Невежиным с нежной стремительностью, повторяя вслед за тем обычные пожелания тем слегка дрожащим голосом, каким обыкновенно стараются говорить в моменты расставанья, чтобы не было сомнения в искренности чувств.

За полночь в рубке остались более близкие знакомые Невежина да несколько охотников до чужого шампанского, которые являются на каждую выпивку, как бабочки на огонь, часто начиная и оканчивая мимолётное знакомство за даровым угощением...

Григорий Григорьич Пеклеванный к концу проводов немного захмелел. Он проговорил уже много прочувствованных слов в честь отъезжающего и теперь порывался на палубу, чтобы кому-то «раскровянить морду». Сикорский и Жирков уговаривали его вместе с господином Кувалдой, недавно назначенным полицеймейстером, человеком таких непомерных размеров и с такими феноменальными дореформенными кулаками, словно бы господь бог специально создал подобную стенобитную машину исключительно для Сибири, в видах устрашения извозчиков, водовозов и вообще скромных граждан, физиономии которых чаще всего могут подвергаться опустошениям, для целей порядка и благочиния. Господин Кувалда только что присел к компании. Грузно опустившись на диван и отодвинув немного стол, чтобы дать место своему мерно колыхавшемуся грандиозному брюху, в бездонные пропасти которого уже было вылито за вечер громадное количество рюмок водки, он с восторгом душил холодное шампанское, постоянно щуря глаза и подсапывая носом, словно паровая машина.

— Гриша... Григорий Григорьич!.. Нехорошо, ей-богу, нехорошо! — успокаивал Кувалда, стараясь придать своему зычному, трубному голосу нежное выражение. — Ты ведь образованный человек, редактор... Здесь публика... Не ставь меня в щекотливое положение...

— Ну хорошо... Не буду... Сяду... Из уважения к тебе, Кувалда Кувалдыч... Слышишь?... Только из уважения к новому полицеймейстеру... Ты ведь хороший человек... Отличный... Я, братец, не верю, что про тебя говорят! Будто ты грабил на

---

приискал... Ни одному слову... Клянусь!.. Выпьем, голубчик... Ты русский человек!

Русские люди чокнулись, и Пеклеванный продолжал:

— А с ним я ещё встречусь и дам в морду... Обязательно!

— Отчего Панютиной нет?.. — воскликнул Жирков. — Уж не уговорил ли её Кауров остаться?

— Верно, интендант прощается и не может проститься! — заметил кто-то.

— И Аркадия Аркадиевича ещё нет! — проговорил Кувалда, взглядывая на часы.

— Надолго он едет?

— На четыре месяца...

— Лечиться?

— Лечиться, — усмехнулся Кувалда. — От генерала лечиться и поискать другого места! Вот зачем едет Аркадий Аркадиевич.

В эту минуту вошла в рубку Панютина, весёлая, улыбающаяся, слегка возбуждённая... Сзади неё шёл Кауров, нагруженный шкатулочками и саквояжами, грустно опустив голову.

— Наконец-то! А уж мы думали, Ольга Викентьевна, что вы остаётесь, чтобы не огорчить всех нас! — воскликнул Жирков.

И все шумно и весело приветствовали актрису. Один только Невежин сдержанно поклонился ей.

— Что, брат интендант... грустно?.. Давай-ка лучше выпьем! — проговорил Пеклеванный. — За здоровье Ольги Викентьевны... несравненной артистки... Ура!

Все поддержали этот тост. Жирков подал бокал Панютиной. Она со всеми чокнулась.

— А вот и Аркадий Аркадиевич! — заметил кто-то.

Аркадий Аркадиевич любезно пожимал всем руки. Спустившись вниз, он через несколько минут вышел на палубу, где его окружили провожающие.

Наконец раздался первый свисток. Пора оставлять пароход! Ещё несколько тостов, последние поцелуи, и компания, провожавшая Невежина, перешла на баржу.

Третий свисток, и «Ермак» тронулся, плавно рассекая гладь реки. Невежин стоял на площадке и несколько времени смотрел на удаляющийся город. Он был весел и возбуждён и от выпитого шампанского, и от радости.

Будущее казалось ему таким же ярким и светлым, как и золотистые снопы зари, алеющей на горизонте.

— Прощайте, не столь отдалённые места! — весело повторял он, вдыхая полной грудью острый и свежий воздух занимающегося утра.

---

## Эпилог

Прошло четыре года. В один из летних дней на франкфуртском вокзале в числе многочисленных пассажиров за столом сидела наша старая знакомая Зинаида Николаевна, с месяц тому назад окончившая курс в Женевском университете, свежая, пополневшая, весёлая и счастливая. Она была не одна. Рядом с ней сидел господин лет за тридцать, с мужественным, выразительным лицом. Это был муж Зинаиды Николаевны, тоже врач, сибирский уроженец, пробывший после окончания курса два года в Париже, при больнице Шарко. Всего месяц тому назад, как они повенчались, после того как их любовь выдержала годовое испытание и теперь, счастливые, любящие, уважающие друг друга, сделав прогулку по Швейцарии, ехали в Петербург, чтобы после экзамена, который должна была держать в России Зинаида Николаевна, как иностранный врач, возвратиться на далёкую родину и послужить ей своими знаниями и силами.

Они весело ели поданные им котлеты, запивая их пивом и обмениваясь радостными замечаниями, что едут наконец домой, как грохот подошедшего поезда заставил Зинаиду Николаевну встрепенуться.

— Это наш поезд? — беспокойно спросила она.

— Однако нет! — весело улыбнулся муж, подчёркивая это сибирское «однако». — Ешь себе спокойно, Зина... Нам ехать ещё через полчаса... Это какой поезд? — спросил он у кельнера.

— Шнельцуг из Берлина в Базель... Через четверть часа уходит.

Пассажиры с прибывшего поезда хлынули в залу, бросаясь к столам.

Неподалёку от наших сибиряков сел изящно одетый молодой господин в щегольском каш-пущьере\* и какой-то оригинальной каскетке с маленькой вуалеткой. С ним уселась красивая, пестро одетая француженка, своим видом, костюмом и манерами похожая на кокотку. Она так громко смеялась, ругая немецкую кухню и презрительно щурясь на поданный шнель-клопс, что Зинаида Николаевна невольно взглянула в ту сторону, взглянула, и... вдруг отвела глаза, слегка побледневшая, смущённая и изумлённая.

— Что это ты, Зина?.. — беспокойно спросил муж.

---

\* Пыльник (от франц. *le cache poussière*).

---

— Ничего... я увидела одного знакомого... Помнишь... я тебе говорила о Невежине, — слегка краснея, промолвила тихо Зинаида Николаевна.

Муж взглянул на молодого человека. Он весело смеялся, что-то нащёптывая на ухо французенке.

«Шут гороховый!» — подумал сибиряк, оглядывая его костюм.

«Всё тот же!» — подумала Зинаида Николаевна и, отвернувшись, снова заговорила с мужем.

Раздался звонок... Пассажиры шнельцуга спешили выходить из-за стола. Поднялся и Невежин и, обводя прищуренным взглядом публику, увидел Зинаиду Николаевну и на секунду приостановился...

Что-то давно забытое, хорошее, светлое вдруг хлынуло на него при виде Зинаиды Николаевны, свежей, цветущей, похорошевшей... Он хотел было подойти к ней, но в эту минуту французенка нетерпеливо вскрикнула:

— Что же... Ты хочешь опоздать?

И Невежин, подав спутнице руку, спешил к выходу, чтобы не опоздать на поезд, который увозил его в Баден-Баден.

— *Eh bien? O чём вы задумались?* — спрашивала Невежина через минуту его спутница, случайная подруга, взятая им из хористок маленького театра, ударив Невежина веером по плечу.

О чём он задумался?

Этого Невежин не мог бы сказать. Тысяча мыслей пробежала в его голове. И позднее сожаление о потерянной любви Зинаиды Николаевны, и сознание позора своей беспутной жизни, и досада о глупо растрачиваемом состоянии, и страх перед будущим... Всё это, под влиянием неожиданной встречи, заставило Невежина задуматься на минуту и взглянуть на свою спутницу недовольным взглядом.

Но «минута» прошла, и Невежин снова весело болтал с пикантной актрисой.

---

## Примечания

Роман в основном печатается по девятому тому собрания сочинений К. М. Станюковича, изданного А. А. Карцевым. Некоторые сокращения, вызванные цензурными условиями, восстановлены. Всё, включённое в квадратные скобки, взято из текста романа, печатавшегося в «Сибирской газете».

Стр. 22. — *Да, вероятно, «житьё» по пятому пункту.* — Ссылка только для лиц привилегированных сословий. Подобные ссыльные не лишались «прав состояния». Заключение в исправительные арестантские дома заменялось ссылкой в Сибирь — на житьё без особых ограничений в занятиях (торговля, служба).

Стр. 28. *...бубновых тузов и червонных валетов.* — *Бубновый туз* — каторжник. В старину осуждённым на каторгу нашивали на спину красный или жёлтый четырёхугольный лоскут для лучшего прицеливания в случае побега. Источником выражения «*червонный валет*» является роман французского писателя Понсон дю Террайля «Клуб червонных валетов» (1858) о шайке уголовных преступников.

Стр. 28. *Смолянка* — воспитанница Смольного института, закрытого учебного заведения для дворянских дочерей в Петербурге.

Стр. 28—29. *...зачитывалась «Стариной» и «Архивом»...* — «Русская старина» и «Русский архив» — исторические журналы, в которых печатались воспоминания, письма, документы и т. п.

Стр. 29. *...снабжал «Военный сборник» своими литературными произведениями...* — «Военный сборник» — журнал, издававшийся с 1858 по 1917 годы.

Стр. 32. *...исполняет роль Артюра у своей жены.* — Артюр — нарицательное имя, обозначающее мужчину, живущего на счёт женщины.

Стр. 51. *...в старые времена, соответствующие нашему рассказу...* — Станюкович имел обыкновение для ослабления цензурных придирок относить свои произведения, которые затрагивали животрепещущие проблемы русской жизни, к отдалённому прошлому

Стр. 55. *...шелестя треном а la Сара Бернар.* — Сара Бернар (1844 — 1923) — французская актриса. Трен — то же, что шлейф.

---

Стр. 67. «...вместе, молодой человек, отличались под Балаклавой». — Сражение 13 октября 1854 года под Балаклавой во время Крымской войны.

Стр. 77. *Один из сибирских «чумазых»*. — «Чумазый» — так называл М. Е. Салтыков-Щедрин деревенских кулаков и денежных воротил, ставших опорой экономических и политических порядков жизни после реформы 1861 года.

Стр. 79. *...бросая на этого Иосифа Прекрасного взор, полный немого красноречия Пентефриево́й жены*. — Выражение «Иосиф Прекрасный» в значении целомудренного юноши возникло из библейского рассказа о Прекрасном Иосифе, которого безуспешно пыталась соблазнить жена египетского царедворца Пентефрия.

Стр. 106. *Ты этого хотел, Жорж Данден!* — Это выражение употребляется в значении: сам виноват, пеняй на себя. Вошло в обиход из комедии Мольера.

Стр. 120. *Неофит* — человек, только что ставший приверженцем какого-либо учения.

Стр. 142. *...знаменитости разных уголовных процессов — «бубновые тузы» на покое...* — «Восточное обозрение», газета сибирских областников, выходившая в Петербурге (1882—1887 гг.), писала о слишком терпимом отношении к уголовным преступникам в Томске. «Бубновые тузы в Томске продолжают свою отважную деятельность. Кроме посещения гостиниц, они проникли, как пишут, везде — и особенно в дома богачей. Не редкость встретить какого-нибудь туза в собрании. Что этим разным Полянским ссылка — блаженство».

Стр. 142. *Зоил* — древнегреческий философ, злобно и мелочно придиравшийся к поэмам Гомера. В переносном смысле — несправедливо-придирчивый критик.

Стр. 153. *...с упорным постоянством Катона...* — Катон — политический деятель и писатель Древнего Рима, непримиримый враг Карфагена, заканчивавший каждое своё выступление фразой: «Кроме того, полагаю, что Карфаген должен быть разрушен».

Стр. 154. *«...сделать из Сибири будущую Польшу»* — то есть устроить в Сибири восстание, подобное Польскому восстанию 1863 года.

Стр. 157. *...на Песках или в дальней Коломне*. — Пески и Коломна — окраины Петербурга,

Стр. 158. *Инкерманское сражение* — крупнейшее сражение Крымской войны произошло 24 октября 1854 года.

Стр. 162. *Ригоризм* — чрезмерная строгость в проведении каких-либо принципов.

Стр. 166. *Монтрё* — город в Швейцарии, близ Женевского озера.



---

Стр. 168. *Амфитрион* — герой комедии Мольера. В переносном смысле — гостеприимный хозяин.

Стр. 171. *...большую часть своей эмеритуры...* — *Эмеритура* — особая пенсия в царской России для военных и некоторых гражданских лиц.

Стр. 172. *Голконда* — государство Индии 16—17 вв., славившееся алмазами. Слово это употребляется как синоним неисчерпаемой сокровищницы.

# Морские рассказы



---

# Василий Иванович

## I

Ослепительно роскошный пейзаж предстал во всей своей красоте, когда солнце, медленно выплыв из-за горизонта, залило светом и блеском остров, утопавший в зелени, на фоне которой сверкали белые дома и хижины маленького Гонолулу\*, приютившегося у лагуны кораллового рифа, под склоном зеленеющих гор с обнажёнными золотистыми верхушками.

Чарующая роскошь тропической растительности, блеск моря, зелени и света, переливы то нежных, то ярких красок, сверкавших под лучами солнца, тихо плывущего в бирюзовую высь, — всё это казалось какой-то волшебной декорацией. Не верилось, что наяву видишь такую прелесть.

Вокруг царила мёртвая тишина. Только из-за узкой полоски барьерного рифа, отделяющего лагуну от океана, доносился тихий ропот замиравшей зыби. Город ещё спал в своей кудрявой зелёной люльке. Рейд был безмолвен. Шлюпки не сновали между берегом и несколькими судами, стоявшими на рейде, и пристань была безлюдна.

Среди этой торжественной тишины расцветавшего тропического утра вдруг раздался свист боцманской дудки, и вслед за тем в тиши гонолульского рейда разнеслись энергические приветствия по адресу матросских родственников, — внезапно напомнив вам, что вы находитесь на оторванном клочке далёкой родины — на палубе русского клипера, в тот самый момент, когда начинается генеральная чистка после прихода военного судна на рейд.

Это — не обычная ежедневная чистка, несколько напоминающая мытьё голландских городков, а нечто ещё более серьёзное. Это — то торжественное жертвоприношение богу морского порядка и богине чистоты, которое матросы коротко называют «каторжной чистотой».

Клипер пришёл на рейд накануне, перед вечером, и потому «чистота» была отложена до утра. И вот, как только пробило восемь склянок (четыре часа), клипер ожил.

---

\* Гонолулу — город и порт, административный центр Гавайских островов.

---

Босые, с засученными до колен штанами, матросы рассыпались по палубе. Одни, ползая на четвереньках, усердно заскребли её камнем и стали тереть песком; другие «проходили» голиками, мылили щётками борта снаружи и внутри и окачивали затем всё обильными струями воды из брандспойтов и парусинных вёдер, кстати тут же свершая утреннее своё омовение.

Под горячими лучами тропического солнца палуба высыхает быстро, и тогда-то начинается настоящая «отделка». Несколько десятков матросских рук принимается убирать судно, словно кокетливую, капризную барыню на бал.

Клипер снова трут, скоблят, тиранят — теперь уже «начисто», — подкрашивают борты, подводят на них полосы, наводят глянец на пушки, желая во что бы ни стало уподобить чугунную поверхность зеркальной, и оттирают медь люков, поручней и кнехтов с таким остервенением, словно бы решились тереть до тех пор, пока блеск меди не сравнится с блеском солнца.

Перегнувшись на реях, марсовые ровняют закреплённые паруса; на марсах подправляют «подушки» парусов у топов. Внизу — разбирают и укладывают снасти. Двое матросов висят по бокам дымовой трубы на маленьких, укреплённых на верёвках дощечках, сливающих на морском жаргоне под громким названием «беседок» (хотя эти «беседки» так же напоминают настоящие, как виселица — турецкий диван), подбеливая места, чуть тронутые сажей, и мурлыкая себе под нос однообразный мотив, напоминающий в этих южных широтах о далёком севере.

Уборка в полном разгаре. Старый боцман Щукин, по обыкновению, уже начинает сипнуть от ругани, придумывая самые затейливые и неожиданные вариации на одну и ту же тему, не столько ради необходимости «поощрить», сколько для соблюдения боцманского престижа и из желания щегольнуть плодами своей неистощимой ругательной фантазии. В этом он решительный виртуоз, не знающий соперников. Недаром он считается заправским боцманом и служит во флоте пятнадцать лет.

У матросов работа кипит. Они лишь урывками бегают своей особенной матросской побейкой (вприпрыжку) на бак — курнуть на скорую руку, захлёбываясь затяжками махорки, взглянуть на сияющий зелёный берег и перекинуться замечаниями насчёт окружающей благодати.

Такая же отчаянная чистка идёт, разумеется, и внизу: в палубе, в машине, в трюме, — словом, повсюду, до самых сокровенных уголков клипера, куда только могут проникнуть швабра, голик и скрябка и долететь крепкое словечко.

---

Уже восьмой час на исходе.

Уборка почти окончена. Только кое-где ещё мелькают последние взмахи суконок и кладутся последние штрихи малярной кисти.

Матросы только что позавтракали, переоделись в чистые рубахи и толпятся на баке, любуясь роскошным островом и слушая рассказы шлюпочных, побывавших вчера на берегу, когда отвозили офицеров.

В открытый люк кают-компаний виден накрытый стол с горой свежих булок и слышны весёлые голоса только что вставших офицеров, рассказывающих за чаем о вчерашнем ужине на берегу, о красотах апельсинной рощи, о прелестях каначек\*...

Всё теперь готово к подъёму флага и брам-рей. Клипер «приведён в порядок», то есть принял свой блестящий, праздничный, нарядный вид. Теперь не стыдно его показать кому угодно. Сделайте одолжение, пожалуйста, и разиньте рты от восхищения при виде этого умопомрачающего блеска!

Палуба так и сверкает белизной своих гладких досок с чёрными, вытянутыми в нитку, линиями просмолённых пазов, и так чиста, что хоть не ходи по ней («плюнуть некуда», как говорят матросы). Борты — что зеркало, глядись в них! Орудия, люки, компас, поручни — просто горят, сверкая на солнце. Матросские койки, скатанные в красивые кульки и перевязанные крест-накрест, белы, как снег, и на удивление выровнены в своих бортовых гнёздах. Снасти подтянуты, и концы их уложены правильными кругами в кадках или висят затейливыми гирляндами у мачт... Словом, куда ни взгляни, везде ослепительная чистота. Всё горит, всё сверкает!

И даже клиперский пёс Мунька, щенком взятый из России, плавающий с нами второй год и наметавшийся-таки в морских порядках, словно понимая торжественность минуты, старательно охорашивается и вылизывает свои чёрные мохнатые лапы, забравшись в сторонку, под пушку, чтоб не попадаться на глаза старшему офицеру Василию Ивановичу. В качестве старшего офицера Василий Иванович не особенно благоволит к общему любимцу Муньке, ибо знает за ним кое-какие неблагоприятные проделки, нарушавшие, к ужасу Василия Ивановича, самым позорным образом великолепную чистоту палубы. Хотя Мунька, после основательной порки, давным-давно исправился и вместе с двуногими существами смотрит на палубу как на священное место, тем не менее чу-

---

\* Каначки. — Канаки — старинное название жителей островов Полинезии; на языке туземцев Гавайских островов «канак» — человек, житель страны.

---

ет, что Василий Иванович всё ещё не вполне доверяет соба-  
чьему благонавию, и потому, как благоразумный пёс, стара-  
ется быть подальше от глаз начальства в те торжественные  
часы, когда на судне свершается культ чистоты и когда, сле-  
довательно, Мунькиной шкуре более чем когда-либо грозит  
серьёзная опасность.

## II

Низенький, гладкий и круглый, как кубышка, пожилой  
лейтенант, щеголевато одетый во всё белое, с безукоризнен-  
но чистыми воротничками — «лиселями», подпиравшими  
короткую загоревшую шею, стремительно выскочив снизу,  
появился на шканцах.

Это — «сам» Василий Иванович, старший офицер, помощ-  
ник капитана, «хозяйский глаз» клипера и главный жрец по-  
рядка, прозванный матросским остроумием, дающим началь-  
ству свои неофициальные клички, — «Чистотой Иванычем».

Его круглое, широкое и добродушное лицо с тщательно  
выбритыми мясистыми щеками и толстой небольшой луков-  
кой между ними, исправляющей должность носа, лоснится и  
сияет, как медная пушка на юте. Василий Иванович, очевид-  
но, в отличном настроении. Недаром он жмурится, как кот,  
которому чешут за ухом.

С самого раннего утра — как только началась чистка —  
Василий Иванович, как волчок, носился по клиперу. То здесь,  
то там, то на палубе, то внизу мелькала его толстенная под-  
вижная фигурка в коротеньком рабочем пальто-буршлатике,  
в сбившейся на затылок фуражке, и раздавался его пронзи-  
тельный, несколько визгливый тенорок. Везде «нюхал», по  
выражению матросов, Василий Иванович. Там покрикивал,  
здесь похваливал и нёсся далее, возбуждённый и озабочен-  
ный.

Так носился он во время уборки и затем сделал генераль-  
ный осмотр клипера. Куда только не заглядывал он! В какие  
только «узкости» и едва доступные места не залезал Василий  
Иванович, несмотря на своё почтенное брюшко!

В сопровождении боцмана Щукина, который насчёт чистоты  
и порядка был, пожалуй, ещё *plus royaliste que le roi*\*, Васи-  
лий Иванович обошёл нижнюю палубу, спускался в машин-  
ное отделение, лазил по кубрикам и по трюму. Везде он зорко  
оглядывал, везде, в случае сомнения, пробовал пальцем —

---

\* Более монархист, чем король (*фр.*).



---

чисто ли? (И Щукин следовал примеру Василия Ивановича — тоже пробовал.) В трюме оба жреца чистоты нагнулись над местом, где скопляется трюмная вода, и добросовестно потянули носами — хорошо ли она пахнет? Понюхали, остались довольны и пошли прочь.

Везде был примерный порядок. Во время осмотра взгляд маленьких, добрых серых глазок Василия Ивановича ни разу не загорался внезапным гневом; толстенная волосатая его рука не сжималась нервно в кулак, и из-под нависших рыжих усов, прикрывавших толстые, сочные губы, не срывались внушительные приветствия, столь любимые моряками вообще, а старшими офицерами и боцманами в особенности.

Осмотрев всё внизу, Василий Иванович мог с спокойным сердцем отправиться в каюту и посвятить четверть часа своему туалету. Он любил-таки заняться своей особой. Он тщательно выбрился, вымылся, попрыскал себя одеколоном, основательно подчесал височки вперёд и подфабрил усы, не без самодовольного чувства любясь отражением круглого, мясистого, добродушного лица, и, взглянув на часы, торопливо облёкся в свежую белую пару, чтобы к подъёму флага (к восьми часам) быть, по обыкновению, чистым и сияющим, как и самый клипер, о благолепии которого он так ревновал.

Весёлый и довольный, что всё в порядке, что погода славная («отлично такелаж тянуть!») и что не вредно будет съездить на берег и посмотреть на каначек, какие они такие, — Василий Иванович взбежал, с ловкостью настоящего моряка, по трапу на мостик. Там лениво шагал, ожидая смены и чаю, молоденький вахтенный мичман, уставший уже любоваться в течение четырёхчасовой вахты красотами тропической природы и с завистью посматривавший в открытый люк кают-компаний на стаканы с чаем, булки, сливки и масло.

— Всё готово у нас к подъёму брам-рей? — спросил Василий Иванович, принимая озабоченный, служебный вид, хотя отлично знал, что всё давно готово.

— Всё готово-с! — отвечал и мичман официальным тоном, видимо, щеголяя служебной аффектацией в ответе старшему офицеру.

— Как время?

— Полсклянки до восьми!

И затем, выдержав паузу, мичман прибавил уже неофициальным тоном:

— Кругом-то прелесть какая! Взгляните, Василий Иванович!

— Ещё будет-с время любоваться, батенька, красотами природы... Эх, вы, поэт! — с весёлой снисходительностью прибавляет Василий Иванович.

---

И, как будто назло экспансивному мичману, любующемуся на вахте природой, Василий Иванович даже не взглянул на сиявший роскошью красок остров, а, расставив фертом свои коротенькие ножки и задрав кверху голову, стал осматривать, хорошо ли выправлен рангоут.

Он не просто осматривал, а, можно сказать, священнодействовал. То слегка приседал, держась руками за поручни, то приподнимался на цыпочки, то прикладывал руки к глазам, с серьёзною торжественностью проверяя выправку рей и зорко оглядывая, не «висит» ли какая-нибудь верёвка.

Точно такие же движения и с такой же, если ещё не с большей серьёзностью проделывал на баке, вслед за Василием Ивановичем, и боцман Щукин, взглядывая по временам на старшего офицера, причём весь подавался вперёд, вытягивая своё красное, загорелое лицо и насторожив ухо — не будет ли какого замечания.

Наконец они оба окончили свои гимнастические упражнения. Всё, слава богу, и наверху в исправности! Рей выправлены безукоризненно; паруса закреплены на совесть; такелаж подтянут.

Василий Иванович окончил осмотр, но всё ещё продолжает любоваться общим видом клипера с тем чувством удовлетворения и гордости, с каким хороший хозяин смотрит на дело рук своих. Лаская клипер любовным взором и глядя на весь этот блеск, на всё это великолепие судна, он мог по совести воскликнуть, как Кукушкина в «Доходном месте»: «У меня ль не чистота, у меня ль не порядок!»\*

### III

С этой почтенной дамой у Василия Ивановича, как и у многих старых моряков, было-таки немало сходства. Он не меньше её был влюблён в чистоту и порядок, и на служение им положил свою душу, добровольно создав себе из своей обязанности, и без того не лёгкой, нечто вроде подвижничества.

С утра до вечера, и в море, и на якоре, Василий Иванович вертится, как белка в колесе, наблюдая, чтобы клипер был «игрушкой», чтобы работы «горели». Он искренне скорбел, если паруса крепились не в четыре минуты, а в пять, и приходил в отчаяние, если на другом судне работали скорее, чем

---

\* ...как Кукушкина в «Доходном месте»: «У меня ль не чистота, у меня ль не порядок!» — Неточная цитата из комедии А. Н. Островского «Доходное место» (1857).

---

на клипере. Он хмурил брови при виде пятна на борту и не на шутку волновался, поймав гардемарина, который осмеливался, по молодости лет, плюнуть на палубу, а не за борт.

Тогда Василий Иванович весь краснел и петухом набрасывался на преступника.

— Как же это можно-с! Палуба, можно сказать, в некотором роде-с, священное место-с, а вы, с позволения сказать-с, плюёте-с! — взволнованно говорил Василий Иванович, прибавляя в таких случаях, для большей внушительности, «с». — Вы плюнете-с, другой плюнет-с, третий харкнёт-с — во что обратится тогда палуба-с! Вам бы пример подавать нижним чинам, а не плевать-с... Этого нельзя-с, господин гардемарин!

«Господин гардемарин» выслушивал выговор, приложив руку к козырьку фуражки и стараясь сохранить на лице самую серьёзную мину. И Василий Иванович отходил, нервно поводя плечами и теребя свои усы.

Минут через пять-десять Василий Иванович обыкновенно снова подходил к провинившемуся и, взяв его под руку, уже весело замечал своим обычным, добродушным тоном, каким говорил не по службе:

— А вы, батенька, не будьте в претензии, что я вас распустил... Без этого нельзя! Служба — службой, а дружба — дружбой, голубчик!

И, стараясь загладить неприятное впечатление выговора, Василий Иванович пускался рассказывать, как его, бывало, «разносили» («тогда этих нынешних деликатностей не было, батенька!») и нередко угащивал стаканом портера из своего собственного запаса.

— Выпейте, батенька! Это здоровый напиток! — ласково приговаривал он.

В заботах о клипере сосредоточивались все интересы Василия Ивановича. Других, казалось, он не знал или, по крайней мере, забывал о них на время. Всегда занятый, умевший создать себе заботы, если их не было, из пустяка сделать серьёзный вопрос, — Василий Иванович наполнял таким образом жизнь, не зная скуки, не нуждаясь в чтении, не тяготясь однообразием судовой жизни. Поглощённый службой, он, казалось, был вполне доволен и счастлив, и долгое плавание ему было нипочём. Ничто его не тянуло в Россию. Ни мать, ни сестра, ни невеста не ждали его возвращения.

Он был одним из тех скромных морских служаков, которые тянут лямку, никогда не выдаваясь, ни на что не претендуя и всегда оставаясь в тени. Исправный, исполнительный офицер, добрый товарищ, не знавший интриг и служебного пролазничества, он никогда никуда не просился и всегда старался быть подальше от начальства, словно боясь, как бы его не

---

заметили. Лишь через пятнадцать лет службы Василия Ивановича наконец назначили старшим офицером на судно, управлявшееся в кругосветное плавание, и то благодаря хлопотам командира, давно знавшего Василия Ивановича. Сам он никогда бы не решился беспокоить высшее начальство, уверенный, что оно само знает, кто чего достоин. Вдобавок он и трусил начальства, терялся в его присутствии и временами совсем ошалевал. Смотр какого-нибудь адмирала бывал для Василия Ивановича настоящей пыткой. Он заранее волновался, и хотя знал, что на клипере всё в исправности, а всё-таки трусил.

— А вдруг он да что-нибудь заметит! — говорил обыкновенно в таких случаях Василий Иванович и, лично храбрый, не терявшийся во время бурь и непогод, он падал духом и тихонько крестился, чтобы всё «прометело» благополучно.

Разумеется, по большей части всё «прометало» благополучно, и Василий Иванович радостно пыхтел, когда адмиральская гичка отваливала от борта.

— Антонов! — весело кричал своему вестовому Василий Иванович, спускаясь после проводов адмирала в кают-компанию, — достань-ка, братец, бутылочку портерку!

И, весь красный и вспотевший от пережитых тревог и волнений, Василий Иванович с жадностью выпивал стакан другой «здорового напитка», угощал радушно желающих и мало-помалу приходил в себя.

## IV

Хотя Василий Иванович и «донимал чистотой», но никакого страха не наводил на матросов, и матросы были расположены к старшему офицеру. Правда, матросское остроумие прозвало его Чистотой Иванычем, но в этом прозвище было больше добродушного юмора, чем злобы.

— Чистота, ребята, идёт! — шепчет, бывало, матрос соседям, завидя во время утренней уборки приближавшуюся круглую фигурку Василия Ивановича, и начинал тереть какой-нибудь медный болт, и без того сверкающий, ещё с большим ожесточением.

И Василий Иванович рад.

— Чище его, братец, чище его, каналью! — говорит, оставившись, Василий Иванович. — Чтобы горел, понимаешь?

— Есть, ваше благородие! — отвечает матрос.

Василий Иванович несётся далее и уже шумит на баке, указывая пальцем на какой-нибудь малосияющий блочок, а

---

матросы улыбаются, уменьшая, по уходе старшего офицера, своё ожесточение против меди.

— Наша Чистота не жалеет, братцы, суконок!

— И носит же его, даром что пузастый... Ишь расшумелся!

— Шуметь — шумит, а ведь добёр...

— Это что и говорить — правильный человек... Вот только чистотой донимает.

— Одно слово... Чистота Иваныч! — посмеиваются матросы.

По своим теоретическим «морским» убеждениям Василий Иванович — «умеренный дантист» и линёк считает в некоторых случаях недурным средством исправления.

— Нельзя иногда и не «смазать»! — говорит Василий Иванович. — Нельзя бывает в крайнем случае и не «всыпать»... Всыпал небольшую порцию и... шабаш... Не под суд же отдавать... Пропадёт человек!

Однако Василий Иванович, по доброте своего характера, крайне редко применяет на практике свои принципы (хотя и не скрывает их). Если случалось иногда, в минуты вспышки, когда марсафал отдадут не вовремя или где-нибудь «заест» шкот, Василий Иванович, в дополнение к обильным приветствиям, и смажет кого-нибудь, то смажет, по выражению матросов, вовсе «без чувства».

— Ровно комар кусанул! — смеются потом матросы, собравшись «полясничать» на баке... — У нашего Чистоты Иваныча рука, братцы, лёгкая. А был у нас на фрегате старший офицер, так я вам скажу... рука! И опять же, бил зря... Озвереет и чешет... — рассказывает кто-нибудь из матросов.

— Много их есть таких!.. — подтверждают другие.

— А наш-то, надо правду говорить, зря не дерётся! Да и в кои веки!

Обыкновенно Василий Иванович после кулачной расправы чувствовал какую-то неловкость. Не то чтобы он испытывал угрызение совести... нет — он смазал за дело! — а всё-таки ему было как-то не по себе, особенно если наказанный матрос был из числа безответных. Вдобавок и веяния времени оказывали своё влияние — то был расцвет шестидесятых годов — и капитан был враг подобных наказаний, и благодаря влиянию этого человека на клипере телесные наказания были изгнаны из употребления\* задолго до официального их уничтожения.

Ещё в начале плавания, вскоре по выходе из Кронштадта, капитан пригласил однажды к себе в каюту офицеров и гардемаринов и высказал свои взгляды на отношения к матро-

---

\* ...на клипере телесные наказания были изгнаны из употребления...

— Согласно указу от 17 апреля 1863 года телесные наказания на военных судах могли применяться как дисциплинарное взыскание только по суду.

---

сам — взгляды, совсем непохожие на существовавшие тогда во флоте. Он рекомендовал господам офицерам избегать телесных наказаний и кулачной расправы, надеясь, что ни дисциплина, ни «морской дух» не пострадают от этого.

Капитанский спич произвёл сильное впечатление, особенно на молодёжь. В порыве энтузиазма в кают-компании вскоре состоялось даже решение — незначительным, впрочем, большинством голосов, — не браниться, и за каждое бранное слово, обращённое к матросу, вносить штраф. Василий Иванович чистосердечно объявил, что он не присоединяется к такому решению, и тогда же выразил сомнение в осуществимости плана. Он оказался прав. Выполнить это самоотверженное постановление оказалось сверх сил моряков, и вскоре его отменили, — иначе очень многим пришлось бы не только сидеть без копейки жалованья, но и войти в неоплатные долги.

И капитан, всегда сдержанный, мягкий и снисходительный, бывало, только морщился, когда во время аврала на клипере раздавалась ругань, увеличиваясь *crescendo*\* по мере расстояния от мостика, где взад и вперёд молча ходил капитан и где, распоряжаясь авралом, простирал иногда в отчаянии руки к небесам Василий Иванович, ругаясь себе под нос, что работа шла тихо, и наконец не выдерживал — летел на бак и там давал волю языку своему по поводу какой-нибудь «заевшей» снасти.

В кают-компании любили Василия Ивановича за его правдивость и добродушие и признавали его авторитет в знании морского дела. Многие, правда, находили, что он уж чересчур влюблён в «чистоту и порядок», а некоторые из молодёжи, кроме того, ставили на счёт Василию Ивановичу и его морские принципы, считая их отсталыми. Василий Иванович это знал, но продолжал исполнять своё дело по своему разумению.

Слушает, бывало, Василий Иванович, по обыкновению, молча, когда в кают-компании поднимается после обеда какой-нибудь спор по поводу щекотливых вопросов, и редко вмешивается. Но если он заметит, что молоденький гардемарин слишком пылко возмущается взглядами своего оппонента, Василий Иванович непременно заметит:

— Всё это отлично, что вы говорите... Гуманные, благородные взгляды, спору нет... Ну, и разные там философии: «отчего да почему?» — превосходно-с, но только протяните-ка, батенька, ляжку с наше, и тогда посмотрим, каким будете вы в наши годы... А теперь — молода, в Саксонии не была! Выпейте-ка лучше портерку, милый человек, да оставьте Фому Фомича при его взглядах...

---

\* нарастая (*ит.*)

---

— Ну уж извините, Василий Иванович, извините-с! Ни теперь, ни после я не изменю своим убеждениям, — горячится юнец с взбитым вихорком.

— И дай вам бог, дай вам бог не изменять им!.. Но сперва надо испытать себя, выдержать, знаете ли, несколько житейских штормиков, как мы с Фомой Фомичом! — добродушно прибавлял Василий Иванович.

Фома Фомич, пожилой и невзрачный артиллерист, безнадёжно тянувший ляжку в вечном подчинении, поручик, несмотря на свои сорок пять лет от роду и двадцать пять лет службы, — видимо, начинал сердиться на этого «мальчишку», который бегал ещё с «разрезной бизанью» (то есть в незастёгнутых панталончиках) в то время, когда Фома Фомич уж давно был прапорщиком. А между тем через год-другой — смотришь, этот же самый мальчишка будет начальником того же Фомы Фомича, только потому, что Фома Фомич принадлежал к тем обойдённым, забитым судьбою, служебным «париям»\*, которые известны во флоте под названием штурманов, механиков и морских артиллеристов\*\*.

Некрасивое, скуластое, с выпученными глазами, как у быка, лицо Фомы Фомича начинает багроветь. Уж он не прочь «оборвать» мальчишку, пока он ещё младше чином, и излить на него запас зависти и злобы, хотя и подавленной, но вечно питаемой обойдёнными, униженными офицерами корпусов вообще к морякам, — но Василий Иванович не зевает и вмешивается в спор, стараясь смягчить его острый характер.

Он опять предлагает стаканчик портеру, на этот раз Фоме Фомичу, затем начинает рассказывать, обращаясь к нему, какой-нибудь эпизод из своей службы, и в то же время беспокойно посматривает: не догадается ли другой спорщик выйти из кают-компании. Но на этот раз манёвры Василия Ивановича не удаются. Едва он кончил рассказ, как Фома Фомич в нетерпении поворачивает лицо своё к юнцу, который в свою очередь приготовился к бою, словно молодой петух.

Тогда Василий Иванович «вдруг вспоминает», что ему нужно переговорить с Фомой Фомичом по службе насчёт крюткамеры, и тихонько уводит с собою Фому Фомича наверх. Он сперва действительно начинает речь о каких-нибудь работах,

---

\* Пария — здесь: отверженный, бесправный человек; от названия одной из низших каст в Южной Индии.

\*\* Недавно корпус штурманов и морских артиллеристов упразднён... (По Положению о Морском ведомстве, утверждённому 3 июня 1885 г.) и прежнему антагонизму между разными родами службы более не будет места. (Прим. автора.)



---

относящихся к ведению артиллериста, но, не умея хитрить, скоро путается, и под конец говорит:

— Я ведь нарочно всё это... обеспокоил вас... Уж вы извините, Фома Фомич... Вы разгорячились... он разгорячился... долго ли и до ссоры!.. А вы ведь знаете, Фома Фомич, — мы с вами, слава богу, не пижоны, — что ссора в кают-компании — последнее дело... Это не на берегу, где люди поссорились да и разошлись... Тут волей-неволей, а всегда вместе... Ну, вы и старше, и рассудительнее, и похладнокровней — вам бы, знаете ли, и попридержаться... Юнцу труднее... Молодо, зелено. Долго ли ему увлечься...

— Он, Василий Иванович, всегда лезет со спорами... Он забывает, что я не молокосос, а старший артиллерийский офицер! — говорит с обидчивым раздражением Фома Фомич, вращая своими выпученными белками... — Какой-нибудь тут маменькин сынок... папенька — адмирал... так уж он и воображает!.. Ты, брат, прежде усы хоть заведи, и тогда разводи... А то: «допотопные взгляды»! Вы ведь слышали, Василий Иванович, как он это сказал и как при этом взглянул? Точно я, с позволения сказать, в самом деле какой-нибудь допотопный зверь-с... Всё же, хоть я и не адмиральский там сын, а надо иметь уважение... Славу богу, двадцать пять лет отзвонил... И вдруг какой-нибудь мальчишка...

— Уж я его распушу, Фома Фомич, распушу... Будет помнить! Только вы на него не сердитесь... Ведь он, по совести говоря, и не думал вас оскорбить... Ей-богу, не думал... Так, в пылу спора увлёкся... ну, и трудно бывает всякое лыко да в строку! Все мы, кажется, слава богу, живём по-товарищески... все вас уважают...

Василий Иванович как-то умел успокоить, и после такой беседы Фома Фомич возвращался в кают-компанию значительно смягчённый и, во всяком случае, уверенный, что его и не думали сравнивать с допотопным зверем.

В свою очередь и гардемарин с задорным вихорком призывался в каюту Василия Ивановича и получал там «порцию» советов.

— Философии-с разные разводите, батенька, а забываете, что грешно обижать людей! — начинал обыкновенно «пушить» Василий Иванович, усадив гостя на табуретку. — Фома Фомич по-своему смотрит на вещи, я — по-своему, вы — по-своему... ну и оставьте Фому Фомича в покое... Эка на кого напали... На Фому Фомича! Сами знаете, что служба ему не мать, а мачеха, а вы ещё подбавляете ему горечи... Можно спорить, уж если так хочется, но не обижать человека... А то прямо и брякнули: «допотопные взгляды». А если бы он вам на это ответил резкостью... вы бы ему ещё... вот и ссора... И из-за

---

чего-то ссора? Из-за выеденного яйца! Какой ни на есть Фома Фомич, допотопный или нет, а он добрый человек и честно исполняет своё дело...

— Я не думал обижать Фому Фомича... Я вообще говорил о допотопных взглядах... С чего это он взял...

— Не думали, а обидели... Вы — «вообще», а он на свой счёт принял... Эх, батенька!.. У вас-то вся жизнь впереди, надежды там разные, — даст бог, адмиралом будете, что ли, — а ведь у Фомы Фомича ничего этого нет... Тёр лямку весь век, и умрёт, пожалуй, в капитанском чине... Вот он и мнителен, и от всякого неосторожного слова готов обидеться... А вы ещё шпильки подпускаете... Это, милый человек, не по-рыцарски... Надо беречь чужое самолюбие, если оно никому не вредит, а не то что раздражать его... Уж вы сердитесь не сердитесь на меня, а я как старший товарищ считаю долгом вам сказать это... И что за страсть у вас спорить! — удивлялся Василий Иванович. — Фому Фомича вы не переделаете, а только раздражите... Да и кому вредит Фома Фомич? Я бы, знаете ли, на вашем месте объяснил ему, что не имел намерения его оскорбить... За что его обижать? И без того судьба его обидела!

Кажется, не особенно мудрые были слова Василия Ивановича, но товарищеский тон их и, главное, сердечная теплота, которой они были проникнуты, делали своё дело. Гардемарин с задорным вихорком объяснялся с Фомой Фомичом, и Василий Иванович радовался более всех, видя, что снова в кают-компании царствуют мир и согласие и нет никаких интриг. К интригам Василий Иванович питал страх и отвращение.

## V

До подъёма флага осталось всего пять минут. Офицеры уж стали собираться на шканцах, а Василий Иванович всё ещё продолжал любоваться клипером.

Все сегодня были как-то празднично настроены. Берег, со всеми его удовольствиями, действовал на моряков оживляющим образом. Большинство собиралось ехать на берег с утра и провести в Гонолулу целый день. Поглядывая на живописный берег, все обменивались между собой восторженными восклицаниями. Даже Фома Фомич размяк и обещал дать двадцать пять долларов взаймы гардемарину с вихорком, который донимал Фому Фомича «допотопными взглядами». Фома Фомич был кремень. Он редко съезжал на берег и редко раскошеливался, и у него водились деньжонки. Но Гонолулу прельстил и его, и он собирался «кутнуть» вместе с другими.

---

— А вы, батя, поедете? — обращается кто-то к иеромонаху Виталию, стоявшему в сторонке и как-то безучастно смотревшему на город.

— Не подобает! — басит в ответ отец Виталий, и его жёлтое, бескровное лицо, несколько похожее на те, которые рисуются на образах, делается напряжённо-серьёзным.

— Отчего не подобает?

— Соблазн... Голые человеки... И опять же, в рассуждении одёжи...

— Я вам, батя, платье дам... Пиджак у меня отличный...

— Срамно... Монах — и в пинжаке...

— Проветрились бы, посмотрели бы на природу, а то вы, батя, всё в каюте да в каюте... Того и гляди, цинга сделается...

— Божья воля... Вот вышел теперь и зрю...

Отец Виталий, попавший из уединения Валаамского монастыря\* в кругосветное плавание, скучал среди не подходящего для него общества моряков и большую часть времени спал в своей каюте. В кают-компанию заходил редко, только во время чая, завтрака и обеда, говорил вообще мало и пел у себя в каюте духовные канты\*\*. По происхождению из мелких купцов, отец Виталий, несмотря на монашеский обет, был сребролюбив. Он копил деньжонки и давал по мелочам в «заимообраз», до получки жалованья, и с небольшой лихвой. В иностранных портах, посещаемых клипером, отец Виталий ни разу не был. Находил, что «не подобает», да и жалел потратиться на покупку статского платья. Раз было он попробовал съехать на берег, кажется, в Англии, в своём монашеском одеянии, но скоро вернулся, ругательски ругая английских уличных мальчишек, провожавших его по улице целой толпой. Зато, когда клипер заходил в русские порты Тихого океана, отец Виталий оживал: вместе с несколькими охотниками-матросами отправлялся, бывало, на рыбную ловлю (он был отличный рыболов) на целый день и возвращался обыкновенно в чересчур весёлом расположении духа.

— И ловок же поп наш ловить рыбу! — говорили матросы, передавая подробности рыбной ловли... — Ну, и насчёт вина горазд...

Наконец вышел наверх и капитан. Отвечая любезно на поклоны, он поднялся на мостик. Это был высокий, несколько сутуловатый, худощавый мужчина лет сорока. Что-

---

\* Валаамский монастырь — Преображенский мужской монастырь на о. Валаам в Ладожском озере.

\*\* Духовные канты — песнопения торжественного церковного содержания.

---

то спокойное, неторопливое, скромное и в то же время уверенное было в его манерах, в походке, в чертах серьёзного энергичного лица, окаймлённого чёрными, начинавшими серебриться, бакенбардами, в добром, спокойном взгляде чёрных глаз. Сразу чувствовалось, что это человек твёрдой воли, умеющий владеть собой при всяких обстоятельствах, привыкший управлять людьми и пользовавшийся авторитетом не в силу своего положения, а вследствие кое-чего более существенного и прочного. Во всей этой спокойной фигуре было что-то располагающее и внушающее доверие. Он так же спокойно и неторопливо распоряжался во время шторма, как и в обыкновенное время; все знали, с каким хладнокровием и находчивостью этот же самый человек три года тому назад выбросился во время бури на берег, чтобы спасти судно и людей. Старый матрос, бывший в то время на шкуне и теперь служивший на клипере, рассказывая этот эпизод и описывая, какой напал на всех ужас при виде шкуны вблизи бурунов, разбивающихся о подводные камни, так говорил про капитана:

— А он-то стоит это, братцы вы мои, на мостике, и нет в нём никакого страху... «Не робей, говорит, ребятушки, не робей, говорит, молодцы!..» Ну, видим — он не сробел, и наш страх пропадать стал... И командует, быдто на ученье... Так на всех парусах и пронеслись промеж скал, да и врезались в мелкое место... И все тогда вздохнули, перекрестились... видим — спаслись. Он как есть потрафил... А не вздумай он выброситься — быть бы всем нам покойниками, потому якоря потеряли, машина испортилась, а вихорь так и несёт на камни. А от этих самых подлых камней до берега далече... А буря и не дай тебе господи!.. А он и выдумал... Как это мы врезались, он и говорит: «Ну, молодцы, ребята... Славно работали... Теперь, говорит, отдохнём!». И ушёл вниз... Господь его, видно, любит и бережёт за евойную доброту, за то, что матроса не обижают!.. — прибавлял рассказчик.

— Д-да!.. Такого капитана мы ещё не видавали... — поддакивают матросы. — Одно слово, голубь!

При появлении капитана Василий Иванович подобрался, приосанился, отступил несколько назад и, снимая, по морскому обычаю, фуражку, раскланялся с своей обычной, несколько аффектированной служебной почтительностью, в которой, однако, не было ничего заискивающего, унижительного. Этим поклоном Василий Иванович не только приветствовал уважаемого человека, но, казалось, и чествовал в лице его авторитет командирской власти.

— С добрым утром, Василий Иванович! — проговорил капитан, пожимая Василию Ивановичу руку. — Успели уж со-

---

всем убраться! Клипер так и сияет! — прибавил он, озираясь вокруг.

Довольная улыбка растянула рот Василия Ивановича до ушей. Он засиял ещё более от этого вскользь сказанного комплимента и скромно проговорил:

— Управились помаленьку, Павел Николаевич!

И затем прибавил озабоченно:

— Такелаж несколько ослаб после перехода, Павел Николаевич. Надо бы тянуть...

— Что ж, вытянем...

— Когда прикажете начинать?

— Успеет ещё, Василий Иванович... Мы здесь простоим неделю, если не будет каких-нибудь особых приказаний от адмирала; с почтовым пароходом завтра придёт из Сан-Франциско почта. Адмирал, кажется, в Сан-Франциско.

— На флаг! На гюйс! — раздался весёлый голос вахтенного мичмана.

На клипере воцарилось молчание. Василий Иванович отступил назад и взглянул на часы. Оставалась ещё минута. Сигнальщик перевернул минутную склянку и смотрел, как медленно сыпался песок.

— Склянка выходит, ваше благородие! — доложил он вахтенному офицеру.

— Ворочай! Флаг и гюйс поднять! — раздалась команда.

Все обнажили головы. Выстроенный на шканцах караул отдал честь, взяв ружья на караул. Горнист заиграл поход. Боцмана и унтер-офицеры засвистали в дудки. И в то самое время, как колокол бил восемь ударов, брам-реи, заранее поднятые, были моментально повёрнуты, и оба флага, кормовой и носовой, взвились на флагштоках.

Все недели фуражки. На военном судне начался день.

Новый вахтенный офицер с последним ударом колокола взбежал на мостик. Смена вовремя свято соблюдается между моряками, особенно в море, да ещё в скверную погоду. Опоздать без предупреждения при смене товарища считается чуть не преступлением.

Окончив сдачу, мичман спросил:

— Вахты как теперь на якоре будут? Суточные?

— Да. Старший офицер разрешил...

— Так я на целый день дёрну на берег!.. Счастливо оставаться! — проговорил мичман весело и пошёл в кают-компанию пить чай.

К капитану, стоявшему на другой стороне мостика, подходили между тем офицеры, заведующие отдельными частями, с обычными ежедневными рапортами о благополучии вверенных им частей. Капитан выслушивал, приложив ру-

---

ку к козырьку, по очереди короткие рапорты артиллериста, штурмана, доктора и старшего офицера, обменивался с ними рукопожатиями, и рапортующие уходили.

Когда Василий Иванович окончил свой краткий рапорт, капитан сказал:

— Сегодня утром придётся ехать с официальными визитами, но к вечеру я рассчитываю быть на клипере, Василий Иванович. И завтра целый день останусь, — подчеркнул он. — Значит, вам ничто не мешает ехать на берег, Василий Иванович...

— Успею ещё... Пожалуйста, из-за меня не стесняйтесь, Павел Николаевич!.. Я, вы знаете, небольшой охотник съезжать... Так разве, немножко прогуляться, что ли! — прибавил Василий Иванович, краснея...

Между капитаном и старшим офицером нередко происходили сцены, где один старался превзойти деликатностью другого. Бывали эти сцены по случаю съездов на берег. Оба они одновременно почти никогда не оставляли клипера, кто-нибудь из них да оставался. Таков был заведённый морской порядок. Капитану, по его положению, разумеется, чаще приходилось съезжать: делать официальные визиты, принимать приглашения на обеды и пр.; он всегда старался, чтобы и Василию Ивановичу было время съездить на берег. Василий Иванович, с своей стороны, отказывался, говоря, что ему и не хочется, и работы есть на клипере... Так отговаривался он и теперь.

— Уж вы и так заработались, Василий Иванович. Надо и вздохнуть... Посмотрите, как хорошо на берегу... И за город стоит проехаться... Консул вчера говорил, что там прелестные апельсиновые рощи и славные виды...

— Да, хорошо-с! — проговорил Василий Иванович, взглядывая на берег... — Хорошо-с! Я, если позволите, вечером съезжу-с...

— И завтра поезжайте, Василий Иванович...

— Завтра я думал начать такелаж тянуть.

— Нет, нет, Василий Иванович, подождём лучше... Дайте и людям отдохнуть... Уж я бы вас просил дня три никаких работ не делать, и учения можно пропустить...

— Слушаю-с!

— Да команду можно бы уволить на берег... Пусть прогуляются...

— Я думал — после работ, как такелаж вытянем...

Капитан улыбнулся.

— Вытянем и такелаж, не беспокойтесь... Ведь в два дня кончим?

— Кончим.

---

— Ну, значит, можно команду отпустить два раза на берег... Перед работой и после... Согласны?

— Слушаю-с... Вот фор-марса-рея тоже чуть-чуть пода-лась... Надо бы в запас новую...

— Разве не выдержит?

— Выдержит, но только есть трещинка... правда, пустяш-ная...

— Так подождём, Василий Иванович...

— А краситься не будем, Павел Николаевич?

— Эка вы какой, Василий Иванович!.. И так, кажется, бла-годаря вам клипер — игрушка!..

Обыкновенно капитан сдерживал Василия Ивановича, когда старший офицер, преследуя свой идеал порядка и чистоты, чересчур увлекался и утомлял людей. Капитан умел всегда убедить Василия Ивановича, не прибегая к приказани-ям. Некоторое несогласие между ними во взглядах на чистоту и порядок не портило их отношений. Недаром Василий Ива-нович был вышколен в морской дисциплине, и вдобавок был искренне расположен к капитану.

— Прикажете, пожалуйста, к девяти часам приготовить вельбот! — обратился капитан к вахтенному офицеру.

— Есть! — ответил офицер.

— Я постараюсь пораньше вернуться, Василий Иванович, да не забудьте, что и завтра я дома! — ещё раз повторил, улы-баясь, капитан и ушёл к себе в каюту.

Все офицеры давно ушли вниз собираться на берег, а Васи-лий Иванович всё ещё не спускался. Ему ещё надо взглянуть на клипер снаружи и с боцманом править реи, и он приказал подать «четвёрку» к борту.

— На четвёрку! — раздалась команда.

— На четвёрку! — повторил боцман.

А между тем Антонов, вестовой Василия Ивановича, уже несколько раз выглядывал из входного люка, показывая свою коротко стриженную белобрысую голову и не реша-ясь доложить Василию Ивановичу, что пора ему пить чай. За хлопотами сегодняшнего утра Василий Иванович, казалось, и забыл, что ещё не выпил своих обычных двух стаканов и не выкурил после них толстой, объёмистой папиросы, и Анто-нов решил напомнить об этом своему барину.

— Тебе что? — заметил наконец Василий Иванович высу-нувшуюся голову и беспокойные взгляды своего Лепорелло\*.

— Чай, ваше благородие, готов...

---

\* Лепорелло — имя слуги Дон Жуана в «Дон Жуане» Мольера и «Камен-ном госте» А. С. Пушкина, ставшее нарицательным для обозначения пре-данного своему господину и пользующегося его особым доверием слуги.



---

Василий Иванович махнул головой, и белобрысая голова Антонова скрылась.

— Шлюпка готова, Василий Иванович! — доложил вахтенный офицер.

Василий Иванович отвалил от борта и объехал кругом, оглядывая клипер, стоя в шлюпке. Боцман Щукин то и дело перебегал с места на место, следя с клипера за старшим офицером.

Через пять минут Василий Иванович уже был на палубе и говорил Щукину:

— Фор-брам-штаг чуть-чуть ослаб... Вытянуть!

— Есть, ваше благородие...

— Да погиби, знаешь ли, нет настоящей у фор-брам-стеньги... Надо подать чуточку...

— Слушаю-с...

— Больше ничего, кажется... Работ сегодня никаких... Пусть команда отдыхает, а завтра повахтенно на берег.

— Есть! — ещё громче и веселее отвечает боцман, оживляясь при мысли об удовольствии напиться на берегу, по обыкновению, до бесчувствия.

— Да ты, Щукин, знаешь ли, повоздержись! — конфиденциально замечает Василий Иванович, хорошо знавший слабость старого служаки. — Боцман, а как съедешь на берег, напиваешься хуже стельки!..

— Постараюсь, ваше благородие! — тихо и нерешительно промолвил Щукин.

— Хоть на этот раз постарайся... Не очень пей! — говорит Василий Иванович более для очистки совести, зная тщету стараний боцмана, и спускается наконец в кают-компанию пить чай и вздохнуть после тревог и забот сегодняшнего утра.

## VI

Капитанский вельбот и катер с офицерами давно уж отвалили от борта, а Василий Иванович всё ещё сидит на своём обычном месте, на диване, в опустевшей кают-компании, отпивая медленными глотками второй стакан чаю и дымя папироской. Делать Василию Ивановичу было решительно нечего; капитан просил дать отдых команде и никаких учений не производить; приводить в порядок ничего не оставалось — всё было в порядке; распоряжения насчёт будущих работ были сделаны, так что Василию Ивановичу поневоле приходилось благодушествовать, стараясь как-нибудь убить

---

время до полудня, когда подадут обед, и затем уж можно будет вздремнуть часок-другой...

Василий Иванович выкуривал папиросу за папиросой, мечтал о том, как он проведёт вечер на берегу, и по временам издавал какие-то неопределённые звуки томления от жары, вытирая вспотевшее, покрасневшееся лицо... Второй стакан допит, четвёртая папироса докурена, вопрос об ужине на берегу давно решён... Жарко, томительно жарко... Разве боцмана позвать и ещё раз потолковать с ним насчёт тяги такелажа?.. Но Василий Иванович уж давно толковал об этом, да и жаль беспокоить боцмана... «Надо и ему вздохнуть!..» — думает Василий Иванович, и начинает насвистывать свой любимый мотив из «Роберта-Дьявола»\*... В это время заботливый вестовой Антонов, давно уже исполняющий обязанности камердинера Василия Ивановича, словно понимая, что барин его может «заскучить», появляется в кают-компании и докладывает:

— Прикажете, ваше благородие, ещё чаю?

— Жарко, братец...

— Точно так, ваше благородие... Настоящее пекло!

— А чай есть?

— Целый чайник...

— Ну, дай, пожалуй, — лениво говорит Василий Иванович.

Вестовой исчезает и через минуту приносит стакан горячего чаю и лимон.

— Портсигарник пожалуйста, ваше благородие, папирос наложить! — говорит Антонов.

Василий Иванович отдаёт свой объёмистый серебряный портсигар и, по возвращении вестового, спрашивает:

— На берег небось хочешь, Антонов?

Белобрысое, скуластое, простодушное лицо молодого вестового ухмыляется.

— Любопытно, ваше благородие!

— Любопытно?.. Что ж тебе любопытно? — допрашивает Василий Иванович и сам невольно улыбается, глядя на своего любимца вестового.

— Всё, ваше благородие... Очинно красивая сторона... И опять же, ваше благородие, народ! — прибавил Антонов и снова фыркнул.

— А что?

— Смеху подобно: голые почти что шляются. Сичас вот с пельсинами приезжал на шлюпчонке один — как мать родила... Лопочет, подлец, по-своему, сперва и не понять... Одначе

---

\* «Роберт-Дьявол» (1831) — популярная в XIX веке опера немецкого композитора Джакомо Мейербера. Была написана по либретто французского драматурга Огюста Эжена Скриба.

---

ребята наши поняли и говорили как следует с эстим самым арапчонком...

— Говорили? — смеётся Василий Иванович. — По-каковски же говорила матрозня?..

— А не могу знать, ваше благородие, но только друг дружку поняли и торговались... Арапчонок смеётся, и наши смеются. Сказывают — нехристь, ваше благородие?

— Да, своя, брат, вера у них! — замечает Василий Иванович и прибавляет: — Завтра, Антонов, можешь ехать на берег!

— Слушаю, ваше благородие!

— А денег что ж не берёшь?.. Разве не нужно?

— Никак нет. У меня есть доллар на гулянку. А вот хотел я было, ваше благородие, просить...

Антонов остановился, переступая с ноги на ногу и теребя двумя пальцами штанину.

— Что тебе?

— Платок бы мне нужно, ваше благородие... Так уж выберите какой профорсистей, ваше благородие...

— Платок?.. Зачем тебе платок? — удивился Василий Иванович.

— Бабе моей, ваше благородие, — говорит Антонов, краснея, и пуще теребит штанину, словно бы стыдясь обнаружить свои чувства к жене, для которой он прикопил уж немало подарков при любезном посредстве Василия Ивановича.

— Гм! жене!.. — задумчиво протянул Василий Иванович. — В какую же цену?

— Как окажется, ваше благородие... Только, если можно, чтобы с птицей... В деревне любят с птицами... показистей...

— Ладно, братец, куплю... А знаешь ты, сколько у меня твоих денег?

— Не могу знать, ваше благородие!

— Ну вот и дурак! Как есть дурак ты, Антонов! Сколько раз говорил тебе, что ты должен знать... Считать, что ли, не умеешь...

— Запоматовал, ваше благородие...

— Запоматовал! Было десять долларов, да тебе следует два доллара от меня за месяц... значит, двенадцать... Смотри, помни, а то не стану я держать твоих денег... А ещё матрос... запоматовал!..

— Слушаю, ваше благородие... буду помнить. А вам прикажете, что ли, изготовить вольную одежду?

— Да... летнюю пару из сундука достань.

— Чечунчиковый пенджак\*, что в Шанхае справляли?

Василий Иванович мотнул головой.

---

\* Чечунчиковый пиджак — правильно: чесунчиковый (кит.) — из суровой платяной ткани, вырабатываемой из особого шёлка.

---

— Так уж я давече вынул и развесил, чтобы складок не оказывало...

— Ладно... Ужо к вечеру подашь.

Вестовой ушёл.

Василий Иванович снова стал лениво отхлёбывать чай, попыхивая толстейшей папиросой. Стояла полнейшая тишина в кают-компании. Только из-за приподнятых жалюзи одной из кают слышался равномерный скрип пера и шелест бумаги, и Василий Иванович невольно прислушивался к этому скрипу.

— Пишет... К Амалье своей, верно, всё пишет доктор! — прошептал, улыбаясь, Василий Иванович.

Как и большинство офицеров, Василий Иванович знал — и даже обстоятельнее других знал — про все необыкновенные качества этой самой фрейлейн Амалии — скромненькой, худенькой, довольно миловидной белокурой немочки с робким, словно недоумевающим взглядом больших голубых глаз. В день ухода клипера из Кронштадта она приезжала проводить Карла Карловича, и Карл Карлович с необыкновенной торжественностью, весь сияя и млея, представил всех офицеров молодой девушке, повторяя с горделивой, самодовольной улыбкой: «Невеста моя, фрейлейн Амалия!», и тут же сообщал некоторым (в том числе и Василию Ивановичу), какая это прекрасная и благородная девушка. Фрейлейн Амалия при этом каждый раз краснела и, поднимая на Карла Карловича восторженно-застенчивый взор, то и дело стыдливо шептала: «Ах, Карл! ах, Карл!» — пока наконец после представлений не уселась рядом с плотным, румяным и, несмотря на тридцатипятилетний возраст и почтенную лысину, несколько сентиментальным Карлом Карловичем.

Во всё время прощального завтрака жених и невеста сидели в трогательном безмолвии, пожимая по временам друг другу руки, краснея и улыбаясь. Карл Карлович был торжественно печален, однако ел с аппетитом все подаваемые блюда, не забывая накладывать хорошие порции и невесте, и обводил всех каким-то горделивым, вызывающим взглядом, словно бы приглашая убедиться, какая прелестная у него фрейлейн Амалия и с каким благородным достоинством он умеет переносить тягость разлуки. И только когда стали поднимать якорь и провожавшие должны были уезжать с клипера, Карл Карлович не выдержал: обнимая невесту, заревел как белуга, не забывши, впрочем, в самую последнюю минуту прощанья шепнуть в виде утешения рыдавшей девушке, что он непременно скопит в плавании три тысячи, и тогда ничто не помешает их счастью... «Adieu, mein Liebchen!»\*

---

\* Прощай (фр.), моя любимая! (нем.)

---

Как человек крайне аккуратный, добросовестный и в такой же мере наивный, Карл Карлович, по-видимому, полагал, что мимолётного знакомства сослуживцев с его невестой ещё недостаточно для надлежащей оценки её качеств, и потому считал своим долгом дополнить это знакомство. С трогательным простодушием, перед которым всякая скептическая улыбка была бессильна, рассказывал доктор о фрейлейн Амалии, восторженно описывая её душевные качества, её любовь и преданность. Он так любил и помечтать вслух, не замечая сдержанных улыбок, уверенный, что вместе с ним все должны радоваться его будущему счастью, — когда, вернувшись в Россию с чеком на три тысячи, английским сервизом, китайскими чашечками, японскими шкатулками и огромным запасом манильских сигар, он получит штатное место ординатора при госпитале, купит рояль, устроит обстановочку, женится и будет плавать в блаженстве: любоваться Амалией, английской посудой и китайскими вазами, выкуривая по десяти «чируток»\* в день.

Когда Карл Карлович получал от невесты письма, то обыкновенно торжественно заявлял, указывая на толстый пакет: «Это от фрейлейн Амалии!». И, краснея от радости и волнения, уходил в каюту читать длинное послание. И боже сохрани в такие минуты оторвать Карла Карловича без особо уважительной причины вроде переломленного ребра. Обыкновенно сдержанный, хладнокровный и терпеливый, Карл Карлович выходил из себя. Все знали об этом и значительно говорили: «Не беспокойте, господа, доктора. Он Амальины письма читает!».

Охотнее всего Карл Карлович делился своими «мечтами» с Василием Ивановичем, которого особенно уважал, одного его удостоивал переводом некоторых отрывков из немецких писем фрейлейн Амалии и пресерьёзно обижался, если Василий Иванович, занятый служебными делами, не с достаточной экспансивностью разделял восторги влюблённого Карла Карловича.

Всё это теперь невольно припомнил Василий Иванович, прислушиваясь к скрипу пера. Припомнил и задумался.

— Вот ведь пишет всё... целые тетрадки исписывает... делится своими впечатлениями... Вернётся в Россию и женится на своей Амалье этот счастливый Карла Карлыч! — проговорил вдруг Василий Иванович с какою-то безотчётною завистью старого холостяка и порывисто задымил папироской.

«Тоже вот Антонов... Платок жене просит купить... Сколько уж он накопил разных вещей... А вот ему так некому покупать!

---

\* Чирутка — сорт дешёвых сигар.

---

И писать некому, и не от кого получать писем. Нет ни одной души на свете, которая бы интересовалась его жизнью!»

Василий Иванович крикнул, подавив невольный вздох. Он решил не думать об этих вещах, но какое-то досадливое, обидное чувство одиночества и сиротливости совершенно незаметно подобралось к его сердцу, застав Василия Ивановича врасплох — не занятого службой, не увлечённого служебными мечтаниями. И — что было уж совсем странно и неожиданно — вся его служебная деятельность, всё то, из-за чего он волновался, на что тратил столько сил, уходило куда-то вдаль, и, казалось, теряло всё своё прежнее значение и прежнюю прелесть.

Совсем другие мысли, другие воспоминания, не имеющие ничего общего с «чистотой и порядком», к крайнему изумлению Василия Ивановича, назойливо лезли в голову, и из-за густых клубов дыма, медленно расходившегося в воздухе, выглядывала пара бойких глаз миловидного женского личика, и в воображении рисовались, точно дразнили, заманчивые картины, полные тихого счастья и радостной личной жизни.

## VII

И он писал бы теперь письма, нетерпеливо ожидая возвращения в Россию, если бы жизнь побаловала его женскою привязанностью... А её-то и не было до сих пор, несмотря на его старания завоевать женское сердце. Почему?.. Кажется, он мужчина ничего себе, человек не легкомысленный, привязчивый, не злой, ну и в некотором роде с положением, — и всё-таки счастье ему не давалось.

Так думал, не без горького чувства, Василий Иванович, вспоминая свой последний неудачный кронштадтский «роман». И, как нарочно, все малейшие подробности того дня, в который он решился сделать предложение, оживали в его памяти, точно всё это было не три года тому назад, а вчера...

С каким страхом и волнением остановился он в то памятное весеннее утро перед этим маленьким домиком в Галкиной улице, куда он так часто ходил по вечерам сыграть в пикет с господином Купоросовым, старым вдовцом, инженер-механиком, и поболтать после пикета с Сонечкой, его единственной дочкой. Он два года ходил в этот дом, привязываясь всё более и более к молодой девушке, и наконец решился объяснить. Как нерешительно он дёрнул звонок, простояв несколько минут в раздумье у крыльца!.. Ему отворил двери сам господин Купоросов, худенький, сухонький,

---

бравый и подвижной старик лет пятидесяти с хвостиком, и удивлённо взглянул на Василия Ивановича, явившегося в будни, в неурочный час, вдобавок в вицмундире и в расстроенных чувствах, словно после только что полученного «разноса» от начальства. А Василий Иванович пуще сконфузился от этого удивлённого взгляда, объявил, что зашёл по пути, собираясь сделать кое-кому визиты, и после четверти часа не клеившегося разговора о морских новостях и назначениях, о которых ещё вчера вечером сообщал господину Купоросову, неожиданно выпалил, пыхтя и отдуваясь, что пришёл просить руки его дочери.

Старый механик тогда понял, почему Василий Иванович в вицмундире, и не удивился предложению. Он крепко пожал руку претенденту, поблагодарил за честь, сказав, что был бы рад такому зятю, и вышел, весело проговорив своим приветливым баском: «Сейчас пошлю к вам Сонечку. Дай вам Бог попутного ветра!».

Вот тогда-то и напала на Василия Ивановича настоящая робость, — куда больше той, какую испытывал он в ожидании адмиральских смотров!

С замиранием сердца ждал он прихода этой полненькой, кругленькой, хорошенькой брюнетки Сонечки, всегда приветливой, ласковой, весело слушавшей комплименты по уши влюблённого Василия Ивановича и дружески принимавшей подарки от своего поклонника, которого шутя называла «милым, хорошим дядюшкой». Напрасно старался он приободриться, и уж совсем некстати взглянул в зеркало, чтобы поправить свои щегольские височки! Зеркало отразило такое ошалелое лицо, такой ярко пылающий крошечный носик, приютившийся среди багровых щёк, что Василий Иванович поскорей отвёл глаза, словно бы увидел чужую, неприятную физиономию...

Она что-то долго не приходила. Прошло минут пять, а Василию Ивановичу казалось, что прошло много времени. Её всё нет. «Верно, рассердилась!» — подумал он, и сердце его упало.

Наконец двери тихо скрипнули, и она впорхнула, свеженькая, весёлая, ласковая, как всегда, в светленьком платье. С приходом её словно просветлела гостиная, и радостная надежда оживила Василия Ивановича. Он порывисто дёрнулся с кресла, расшаркался ножкой по всем правилам, преподанным стариком Эбергардтом\* ещё в морском корпусе, поцеловал, по-старинному, беленькую, пухленькую с яминками ручку

---

\* Эбергардт Иван Иванович — преподаватель танцев в Морском корпусе в то время, когда там учился Станюкович.



---

и... снова «ошалел», до того ошалел, что не мог произнести ни слова и стоял как пень. («Это-то и не нравится женщинам! Не ошалей я вначале, быть может не посадила бы она меня на мель!» — мысленно утешал себя теперь Василий Иванович, вспоминая свою застенчивость.) А Сонечка между тем, как настоящая барышня, да ещё получившая воспитание в лучшем кронштадтском пансионе, как будто и не замечает, что Василий Иванович совсем сконфужен, и давай щебетать, словно канарейка, своим звонким голоском: «Хорошая ли погода? Не свежий ли сегодня ветер? Она собирается пройтись немного перед обедом. Будет ли Василий Иванович в четверг на балу в клубе? Конечно, будет! Она тоже собирается, она будет в новом платье из китайского крепона, *rose de Chine*\* , что осенью привёз Макар Игнатьевич... Вы ведь знаете Макара Игнатьевича Подшипникова? Он — папин товарищ, механик. Подшипников много привёз прелестных вещей... Катеньке Кочерыжкиной подарил прехорошенькие бразильские мушки для серёг». Она всё продолжает щебетать про клуб, про погоду, про Подшипникова и Катю Кочерыжину, а Василий Иванович всё молчит, как бревно, да пыхтит, взглядывая на Сонечку не то умоляющим, не то растерянным взглядом. «Да что вы сегодня странный какой, Василий Иванович! Что с вами?» — спрашивает наконец Сонечка. — Что с ним?! Василий Иванович снова получает дар слова, чувствуя вдруг прилив необыкновенной храбрости. «Вы интересуетесь, Софья Семёновна, знать, что со мной. Интересуетесь?» И, не дождавшись ответа, Василий Иванович ставит все паруса — всё равно, выхода нет... Он начинает издали, рассказывает, как рос, не зная ласки, оставшись сиротой, как тяжело жить на свете без привязанности... Служба, конечно, занимает, но служба ещё не всё... Человеку хочется другой, более полной жизни, хочется...

Что-то вдруг защекотало у него в горле от нахлынувшего чувства, умилённый взгляд затуманился слезой, и он снова потерял дар слова, чувствуя потребность в носовом платке и не зная, доставать ли платок или продолжать. А Сонечка вся притихла, замерла — ждёт, и с лица её сбежала улыбка... Василий Иванович между тем полез за платком, ищет его по карманам, а платка нет — подлец вестовой забыл положить!.. И Василий Иванович снова теряется и робеет. Он оставляет наконец поиски за платком, предоставляя нескольким предательским слезинкам упасть на орден св. Станислава, одиноко украшавший его грудь, и с отвагой отчаяния, без дальнейших предисловий, объявляет, что любит давно Сонечку и просит быть его женой, обещая положить за неё душу.

---

\* Цвета китайской розы (тёмно-красного) (*фр.*)

---

Проговоривши эти слова, он опускает голову, словно подсудимый в ожидании приговора.

Сонечка, как водится, слегка ахнула от неожиданности (хотя господин Купоросов, как доброжелательный отец, предупреждая дочь, почему Василий Иванович пришёл в будний день в эполетах, советовал не пренебрегать партией и не смотреть на то, что у Василия Ивановича подгулял нос. «Не с носом, Сонечка, жить, а с человеком!»), потом глубоко вздохнула, бросая грустный взгляд на лысину Василия Ивановича, блестящую крупными каплями пота, и тихо, тихо, точно вместо толстенького и кругленького Василия Ивановича перед ней сидел тяжело больной, с которым нельзя говорить громко, промолвила: «Благодарю вас, дорогой Василий Иванович, за привязанность. Я всегда уважала вас, как друг, как сестра, но...»

И вместо окончания фразы — заплакала.

Тут уж Василий Иванович совсем пришёл в себя и стал просить прощения, что смел огорчить Сонечку. Он так горячо извинялся, выставляя себя чуть не извергом за то, что любил Сонечку («Ну не болван ли!» — снова сделал Василий Иванович мысленную вставку, вспоминая эти извинения), с таким азартом упрашивал забыть его слова, что Сонечка очень быстро и с видимым удовольствием простила Василия Ивановича, утёрла глазки и снова повела речь об уважении и о чувствах сестры... Но бедному Василию Ивановичу, при всей его доброте, одних таких чувств было недостаточно; он рассеянно слушал эти утешения и, убедившись, что Сонечка настолько успокоилась, что уже улыбается и снова заводит речь о четверговом бале, торопился уйти и даже не поцеловал на прощанье дружески протянутой ручки, а только крепко, крепко её пожал. «Надеюсь, мы по-прежнему останемся друзьями?» — спросила безжалостная Сонечка. Василий Иванович вместо ответа взглянул на Сонечку взором, полным любви, и торопливо вышел.

В прихожей пришлось, однако, замешкаться. Василий Иванович что-то долго не мог всунуть руку в рукав пальто и как-то глупо улыбался, слушая конфиденциальный шёпот старика Купоросова, помогавшего Василию Ивановичу надеть пальто. Купоросов советовал не отчаиваться. «Сонечка у меня взбалмошная девчонка, Василий Иванович!.. — таинственно говорил старый механик. — Ума настоящего нет, а одна фантазия. Сегодня: „стоп машина!“, а завтра: „полный ход вперёд!“ — известно, женское ведомство!.. Да вы всё не туда руку суёте, Василий Иванович. Ну вот, теперь попали!.. Я, конечно, неволить Сонечку не стану, не мне выходить замуж, но будьте уверены, что я — за вас, Василий Иванович! Быть может, завтра же ветер переменится!» — прибавил он, дружески

---

подмигивая глазом и пожимая обеими руками руку Василия Ивановича. «Да не забывайте нас, Василий Иваныч!» — крикнул господин Купоросов уже вдогонку с крыльца.

Однако Василий Иванович совсем приуныл, не показывался даже в клуб, ходил только на вооружение фрегата и допекал шкипера, требуя для своей фок-мачты троса с иголки.

Только через месяц Василий Иванович собрался навестить Купоросовых — узнать, не переменился ли ветер. Он решил на этот раз тщательно скрывать от Сонечки свои чувства и держать себя так, как будто отказ не произвёл на него большого впечатления. («Чем меньше женщину мы любим, тем больше нравимся мы ей!»\*) Вернувшись с фрегата, Василий Иванович тщательно приоделся, попрыскался духами, подчесал височки и, сказав Антонову, что дома чай пить не будет, вышел из офицерских флигелей, насвистывая для храбрости любимый свой мотив из «Роберта-Дьявола». Уж он подходил к Галкиной улице, как вдруг увидел идущую по другой стороне улицы Сонечку с мичманом Душкиным, молодым, кудрявым, бойким блондином, давно уже возбуждавшим в Василии Ивановиче ревнивые чувства. Оба они так весело, счастливо смеялись, так дружно и любовно шли рука в руку, что Василий Иванович тотчас же перестал свистать и хотел было постыдно дать тягу, сделав «поворот оверштаг» в ближайший переулок, но, к сожалению, было поздно уже. Он не успел ещё положить «руля на борт», как Сонечка заметила его и, окликнув, приветливо махнула голубым зонтиком. Он храбро пересёк улицу, снимая издали фуражку, и подошёл к молодым людям. Они как-то вдруг притихли, точно боялись огорчить его видом своего неустойчивого счастья. Но счастье так и рвалось наружу с обоих этих молодых, свежих, радостных лиц, озарённых лучами весеннего солнышка, и Василий Иванович сразу почувствовал, что «ветер переменился», но только не для него.

«Вы не к нам ли? — зашебетала Сонечка. — Так папы нет дома. Он сегодня с первым пароходом уехал в Петербург, и мы идём на пристань встречать его. — И затем тихо прибавила: — А вы совсем нас забыли, Василий Иваныч! И поздравить меня не хотели!» — «Поздравить?! С чем поздравить?» — спрашивает упавшим голосом Василий Иванович. «Разве вы не знаете? Ведь я выхожу замуж!» — прибавляет Сонечка, и голос её звучит радостно.

Нужно ли спрашивать: за кого? Василий Иванович заметил, каким взглядом посмотрела Сонечка на молодого мичмана, и самоотверженно поздравил невесту и жениха. «Дай

---

\* «Чем меньше женщину мы любим, тем больше нравимся мы ей!» — Неточная цитата из VII строфы IV главы «Евгения Онегина» А. С. Пушкина.

---

бог вам всего... всего хорошего, Софья Семёновна!» — проговорил он, пожимая её руку, и вслед за тем раскланялся. «Разве вы не с нами?» — «Нет, нужно зайти в один дом!» — соврал Василий Иванович и тихо пошёл домой.

Белобрысый Антонов от нечего делать тренькал на балайке, сидя у ворот, когда совершенно неожиданно завидел возвращавшегося барина. Он сразу заметил, что Василий Иванович «заскучивши», и потому необыкновенно скоро изготовил самовар. Долго пел самовар свою жалобную песенку, а Василий Иванович не обращает на него никакого внимания и ходит себе взад и вперёд по комнате, слегка опустив голову и заложив за спину руки, словно коротает вахту. «Прикажете заварить, ваше благородие?» — осторожно спрашивает вестовой, высовывая голову в двери. Ответа нет. Тогда Антонов убирает самовар и скоро опять вносит его шумящим на славу. «Верно, теперь он его услышит!..» Уже стемнело, вестовой принёс лампу, и в изумлении увидел, что чай не заварен, а Василий Иванович всё ходит. Облапив самовар, Антонов опять скрывается, и через минуту несёт старенький байковый халат. «Не прикажете ли халат подать, ваше благородие?» — участливо спрашивает он и, получив в ответ отрицательный кивок головой, снова исчезает, несколько смущённый, так как ему показалось, будто на глазах у барина слёзы. Часу в первом ночи Антонов опять просунул в двери свою голову, затем появился весь, и уже настойчиво проговорил: «Спать пора, ваше благородие!». Но Василий Иванович, видевший все проделки своего вестового, не посылает Антонова к чёрту, а ласково говорит: «Ложись спать, Антонов!».

Так до утра прошагал Василий Иванович, передумывая о своей неудаче, и, переодевшись в старый сюртук, пошёл в шестом часу утра в гавань, на фрегат.

Теперь вдруг, вдали от родины, Василию Ивановичу почему-то припомнилась вся эта история, давно забытая в служебной сутолоке, в вечных заботах о клипере. «Зачем?.. Бог с ней, с этой Сонечкой!.. Он, кажется, не особенно исправный человек, этот мичман! Перешёл зачем-то в Чёрное море... увёз жену!.. Только и есть славы, что умеет нравиться женщинам!..» — не без досады подумал Василий Иванович, закуривая новую папироску.

— И ведь второй раз, однако, отказали! — проговорил вслух Василий Иванович и продолжительно вздохнул не то от обиды, не то от жары. «И словно сговорились эти чертёнки: обе, натянувши ему нос, предлагали свою дружбу, точно он и в самом деле годится лишь в друзья... Благодарю-с покорно! Он на это не согласен... Он, если по совести рассудить, конечно, не Аполлон там какой-нибудь, а всё-таки ничего себе мужчи-

---

на... Разумеется, ничего себе, и даже очень ничего!» — ещё раз вслух оценивает себя Василий Иванович и машинально приглаживает свои щегольские рыжие височки.

«И время ещё есть, если на то пошло, чтобы скрасить своё одинокое существование!.. Слава богу, сорок лет — ещё не старые годы... Мужчина в самой поре. Что ему помешает жениться по возвращении в Россию, а?.. Он будет капитан-лейтенантом; может быть, и судёнышко третьего ранга дадут... Командир... Столовые и всё такое... Только не надо, брат Василий Иванович, „запускать глазнапа“ на очень молоденьких!.. Надо выбрать какую-нибудь такую черноглазую, свеженькую, полненькую (Василий Иванович одобрял именно полненьких) брюнеточку, с усиками на губках, с эдаким задорным носиком, лет эдак двадцати пяти, шести... Такие девушки тоже имеют свою прелесть и, главное, понимают жизнь, не бросаются на человека зря, из-за одной только физиономии, а ищут и душу...»

Несколько успокоенный мечтами об этой проблематической «брюнеточке» с «усиками на губках», которую он полюбит по возвращении в Россию, и в то же время предвкушая удовольствие в ожидании «брюнеточки» увидеть сегодня же на берегу её, так сказать, суррогат в образе каначки, Василий Иванович развязывается с воспоминаниями и кричит повелевающим голосом:

— Эй, кто там есть! Антонова послать!

— Здесь, ваше благородие! — отвечает Антонов, подбегая на рысях к Василию Ивановичу.

— Поддай-ка, братец, закусить чего-нибудь да бутылку портеру.

— Есть, ваше благородие! — весело говорит Антонов, довольный, что барин перестал «скучить», и с быстротой расторопного вестового приносит и ставит перед Василием Ивановичем его обычную утреннюю закуску: сыр, хлеб и портер...

— Карла Карлыч! Кончили писать? — кричит Василий Иванович, не слыша более скрипа пера из докторской каюты. — Не угодно ли портерку?

— Danke schön\*, Василий Иванович! — откликается доктор. — Я ещё не совсем готов...

— Прислать, что ли, в каюту стаканчик?

— Danke schön, Василий Иванович... Не беспокойтесь... Через четверть часа я буду готов и, если позволите, приду выпить стаканчик стауту\*\*.

— Ладно, Карла Карлыч!

---

\* Благодарю (нем.).

\*\* Стаут — сорт пива.

---

«Эк его, однако, расписало сегодня!» — улыбается Василий Иванович и с наслаждением проглатывает стакан любимого напитка, закусывая куском мягкого, сочного честера\*.

— Антонов! Достань-ка ещё бутылочку да подай стакан для Карла Карлыча, а потом принесёшь мне сигару... Постой... постой! — остановил Василий Иванович готового бежать вестового: — Сигару мне дашь из того ящика, что в Сан-Франциско покупали... Знаешь?

— Знаю, ваше благородие...

— Ну и молодец, что знаешь! — шутит Василий Иванович. — Завтра я куплю форсистый платок для твоей бабы... Завтра, быть может, и письмо от неё получишь... Что-то давно не было...

— Верно, всё, слава богу, дома благополучно, ваше благородие! — отвечает добродушный Антонов со своим обычным философским оптимизмом и уходит из кают-компания, провожаемый ласковым взглядом Василия Ивановича.

## VIII

Вслед за короткими сумерками, сменившими ослепительный блеск тропического дня, тёмный вечер опустился над островом, скрыв от глаз, почти внезапно, его роскошную красоту. Там, где, купаясь в зелени, белел город, теперь в темноте замелькали огни. Дома у пристани казались какими-то фантастическими тенями неопределённых очертаний. Стоявшие на рейде корабли чернели исполинскими силуэтами с огненными глазами на мачтах, которых верхушки терялись во мраке. Но рейд ещё жил. Огоньки невидимых шлюпок, оставлявших за собой яркий след в виде фосфорических лент, то и дело бесшумно скользили взад и вперёд по рейду, и гортанная канацкая песня, говор и смех нарушали порой тишину этой нежной, волшебной ночи. Потемневший океан по-прежнему был спокоен и дремал под тихий ропот своей переливающейся зыби. Миллионы ярких звёзд засветились в тёмно-синей выси, и среди них особенно красиво сияла, испуская нежный, тихо льющийся свет, красавица южного неба — звезда Креста.

— Экая благодать господня! — тихо говорят матросы, рассыпавшись кучками по палубе.

Проспав до позднего вечера тем крепким, безмятежным сном, каким спалось только на рейде, Василий Иванович собрался наконец на берег, заранее пригласив Карла Карловича

---

\* Честер — сорт сыра.

---

поужинать вместе. Доктор, уехавший на берег тотчас после обеда, охотно согласился и обещал занять для Василия Ивановича хорошенький номер в гостинице. Карл Карлович никогда не отказывался от ужина с тонкими винами, особенно если не ему приходилось платить, и любезно исполнял роль переводчика, когда у Василия Ивановича «заедало», как он выражался на морском жаргоне, при объяснениях на иностранных диалектах с дамами, разделявшими их компанию. Случалось, сам Карл Карлович, помогая товарищу, увлекался до того, что забывал роль переводчика, и говорил дамам любезности от своего лица, оправдывая свою мимолётную неверность фрейлейн Амалии соображениями чисто медицинского характера, и Василий Иванович всегда его успокаивал, подтверждая соображения доктора собственной теорией о необходимости «давать толчки природе». Как люди солидные, они умели держать про себя свои маленькие секреты и, разумеется, никогда не рассказывали в кают-компании о своих ужинах; вот почему и тот и другой охотно ужинали иногда вместе.

Пробило восемь склянок (восемь часов), когда Василий Иванович, одетый в лёгкую чечунчу, в индийской каске, обвитой кисейей, и с тросточкой в руке, вышел наверх, распространяя вокруг себя тонкий аромат духов.

Вахтенный гардемарин проводил старшего офицера до выхода. Два матроса (фалгребные) с фонарями в руках освещали спусковой трап. Простившись с вахтенным, Василий Иванович быстро спустился к ожидавшему вельботу.

— Отваливай! — проговорил он, садясь в шлюпку.

После нескольких дружных ударов вёсел вельбот быстро понёсся вперёд, рассекая воду, под равномерный, отрывистый всплеск вёсел и глухой их стук об уключины. Матросы гребли, как артисты своего дела. Все семь человек, как один, следуя за «загребным», одновременно откидываясь назад, загребали вёслами и затем снова наклонялись вперёд, держа перед новым гребком несколько секунд неподвижно вывернутые плашмя лопасти, с которых брызги воды сыпались в темноте брильянтами.

— Шабаш! — тихо скомандовал Василий Иванович, любовавшийся всё время греблей, когда минут через десять шлюпка приблизилась к освещённой пристани.

Вёсла словно сгорели, и все гребцы сидели неподвижно на банках, за исключением последнего, на носу, который с крюком в руках стоял наготове остановить разбежавшуюся шлюпку. Вельбот плавно подошёл к пристани, не коснувшись её. Василий Иванович умел отлично приставать.

— По чарке водки пей завтра за меня, ребята! — весело промолвил старший офицер, выскакивая со шлюпки.



---

— Покорно благодарим! — отвечал за всех загребной — молодой, красивый, здоровый матрос, ускоренно дыша своей широкой раскрытой грудью. — Прикажете дожидаться, ваше благородие?

— Нет. Поезжай, братцы, на клипер!

— Дозвольте, ваше благородие, сбегать двоим фрухтыкупить? — попросил тот же матрос.

— Купи, купи, братец... Только водки смотри не покупай...

— Никак нет, ваше благородие!

Василий Иванович останавливается на набережной, любопытно озираясь.

На набережной оживление. Напротив пристани два жалких ресторана, и тут же, под лёгкими навесами из широких листьев, помещаются фруктовые лавочки, освещённые цветными фонарями.

Живописными группами рассыпались здесь гуляющие: чернокожие канаки, одетые, полуодетые и совсем раздетые, с куском какой-то тряпицы, опоясывающей чресла; каначки в своих лёгких, ярких тканях, надетых на голое тело и плотно облегающих, обрисовывая формы женского торса; английские, французские, голландские и немецкие матросы с китобойных судов, часто зимующих в Гонолулу, в белых рубашках, в шапках на затылках, с ножами, висящими на длинных ремнях, прикреплённых к поясам.

Среди этой толпы идёт шумный говор на всех языках и раздаётся пьяный космополитический смех. Матросы-китобои любезничают на разные лады с развязными и снисходительными шоколадными красавицами, которые заодно смеются, показывая свои ослепительно белые зубы. Чудное звёздное небо, кротко глядящее сверху, и нежный, ласкающий вечер располагают, по-видимому, людей не стесняться. И тут не стесняются. Раздаются звонкие поцелуи и делаются пантомимные объяснения в любви, напоминающие первобытного человека... Понимающие друг друга пары без слов, при помощи какой-нибудь серебряной монеты, без церемоний удаляются, обнявшись, в темнеющую в двух шагах густую листву при весёлом, одобрительном смехе этих необыкновенно добродушных, приветливых черномазых каначков, которых предки не особенно давно съели Кука\*.

Двое матросов с вельбота торгуют фрукты у молодой толстогубой туземки с ребёнком на руках, которого она кормит своей огромной чёрной грудью. За десятицентовую монетку

---

\* ...которых предки не особенно давно съели Кука. — Английский путешественник Джеймс Кук (1728—1779) погиб во время одной из своих экспедиций на открытые им Гавайские острова.

---

каначка даёт несколько связок душистых бананов и десяток крупных апельсинов, и не в счёт предлагает по апельсину каждому.

— А ведь ничего себе баба?.. — говорит молодой загребной, обращаясь к товарищу.

— Убористая шельма!.. — отвечает, смеясь, товарищ.

— Ты, молодка, бон\* баба! — обращается молодой матрос к каначке и игриво треплет её по плечу... — Тре-бон!..\*\* Понимаешь?..

В ответ каначка улыбается, говорит что-то на своём гортанном языке подошедшей старой женщине и отдаёт ей ребёнка.

— Не понимаешь? Вери гут, голубушка! — продолжает матрос, подмигивая ухарски глазом и выпячивая вперёд грудь.

Каначка смеётся и ласково озирает молодого краснощёкого матроса своими большими чёрными, влажными глазами. Потом наклоняется к нему, гладит нежно рукой по его лицу и тихо говорит, коверкая слова:

— You are very handsome!\*\*\*

И снова смеётся, скаля зубы.

— А ведь ты, Николашка, понравился черномазой! — не без зависти восклицает его товарищ.

— А что ж?.. Ей-богу, братец, ничего себе баба! — хохочет Николашка, обхватывая рукой талию шоколадной сирены.

Она, по-видимому, довольна авансами матроса. Закрыв глаза, она вдруг дарит своего поклонника долгим поцелуем, затем отступает назад и, указывая рукой в глубь улицы, манит его куда-то...

— Ишь ты, шельма!.. Николашка! Она, брат, приманивает! — смеётся его товарищ. — Некогда нам, мамзель! — обращается он к чёрной красавице. — Ужо жди завтра... морген... как на берег спустят... Понимаешь?

Но каначка ничего не понимает и вопросительно глядит на матроса, несколько сконфуженного слишком откровенным выражением её симпатии.

Тот, в свою очередь, несколько раз повторяет «морген» и снисходительно треплет её по спине. Она, кажется, поняла, весело кивает головой и суёт матросу несколько апельсинов. Но матрос не берёт.

— Однако адью, черномазая! Морген! — ласково говорит Николашка, протягивая на прощанье руку.

Повернувшись, матросы увидели перед собой Василия Ивановича, который любопытными глазами наблюдал за

---

\* Бон — хорошая (фр.).

\*\* Тре бон — очень хорошо (фр.).

\*\*\* Вы очень красивы! (англ.).

---

этой сценой. Николашка конфузится. Оба они отдают честь, прикладывая пятерни ко лбу, и топчутся на месте.

— Что, ребята, фрукты покупали?

— Точно так, ваше благородие! — отвечает Николашка и, принимая вдруг степенный вид, прибавляет: — Совсем бесстыжий народ, ваше благородие... Счастливо оставаться, ваше благородие... Валим, брат, на вельбот, — озабоченно обращается он к товарищу, и оба торопливо уходят.

Василия Ивановича манит широкая полутёмная аллея впереди. Ужинать ещё рано, да и грешно в такой дивный вечер сидеть в комнате — лучше побродить! Он осведомляется у встречного «каптэйна», где гавайский отель, чтобы ориентироваться. Оказывается, что гостиница в двух шагах, на набережной, за консульскими домами... Василий Иванович благодарит и медленным шагом направляется в аллею.

Гуляющие встречаются часто. Словно тени, мелькают в темноте людские фигуры, вдруг освещаемые, попадая в полосу редких фонарей вдоль аллей. Тихий говор и смех таинственно разносятся в воздухе. Порой раздаётся лошадиный топот, и при громком смехе галопируют женские фигуры каначек, сидящих верхом по-мужски. Из-за тёмной листвы мелькают огоньки канацких домиков, спрятавшихся среди приземистых раскидистых банановых деревьев и стройных пальм. Цветные фонари у порогов освещают семейную идиллию чернокожих семейств, сидящих группами у раскрытых дверей.

Василий Иванович вдыхал полной грудью чудный воздух, полный раздражающего аромата юга, и его охватило мечтательное настроение с оттенком некоторой игривости.

— Право, эти шельмы каначки вовсе не так противны! — прошептал он, вспоминая молодую торговку фруктами, кокетничавшую с заgreбным. — Они куда лучше малаек, от которых за версту несёт кокосовым маслом!

И Василий Иванович продолжал бродить наугад, глядясь в встречавшихся женщин с любопытством влюблённого кота. Он заглянул в открытые двери маленького ресторана, где играли на бильярде капитаны-китобои, окружённые любопытными зрителями-туземцами, зашёл потом под навес какого-то освещённого сарая и, пробравшись сквозь толпу, смотрел, как танцевали национальный танец «уле-уле», полный страсти и неги, снова вышел на воздух и попал в какую-то полутёмную аллею, готовый на всякие авантюры, приличные его солидному возрасту...

Нежное, заунывное женское пение, раздавшееся вдруг из-за деревьев, заставило Василия Ивановича остановиться и повернуть голову. Из-за листвы, среди цветных фонарей, повешенных на деревьях, выглянул маленький белый домик,

---

крытый зеленью, и вслед за тем на пороге показалась темнокожая певунья в белом европейском капоте, нескромно распахнувшимся на груди.

Василий Иванович любопытно придвинулся поближе, жадными глазами пожирая певицу. Она была не очень черна и походила скорей на креолку, чем на каначку. Черты её лица показались Василию Ивановичу положительно красивыми. Вдобавок она была стройна, хорошо сложена и достаточно полна.

Пение скоро прекратилось. Перегнувшись с ленивой грацией, темнокожая дама сорвала банан и начала медленно его есть, прикусывая плод зубами, сверкавшими из-под ярко-красных, пышных губ. Василий Иванович придвинулся ещё ближе, не замечая, что вступил в полосу света, бросаемого фонарём, и как-то усиленно подсапывал носом, сдерживая дыхание. Простояв несколько минут, он осторожно попятился назад, собираясь уходить, как вдруг тихий, ласковый смех остановил его на месте. Неужели она его заметила? Он взглянул на незнакомку. Она приветливо наклонила голову в его сторону, делая грациозный манящий жест своей тёмной оголённой рукой, на которой блестела серебряная змейка браслета.

В первую минуту Василий Иванович оробел и нерешительно топтался на месте.

— Идите, идите, не бойтесь! — раздался певучий грудной голос, медленно выговаривающий английские слова, и вслед за тем прелестная незнакомка ленивым движением руки запахнула обнажённую грудь.

Василий Иванович больше не медлит. Он подходит петушком, любезно расшаркивается и млеет в молчании, недоумевая, к кому он попал.

А дама, ласково улыбаясь, протягивает ему руку и приглашает его, если он хочет, заглянуть в её скромную хижину. Василий Иванович раскланивается в знак полного своего согласия, несколько раз повторив выразительно «о yes»\*, и вслед за незнакомкой входит в небольшую, довольно чистенькую комнату с несколькими плетёными стульями и диваном около круглого стола, с фотографиями на чисто выбеленных стенах, с большой, пышной кроватью в углу, задёрнутой наполовину мустикеркой\*\*.

— Пожалуйста, садитесь... Очень рада вас видеть...

И с этими словами дама уходит, и через минуту возвращается с тарелкой бананов и апельсинов, которую ставит перед Василием Ивановичем, приглашая их отведать.

---

\* «О да!» (англ.).

\*\* Мустикерка — занавеска от москитов.

---

Затем опускается на маленький плетёный диванчик напротив и спрашивает:

— Вы, должно быть, голландец?.. Китобой?

— Нет, нет... Русский, — энергично протестует Василий Иванович, несколько обиженный, что его приняли за голландца, да ещё китобоя...

— Русский? С военного клипера, который пришёл вчера? — с возрастающим интересом спрашивает незнакомка.

— О yes! о yes! — повторяет Василий Иванович, всё ещё не зная, «на какой румб ему держать» с этой гостеприимной и очаровательной дамой.

Дама между тем выражает живейшее удовольствие, узнав, что перед нею русский офицер, и в доказательство протягивает и крепко жмёт руку русского офицера. Она встречалась с русскими. В прошлом году, когда сюда заходил корвет «Vierny», она познакомилась с несколькими офицерами... Они очень милые и добрые джентльмены, эти русские... совсем не похожи на тех страшных людей, которые — как ей прежде говорили — живут далеко, далеко отсюда, в стране, где вечный холод и где с людьми обращаются, как с животными. Она теперь знает, что это неправда... Только фамилии у них такие трудные, всех не припомнишь... Впрочем, позвольте... Mister Sitnikoff... и ещё Mister Bourkoff...

— Вы знаете этих джентльменов?..

— Как же, знаю... О yes! Славные эти русские офицеры!.. Они выучили меня говорить несколько русских слов.

И, видимо, желая щегольнуть знанием этих русских слов, молодая женщина с наивной серьёзностью, стараясь выговаривать как можно яснее, произнесла своим нежным, певучим голосом несколько самых неприличных слов из русского лексикона.

— Ваши офицеры говорили, что это значит: «Как ваше здоровье?...». Я верно произношу — не правда ли?..

Василий Иванович несколько конфузится и мысленно ругает мистеров Ситникова, Буркова и других соотечественников с более трудными фамилиями, оставивших за далёкими морями следы русского просвещения в такой своеобразной и чаще всего практикуемой моряками форме. Не без затруднений объясняет он на своём собственном английском языке, что эти слова означают не то... Она не так произносит их...

Однако английский язык Василия Ивановича понимается дамой, по-видимому, не совсем удовлетворительно, и потому она считает более удобным говорить самой... Она вдова; зовут её Эмми...

— Хорошее имя Эмми! — храбро вставляет Василий Иванович.

---

— Да?.. Вам нравится? — улыбается миссис Эмми, продолжая сообщать свою автобиографию.

Муж её недавно умер... Он был богат, имел несколько плантаций, но разорился перед смертью, так что она теперь — бедная женщина. Она сама не каначка... нет!.. Она — креолка... Отец её был американский матрос, давно поселившийся в Голулу, а мать — каначка...

В свою очередь и Василий Иванович не совсем отчётливо понимает тёмную вдову и частью словами, частью пантомимой просит её спеть что-нибудь — она так хорошо пела.

Миссис Эмми охотно поёт несколько песен, и поёт их превосходно. А Василий Иванович слушает, склонив несколько набок голову и бросая по временам умильные взгляды на тёмно-смуглую красавицу. Она, кажется, замечает эти взгляды и ласково улыбается доброй, простодушной улыбкой, открывая при этом свои ослепительные зубы.

— Нравится вам? Это всё канацкие песни! — говорит она, окончив пение.

Пора, однако, уходить, и Василий Иванович поднимается. Ему хочется выразить молодой женщине благодарность за доставленное удовольствие, хочется извиниться за то, что так бесцеремонно явился к ней, и вместе с тем попросить позволения ещё раз навестить её; но, к крайнему его сожалению, запас английских слов, которыми он владеет, оказывается недостаточным, да и знакомые слова как-то плохо складываются в фразы, так что бедному Василию Ивановичу вместо горячей речи невольно приходится ограничиться несколькими прилагательными и пантомимами, вроде прикладывания руки к сердцу. Покончив с этою трудною частью задачи, Василий Иванович, «волнуясь и спеша», достаёт из кармана золотую монету, незаметно кладёт её на окно и окончательно расшаркивается.

Молодая женщина, однако, заметила монету и, несколько удивлённая, возвращает её назад.

— Не за что! — значительно говорит она и как-то странно смеётся.

Бедный Василий Иванович совсем сражён и не знает, как ему быть... Решительно он какой-то пентюх с женщинами.

Тогда миссис Эмми, словно угадывая мысли Василия Ивановича, промолвила:

— Куда ж вы? Разве уж соскучились со мною?

— О нет, нет, нет! — энергично протестовал Василий Иванович. — Чёрт его дери, этот английский язык! — невольно прибавил он по-русски, досадуя, что не может более подробно выразить свои чувства.

Напрасные заботы! И застланный, томный взгляд его маленьких, ещё более сузившихся глазок, и достаточно глупая

---

улыбка раскрасневшегося лица красноречивее всяких слов свидетельствовали об его чувствах.

И миссис Эмми, по-видимому, отлично поняла их, потому что подарила Василия Ивановича таким ласковым взглядом, что после него Василий Иванович вдруг приосанился, выставил ножку вперёд и не без кокетства стал крутить усы, поглядывая на миссис Эмми без прежней робости.

— Ну, садитесь, дорогой гость. Я вам ещё спою несколько наших песен...

И Василий Иванович остался слушать песни.

Прощаясь через несколько времени с миссис Эмми, Василий Иванович обещал навестить её на другой день... Она так хорошо поёт!.. Можно?.. — спрашивал он, ломая английский язык уже с меньшим стеснением.

Разумеется, можно... Она всегда дома и рада будет видеть такого милого гостя. Домик её легко найти... стоит только спросить миссис Эмми... Найдёт ли он дорогу в гостиницу? Она проведёт его до ближайшей улицы.

Они вышли вместе, отлично теперь понимая друг друга. На повороте они остановились. Миссис Эмми указала, куда идти, подарила на прощанье звонкий поцелуй и скрылась в темноте, крикнув ему вслед слово «душенька», которому успел уже её выучить Василий Иванович, пожелавший в свою очередь приобщить прелестную туземку к отечественному языкознанию.

С видом победителя, весело мурлыкая себе под нос какой-то мотив, шёл Василий Иванович к огонькам фонарей, мелькавших на набережной. «Кто мог ожидать, что наклонится такое приключение... Эта Эмми очень недурна... Очень! То-то Карла Карлыч удивится, когда узнает!»

Вот и гостиница, освещённая среди тёмного сада, с высокими деревьями, на которых дрожит свет огней.

— Эка, как славно в саду! — говорит Василий Иванович, направляясь к открытым настежь дверям.

Смуглолицый, сухощавый, подвижной старик француз с коротко остриженной седой головой и горбатым носом, сидевший в конторе, радушно приветствовал Василия Ивановича и тотчас же произвёл его в капитаны. Взяв ключи и лампу, он повёл Василия Ивановича по устланной коврами лестнице во второй этаж и не умолкал ни на секунду, знакомя Василия Ивановича вкратце с главнейшими эпизодами своей бурной эпопеи. Когда он ввёл «капитана» в прохладный, роскошный номер в конце коридора, Василий Иванович уже знал, что этот уроженец Аркашона\*, дезертировавший в 1826 году от военной службы в Америку, был сперва парикмахером в Нью-Йорке, за-

---

\* Аркашон — город во Франции.



---

тем помощником капитана и капитаном китобойной шкуны, далее — извозчиком в Сиднее, золотоискателем в Калифорнии, поваром его величества гавайского короля Кameamea и в настоящую минуту состоит хозяином гавайского отеля.

— Чем могу служить господину капитану? — любезно заключил он, подавая Василию Ивановичу карту...

Василий Иванович проголодался после прогулки. Просматривая названия блюд, он сладко причмокивал сочными губами. Сперва омары, соус *poivrade\**, а дальше? И ростбиф, и телячьи котлеты, и дикая коза одинаково дразнили его аппетит. Из затруднения его вывел всё тот же весёлый, словоохотливый гасконец, попросив позволения составить меню хорошенького ужина... Сперва омары, затем он даст телячью котлету, кусочек дикой козы, зелень, сладкий торт, фрукты и сыр... А какое угодно вино?.. Сперва красное, не правда ли?..

— Нет, мы будем пить шампанское...

— Одно шампанское? Отлично! Господа русские имеют хороший вкус и любят это благородное вино прекрасной Франции! — с чувством воскликнул гасконец, вспомнив родину.

Он может порекомендовать настоящее шампанское, а не ту дрянь, что фабрикует эти собаки янки в Сан-Франциско... Так, к десяти часам ужин будет подан в комнату для двух персон, и шампанское заморожено. Верно, скоро придёт и друг господина капитана, этот учёный доктор в золотых очках, а в ожидании — не позволит ли господин капитан предложить чего-нибудь прохладительного?

— Пожалуй! — согласился Василий Иванович.

— Какого вы мнения насчет *cherry soblar\*\**, капитан? Или вы, как моряк, предпочтёте коньяк с содовой водой? Нет? Так *cherry soblar!* Это, пожалуй, лучше! Сию минуту вы его получите! — прибавил хозяин и наконец откланялся.

Через несколько минут Василий Иванович уже кейфовал, беззаботно растянувшись в просторном лонгшезе у раскрытого окна и потягивая через соломинку холодный напиток. Тёмная, звёздная ночь обдавала его своим нежным, тёплым дыханием, навевая ленивые грёзы о гонолульском «розанчике». Кругом стояла тишина. Только снизу доносились звуки шумного говора, и порой резкие русские восклицания отчётливо врывались в окно.

— Это, верно, фендрики\*\*\* наши шумят! — проговорил Василий Иванович, улыбаясь сочувственной доброй улыбкой.

---

\* с перцем (*фр.*).

\*\* хереса, разбавленного водой с толчёным льдом (*англ.*).

\*\*\* Фендрики (устар. разг.) — прапорщики. В царской армии — шутовское или пренебрежительное название молодого офицера.

---

## IX

Действительно, человек восемь «фендриков», как шутя называл Василий Иванович гардемарин и кондукторов, изрядно-таки шумели, собравшись в одном из номеров нижнего этажа. Ужин был окончен, но бутылки ещё не были допиты. Только что принялись за кофе с коньяком и закурили манилки\*. Разговоры стали оживлённее и шумнее. Делились впечатлениями проведённого дня, мечтали о скором получении приказа, который даст желанные мичманские эполеты, и, как водится, перемывали косточки адмиралу, вспоминая, как он «разносил» во время своего короткого плавания на клипере.

Когда анекдоты об адмирале были исчерпаны, кофе выпит и кто-то после шампанского потребовал несколько бутылок эля, заговорили о морской службе — этой любимой теме споров юных моряков, для которых морская профессия ещё полна была заманчивой прелести, помимо служебных надежд и мечтаний.

— Служба наша, господа, тем хороша, что закаливает характер, приучает к самообладанию, даёт широкий простор власти, — возбуждённо заговорил Непенин, прозванный ещё в корпусе «Юлкой» за умение очаровывать начальство, — маленький, чистенький, кудрявый брюнет, с первым пушком на румяных щеках и бойкими смеющимися глазами, оживлявшими его красивое лицо. — Прелесть плавания не в том, чтобы любоваться природой... это всё вздор! — вызывающе прибавил он с напускным презрением к этому «вздору», бросая взгляд на соседа.

— Что?! Вздор?! Природа — вздор?! — вдруг сорвался его сосед, гардемарин с «задорным вихорком», допекавший старого артиллериста Фому Фомича за его «допотопные взгляды», отчаянный спорщик и добрейший малый. — Ты после этого, Юлка...

— Сидоров! Не перебивай... Дай Юлке закончить! — закричали со всех сторон.

— Я ему не дам говорить... Пусть он прежде откажется от своих слов!..

— А ещё либерал! — насмешливо заметил Непенин. — Восхищаешься английским парламентом и не даёшь слова сказать!

Этот аргумент оказывает на Сидорова чарующее действие.

— Ну, чёрт с тобой, говори, говори! Я после тебе докажу, что ты глуп, если природа — вздор! — не без досады замечает Сидоров.

---

\* Манилка — сорт дешёвых сигар.

---

— Докажешь?! Ты только умеешь ругаться как боцман, а не доказывать!.. — раздражённо кивнул Непенин в досаде, что его перебили... — Да, господа, вся прелесть морской службы именно в торжестве ума, энергии и власти... Разве не заманчиво, чёрт возьми, быть командиром какого-нибудь красавца клипера, а? Шторм... дьявольский шторм... Клипер под зарифленным фоком, штормовой бизанью и фор-стенга-стакселем... Ты стоишь на мостике и только покрикиваешь рулевым: «Право! Лево! Одерживай!». Разве не наслаждение сознавать, что всё зависит от тебя, от твоего умения, от твоей воли, что все, начиная с последнего матроса и кончая старшим офицером, — лишь беспрекословные исполнители и ничего более. Один ты отвечаешь за всё и за всех... Ты — царь на своей палубе! — восторженно восклицал юноша, слегка возбуждённый вином и своими заветными мечтами.

— А главное, Юлка, отличное содержание у капитана. Можно откладывать! — неожиданно вставил внимательно слушавший Непенина плотный, коренастый, скромного вида молодой человек.

Взрыв хохота огласил комнату. Юлка презрительно взглянул на товарища.

— Ну, ты, Нефёдка, известный копчинка\*. Тебе в банкиры идти... Тут не в содержании дело, а в идее власти... Понимаешь? И-де-я си-лы власти! Разумеется, дисциплина должна быть настоящая... Строжайшая!.. Без этого невозможно... Недаром закон разрешает капитану в исключительных случаях повесить ослушника... Сентиментальности тут побочку!..

Сидоров уже давно в порыве негодования сделал из своего вихорка какую-то сосиску, но уважение к английскому парламенту сдерживало его нетерпение задать Юлке «ассаже»\*\*. Но, несмотря на пристрастие к парламентским нравам, долее он терпеть не мог и воскликнул:

— Юлка! Ты порешь дичь вроде Фомы Фомича... Нет! Хуже!.. хуже ещё!.. Сила власти!.. Дисциплина!.. Ах ты ретрограда! Не желаешь ли ты ради дисциплины восстановить кошки, а? — гремел, снова распуская свой вихор, Сидоров... — Мало ему ещё дисциплины... Надо «строжайшую»?! Ишь какой Наполеон на клипере нашёлся!.. Того и гляди, господа, обгонит он нас всех по службе — недаром он Юлка, — сделается капитаном и кого-нибудь из нас да повесит!..

— И повешу, если нужно будет! — вызывающе крикнул Юлка, сверкая глазами.

---

\* Копчинка — скупой. (Прим. автора.)

\*\* ...задать «ассаже» — осадить, образумить (фр.).

---

— Ради идеи власти или ради карьеры? — ядовито протянул Сидоров.

— И тебя первого, Сидоров, повешу! Тебя первого, если ты попадёшь ко мне под начальство и не исполнишь моего приказания! — проговорил, задыхаясь и злясь, Юлка. — Не посмотрю, что ты товарищ, а вздёрну на фока-рее!

— Но прежде всё-таки получишь в рожу, Юлка! Верь совести!

Все за столом расхохотались.

Не смеялся только бледнолицый, долговязый блондин, сидевший у окна, положив свою большую белобрысую голову на ладони и, казалось, погружённый в созерцание звёзд, сверкающих на небе. При последних словах Юлки лицо молодого человека омрачилось. Он поднялся с места и медленно направился к столу.

Это был Лесовой, давно прозванный «Мечтателем». В его юношеском худощавом, нежном лице действительно было что-то задумчиво-мечтательное, оправдывавшее кличку, особенно в сосредоточенном взгляде больших серых глаз. Он пользовался среди товарищей авторитетом правдивой души и был любимцем матросов; он постоянно «лясничал» с ними и читал им книжки. Зато в сношениях с начальством напускал на себя суровую холодность заправского кадета, но был исправный служака, страстно любил море и ещё в корпусе мечтал о путешествиях и об открытии полюса.

— Ты, Юлка, пьян и врёшь на себя! — тихо проговорил он при наступившем молчании. — Разве можно и в шутку говорить такие вещи?!

— Юлка не пьян... Юлка ничего не пил!.. — вставил Сидоров.

— У каждого, брат, свои убеждения! — уклончиво отвечал Юлка, несколько притихая перед этим серьёзным взглядом Мечтателя.

— Повесить?! — с укором проговорил тот, и при этом чувство страха и отвращения исказило его черты.

Он остановился на секунду и продолжал:

— Ударить матроса и то... отвратительно, а ты: «повесить»!

— А если у тебя на судне бунт? — вдруг задал вопрос Юлка.

— Бунт? — переспросил Лесовой с такой серьёзностью, точно и в самом деле он очутился в несчастном положении капитана, у которого на корабле свирепствует возмущение.

— Ну да, бунт, форменный бунт! Уж боцмана просвистали: «Пошёл все наверх, командира за борт кидать!» — а ты сидишь в каюте и... мечтаешь! — иронически прибавил Юлка, взглядывая с насмешливой улыбкой на Мечтателя.

---

И все юные моряки, оставив стаканы недопитыми, устали на Лесового.

В самом деле, как поступит человек, которого собираются немедленно швырнуть в море?

Ввиду такой перспективы казалось вполне естественным, что Мечтатель на минуту задумался.

— У Лесового не может быть бунта! — воскликнул Сидоров, видимо, более всех сочувствовавший затруднительному положению товарища и не желавший, чтобы такой хороший человек, как Лесовой, вынужден был прибегнуть к насилию. — Против него никогда не взбунтуются! Ты, Юлка, напрасно думаешь смутить его своим дурацким вопросом.

— Постой, Сидоров! — остановил Лесовой своего защитника... — Я ему отвечу... Я согласен, что мной недовольны и меня хотят бросить за борт... Но кто виноват, что матросы взбунтовались? Разумеется, один я... Понимаешь ли, Юлка, я! — говорил Мечтатель тоном, не допускавшим сомнений в его виновности. — А если виноват я и если я не окончательный подлец, то неужели я ещё должен наказывать людей за свою вину?.. Ведь надо сделать много гнусного, чтобы довести людей до бунта...

— Не в том вопрос: кто виноват... Я спрашиваю: как ты поступишь? — торопил Юлка.

— Да, да... Как ты поступишь?.. — раздался нетерпеливые голоса.

— Трудно сказать, как я поступлю, но думаю, что выйду наверх и брошусь в море прежде, чем меня кинут за борт... Смерть лучше жизни, обогрётной кровью других!.. — медленно, словно бы в раздумье, проговорил юноша.

Признаться, ни один из слушателей не ожидал, что Лесовой выйдет из положения столь трагическим образом. Такой исход, видимо, не удовлетворил молодых моряков.

— Ты мог бы уговорить матросов! — предложил поправку Сидоров. — Ты бы сказал им речь... ну, объяснил бы, что впредь будешь обращаться с ними лучше...

— Арестовал бы зачинщиков... — подсказывали другие...

— Ещё короче — повесить одного для спасения всех! — заметил Непенин.

— Юлка, Юлка, как тебе не стыдно! — крикнул Лесовой, бросая на товарища взгляд, полный сожаления и укора, и, оставшись, по-видимому, при своём решении броситься в море, пожал плечами и отошёл от стола на прежнее место, не считая нужным говорить более.

— Ты... известный мечтатель! Тебе нельзя быть капитаном! — усмехнулся Непенин.

---

— А тебе можно? — поддразнил Сидоров. — Потерпи немножко, Юлка! Сперва отзвони мичманом лет пять, потом лейтенантом лет десять, и тогда мечтай о том, как будешь заводить строжайшую дисциплину!.. Только к тому времени таких ретроградов, пожалуй, будут выгонять в отставку... Или ты тогда в либералы обратишься?

— Во всяком случае, постараюсь звонить меньше, чем ты...

— Дудки! Раньше не произведут! Возьми хоть нашего Чистоту Иваныча! Сколько лет звонил, пока сделался старшим офицером...

— Нашёл кого привести в пример... Чистоту Иваныча! Ему никогда не выдвинуться... Он порядочная дура для того — Чистота Иваныч! — презрительно воскликнул Непенин.

Все вступились за Василия Ивановича. Положим, он большой педант и старых взглядов, но он славный и добрый. Особенно взволновался отзывом Непенина Мечтатель. Хотя он и находился с Василием Ивановичем в натянутых, чисто официальных отношениях и недавно ещё «развёл» с ним, за что посажен был на салинг, тем не менее он горячее всех защищал старшего офицера.

Очевидно, сдерживая своё негодование, он значительно проговорился, оканчивая свою защиту:

— Каков бы ни был Василий Иваныч, не тебе бы, Юлка, так презрительно о нём отзываться!

Юлка промолчал, взглянув на бледное, взволнованное лицо Лесового. Потом посмотрел на часы и заметил:

— Однако пора на клипер! Я обещал Кошкина сменить в десять часов... Лесовой! Заплати за меня что следует!..

И с этими словами, несколько сконфуженный, вышел из комнаты.

Вслед за ним незаметно ушёл и Лесовой.

Слова «порядочная дура» отчётливо донеслись до Василия Ивановича и на секунду его ошеломили. Он не верил своим ушам. Как?! Неужели это голос его любимца, голос Непенина, к которому он относился с нежностью старшего брата, с заботливой лаской одинокого человека, искавшего привязанности? Неужели о нём так презрительно отозвался этот юноша, плативший, казалось, привязанностью за привязанность и выказывавший всегда особенное расположение в своих интимных беседах? Значит, всё это была ложь... одна ложь!.. Нет, это не его голос! Такая испорченность невозможна в мальчике...

— Не может быть! — шептал Василий Иванович, стараясь себя обмануть.

Он поднялся, чтобы поскорее захлопнуть окно, боясь новой обиды, как вдруг под окном раздались голоса, и Василий Иванович, чтоб не быть замеченным, снова опустился в кресло.

---

— Я не хотел объясняться с тобой при товарищах, Юлка! Нам нужно объясниться! — сказал Лесовой.

— По поводу чего? — нетерпеливо проговорил Непенин.

— Ты понимаешь... По поводу твоей выходки против Василия Ивановича. Скажи — мне нужно знать — ты отозвался о нём так презрительно ради красного словца или таково твоё мнение?..

— Разумеется, моё мнение...

— Так почему ты так хорош с Василием Ивановичем?! Я до сих пор думал, что ты любишь и уважаешь его... ну, тогда ваши отношения понятны... Но разве можно оказывать расположение человеку, пользоваться его дружбой, занимать у него деньги, хвалить в глаза его педантизм и за глаза отзываться с презрением?!. Значит, ты всё время лицемерил с ним, Юлка! А ведь я знаю, Василий Иванович искренне тебя любит...

— Это ещё что за инквизиция? — перебил Непенин.

— Это необходимо... Я, Юлка, был с тобой дружен... Я не верил, когда товарищи обвиняли тебя в пролазничестве... Я всегда защищал тебя, ты знаешь... Мне, правда, не нравились твои честолюбивые идеи, твоё самолюбие, твоё желание выставиться перед адмиралом, твои отношения к матросам, полные пренебрежения, но ты умный человек, Юлка, я многое прощал тебе и думал, что ты сам поймёшь свои недостатки и избавишься от них... Я думал, что ты иногда рисуешься, напуская на себя бессердечие... Но теперь... Послушай, Юлка, мне тяжело говорить, но я должен... Ты обманываешь людей...

Если бы Лесовой, говоривший свою филиппику с горячностью и негодованием правдивой оскорблённой души, мог видеть жёсткую, презрительную улыбку, искривившую губы его нетерпеливого слушателя, он, наверное, замолчал бы с первых же слов. Но темнота не позволяла ему видеть лица Непенина, и потому Мечтатель, веровавший, как и все мечтатели, в чужую совесть, продолжал:

— Послушай, Юлка!.. Ты поступаешь... скверно, ведь играть людьми — подло! Я понимаю: тяжело сознаться в подлости, но лучше сознаться, чем продолжать двойную игру... Ты обязан завтра же откровенно объясниться с Василием Ивановичем. Пусть по крайней мере он не заблуждается на твой счёт.

— То есть прийти и сказать ему: «Василий Иванович! Вы — добродушный дурак, влюблённый в чистоту и гонящийся за пустяками, созданный для того, чтобы работать, как вол, и оставаться в тени!»? Очень остроумно придумано... Спасибо за умный совет! — проговорил Непенин с насмешкой.

— Ты, значит, отказываешься? — сухо спросил Лесовой.



---

— А ты думал, послушаюсь тебя и разыграю болвана? Благодарю! Я проживу и своей головой, и буду пользоваться дураками как мне вздумается, не отдавая никому отчёта!

— В таком случае, с этого момента наши отношения кончены... Мы более не говорим! — промолвил медленным, грустным голосом Мечтатель. — Можешь как угодно объяснить товарищам наш разрыв. Я никому ни слова не скажу о причине! — прибавил он.

В саду раздались звуки шагов по песку, и всё стихло.

Василий Иванович поник головой и как-то весь съёжился в кресле. Несколько времени он сидел неподвижно...

— Господи! сколько подлости в этом мальчике! — наконец прошептал он. — «А этот Лесовой... какая разница! А я ещё считал его холодным, скрытным, сухим и нередко придирался к нему!» — вдруг вспомнил Василий Иванович.

Бессердечный, сухой эгоист — его любимец, этот «открытый, симпатичный» Непенин, каким считал его до этой минуты Василий Иванович. Хорош симпатичный юноша!..

И чувство обиды, разочарования и сожаления охватило правдивую, бесхитростную душу Василия Ивановича, забывшего и об ужине, и о *cherry coblar*, и о миссис Эмми.

## Х

— Вы понимаете, Василий Иванович, какая история! — восторженно восклицал Карл Карлович, уписывая за обе щёки салат из омаров. — И тут апельсины, и там апельсины... Везде апельсины и апельсины! О, это очень красиво было смотреть, Василий Иванович... Вам непременно надо поехать... Да!.. И так мы все ехали, ехали и весело разговаривали, пока не приехали к одному... к одному... Ах, как это по-русски?..

И Карл Карлович, всегда любивший обстоятельно и подробно передавать свои впечатления, остановился на середине речи, досадуя, что не может приискать соответствующего выражения.

— К озеру, что ли? — наобум подсказал Василий Иванович.

— Ах, нет! Какое озеро! — возразил с досадой Карл Карлович. — Ну, одним словом, узкое такое место... Ну да... Ущелье! — воскликнул Карл Карлович, обрадованный, что нашёл слово. — Ну, мы приехали к ущелью...

— А дальше что было?

— Дальше, Василий Иванович, вообразите себе, за этим ущельем сейчас крутой обрыв. И мы все вышли туда смотреть

---

это историческое место, Василий Иванович... Много лет тому назад... Я позабыл, сколько именно лет тому назад, хотя про-водник и говорил нам, но я забыл... Так много лет тому назад, Василий Иванович, была здесь война... гражданская война... Одни хотели одного короля, другие хотели другого короля... И вот одни канаки загнали других канаков в это ущелье, и давай их с обрыва вниз... Очень нехорошо... Бррр!.. Прямо в море... Вы понимаете, какая история, — снова повторил доктор своё любимое выражение, употребляемое им кстати и некстати.

Карл Карлович остановился, подложил себе ещё омаров, проговорив: «Очень вкусные омары!» — и продолжал свой обстоятельный, подробный и скучный рассказ о том, как они поехали назад и как опять видели «и тут, и там, и везде апель-сины».

Василий Иванович, обыкновенно кушавший с наслажде-нием обжоры, смакуя куски, на этот раз лениво ковырял ви-лкой, рассеянно слушая увлечённого своим рассказом Карла Карловича. Против обыкновения, он то и дело подливал себе и доктору вина, потягивая бокал за бокалом.

— А что же вы, Василий Иванович? — вдруг спросил Карл Карлович, широко раскрывая глаза при виде пустой тарелки Василия Ивановича.

— Не хочется что-то...

— Не хочется? — удивился Карл Карлович. — Что это зна-чит? У меня так после прогулки недурной аппетит! — при-бавил доктор и стыдливо посмотрел на свою тарелку, словно бы извиняясь за свой аппетит.

— Кушайте, кушайте на здоровье, Карла Карлыч! Да что ж вы не пьёте?.. Давайте-ка ваш бокал...

— Danke schön, Василий Иванович! За ваше здоровье! Но отчего это у вас нет аппетита? У вас всегда был прекрасный аппетит, Василий Иванович...

И, приняв серьёзный докторский вид, он поправил очки, внимательно посмотрел на Василия Ивановича и впервые за-метил озабоченное, подавленное выражение его лица.

— Гм... гм... Я вижу, вы не совсем в духе, Василий Иванович, э!.. Что с вами? — спросил он с участием.

— Так что-то... Плохо, должно быть, выспался после обеда, Карла Карлыч! — уклончиво отвечал Василий Иванович.

Но Карл Карлович, в качестве приятеля, искренне располо-женного к Василию Ивановичу, не мог, разумеется, оставить его в покое. Он снова пытливо посмотрел на него и после ми-нутного молчания спросил:

— Ничего не болит?

— Нет...

---

— Так это не то, Василий Иванович... это не оттого, что вы плохо выпались. С вашего позволения, я скажу вам, отчего у вас нет аппетита и почему вы не совсем в духе.

— Отчего же?..

— Вы, Василий Иванович, засиделись на клипере и очень давно не были на берегу. Вы понимаете, какая история? — прибавил Карл Карлович и добродушно подмигнул глазом... — Вам необходимо, Василий Иванович, как вы выражаетесь, дать маленький толчок природе... Вот что я посоветую вам как доктор, Василий Иванович!

И, сделав это открытие, Карл Карлович засмеялся весёлым, добродушным смехом, посматривая из-под очков торжествующим взглядом, который, казалось, говорил: «Меня вы, Василий Иванович, не проведёте. Я понимаю, отчего вы не в духе!».

— Офицеры говорили, что здесь в гостинице одна дама из Сан-Франциско живёт... Очень, очень красивая американка! Вы понимаете, какая история, Василий Иванович! — таинственно проговорил доктор.

Но, к удивлению Карла Карловича, эта «история» не произвела на Василия Ивановича того оживляющего действия, какое на него обыкновенно производили подобные конфиденциальные сообщения. Он, правда, невольно улыбнулся прозорливости Карла Карловича, но разговора о красивой американке не поддержал, а снова налил себе и доктору вина и сказал:

— Дадим другой толчок природе — выпьем, Карла Карлыч! Это в некоторых случаях тоже не вредно... Как у вас на этот счёт в медицине, а?..

— И это не вредно... Ха-ха-ха!.. А всё-таки... прехорошенькая американка!

— Ваше здоровье, Карла Карлыч! Там видно будет!

Когда подали десерт и ещё две бутылки шампанского, Василий Иванович и Карл Карлович были, что называется, «на втором взводе». Василий Иванович пребывал в молчаливой меланхолии, а Карл Карлович уже совсем расчувствовался и, окончив рассказ о прогулке, замечтал вслух на любимую свою тему — о будущем своём счастье...

— Ещё один год, Василий Иванович, и я, Карл Карлович фон Шенгут, буду счастливый человек! — воскликнул в порыве телячьего восторга Карл Карлович, наливая себе по этому случаю ещё бокал... — Отличное шампанское!.. Ваше здоровье, Василий Иванович! Вы превосходный человек, Василий Иванович, и я вас очень много уважаю... Да!.. Это я всегда скажу и в глаза, и за глаза... без фальши... Главное, вы — справедливый человек, и я... справедливый человек... Мы оба справедливые люди. Вы любите, чтобы всегда чистота и порядок,

---

и я люблю, чтобы всегда чистота и порядок... Да... И вы благородно с людьми обращаетесь... вот что... Матросы вас любят и тоже говорят, что вы — справедливый человек... Да... И с вами приятно служить, Василий Иванович, за то, что вы нам прекрасный товарищ... Вашу руку, Василий Иванович!

Он пожал протянутую руку и продолжал:

— И когда вы пожелаете ко мне в Кронштадт, в мою скромную квартиру, Василий Иванович, я вас тоже угощу отличным обедом. Амальхен — отличная хозяйка, и у нас будет много, много шампанского, и Амальхен не будет жалеть... Ах, что это за благородная девушка, моя милая Амальхен, Василий Иванович!.. Ну да вы хорошо знаете, какая это девушка, Василий Иванович!.. Помните, как в последнем письме она пишет: «Не отказывай себе в удовольствиях, дорогой Карл! Не стесняйся тратить на себя, милый Карл!». А, Василий Иванович?!.. Вот какая это благородная девушка! — проговорил с волнением Карл Карлович при воспоминании о таком проявлении благородных чувств фрейлейн Амалии.

— Но я, Василий Иванович, не слушаю её! — продолжал Карл Карлович после небольшой остановки. — Я скуп на свои удовольствия, Василий Иванович, вы знаете почему... И зато теперь уж у меня две тысячи пятьсот долларов да вещей на полторы тысячи долларов... А как вернусь в Россию, у меня будет не менее трёх с половиною тысяч долларов... Ведь это около семи тысяч рублей на наши деньги, Василий Иванович... Семь тысяч! — повторял он, захлёбываясь от счастья, что у него будут такие деньги. — Две тысячи на обстановку, Василий Иванович, а пять тысяч положим в банк... Да... Амалия и не догадывается, что я привезу целый капитал... Я обещал ей привезти три тысячи и... вдруг: «Амальхен, считай!».

И Карл Карлович весь сиял восторгом при одной мысли, как фрейлейн Амалия будет приятно удивлена при счёте семи тысяч.

— И она стоит, Василий Иванович, эта милая девушка, такого сюрприза... Другая советовала бы беречь деньги, а она: «Не отказывай себе в удовольствиях, дорогой Карл!». О, как я это чувствую, Василий Иванович! — прибавил в умилении Карл Карлович, утирая наворачнувшуюся слезу.

— И давно вы, Карла Карлыч, познакомились с вашей невестой? — спросил Василий Иванович. — Вы об этом никогда не рассказывали.

— О да... очень давно... Когда я был, Василий Иванович, ещё студентом в Дерпте, на четвёртом курсе, я в одно воскресенье увидел Амалию — ей было тогда шестнадцать лет — влюбился и сказал себе: «Карл! Если ты имеешь характер, эта девушка должна быть твоей женой»... И мы оба, Василий Иванович,

---

имели характер... Вы понимаете, какая история, Василий Иванович! Жениться при сорока двух рублях в месяц жалованья может только какой-нибудь довольно глупый человек, а я не глупый человек, и не согласился так жениться и сделать несчастье двум человекам — *danke schön!* И я пришёл к фрейлейн Амалии и сказал: «Я вас очень люблю, прекрасная Амальхен, и очень хочу жениться, но будем лучше подождать!»... И она сказала: «Я очень люблю вас, Карл, и тоже очень хочу жениться, но будем лучше подождать». Она и тогда была умная девушка, Василий Иванович! Она тоже понимала, что на очень маленькое жалованье нельзя жениться и надо ожидать... да!..

«Давно бы я женился!» — подумал Василий Иванович. И, прихлебнув вина, проговорил:

— Терпеливый вы, однако, человек, Карла Карлыч... Долго же вы ожидаете!

— Но Амальхен будет моей женой, Василий Иванович!.. Будет!

И, словно увидав вдруг перед собой какое-нибудь неожиданное препятствие к тому, чтобы фрейлейн Амалия стала его женой, Карл Карлович с таким грозным видом ударил при этом по столу кулаком, что Василий Иванович поднял на него свои осоловевшие глаза и, казалось, спрашивал: «С чего так расходился, Карла Карлыч?».

Но он уж снова улыбался добродушно-блаженной улыбкой подвыпившего человека и продолжал:

— И мы будем очень счастливо жить, Василий Иванович... Мы знаем друг друга и будем, как следует добрым супругам, а не то что кошка с собакой!.. Да!.. И у нас... вы понимаете какая история?.. у нас, Василий Иванович, будет два ребёнка... сын и дочь... Больше не надо, Василий Иванович.

— Отчего же не надо?.. — удивился Василий Иванович.

— Много детей — много расходов... И многие учёные говорят, что много не надо... Двух довольно, Василий Иванович... Вы непременно пожалуйста ко мне на свадьбу. Мне очень приятно, Василий Иванович, видеть вас на свадьбе. И когда вы увидите, Василий Иванович, как хорошо жениться на благородной девице, вы подумаете, подумаете — и тоже женитесь на благородной девице... *Nicht wahr\**, Василий Иванович?

Но Василий Иванович пребывал в меланхолии и мрачно тянул шампанское, по-видимому, не обнаруживая намерения последовать совету Карла Карловича.

— О, вам непременно надо жениться и иметь парочку детей. И вы тогда всегда будете в хорошем духе и всегда будете иметь хороший аппетит, Василий Иванович! — прибавил

---

\* Не правда ли (нем.).

---

Карл Карлович и добродушно залился смехом, видимо, довольный своими словами.

— Не стоит привязываться к людям — вот что я вам скажу, Карла Карлыч! — вдруг проговорил Василий Иванович с видом мрачного философа.

— Как не стоит? Я позволю спросить, Василий Иванович, почему не стоит? — взволнованно возразил доктор, принимая обиженный вид. — Кажется, моя невеста стоит... Фрейлейн Амалия...

— Да что вы все: фрейлейн Амалия да фрейлейн Амалия, Карла Карлыч! — вспыхнул Василий Иванович. — Я не трогаю фрейлейн Амалию... Я знаю, что она достойная девушка... Я не про фрейлейн Амалию, Карла Карлыч!

— О, извините, Василий Иванович!.. Я не понял... Я думал, вы хотите сказать, что не стоит жениться на фрейлейн Амалии. Я немножко пьян, Василий Иванович!

— Я не про фрейлейн Амалию... Женитесь себе с богом, Карла Карлыч, и будьте счастливы... Я, кажется, не завистливый человек... Я вообще говорю, что не стоит привязываться к людям! Лучше, знаете ли, подальше от них... Пусть говорят что хотят... Чёрт с ними!..

Карл Карлович вытаращил от изумления глаза. Что это с Василием Ивановичем? Положим, он выпил сегодня лишнее, но никогда он, добродушный Василий Иванович, и после шампанского не высказывал такого мрачного взгляда на людей.

— Вы привязались, положим, к человеку, полюбили, думали — хороший, добрый человек, а он вдруг окажется свинья — вот что обидно, Карла Карлыч... Понимаете?

Но Карл Карлович не понимал и хлопал глазами.

— Не то обидно, что вас обманули... да... что за ваши услуги вас же называли дураком... Понимаете: ду-ра-ком! Положим, и это обидно. Но бог с ним!.. Главное, обидно, Карла Карлыч, что человек окажется форменный подлец... Вот что больно! — с грустью воскликнул Василий Иванович, выпивая по этому случаю новый бокал.

И, помолчав, он продолжал:

— Хорошо-с! Ну поступи так какой-нибудь человек нашего возраста, Карла Карлыч... Оно всё не так обидно... А то вдруг: молодость... так сказать, начало жизни... и подлость, — повторял грустно Василий Иванович, начиная немного заплетать языком.

— Но зачем же любить фальшивого человека! — воскликнул Карл Карлович. — Вы извините, Василий Иванович, а это неблагоприятно... да! О, я никогда не любил фальшивого человека. Я прежде узнаю, какой человек со всех сторон. Меня не обманет фальшивый человек. О нет!..

---

И, принимая вдруг сосредоточенно-озабоченный вид, Карл Карлович тайнострвенно прибавил, понижая голос:

— Я догадался, Василий Иванович. Вы хотите маскировать... Вы, верно, любили одну фальшивую девицу, и она обманула такого благородного человека! И вы вспомнили и... стали не в духе... Но я прямо говорю: она неблагородно поступила!.. Да! Извините — неблагородно, Василий Иванович! И я бы пошёл и сказал ей: «Сударыня! Вы неблагородно поступили с честным человеком!». И забыл бы фальшивую девицу, а полюбил бы благородную девицу, Василий Иванович!..

— Девицу?! Какую девицу? — воскликнул Василий Иванович, недоумеая. — Женщины, Карла Карлыч, лучше мужчин...

— Так вы не про девицу?.. — удивился Карл Карлович. — По-ни-маю! У вас, верно, был фальшивый друг, Василий Иванович?

— Друг?! Друг — великое слово, Карла Карлыч!.. «Положи живот за други своя»... Друг!.. Был у меня давно друг... Платоша Осетров... Это был друг!.. Ещё с корпуса... Но он потонул, Карла Карлыч... Катался на катере... налетел шквал... не успели отдалть шкотов, и катер перевернуло...

— И ваш друг не умел плавать...

— Платоша Осетров не умел плавать?! — воскликнул Василий Иванович, бросая на доктора недовольный взгляд. — Плюньте тому в рожу-с, Карла Карлыч, кто вам скажет, что Платоша Осетров не умел плавать-с! Он был первый пловец! Пять раз, бывало, обплывал вокруг корабля... Да-с...

— О, я не знал, Василий Иванович! — успокаивал доктор.

— То-то, я вижу, что не знали... Он зацепился кортиком за уключину и потому погиб, бедный!.. Подумайте — молодой мичман, всего двадцать лет, и погиб из-за кортика... Да-с!.. Вот это был друг, настоящий друг! И с благородными правилами человек. Простыня человек... душа чистая... С тех пор не было у меня друга!

— Так про кого же вы говорили, Василий Иванович?..

— Про кого я говорил?..

Имя Непенина чуть было не сорвалось с языка. Но Василий Иванович вдруг спохватился и дипломатически заметил:

— Я вообще говорил, Карла Карлыч... Я вспомнил один анекдот, Карла Карлыч... Не со мной — нет... С моим знакомым! — продолжал Василий Иванович, чувствуя всё-таки потребность поговорить о своей обиде.

— Анекдот?.. Ну, очень рад, очень рад! — весело воскликнул Карл Карлович. — А я смотрю: вы не в хорошем духе и с таким сердцем говорили... я и подумал: неужели у Василия Ивановича был фальшивый друг?.. И мне было очень непри-



---

ятно, что у вас был фальшивый друг... Я, конечно, не имею права, Василий Иванович, быть вашим другом... О, знаю, что вы меня не можете считать другом... Но я очень много уважаю вас, Василий Иванович... Постойте, Василий Иванович... Позвольте мне вам сказать, как я уважаю и ценю вас, Василий Иванович... Я немножко выпил, но могу сказать... И вот что я вам скажу: вы знаете, я должен жениться и беречь деньги... Должен ли я беречь деньги, Василий Иванович?..

— Очень уж вы дорожите деньгами, Карла Карлыч!

— Да... потому, что я хочу жениться... Но придите вы, Василий Иванович, и скажите: «Карл Карлович! дай мне пятьсот долларов взаймы!» — и Карл Карлович сейчас же принесёт пятьсот долларов... Скажите: «Дай тысячу!» — и он принесёт тысячу! Я никому, вы знаете, не дам, потому что я должен жениться, а вам дам, Василий Иванович! — воскликнул умилённо Карл Карлович. — Да!.. Вот что я хотел вам высказать... Ваше здоровье, Василий Иванович! Теперь я буду слушать ваш анекдот.

Василий Иванович был несколько тронут и проговорил:

— Спасибо, Карла Карлыч... Я верю вам... Вы не фальшивый человек... У вас есть правила.

— О, у меня есть правила, Василий Иванович!

— Да... правила... Вы даже жениться хотите по правилам и детей иметь по правилам... Я тоже люблю правила, но только не мог бы по правилам жениться и иметь детей... Ну, да это ваше дело, Карла Карлыч. Вот когда нет правил или одна подлость... Слушайте, Карла Карлыч! Вот какой анекдот был.

И Василий Иванович стал рассказывать, как его знакомый, человек простой и доверчивый, «имел глупость» привязаться к одному юнцу.

— Знакомый этот, знаете ли, был одинокий, вроде меня, ну и, знаете ли, тоже потребность дурацкая... пригреть юнца... Ну-с, и пригрел, тоже питал чувства... Как же! Вроде как будто к брату даже... хотел из него бравого, честного офицера сделать... Ну, верил, что и он с своей стороны... А он... он... Что бы вы думали?..

Непривыкший много пить Василий Иванович начинал хмелеть, и язык его плохо слушался.

— О, я догадался!.. — воскликнул Карл Карлович.

— До-га-да-лись?.. Он...

— Ваш неблагородный молодой человек?

— Да... Подлец!

— Фуй!.. Как это нехорошо, Василий Иванович! И ваш знакомый пришёл к нему и сказал: «Я буду вас презирать!».

Но Василий Иванович отрицательно махнул головой.

---

— Он этого не сказал?... Странный человек ваш знакомый, Василий Иванович! Как же он поступил?

Но Василий Иванович молчал, задумчиво устремив ослепительные глаза на пустую бутылку, словно бы в ней скрывалось решение вопроса.

— Я бы, Василий Иванович, рассердился — очень рассердился — и сказал бы фальшивому человеку: «Милостивый государь! Вы есть фальшивый человек, а я есть благородный человек, — и по этой причине не могу иметь с вами знакомства!». Да!.. Вот как бы я поступил, Василий Иванович!

— А я не знаю, как он поступил! — наконец протянул Василий Иванович. — Не знаю... Но только он не сердился... да... не сердился, Карла Карлыч!

— Это довольно странно, Василий Иванович, что не сердился... С ним так, можно сказать, подло поступили, и он не сердился!

— Странно, а он не сердился!.. Нет!.. Подло поступили, а он не сердился... Да! Но ему было очень обидно... Это верно... Это я знаю... У-ве-ррен!.. Но только он не так поступил, как вы говорите... Не так! — повторил Василий Иванович в каком-то пьяном раздумье.

Доктор увидел, что они оба уже достаточно дали «толчок природе», и подал совет — не пора ли теперь отдохнуть?

— Отдохнуть... Из бухты вон, отдай якорь?! Отлично... Ляжем в дрейф, любезный Карла Карлыч...

— Именно, в дрейф, Василий Иванович.

— Но только он не так поступил, Карла Карлыч!.. Не так, брат! — снова повторил Василий Иванович, грузно поднимаясь из-за стола.

— Да чёрт с ним!.. Стоит ли из-за какого-то неблагородного человека волновать себе кровь... Тьфу!.. Вы сегодня совсем не в духе... А всё оттого, Василий Иванович, что редко съезжаете на берег... Да... Понимаете, какая история?..

— Я-то понимаю... И история была... Можно сказать — роман... Миссис Эмми... Знаете ли... брюнеточка... Поёт... Я по-английски: так и так... Да! А вы вот, Карла Карлыч, хоть и хо-ро-ший человек... правила... двое детей, а не понимаете, почему он так не поступил! — повторил Василий Иванович, сбрасывая платье... — А теперь лучше давай, брат, уснём... забудем обиду... Вы на клипер не ездите... Лучше ночуйте здесь... Сейчас скомандуем другую кровать! Вы, Карла Карлыч, тоже треснувши... да?

Карл Карлович не хотел кровати. Он отлично выспится на диване. Через несколько минут слуга принёс подушку и бельё, и скоро в номере раздался громкий храп.

---

## XI

После вчерашнего «толчка природе» Василий Иванович проснулся поздно и с головной болью. Доктора уже не было. Он уехал на клипер осматривать своего единственного больного.

Несколько озабоченный своим долгим пребыванием на берегу (хотя капитан вчера снова повторил, что пробудет весь день на клипере), Василий Иванович торопливо оделся, выпил сельтерской воды, заплатил по счёту и отправился в лавки искать платок с птицами для Антонова. Обойдя несколько лавок, он спешил на пристань, не сделав даже обещанного визита миссис Эмми.

Когда наконец после полудня он отвалил от пристани и увидел красивый, стройный, с чуть-чуть подавшимися назад мачтами клипер, покоившийся на зеркальной глади вод во всём своём великолепии, Василия Ивановича охватило радостно-спокойное чувство человека, увидавшего любимый дом после долгого отсутствия. Шутка ли: он не ночевал на клипере! В течение двухлетнего плавания это была, кажется, третья ночь, проведённая им на берегу. Он сжился с клипером и любил его тою странною любовью, которою любят свои плавучие дома страстные моряки и свои тюремные кельи — узники, давно забывшие свободу. Он так привык, просыпаясь, видеть полированные, гладкие, светлые «переборки» (стены) своей каюты, освещённой скудным светом круглого иллюминатора, и затем — белобрысую голову Антонова, выглядывающего из-за дверей, чтобы доложить, что команда встаёт, он так привык, наскоро одевшись и прочитав своё обычное «Отче наш» перед маленьким образом Спасителя, носиться с утра по клиперу, наблюдая за уборкой, к восьми часам появляться на мостике с рапортом и затем хлопотать до вечера, живя по судовому расписанию, — что всякое отступление от подобного образа жизни являлось каким-то диссонансом. И теперь, подъезжая к клиперу, ему казалось, будто он давно не был на нём, и без него, чего доброго, что-нибудь недоглядели, и клипер не прибран как следует.

Зорким любовным глазом страстного любителя своего дела оглядывал он клипер снаружи и не нашёл ничего, что бы могло оскорбить его требовательный морской взгляд. Всё в порядке. Ни сучка, ни задоринки!

И он бойко выскочил на палубу и приостановился, поглядывая на фалгребных ласковым взглядом, словно бы давно не видал их и обрадовался, что увидел.

Приложив руку к козырьку, встретил его у входа Непенин. Василия Ивановича точно кольнуло что-то в сердце. Он вдруг

---

вспомнил вчерашнее, смутился, неловко протянул руку и торопливо пошёл по шканцам.

— Сегодня утром почтовый пароход пришёл из Сан-Франциско, Василий Иванович! Есть новости... В Японию идём! — говорил Непенин, спеша первым сообщить старшему офицеру эти известия.

Василий Иванович остановился и взглянул на Юлку. Он был, по обыкновению, свежий, чистенький, щеголевато одетый, и приветливая, несколько заискивающая улыбка играла на его лице. Василий Иванович вдруг почувствовал желание оборвать своего бывшего любимца. Но вместо «обрыва» он проговорил, глядя в сторону:

— Кто едет с командой на берег?

— Лесовой и Кошкин!

— Разве не ваша очередь-с? — вдруг строго спросил Василий Иванович.

— Нет-с. Я в Нагасаки ездил! — почтительно отвечал, несколько удивлённый этим тоном, Непенин.

И Василий Иванович снова смутился, на этот раз от стыда, что, увлёкшись личным чувством, допустил служебную несправедливость.

— Виноват-с! Я думал, что ваша, Непенин! — мягко проговорил он, торопливо спускаясь вниз.

В кают-компании только что отобедали. На не убранном ещё столе лежали газеты, несколько журналов и конверты от писем, только что полученных из России. Большинство офицеров было занято чтением. При появлении Василия Ивановича все так радостно приветствовали его, так торопились сообщить ему новости, полученные с почтой, что неприятное впечатление первой встречи с Непениным после вчерашнего потеряло свою остроту. По тону приветствий, по взглядам он чувствовал, что все к нему расположены, что все ему искренне рады. Это сознание общего расположения действовало на Василия Ивановича сегодня особенно приятно, и он с какою-то непонятною для других нежною ласковостью пожимал всем руки, отвечая на приветствия.

— В Хакодате идём, Василий Иванович!

— От адмирала получено предписание... Говорят, соберётся вся эскадра...

— Кажется, через три дня уйдём, Василий Иванович!..

— Карл Карлыч от фрейлейн Амалии письмо получил! Читает теперь! — заметил кто-то смеясь.

— Да ведь вы не обедали, Василий Иванович?

— Нет... вот сейчас пойду переоденусь...

— Эй! Подавать обедать старшему офицеру! — крикнул вестовым второй лейтенант, содержатель кают-компании. —

---

Сегодня, Василий Иванович, ваш любимый суп с фрикадельками и отличный ростбиф...

Довольный этим общим ласковым вниманием и в то же время несколько озабоченный новостями и близким адмиральским смотром, Василий Иванович скрывается в каюту, чтобы, переодевшись, явиться к капитану.

Антонов уже ждёт Василия Ивановича в каюте. Вода в рукомойнике приготовлена. Свежая, безукоризненная сорочка и белый китель аккуратно разложены на постели.

— Здравствуй, Антонов!.. Ну, вот тебе, братец, платок, — говорит Василий Иванович, отдавая вестовому свёрток. — Не знаю, понравится ли?

— Очень форсистый, ваше благородие! — говорит Антонов, с восторгом рассматривая большой шёлковый платок с павлином на красном фоне... — Поди, два доллара стоит, ваше благородие?!

— Два доллара?! Ты ничего не понимаешь, Антонов... Всего полдоллара! — весело врёт Василий Иванович, заплативший за платок целых четыре.

— Очень сходно купили, ваше благородие... Не прикажете ли окатиться?.. В колодце\* отлично... Господа окачивались...

— Некогда... некогда!.. — торопится Василий Иванович и, приведя себя в надлежащий порядок, идёт в капитанскую каюту.

— Честь имею явиться!

— Что так рано? Мало погуляли, Василий Иванович! — радушно приветствует капитан, усаживая Василия Ивановича рядом с собою на диван и подвигая папиросы.

— Делать нечего на берегу, Павел Николаич! И то долго пробыл...

— Соскучились? — улыбнулся капитан. — Скоро придётся уходить... Уж, верно, слышали?.. Я говорил ревизору, чтоб был готов.

— Как же, слышал.

— Адмирал торопит идти на соединение с эскадрой. Рандеву — Хакодате. Оттуда клипер получит особое назначение, но какое — предписание умалчивает.

— Уж не пойдёт ли он с нами куда-нибудь? — испуганно спросил Василий Иванович.

— Всё может быть... Вы ведь знаете: адмирал любит делать сюрпризы! — проговорил капитан с улыбкой. — Помните, как в прошлом году мы рассчитывали идти в Австралию, а попали на Ситху?.. Да вот прочтите предписание!

Василий Иванович пробежал предписание...

---

\* Так называется пространство, куда поднимается винт (Прим. автора.)

---

— Там сказано, Павел Николаич: «немедленно идти», — озабоченно проговорил Василий Иванович, чувствуя какой-то благоговейный страх перед бумагами начальства.

— «Немедленно идти по готовности»... Мы дадим команде освежиться на берегу, вытянем такелаж и пойдём... Дня в три справимся ведь, Василий Иванович?

Василий Иванович выговорил ещё денёк про запас. Порешили идти через четыре дня.

Василий Иванович вышел от капитана с той смущённой озабоченностью на лице, которая всегда бывала у Василия Ивановича при ожидании адмиральского посещения и при каких-нибудь работах на клипере. Зато в серьёзные минуты, когда приходилось выдерживать шторм или требовалась быстрая находчивость, Василий Иванович, напротив, удивлял своим спокойствием.

Тем не менее у него сегодня был отличный аппетит. Он ел всё, что ни подавали, и похваливал, к крайнему удовольствию содержателя кают-компаний, принимавшего чуть ли не за личное оскорбление всякое неодобрительное замечание насчёт блюд.

— Когда снимаемся, Василий Иванович? — спрашивали его со всех сторон.

— Через четыре дня.

— Это верно, что идём в Японию?

— Верно...

— А оттуда куда, Василий Иванович?

— А этого не знаю...

— Говорят, Василий Иванович, в Камчатку...

— За бобрами, что ли?.. — смеётся Фома Фомич. — Я бы купил себе бобрика.

— «Говорят»? — усмехнулся Василий Иванович. — Я по крайней мере ничего не слышал. А впрочем, что ж?.. Пошлют в Камчатку — пойдём в Камчатку!

Об «особом назначении» старший офицер умолчал, так как капитан не уполномочивал его об этом говорить. В случае необходимости Василий Иванович умел быть нем как рыба.

— А не слышно ли, Василий Иванович, скоро ли вернётся в Россию адмирал? — допрашивают мичмана.

— И этого не слышал... Вы лучше спросите у самого адмирала! — шутит Василий Иванович. — Скоро его увидите.

Входит рассыльный и докладывает, что команда готова ехать на берег, и Василий Иванович, выпив стакан портерку, идёт наверх.

— Смотри, братцы, не очень налегай на вино!.. Чтобы в лёжку не привозили! Да друг от дружки не отбивайся... По кучкам гуляй, — наставляет Василий Иванович, обходя по фронту.

- 
- Слушаем, ваше благородие!..  
— Сажайте людей на баркас!  
— Пошёл на баркас! — раздаётся команда.

Матросы один за одним бегут вприпрыжку к выходу и спускаются по трапу.

— Завтра, брат Щукин, будем такелаж тянуть... Так уж ты, пожалуйста... — тихо говорит Василий Иванович, любуясь расфранчённым старым боцманом.

— Постараюсь, ваше благородие! — тоже тихо отвечает боцман и с сознанием собственного достоинства направляется к выходу, расталкивая матросов.

Василий Иванович смотрит с мостика, как люди садятся. Теснясь, как сельди в бочонке, матросы занимают места при сдержанном говоре и смехе, перекидываясь шутками, и скоро баркас полон белыми рубашками.

— В котором часу прикажете отваливать с берега? — спрашивает, подходя к старшему офицеру своей медленной походкой, Лесовой.

— Здравствуйте, Фёдор Петрович! Мы с вами сегодня, кажется, не видались! — как-то особенно ласково говорит Василий Иванович, называя Лесового, против обыкновения, по имени и отчеству, и крепко жмёт ему руку.

Лесовой, после такого внимания со стороны старшего офицера, становится ещё серьёзнее и повторяет свой вопрос ещё более официальным тоном: «Я, мол, с тобой пришёл не лясы точить!».

— В котором часу? — переспрашивает Василий Иванович и вместо ответа смотрит на Мечтателя так приветливо и сердечно, что тот несколько удивлён, и снова замечает:

— Баркас с людьми ждёт, Василий Иваныч!

— Ах, виноват... виноват! В девять отвалите!

— Есть!

«Экий славный какой этот парень!» — думает про себя Василий Иванович, провожая глазами отваливший от борта баркас с сидящим на руле Лесовым, и невольно сравнивает с ним Непенина.

## ХII

Через две недели клипер под всеми парусами, с ровным попутным ветром входил на Хакодатский рейд, салютуя адмиральскому флагу.

Боцман только что рывкнул: «Пошёл все наверх на якорь становиться!» — и все были на своих местах.



---

Капитан ходил тихими шагами по мостику, по временам останавливаясь, чтобы посмотреть в бинокль на стоявшие на рейде суда. Кроме четырёх судов русской эскадры, на рейде было несколько иностранных военных судов, не считая многих «купцов» и джонок. Василий Иванович тоже, разумеется, на мостике, готовый командовать авралом. Опершись о поручни, он стоит на наветренной стороне и зорко глядит вперёд.

Оба они по-видимому совершенно спокойны, но в действительности оба они в душе испытывают волнение, зная отлично, что со всех военных судов устремлены бинокли и моряки всех наций ревниво будут следить за манёврами красавца клипера, которому предстоит нелёгкая задача — пройти под парусами к эскадре среди множества судов, стоявших на дороге.

Слегка накренившись и с тихим гулом рассекая воду, легко поднимаясь с волны на волну, приближался «Голубчик» к судам. Полнейшая тишина царит на клипере. Только изредка раздаётся звучный тенор Василия Ивановича:

— На баке! Вперёд смотреть!

И ответ боцмана:

— Есть! Смотрим!

И снова тишина.

Все понимают, что для моряков это — торжественные минуты, что вход на рейд подобен появлению какой-нибудь блестящей красавицы среди ревнивых соперниц и что теперь посторонние разговоры неуместны, да и не идут на ум. У всех, начиная с капитана и кончая вот этим маленьким матросом, стоящим у своей снасти, одна мысль: как бы клиперу не осрамиться и войти в люди, как следует военному судну. Все посматривают на мостик и, видя спокойные, уверенные лица капитана и Василия Ивановича, чувствуют, что клипер не осрамится.

И он не осрамился, а лихо прошёл мимо французского фрегата, «обрезал кормы» двум английским корветам и шёл теперь к русской эскадре.

— Придётся резать корму адмирала! Иначе не пройдем. Вот этот «купец» нам мешает! — тихо замечает капитан Василию Ивановичу, указывая рукой на «купца».

— Есть! — так же тихо отвечает, но уже без обычной почтительной аффектации, Василий Иванович, одновременно с капитаном подумавший о том, что придётся резать корму адмирала. — На якорь станем за «Красавцем»?

— Да.

— Лево! Больше лево! Стоп так! — нервно, отрывисто командует рулевым Василий Иванович, бросая сердитый взгляд на стоявшего на дороге «купца».

---

И клипер, бросившись к ветру, проходит сквозь ряд судов и джонок и благополучно минует «купца», пробежав у него под самым носом.

— Право!.. Право! Так держать!

— Есть! Держим! — отвечает старший рулевой, быстро ворячая штурвал.

Клипер теперь несётся прямо на корму адмиральского корвета. Уж он так близко, что отлично видна приземистая, кряжистая фигура адмирала с биноклем в руке, стоявшая, подавшись вперёд, на юте впереди других зрителей. Казалось, вот-вот, сейчас «Голубчик» врежется в корму «Грозного». Все затаили дыхание. Ни звука на палубе. Капитан перестал ходить и напряжённо смотрит вперёд, измеряя зорким взглядом расстояние между клипером и корветом.

«Пора, однако, спускаться!» — мелькнула у него мысль, и он, пощипывая в волнении бакенбарду, только что хотел об этом сказать Василию Ивановичу, как уже раздался уверенный, звучный голос Василия Ивановича:

— Право на борт! Одерживай!

И, послушный рулю, как добрый конь узде, клипер лихо пронёсся под самой кормой адмиральского корвета, и Василий Иванович улыбнулся, словно этой улыбкой благодарил клипер.

— Здорово, ребята! — раздался среди тишины довольный голос адмирала.

Громкое: «Праз, ддва!» — разнеслось по воздуху, когда уже клипер, приведя к ветру, шёл далее.

Пройдя мимо «Дротика» и «Красавца», клипер круто повернул против ветра.

— Паруса на гитовы! Из бухты вон, отдай якорь! — раздавался голос Василия Ивановича. — Марсовые к вантам!

Не прошло и пяти минут, как исчезли, словно волшебством, паруса; клипер недвижно стоял невдалеке от «Красавца», и капитанский вельбот уже был у борта, готовый везти капитана к адмиралу с рапортом.

— Славно стали на якорь, Василий Иваныч! — замечает капитан.

— Да, кажется, ничего себе! — отвечает как будто спокойно Василий Иванович, сияя от удовольствия.

Но эта радость внезапно исчезает, а на лице его снова смущённое, озабоченное выражение, не покидавшее его во все две недели.

— Верно, адмирал скоро будет... А мы ещё не убрались, Павел Николаевич!

— Нечего убираться!.. У вас клипер — игрушка... Чего ещё, Василий Иваныч! — говорит капитан, и вслед за тем уходит вниз облекаться в мундир, чтобы ехать к адмиралу.

---

Через час капитан возвратился с адмиральского корвета. Смотр назначен через два дня. Через неделю клипер уйдёт в отдельное крейсерство на север.

— Но адмирал с нами не пойдёт, Василий Иванович! — прибавил с улыбкой капитан, торопясь успокоить старшего офицера.

Вместе с тем капитан привёз и радостное для «фендриков» известие о производстве их в офицеры. Пригласив их к себе в каюту, капитан, с бокалом шампанского в руке, поздравил молодых мичманов и сказал маленький спич:

— Все вы, господа, остаётесь у нас на клипере, чему я, конечно, рад... Один господин Непенин от нас уходит... Адмирал назначает вас флаг-офицером, господин Непенин! Сегодня же потрудитесь явиться к адмиралу!

Непенин не ждал такого радостного известия. Быть поближе к начальству, иметь возможность отличиться — это были его заветные мечты. Он вспыхнул от удовольствия.

— Вы, кажется, очень довольны назначением? — с едва заметной улыбкой спросил капитан.

— Я крайне благодарен вам, Павел Николаич!

Капитан с удивлением поднял глаза на молодого человека.

— Благодарите не меня, а адмирала... Я тут ни при чём. Не я рекомендовал вас на эту должность. И, признаться, я не вижу особенной причины радоваться... Для молодого офицера лучшая школа — строевая служба... А впрочем, желаю вам всяких успехов, господин Непенин.

Непенин закусил губы от досады. Сидоров насмешливо улыбался. Никто из товарищей не завидовал назначению Юлки.

В кают-компании молодых мичманов встретили шумными поздравлениями и шампанским. Через пять минут уж у всех на шюртуках были мичманские погоны. Василий Иванович провозгласил тост за милую молодёжь и со всеми перцеловался.

— Дай вам бог всего хорошего, Непенин! — мягко проговорил он, поздравляя Непенина.

— Вы, Василий Иванович, пожелайте Юлке блестящей карьеры... Уж он её начал... Он теперь особа... Адмиральский флаг-офицер!.. — с хохотом подхватил Сидоров.

— Что карьера?.. Не с карьерой жить... Не это главное... Вы вот всё зубоскалите!

Многое хотелось сказать Василию Ивановичу. Он всё ещё не хотел верить в безнадежную испорченность своего бывшего любимца и всё ещё сохранял уголок для него в своём любящем сердце. Но Непенину было не до излияний. Он то-

---

ропился явиться к адмиралу и даже не обратил внимания на насмешку Сидорова.

Вечером он совсем перебрался на адмиральский корвет, простившись с Василием Ивановичем так небрежно и холодно, забыв даже упомянуть о своём долге, что Василий Иванович только грустно усмехнулся ему вслед, ни слова не сказав на прощанье.

### XIII

Смотр прошёл блистательно.

Куда только не заглядывал адмирал — он везде встречал образцовый порядок. О чистоте и говорить нечего! Когда, в сопровождении свиты, спустившись в машину, его превосходительство изволил провести пальцем в белоснежной замшевой перчатке по крышке цилиндра, Василий Иванович, признаться, струсил, и у него по спине забегали мурашки. А что как вдруг на пальце окажется чёрное, ужасное пятно?

Но этого, конечно, не случилось, и Василий Иванович напрасно струсил.

Его превосходительство с довольным видом поднёс палец почти к самому носу сопровождавшего его флаг-капитана и весело проговорил:

— Посмотрите!

Флаг-капитан посмотрел, но, как опытный дипломат, ничего не сказал.

— Ни пылинки!.. Это не то что на «Дротике»! Здесь — приятно быть. Видно, что настоящее военное судно! — проговорил он и пошёл наверх.

Все учения производились на славу. Перемена марселей сделана была в пять с половиной минут; клипер приготовился к бою в три минуты; десант был посажен на шлюпки, готовый разить врагов, в четыре с половиной минуты. Чего ещё более желать?!

Адмирал, стоя на мостике, несколько раз принимался благодарить капитана. Но капитан, по-видимому, недостаточно чувствовал себя счастливым от адмиральских комплиментов, принимая их с официальной сдержанностью. И адмирал, любивший взаимность чувств, под конец смотра сделался скупее на комплименты.

Он обратился было с выражением благодарности к Василию Ивановичу; но Василий Иванович, приложив руку к труголке, так упорно молчал, что адмирал, взглянув на вспотевшее, красное, нелепо улыбающееся лицо Василия Ивановича,

---

поспешил отвернуться, не желая длить агонию старшего офицера.

Смотреть, кажется, более нечего. Все учения окончены. Адмирал обходит команду, опрашивает претензии (претензий нет) и благодарит матросов за лихие работы. Затем снова благодарит офицеров, Василия Ивановича, капитана и уезжает.

— Сплавил! Сплавил наконец адмирала! — весело кричат мичмана, вбегая в кают-компанию. — А вас, Карл Карлыч, благодарил адмирал? — обращаются к доктору.

— Меня? За что меня благодарить? — скромно отвечает доктор.

— Как за что? А за то, что больных нет!

— Он у меня в лазарете, однако, был...

— Был, и что же?

— Как же, был; посмотрел и сказал: «У вас очень здесь хорошо, доктор!». Вот что он мне сказал!

— А мне хоть бы слово! — раздражительно проговорил Фома Фомич. — Тоже, кажется, видел, каково артиллерийское учение... Ну да стоит ли нас благодарить!.. Мы не флотские!.. Верно, и вам ничего не сказал, Захар Матвеевич? — обратился артиллерист к старому штурману.

— Мы и так обойдёмся! — иронически усмехнулся низенький, кривоногий Захар Матвеевич. — Да и к чему нам благодарность? Из неё шубы не сошьёшь!

— Да я не к тому... Ну скажи ты хоть слово... Ну заметь по крайней мере!

— Благодарите Создателя, Фома Фомич, что хоть не разнёс. А вы — ишь чего захотели: благодарности!

— Э, полноте, полноте, господа! — вмешивается Василий Иванович, боявшийся этих щекотливых разговоров об антагонизме между флотскими и офицерами корпусов. — Ведь он нас всех благодарил, когда уезжал... Всё было отлично... Эй, Антонов! — кричит он.

Но Антонов уж сам догадался и несёт бутылку портера.

— Да ты что ж это одну бутылку?.. Вали ещё! Не прикажете ли, Фома Фомич?.. Захар Матвеевич!.. Выпейте стаканчик... Уф! — отдувался Василий Иванович. — И жарко же сегодня, господа... Ну, теперь уже не скоро будет новый смотр! — весело говорит Василий Иванович и, по обыкновению, всех угощает...

— А Юлка-то наш... заметили, господа? — говорит Сидоров, обращаясь к молодёжи.

— А что?.. форсит?..

— Отлично вошёл в роль... Так и летал, исполняя адмиральские поручения на смотре. Настоящий флаг-офицер!

— Назначь вас, и вы бы летали! — вступается Василий Иванович. — Уж такая, батенька, должность!

---

— Летать бы, положим, летал, Василий Иванович...  
— Так что ж других осуждать...  
— Только не было бы у меня написано на роже, как у него, что я летаю в восторге.

Все смеются. Улыбается и Василий Иванович.

— Ну... ну, полно зубоскалить-то про товарища!.. Лучше выпейте-ка, батенька, стаканчик портерку!.. Не бойтесь: вас не назначат флаг-офицером!

Василий Иванович только что отпил после ужина чай и взялся было от нечего делать за газету, но долго читать не мог — слипались глаза. Да и не особенно интересно читать о том, что было полгода назад! Девять часов — можно и на боковую! После сегодняшнего дня, полного тревог и волнений, не грешно лечь пораньше. Да и скучновато сидеть одному. В кают-компании ни души. После смотра все разъехались. Дома только Василий Иванович, отец Виталий, отправившийся спать тотчас после ужина, да Сидоров, шагающий по мостику, ощупывая по временам свои новые мичманские погоны.

Василий Иванович поднялся наверх посмотреть, по обыкновению, какова погода; осмотрел, сколько выпущено якорной цепи, поболтал несколько минут с Сидоровым на мостике и, приказав немедленно разбудить себя, если что-нибудь случится, — спустился к себе в каюту.

— Кто гребёт? — раздался среди тишины обычный оклик часового наверху.

Василий Иванович не узнал ответного голоса. «Верно, Карл Карлыч!» — подумал он.

Мимо открытого иллюминатора тихо скользнула на лунном свете японская шлюпка, через минуту в кают-компанию раздались торопливые шаги, и вслед за тем кто-то постучал в двери.

— Войдите!

В каюту вошёл Непенин.

«Верно, адмирал требует!» — промелькнула первая мысль у старшего офицера.

Он вопросительно взглянул на Непенина. Тот был бледен и взволнован, и Василий Иванович сразу понял, что с Непениным случилось что-то необычайное.

— Вы не по службе?

— Нет... Я к вам с просьбой... с большой просьбой, Василий Иванович! — проговорил молодой человек упавшим голосом.

— В чём дело?..

— Спасите меня, Василий Иванович! Я... я... проиграл... чужие... деньги! — почти шёпотом произнёс он с мольбой в голосе, видимо с трудом выговаривая слова.

---

— Чужие деньги-с? Проиграли? — испуганно и строго повторил Василий Иванович.

— Да...

И Непенин, растерянный и жалкий, со слезами на глазах, бессвязно рассказал, как на днях адмирал, поручив ему заведовать своим хозяйством, выдал на расходы деньги; как сегодня... час тому назад, он зашёл в гостиницу... Там собрались с эскадры офицеры... играли в ландскнехт\*. Он сел играть... проиграл свои пятьдесят долларов, думал отыграться, и...

— Сколько? — отрывисто спросил Василий Иванович.

— Много... Триста долларов.

Василий Иванович серьёзно покачал головой и, ни слова не говоря, выдвинул ящик шифоньерки, где у него лежали деньги, и, отдавая почти весь свой запас, проговорил:

— Вот вам деньги, Непенин!

Непенин вздохнул свободнее и бросился благодарить Василия Ивановича.

— Не выручи вы меня, Василий Иваныч, я бы не знал, что делать... Узнал бы адмирал... Ужасно!.. Надеюсь, вы никому не скажете, Василий Иваныч?... Я возвращу вам...

Василий Иванович строго остановил его.

— Ах, Непенин! Не в том беда, что мог узнать адмирал, а то нехорошо-с, что вы совершили поступок, недостойный порядочного моряка... Вот-с что нехорошо-с... Надеюсь, этот урок послужит вам в пользу и вам не придётся краснеть перед самим собою...

— Поверьте, Василий Иваныч... Ничего подобного больше не случится! — смущённо говорил молодой человек.

— Дай бог!.. дай бог!.. — в раздумье проговорил Василий Иванович.

И после паузы он промолвил:

— И вот вам, Непенин, ещё совет от...

Василий Иванович чуть было не сказал: «от добродушного дурака», вспомнив эпитет, данный ему Непениным. Но он удержался от намёка и продолжал:

— От человека, который никому не желает зла, Непенин! Имейте-с правила в жизни!.. Твёрдые правила, согласные с совестью... Без них можно, пожалуй, иметь успех-с... выиграть по службе, что ли, но нельзя жить в душевном мире с самим собой!.. Это верно! И выдерживать штормы в жизни только тогда легко, когда совесть не за бортом-с! А главное, будьте правдивы и с собой, и с людьми... Любите людей бескорыстно, если хотите, чтоб и вас они любили!.. Вы не будьте в претензии, Непенин! Я от чистого сердца говорю, желая вам добра... С умом,

---

\* Ландскнехт — старинная немецкая карточная игра.



---

да без сердца — плохо жить... Ну, теперь поезжайте с богом!.. Ни душа, конечно, не узнает... Рад, что мог помочь вам! — заключил Василий Иванович, прощаясь с Непениным.

Молодой человек ушёл, сдерживая свою радость. Он не надеялся, что Василий Иванович так просто и легко выручит его из беды, дав ему такую крупную сумму.

А Василий Иванович не спеша разделся и лёг.

«Так ли он поступил? Не слишком ли он жёстко говорил с Непениным?» — думал Василий Иванович, лёжа в постели.

И, решив, что он поступил правильно и что дал советы от чистого сердца, Василий Иванович скоро заснул.

## XIV

С тех пор прошло много лет.

«Голубчик» давно продан на слом, и многие из плававших когда-то вместе на нём разбрелись в разные стороны, никогда не встречаясь друг с другом.

Скоро по возвращении «Голубчика» в Россию я оставил службу, уехал в деревню и потерял из виду бывших сослуживцев. О некоторых из них доходили по временам слухи в деревенскую глушь, но о Василии Ивановиче я ничего не слыхал. В газетных известиях, сообщавших имена командиров судов, отправлявшихся в дальнее плавание, фамилия Василия Ивановича ни разу не попадалась, из чего я заключил, что служба не особенно его баловала.

В мае 187\* года мне пришлось, наконец, вернуться в Петербург.

Вскоре после приезда шёл я, в первом часу, по Невскому, направляясь завтракать в ресторан, как увидел — навстречу идёт маленький, низенький, старенький флотский штаб-офицер. Всматриваюсь: знакомое круглое красное лицо с маленькой луковкой среди мясистых щёк, но не гладко выбритых, а опушённых седыми бакенбардами. Он шёл своей мелкой, торопливой походкой, с развальцем, заложив за спину руки. Сильно-таки постарел Василий Иванович! И куда делся его прежний щеголеватый вид, каким он, бывало, всегда отличался, выходя к подъёму флага на мостик! Пальто теперь на нём было потёртое, перчатки на руках сомнительной белизны, фуражка старенькая, вроде той, в какой Василий Иванович, бывало, носился по клиперу только во время утренней уборки.

Я окликнул Василия Ивановича, радостно бросаясь к нему. Но он глядел вопросительно, не узнавая меня. Я и забыл, что

---

он знал меня безбородым мичманом, а видел теперь обросшего бородой.

Я назвал себя, и в то же мгновение лицо его озарилось хорошей знакомой доброй, радостной улыбкой. Мы облобызались.

— Вот никак не ожидал вас, батенька, встретить!.. — весело говорил Василий Иванович после первых приветствий и восклицаний.

Я объяснил, что приехал сюда два дня тому назад и собирался непременно быть в Кронштадте, чтобы навестить Василия Ивановича.

— Вот спасибо, спасибо, голубчик, что не забыли! — обрадовался Василий Иванович, видимо тронутый... — Всё ж три года вместе плавали!.. Только я не в Кронштадте живу, а здесь.

— Что же вы здесь делаете? — удивился я.

— А вот-с граню тротуары!.. — как-то грустно усмехнулся он. — Да раз в две недели дежурю советником в адмиралтействе... Вот и вся моя служба-с! — прибавил Василий Иванович с горечью в тоне.

— Разве больше не плаваете?

— Я и забыл уж, как плавают-с... Давно сухопутным моряком стал-с... Вроде швейцарского адмирала... Недавно вот в оперетке с женой смотрели...

— Вы женаты, Василий Иванович?

— Как же-с... Скоро будет пять лет, как женился на старости лет! — проговорил, застенчиво улыбаясь, Василий Иванович. — Может, знавали покойного Душкина?

— Знал... Он старше меня двумя годами по выпуску.

— Ну, так я на вдове его женат... Как же-с... Дочь инженер-механика Купоросова... Помер старик. Вот зайдите ко мне... Я в Коломне живу... дешевле, знаете ли, — прибавил он, сообщая свой адрес. — Познакомьтесь с женой. Детей увидите... Ну, а вы как, батенька? Хорошо ли плаваете по морю житейскому?..

Мне хотелось обстоятельнее побеседовать с Василием Ивановичем, вспомнить старину, и я пригласил его идти завтракать.

Но он вдруг замялся.

— Да вы не свободны, что ли, Василий Иванович?

— Я бы не прочь... да, видите ли...

И Василий Иванович, несколько конфузясь, объяснил, что жена поручила ему кое-что купить в Гостином дворе.

— Знаете ли, батенька, финтифлюшки там разные... ленточки-с, кружева... И я обещал через два часа принести.

Насилу я его уговорил отложить покупки. Он согласился наконец, но всё-таки прежде отправил к жене записку с посылным...

---

— По крайней мере ждать напрасно не будет! — пояснил он мне, словно оправдываясь.

Через пять минут мы уж сидели в отдельном кабинете ресторана за завтраком. Само собою разумеется, любимое вино Василия Ивановича не было забыто.

— Да-с, батенька, — говорил Василий Иванович, — вот мостовые граню-с, вместо того, чтобы в море ходить... Несколько лет тому назад дали корвет, плавал на нём два лета, и с тех пор при берегу.

— Да и какое нынче плавание-с? — продолжал он, помолчав. — Нынче всё броненосцы-с пошли!.. Плавать на них настоящему парусному моряку не особенно лестно-с. Это не то, что на «Голубчике». Помните, как в Хакодате на рейд входили-с, а? — оживился Василий Иванович. — По крайней мере, школа для молодёжи была... да-с!

— Так вы ничем и не командуете, Василий Иваныч?

— Ничем-с. Обещали было монитор, да не дали. Нашего брата много-с, а судов в плаванье ходит мало-с... Надо хлопотать, проситься; а это, знаете ли, батенька, не в моих правилах-с... Коли достоин — сами назначат, без напоминаний. Со стороны виднее-с. Да, видно, и в самом деле негоден. Пора и в слом-с!.. Вот только трудненько жить на береговое жалованье! — прибавил Василий Иванович, горько усмехаясь. — Семья большая. У жены-то от первого мужа четверо детей. А куда пойдёшь? Поздно уже за другую службу приниматься.

Василий Иванович примолк и через минуту вдруг сказал:

— И время странное, знаете ли, какое-то стало. Иной раз думаешь, думаешь и ничего не понимаешь. Как-то совсем без правил стали люди жить!..

— То есть как это без правил?

— А очень просто, как живут без правил. Сегодня — одно правило, завтра — другое. Каждый только свою линию ведёт и только и думает, что о рубле. Какой-то дух стал ярыжнический... право.

— Это уж такой дух времени, Василий Иваныч.

— Именно дух времени. Прежде, бывало, каждый рвался в дальнее плаванье... лестно, знаете ли, молодому человеку поплавать, а нынче... Какой-нибудь мичманёнок — и уже рассчитывает, где больше содержания достанется. Так-с, знаете, досконально до копейки высчитает — и где больше этих самых копеек, туда и просится. Нет, знаете ли, любви к морю. И товарищества прежнего нет-с! Да что и говорить!

Старик безнадежно махнул рукой.

— Вы думаете, пожалуй, что я брюзжу потому, что считаю себя обиженным? Нет! Да и какая обида-с, если разобрать?

---

Не всем же в адмиралы лезть. Вот скоро полный пенсион выслужу, так, вероятно, и совсем уволят. Чего ещё держать? Послужил, слава богу! А всё-таки противно смотреть, знаете ли, на этот дух времени. Ведь любишь своих-то. Недавно ещё... вообразите себе: один молодой человек — ревизором его назначили — в обществе рассказывал, что он в плавании наживёт деньги-с! Обороты там какие-то при покупках угля и провизии... законные, говорит! И ещё при дамах рассказывал... Можете себе представить — при дамах-с! Ну разве не мерзость? — прибавил расходившийся Василий Иванович.

— Не все же такие, Василий Иваныч!

— Боже сохрани! Разумеется, не все... Но закваска не та. Да. Странные времена-с. Нынче труднее стало жить, вот как я думаю! — заключил Василий Иванович.

Я стал расспрашивать о прежних сослуживцах. Бывший капитан «Голубчика» умер несколько лет тому назад; многие вышли в отставку; Сидоров командует корветом.

— Бравый капитан из него вышел! — прибавил Василий Иванович. — А Лесовой... помните? Тот в деревне живёт... мировым судьёй был. Школы разные заводит. Когда приезжает сюда, непременно меня навещает. Славный человек. На редкость!

— А Карл Карлыч где?

— Карл Карлыч давно женился на своей Амалии... помните? Имеет хорошее место, но только отступил от своих правил! — засмеялся Василий Иванович.

— А что?

— Да как же! Говорил, что по правилам нужно иметь двоих детей, а у самого — целых шестеро!

— А Непенин где?

При имени Непенина Василий Иванович насупился.

— Разве не слыхали? Он теперь важная персона-с. На днях встретились, так не узнаёт. Ещё бы! Где узнать? Ну да бог с ним! Совсем без правил человек! — резко проговорил Василий Иванович и стал расспрашивать о моей жизни.

1866

---

# Беглец

## I

Чуть-чуть покачиваясь на затихавшей зыби и вздрагивая от быстрого хода, подходил наш клипер к берегам Калифорнии.

Было прелестное сентябрьское утро. Солнце уже высоко поднялось на ярко-голубом небе, подёрнутом белоснежным кружевом убегающих перистых облачков, и заливало палубу ярким блеском. От присмирившего океана веяло свежестью и прохладой. Дышалось полною грудью.

Обрывистые красные берега, окутанные по верхам золотистой дымкой тумана, уж отчётливо видны простым глазом. Вдали, на высоком холме у входа в бухту, белеется башня маяка. Всё чаще и чаще попадаются навстречу суда, и малютка-пароходик с ярким флагом на мачте, поднимаясь с волны на волну, несётся к клиперу. Это — лоцман, и с ним, конечно, пачка последних американских газет.

Все вышли наверх из душных кают, и палуба забелела множеством матросских чистых рубашек. Все празднично настроены. Все просветлели, охваченные радостным ожиданием «берега».

После тридцатидневного бурного перехода с постоянной качкой, тревожными вахтами со шквалами, дождём и нередкими окриками боцмана среди ночи: «Пошёл все наверх третий риф брать!», — после прискучивших консервов за обедом и однообразных разговоров в кают-компании, надоевших всем, как и физиономии друг друга, после скучных стоянок в китайских портах — эта «жемчужина Тихого океана», как называют янки Сан-Франциско, сулила немало удовольствий. Всем хочется поскорей увидеть этот диковинный город, выросший со сказочной быстротой, и среди молодых офицеров уже идут оживлённые толки о съезде на берег.

И на баке — этом матросском клубе, где устанавливаются репутации и обсуждаются все выдающиеся явления судовой жизни, — вокруг кадки с водой для курильщиков (в другом месте курить матросам нельзя) собралась толпа. И там разговоры, разумеется, о «береге».

Общий любимец, добродушный, весёлый и смелый до отчаянности марсовой Якушкин, которого все почему-то зовут Якушкой, хотя Якушке уж под сорок лет, — передаёт свои

---

впечатления о Сан-Франциско, где он был три года тому назад, когда в первый раз ходил в кругосветное плавание.

По словам Якушки, город весёлый, народ бойкий и живёт вольно, кабаков много, и водка хорошая — виска по-ихнему; табак — дрянь против нашего, зато шерстяные рубахи можно похвалить: носки и дешёвы.

— А насчёт чего другого-прочего, братцы, так дорого...

Он ухарски подмигнул бойким чёрным глазом из-под тёмных взъерошенных бровей, придававших его смуглому, широкому, скуластому лицу с шапкой на затылке забубённый вид заправского лихого матроса, прижал корявым, почерневшим от смолы пальцем огонь в своей трубочке, цыкнул по-матросски в кадку и, расставив свои короткие, крепкие босые ноги фертом, не торопясь, прибавил:

— Зато и форсисты, шельмы, я вам скажу!

— Ну?! — раздалось из толпы.

Очевидно, довольный произведённым эффектом, Якушка продолжал:

— Но только пьяного, братцы, не пушают... ни боже мой! А ежели ты пришёл пьяный, тебя сейчас мамзель честью по загривку... И не пикни! Потому у их бабам уважение. Какая ни есть, а уважать!

В толпе смеются. На многих лицах недоверие, и кто-то иронически замечает:

— Чудно что-то, Якушка!

— Чудно и есть, а только я верно вам говорю — бабу обидеть не смей!

Молодой белобрысый матросик с большими добрыми голубыми глазами, не успевший ещё потерять на службе своей деревенской складки, всё время необыкновенно внимательно слушавший Якушку, вдруг спросил, застенчиво улыбаясь:

— А какой державы, Якушка, народ?

— Американской, паря, державы.

И хотя этот ответ ровно ничего не объяснил молодому матросу, тем не менее он кивнул головой с видом удовлетворения, затаился окурком и, бросая его в кадку, заметил в форме вопроса:

— Тоже, значит, у их свой король есть?

— То-то вот, братцы, нету! — отвечал Якушка, обращаясь ко всем, таким тоном, словно бы он извинялся за американцев. — Оголтелый народ! — неожиданно прибавил он, как бы вдруг сам проникаясь странностью сообщённого факта.

— Нечего сказать, народ! — заметил кто-то в толпе.

— Однако тоже и у них есть своё начальство. Выберут про-меж себя какого-нибудь сапожника, вроде будто начальника, вот тебе и вся недолга!

---

— Без начальства шалишь, брат! — раздался чей-то голос.

— А живут, надо правду говорить, хорошо. Хо-ро-шо, братцы, живут! — продолжал Якушка. — Взять к примеру: простая мастеровщина, а харч у него завсегда мясной, и виску трескает, и хлеб пшеничный... И насчёт одёжи чистый народ! Это шляпу на затылок надел, сам в пинджаке и щиблетках, курит себе сигарку и поплёвывает. Думаешь: господин какой, а он всего-навсего — рабочий человек!.. Да у их и не узнать: кто из господ, кто из простых...

— Ишь ты! Видно, житьё? — дивуются матросы.

— Житьё и есть! Земли много у них — земля вольная. И опять же: копают золото. Копай кто хочет, заказу нет. Раздобыл — твоё счастье... Вольная сторона! В эти места, сказывают, со всего свету народ бежит.

— Который человек ежели Бога забыл, тот и бежит! — проговорил строгим внушительным тоном старик плотник Захаров. — Правильный человек не побежит... Ты живи, где тебе назначено... На своей стороне живи... вот что!

— Да и пропадёшь у этих идиолов! Ни он тебя не поймёт, ни ты его! — вставил другой матрос. — Недаром говорится: «На чужбинке — словно в домовинке!».

— И как это бросить свою сторону, да в этакую даль! — раздумчиво промолвил белобрысый матросик. — Небось наш российский сюда не побежит?

— Бога ещё помнят наши-то! — опять строго произнёс плотник.

— Однако один и наш сбежал, когда мы во Францисках стояли! — значительно проговорил Якушка.

— Наш?!

— Наш и есть... Поди ж ты!

В эту минуту подходил лоцманский пароходик, и все обратили на него внимание.

Клипер приостановил ход. Пароходик подлетел к борту, приняв на ходу брошенный с клипера «конец», и, ссадив лоцмана, пошёл прочь. Поднявшись по трапу, на палубу выскочил высокий сухощавый янки в чёрном сюртуке и высоком цилиндре, кивнул головой, проговорив приветствие, и поднялся на мостик. Там он поздоровался, первый протягивая руку, со стоявшими офицерами, отдал пачку газет, радостно сообщил, что на днях вздули южан (дело было во время междуусобной войны\*), и, заложив руки назад, зашагал по мостику.

Клипер снова пошёл полным ходом.

---

\* ...дело было во время междуусобной войны... — Имеется в виду гражданская война в США 1861—1865 гг.



---

— Ишь ведь мужлан! — сердито проговорил старый плотник, видимо недовольный американцем за его слишком свободное обращение с капитаном. — А ещё образованные люди.

И многие среди матросов были, по-видимому, шокированы, хотя и ничего не сказали.

— Так как же наш-то сбежал? Сказывай, Якушка! — нетерпеливо спросил кто-то.

Якушка оглянулся. Я стоял подле. Но присутствие юного гардемарина не смутило матроса. Он не спеша выбил золу из трубки, сунул её в штаны, обвёл взглядом теснее сдвинувшийся кружок и начал.

## II

— Был, братцы вы мои, у нашего у первого лейтенанта Прокудинова взят с собой из России крепостной лакей. Максимкой звали. Паренёк молодой и, ничего себе, башковатый, но только, надо правду сказать, много он от своего барина понапрасну бою принял.

— Сердит барин был?

— Как есть цепная собака! Чуть что не по нём или ежели какая неисправка, сейчас лезет в морду и норовит, чтобы до крови... И вовсе не жалел нашего брата — лют этто был на порку. У нас тогда, братцы, не то что теперь, при нашем «голубе»\*, шкуры матросской не жалели! Ребята так и звали Прокудинова Мордобоем... Мордобой и был! Многие из господ, которые пожалостливей, бывало, довольно даже срамили его за зверство... да ничего не брало — сердцем был зол Мордобой! Другой хоша и ударит тебя, так с пылу, а этот дьявол всегда дрался от злого сердца, с мучительством...

— Да... Есть такие... У нас вот был тоже один, так всё перстнем тыкал в зубы... Много их повышиб! — авторитетно вставил один коренастый пожилой матрос.

— Ну, и часто-таки попадало Максимке в кису, потому Максимка молчит, молчит, как покорный слуга, да вдруг и сдержничает. А уж тогда только держись! Сейчас этто Максимку на бак и прикажет всыпать... Максимка воем воеет, а Мордобой линьки считает про себя да приговаривает: «Жарь его, подлеца!». И раз, я вам скажу, здорово Максимке всыпали — очень уж он согрубил, и вовсе заскучил с той поры Максимка. При-

---

\* Так звали матросы капитана за его человеческое отношение к матросам. Ещё задолго до официального уничтожения телесных наказаний линьки и розги были изгнаны из употребления на клипере. (Прим. автора.)

---

шёл это он вечером ко мне, смотрит на море и плачет, как дитё малое, слезами. «Решусь, говорит, лучше жизни... Окиян, говорит, глыбок!» Известно, парнишко молодой, двадцати годов ещё не было! А до того жил он у портного-немца в обученье, и был этот немец, сказывал Максимка, жалостливый и справедливый немец. Максимке, значит, и терпко после хорошей жизни да к Мордобой! Ну, я всячески обнадеживаю человека: потерпи, мол, Максимка, скоро, говорю, выйдет вам вольная воля — уж тогда про волю слух прошёл, — а пока знай себе молчи и не дерзничай... Что, мол, с этим зверем связываться! И пустяков не ври, говорю. Решиться жизни — большой грех. Бог дал, Бог и возьмёт её, когда захочет! Мы, мол, не хуже тебя, а тоже терпим. Слушал это он, утёр слёзы, да и говорит: «Я, говорит, потерплю, но только долго, говорит, терпеть, Якушка, не согласен. Силушки моей на то, говорит, нет!». Хорошо. Ходили мы таким родом, братцы, по разным местам и пришли это во Франциски. Вскорости после того побывал Максимка на берегу, и как вернулся — диковина: совсем быдто другой стал Максимка — весёлый такой. Пришёл он на бак, у самого под глазом синяк — Мордобой вечор съездил, — а Максимка куражится. — «Что, Максимка, — смеются ребята, — никак твой Мордобой доллар тебе на гулянку дал?» — «Даст, дьявол, жди!» — а сам скалит зубы... В те поры мне и невдомёк, что он выдумал.

Якушка помолчал, затянул наскоро, взяв у соседа трубку, сплюнул и продолжал:

— Ладно. Простояли мы этак дён пять, вытянули ванты, выкрасились и, как справились, отпустили нашу вахту на берег. Отпросился у своего Мордобоя и Максимка. Обрядился в новый пинджак, как следует — любил он форснуть — и на баркас. Сел около меня, а сам глядит на «конверт»\* и будто глаз отвести не может. «Что, говорю, буркалы уставил? Конверта, что ли, не видал?» Смеётся. Отвалили от борта, а Максимка шляпу снял и кланяется. «Кому ты, дурак?» — «А всем, говорит, землякам родимым». Куражится, думаю, парень. Рад, что на берег урвался. А он и взаправду тогда прощался!.. Хорошо. Пристали мы к пристани. Ребята разбрелись по салунам — это у них вроде как кабаки наши, только почище будут наших, — тут же по близности, а я с двумя товарищами собрался перво-наперво в лавки — покупать рубахи. Максимка увязался с нами. И только чудной он был какой-то в тот день! Идём это мы по улицам, глаза палим, а он вдруг об России вспоминает, про деревню, как при матери рос, какая у него мать была... совсем не к месту разговор... Купили мы

---

\* Вместо «корвет» матросы всегда говорят «конверт». (Прим. автора.)

---

себе рубахи, пошлялись малость по городу и пошли назад к пристани и зашли в салун, где наши собрались. Народу пропасть! Шумят, гуляют, значит, матросики! Ну, сейчас это мы потребовали виски этой самой, сели за столик, сидим, пьём и рыбкой сладкой закусываем, слушаем, как наши песни поют, а Максимка ничего в рот не берёт. «Не хочу», говорит. Сидит и всё только на двери поглядывает. Только спросил, когда на конверт велено ворочаться. «К восьми», говорю. Прошло этак с час времени. Отошёл я к ребятам, вернулся, а уж Максимки нет. «Где Максимка?» Товарищи не знают. Кто-то говорит: «Верно, Максимка с ребятами к мамзелям ушёл». Ну, ладно. Выпили мы ещё бутылку и тоже пошли мамзелей здешних смотреть... Хороши, шельмы!

Якушка усмехнулся, повёл глазом и продолжал:

— К вечеру повалили на пристань... По дороге ещё выпили. Идём это человек пять... Я иду, маленько поотставши, и вдруг слышу — кто-то тихо окликает: «Якушка!». Гляжу, а сбоку, в узком таком проулочке, у фонаря стоит Максимка. Я к нему, и хоть был я, братцы, здорово треснувши, а вижу, что с Максимкой что-то неладное: с лица побелел, весь ровно дрожит, а только всё зубы скалит — себя куражит. «Ты что тут делаешь, Максимка? Валим, говорю, на баркас. Опоздаешь — Мордобой не погладит небось!» — «Тише, говорит, Якушка... Я, говорит, давно поджидаю тебя, хочу проститься, потому ты добёр был. Давече я побоялся при других открыться, а теперь откроюсь: на баркас я не пойду и на конверт меня больше не ждите!» Весь хмель выскочил у меня из головы. «Ополоумел ты, что ли, Максимка? Идём скорей, глупая голова!» А он своё: «Не пойду, довольно, говорит, терпеть, я здесь останусь!». Тут я давай его уговаривать: «Опомнись, Максимка! Что выдумал? Пропадёшь, говорю, как собака, на чужой стороне!» — «Не уговаривай, говорит, Якушка. Уж я, говорит, сговорился здесь с одним поляком... Я, говорит, не пропаду, а вольным человеком стану, буду по портной своей части. И есть, говорит, у меня прикопленных сорок долларов, что за починку от господ насбирал. Нарочно, говорит, для такого случая копил. А затем прощай, говорит, голубчик... догоняй своих и не поминай лихом!..» И не успел я, братцы, Максимку силком удерживать, как он фукнул в проулок, и след его простыл.

— Эка отчаянный, прости господи! — вырвалось чьё-то восклицание среди притихших слушателей.

— Догнал я, братцы, своих и ничего не сказываю. И самому боязно, как бы в ответе не быть, и Максимку жалко: пропадёт, думаю, ни за грош. Хорошо. Пришли на пристань. Мичман проверил. «Все, кажется?» — «Все, ваше благородие, кроме Максимки, лейтенантского камардина!» — отвечает

---

унтер-офицер. «Его, видно, барин ночевать отпустил! — смеётся мичман. — Не казённый он человек — садись, ребята, на баркас!» Сели и отвалили. Пристали к конверту, и сейчас же нам роздали койки. Спустился я в палубу, подвесил койку, разделся, лёг спать, но только нет у меня сна, братцы... Всё Максимка в мыслях. А как беднягу поймают? Ведь Мордобой не простит.

— Шкуру спустил бы! — вставил кто-то.

— Шкуру — шкурой, да потом в Сибирь или в солдаты... Злопамятный он, Мордобой... Только лежу это я в койке и слышу — вскорости он кричит: «Максимку послать!». (Мичман-то был добрый и не сказал, что Максимка не приехал.) «Так и так, ваше благородие, доложил вестовой, Максимка с берега ещё не вернулся». — «Ах он такой-сякой! Завтра узнает, как без спросу опаздывать! Как вернётся, тую ж минуту ко мне послать подлеца!» Ему и не в догадку, что Максимка во-все остался. Ладно. Прошёл этак день!.. Максимки нету, и тут уже, должно, Мордобой догадался, что дело неладно. Вестовые после сказывали, что озверел он в те поры совсем, забежал по кают-компании и кричит: «Со дна морского достану и на смерть заporю неверного раба!». Другие офицеры ему по-французски — стыдили, значит. После того он шарахнулся в каюту, как угорелый, — давай проверять, целы ли деньги и вещи...

— Целы? — вырвался нетерпеливый вопрос у многих слушателей.

— Всё как есть целёхонько...

— То-то! — вдруг проговорил белобрысый матросик, и всё его доброе лицо озарилось радостной улыбкой.

— Не такой Максимка был человек... Бывало, окурка попросишь, и то отказывал, чтоб не связываться, а не то чтобы... Хорошо... Вышел это Мордобой из каюты и марш к капитану с докладом, что камардин, мол, пропал. Что они там с капитаном говорили — никому не известно, но только вышел он от него, как говядина, красный. Видно: напел ему. Командир хоть и сам любил драться, но отходчивый был и зря не обижал, нечего говорить... Сейчас после того стал Мордобой доискиваться: с кем да с кем был Максимка на берегу. Призвал и меня. «Видел, говорит, Максимку?» — «Видел, говорю, ваше благородие, вместе в салуне сидели». — «А потом?» — «Не видал, говорю, ваше благородие!» — «Куда он после ушёл?» — «Не могу, мол, знать!» — «Сказывал тебе, что бежать собирается?» — «Никак нет!» — отвечаю. — «Ой, говорит, правду показывай, а не то Сидорову козу из тебя сделаю, так твою так!» И с этим словом в зубы... Раз... другой... Молчу. — «Все вы, говорит, подлецы!» И опять чешет. Кровь идёт... «Не могу знать!» Насилу отстал,

---

спустился вниз, оделся в вольную одежду\* и на берег, к концырю\*\*, чтоб объявку в полицию подать... Ну, думаю, беда... поймают теперича Максимку... Однако к вечеру Мордобой вернулся ни с чем... сердитый такой... После уж узнал я от людей, что здесь, братцы, не так-то легко разыскать человека. Почпортов нет, прозывайся, как знаешь. И если ты убежал, да ничего не украл — живи с богом, твоя воля!

— Ишь ты... Так и не искали Максимку!

— Искали. Мордобой, сказывали, сотни две долларов извёл сыщикам, чтобы Максимку заманить и силком привезти на конверт. Каждый день съезжал на берег, да только даром деньги извёл. Вскорости приехал концырь и говорит этому самому Мордобой: «Плюньте вы на вашего Максимку, ежели, говорит, он такая каналья, что от своего барина убежал, — не стоит он, подлец, чтоб из-за него хлопотать. И напрасно, говорит, вы меня не послушались, как я вам раньше объяснял. Денежки-то ваши ухнули, у вас их сыщики взяли, да Максимки не нашли. И не могли, говорит... Здесь, говорит, свои права». — «Какие-такие права?» — Мордобой спрашивает. — «А такая, говорит, уж сторона американская, что всякого к себе принимают. Ничего, мол, не поделаешь!» А Мордобой в ответ: «Довольно подлая, говорит, господин концырь, сторона, ежели не могут мне возвратить собственного лакея!»

— Так, братцы вы мои, простояли после этого дён шесть и ушли из Францисок без Максимки! — заключил Якушка и стал набивать трубку.

### III

Несколько минут длилось молчание. Все были под впечатлением рассказа.

— И решился, подумаешь, человек! — в раздумье, подавив вздох, проговорил, наконец, белокрысый матросик. — Не сusterпел, значит!

— Ддда... Видно, неумоготу было, ежели решился! — заметил кто-то.

— Поляки сбили! — промолвил Якушка.

— Поляки?

— Тут есть их! — сказал Якушка и прибавил: — Скоро, братцы, и бухта! Вот только в проливчик войдём.

---

\* Так матросы называют штатское платье. (Прим. автора.)

\*\* Концырь — искажённое консул.

---

Все стали смотреть вперёд. Клипер, плавно рассекая воду, быстро подходил к так называемым Золотым Воротам, соединяющим океан с заливом.

Толпа раздвинулась, пропуская боцмана Щукина. Он подошёл к кадке, протянул руку к Якушке за трубкой и, сделав две затяжки, спросил:

— Ты это про что, Якушка?

— Да про Максимку Прокудиновского... Помните, Матвей Нилыч...

— Как не помнить? Ещё твой приятель был! — усмехнулся боцман.

— А что ж?.. Максимка парень был тихий... Ничего себе...

Боцман помолчал и, передавая трубку Якушке, проговорил:

— Тихой? Жалко, тихого тогда не поймали! Прокудинов по-настоящему бы разделал шкуру твоему Максимке... Тогда ещё нонешних вольностей не было... Всыпали бы штук ста три линьков — закаялся бы бегать... А то ишь ты... выдумал!

И Якушка, и другие матросы молчали, но на многих лицах появились улыбки, не свидетельствовавшие о доверии к мнению боцмана насчёт спасительности «разделявания» шкуры. Щукин отлично это знал и раздражительно прибавил, махнув головой по направлению к берегу:

— Поди, сдох у этих анафем?.. Тоже... барин какой... бегать!

Опять все молчали. Только чей-то лстивый голос раздался из толпы:

— Это вы верно, Матвей Нилыч... Это вы правильно... ей-богу...

Старый боцман повёл презрительным взглядом на выдвинувшегося Трошкина, известного лодыря и подлипалу, имевшего репутацию скверного матроса, и, видимо, нарочно не обращая ни малейшего внимания на его слова, напустил на себя строгий вид и завёл речь с подошедшим покурить фельдшером.

— Известно... пропасть должен человек! — лебезил Трошкин, желая подслужиться боцману и обратить на себя внимание. — Ты рассуди сам, Якушка! Что он будет здесь делать? И опять же совесть... это как?.. Потому, ежели человек нарушил присягу и убежал от своего господина...

— Ну... ты... ври больше, шканечная мельница! Нешто Максимка присягал? — крикнул на Трошкина Якушкин.

И Трошкин тотчас же умолк.

— Бога, я говорю, забыл человек, и пропал, как нечистый пёс. И поделом! Не бе-гай... Живи, где показано. Терпи... Помни, что сказано в Писании: блаженни страждущие... Вот что! — проговорил снова назидательным тоном плотник, грамотей, любивший читать священные книги, и вышел из толпы.

---

— Ты-то терпелив очень? — проговорил кто-то ему вслед.

— Рассудили?! — раздался вдруг тихий, отчётливый, несколько взволнованный голос, и все обратили внимание на низенького белокурого человека, выделившегося из толпы. Это был унтер-офицер Лютиков.

— Рассудили?! Уж по-вашему и пропал? А по-моему, он должен Бога молить, что сподобил его Господь человеком стать, а не то что пропал! По вашему понятию, видно, только и жизни, где шкуру спускают? — иронически прибавил он, взглядывая своими большими серыми, смотревшими куда-то вдаль, глазами на боцмана. — Человека тиранили, а он... терпи! В Писании сказано? Сказано в Писании, да не то... Эх... народ... народ!

Бросив эти слова и не дожидаясь ответа, словно бы на них и не могло быть ответа, Лютиков, взволнованный и слегка побледневший, вышел из круга и, облокотившись о борт, стал смотреть жадным взором на приближавшиеся берега.

Старик Щукин побагровел и насупился. Он исподлобья бросил взгляд на матросов и, принимая вдруг строгий начальнический вид, крикнул:

— Сейчас на якорь становиться, а вы тут лясы точите... Пошёл по местам!

Матросы стали расходиться.

— Тебе, что ли, говорят, Трошкин! — неожиданно накинулся он на лебезившего матроса. — Что ползёшь, как мокрая вошь! Пшёл! — прошипел он, внезапно раздражаясь и рассыпаясь той артистическою руганью, в которой не знал себе соперников.

— Иду... Ишь, дарма ругается! — проговорил себе под нос, отходя, Трошкин, обиженный не столько руганью, сколько невниманием к его льстивым словам.

Это замечание привело боцмана в ярость. Он коршуном налетел на Трошкина и, поднося к его лицу свой здоровенный кулак, прошипел:

— Я те поговорю!..

Но Трошкин отскочил в сторону и, заметив подходившего офицера, проговорил нарочно громко, искусственно обиженным голосом:

— Нонче правов этих нет, чтобы зря драться!

— Ах ты... правов?!

И Щукин уж хотел было показать «права», но в эту минуту увидал офицера. Он только сердито крикнул, опуская кулак, и в бессильном гневе, пропустив сквозь зубы «анафему», заходил взад и вперёд по баку, бросая по временам на Лютикова взгляды, полные ненависти.



---

— Свистать всех наверх, на якорь становиться! — раздался с мостика звучный, довольно молодой голосок вахтенного мичмана.

Боцман на ходу сделал скачок назад, рысью подбежал к люку и, расставив ноги и нагнув вперёд голову, засвистал протяжным свистом в дудку и затем гаркнул во всю глотку своим осипшим, надорванным басом:

— Пошёл все наверх, на якорь становиться!

На клипере воцарилась та благоговейная тишина, которая бывает на военных судах при входе на рейд.

— Приготовиться к салюту!

Бесшумно ступая по безукоризненно чистой палубе, матросы стали у заряженных орудий, готовых приветствовать гостеприимных хозяев.

## IV

Пройдя Золотые Ворота (Golden Gate), названные так в честь вывезенного через них калифорнского золота, клипер вошёл в большой, глубоко вдавшийся залив, окаймлённый высокими, красноватыми, холмистыми берегами. Зелёные кудрявые острова с белеющими пятнами построек были рассыпаны по гладкому, чуть-чуть подёрнутому рябью заливу. Сейчас за входом высился голый остров с казармой. На нём развевается звёздный американский флаг, и в зелёные амбразуры внушительно смотрят дула орудий. Это — форт, защищающий вход от южан. Города ещё не видно из-за острова. Только громадное серое облако, поднимающееся направо, показывает близость человеческого жилья.

Все смотрят в ту сторону.

Но старый артиллерист Фома Фомич не смотрит. Ему пока не до города. Он стоит у первого орудия и то и дело взглядывает вопросительным взором на мостик, где стоят капитан, старший офицер и лоцман, и ждёт приказа начать салют. Он несколько взволнован, как бенефициант перед выходом на сцену.

— Можно начать, Фома Фомич! — говорит старший офицер, когда клипер, немного уменьшив ход, проходил мимо форта.

— Первое... пли! — командует Фома Фомич с сладостным служебным замиранием в голосе.

И, считая про себя вроде того, как певцы считают такты, «раз, два, три, четыре...» до пятидесяти, чтобы между выстрелами были одинаковые промежутки, старый артиллерист пе-

---

ребегает от орудия к орудию, командуя всё с большим оживлением: «Второе... пли! Третье... пли!..»

Выстрелы раздаются с правильными паузами, гулко раскатываясь по заливу и раздаваясь эхом в горах. Облачки белого дымка, вылетая из пушек, стелются по бокам клипера и, расплываясь, тихо тают в воздухе.

Прокомандовав своё последнее «пли» с особенным щегольством, словно певец, заканчивающий арию, Фома Фомич, сияющий и вспотевший, с видом именинника подходит к кружку офицеров, собравшемуся на шканцах. И в его красном, с выпученными глазами, лице, и в походке, и во всей невзрачной фигуре коренастого, короткошеего артиллериста чувствуется вопрос: «Каков был салют, а?». Но общее внимание поглощено берегом, все равнодушны к торжеству Фомы Фомича. Только один иеромонах Виталий одобрительно пробасил:

— Важно палили, Фома Фомич!

Несколько обиженный, что салют не прочувствован как следует, Фома Фомич отходит в сторону.

Когда дым рассеялся и клипер, обогнув остров, повернул вправо, Сан-Франциско сверкал на солнце, среди зеленеющих куп. Лес мачт в гавани был, так сказать, у его ног. Чем ближе подходил, постепенно уменьшая ход, клипер, тем отчётливее вырисовывались дома и зелёные пятна парков и садов большого города, раскинувшегося на холмах и буграх, заканчивающихся вдаль возвышенностями. Купеческие суда всевозможных форм и конструкций, начиная с быстроходного, стройного американского клипера и кончая неуклюжим, пузатым голландским «китобоем», стояли на рейде вместе с военными судами разных наций. Каждую минуту раздавались свистки, то пронзительные, то гудящие, с пароходов, пересекающих залив в разных направлениях. Вот один из них, трёхэтажный, весь белый, как снег, похожий на плавучий дом, с балансирной машиной, мерно отбивающей такт, прошёл близко от нас, полный пассажиров. С палубы несутся звуки весёлой музыки. Куда ни взглянешь — везде оживление, деятельность. Маленькие буксирные пароходики с сидящими в будках рулевыми, словно бешеные, снуют по рейду, предлагая свои услуги большим парусным кораблям, еле подвигающимся, несмотря на всю поставленную парусину, при тихом ветерке, к выходу из залива. Клубы дыма стелются над горизонтом. Яхты и шлюпки с парусами, окрашенными в яркие краски, скользят по рейду с катающимися дамами. И над всей этой оживлённой картиной — высокое, прозрачное голубое небо, откуда ласково светит солнце, заливая блеском и город, и бухту с кораблями, и острова, и окружающие пики сиерр.

---

Глядя на панораму большого города, на лес мачт в гавани, на шумное оживление рейда, с трудом верилось, что эта кипучая жизнь создалась со сказочной быстротой, и невольно вспоминалось, что ещё пятнадцать лет тому назад места эти были пустынные. Тишина их нарушалась только криком бело-снежных чаек, носившихся, как и теперь, над заливом.

Мы бросили якорь недалеко от города. Через несколько минут уж к нам явились поставщики, портные, китайцы-прачки, комиссионеры. Стол в кают-компании был завален всевозможными объявлениями. То и дело приставали шлюпки. С иностранных военных судов приезжали офицеры поздравить с приходом, и, исполнив этот обычай вежливости, существующий между военными моряками, то есть проговорив приветствие капитану и выпив затем бокал шампанского в кают-компании, — уезжали. Два репортёра, явившись первыми, собирали сведения о клипере, записывали фамилии всех офицеров, осмотрели клипер и торопились на берег, чтобы напечатать отчёт в вечерних газетах.

Скоро почти все офицеры, переодевшись в штатское платье, уехали на берег. На клипере остались те, кому приходилось стоять на вахте.

К вечеру уже из клубов, из библиотек были присланы всем именные билеты на право свободного входа и доставлены номера вечерних газет, в которых были помещены репортёрские отчёты с перевранными русскими фамилиями.

## V

Через несколько дней мне пришлось вступить на ночную вахту.

Рейдовые вахты, когда решительно нечего делать и не за чем смотреть, тянутся как-то особенно долго и скучно. Ходишь себе взад и вперёд по мостику, обойдёшь палубу, проверишь часовых и снова ходишь, пока не утомишься и не задремлешь, прислонившись к поручням.

Скоро полночь. После дневной суеты рейд стих. Корабли, слабо освещённые бледным светом молодой луны, казалось, дремлют на серебристой глади вод. Каждые полчаса с кораблей раздаются тихие удары колокола, отбивающие склянки, и снова тишина. Только из ярко освещённого города доносится неясный гул, да по временам долетают звуки музыки. На клипере давно все спят. Несколько человек вахтенных, прижимившись к орудию, коротают вахту, лясничая вполголоса, да сигнальщик похаживает по юту в ожидании скорой смены.

---

Давно уже чья-то маленькая, худощавая фигура словно приросла к борту. Это — Лютиков. Хоть он и не на вахте, а бодрствует, и всё поглядывает на берег. Накануне он был на берегу, и город, судя по его восторженным, отрывистым словам, произвёл на него сильное впечатление.

— Понравилось, видно, здесь? — спросил я, подходя к Лютикову.

Он повернул голову. Лицо его было бледно и задумчиво.

— А то как же! — проговорил он своим тихим внушительным голосом. — Вам хорошо, а нам и подавно!

И, видимо, отвечая на занимавшие его мысли, усмехнувшись, прибавил:

— А дураки вот говорят, что здесь пропадёшь... Небось он не пропал...

— Кто это?

— Да этот самый беглец... Максимка.

— Он здесь?

— Здесь. С тех пор, как ушёл, здесь живёт.

— Ты видел его?

— Видел!

Обыкновенно сдержанный и молчаливый, не любивший «лясничать» с офицерами, и если обращавшийся к нашему брату, юнцу-гардемарину, то по большей части с просьбой дать почитать книжки (до книг Лютиков был охотник), он этот раз удивил меня сообщительностью. С каким-то, тогда непонятным мне, возбуждением расхваливал он жизнь бегльца на чужбине. По словам Лютикова, Максим (а по-здешнему «мистер Макс») живёт отлично: зарабатывает портным мастерством более ста долларов в месяц, ни от кого обиды не терпит, недавно женился на чешке и не перестаёт благодарить Господа за то, что поставил его на путь. И Прокудинова добром поминает: не будь, говорит, он такой зверь, не видать бы мне хорошей жизни.

— Как есть человеком стал! И с понятием, не то что наш брат... Здесь понял он, какова воля и каково без неё людям жить! А вы думали как? Нельзя этого понять тёмному мужику? — вдруг прибавил Лютиков с вызывающей, насмешливой иронией, обычной у него в беседах, которыми он изредка удостаивал некоторых гардемарин и — чаще других — меня.

— А по России не скучает? — спросил я.

— Может, и скучает, да Мордобоя не хочет. И кулик чужу сторону знает, и журавль тепла ищет — человек и подавно. Сладко, что ли, с Прокудиновым было жить? В России что наш брат? Последний опорок, помыкай, кто хочет... А здесь он — вольный человек, свои права имеет. Всякому это лестно, как вы думаете?... Это вот разве Щукину в обиду... Ему — плюй в глаза — всё божья роса!

---

— Разве ты не скучал бы по родине?

— А не знаю, не пробовал! — усмехнулся Лютиков и продолжал: — По-аглицки так и чешет теперь Максимка... И газеты, и книжки читает: одно слово — человек с рассудком! При охоте, чай, не мудрость языку научиться. Как вы полагаете?

— Полагаю, не мудрено.

— То-то и я думаю... Дда... живут же люди! — вздохнул он. — Как хочешь, молись Господу, никто твоей совести не неволит... — прибавил Лютиков строго. — И люди у них все равны... Президент-то ихний — дровосеком был\*... Наши и не поверят!

Лютиков замолчал и немного погодя спросил:

— Долго мы простоим здесь?

— Кажется, недели полторы. А что?

— Ничего... Так спросил.

И затем Лютиков опять задал вопрос:

— Верно, команду ещё отпустят на берег?

— Я думаю, отпустят.

— Не слыхали, когда?

— Не знаю... Да если тебе хочется на берег, отпросись у старшего офицера. Тебя во всякое время и не в очередь отпустят. Хочешь, я скажу завтра старшему офицеру? — предложил я, зная щепетильность Лютикова.

— Нет, благодарю вас... Уж я со всеми съеду...

— Когда ещё отпустят!

— Подожду...

Я хотел было продолжать разговор, но Лютиков, видимо, не желал этого. Он неохотно и скупно подавал реплики, под конец смолк и ушёл вниз. Я опять зашагал по мостику и, наконец, задремал. Бой склянок пробудил меня. Я отправился на бак проверить часовых, гляжу — Лютиков стоит у борта, не спуская глаз с берега.

— Что это ты не спишь, Лютиков?.. Уж не собираешься ли остаться в Сан-Франциско? — пошутил я.

Лютиков резко ответил, что ему нездоровится, ушёл скоро вниз и больше не показывался.

Мне показалось, что шутка моя смутила его. Но в ту пору я не обратил на это внимания. Только потом я невольно припомнил и его смущение, и его разговор в эту ночь.

---

\* Президент-то ихний — дровосеком был... — Имеется в виду Авраам Линкольн (1809—1865), который прежде, чем быть избранным в президенты США (1860—1865 гг.), работал подёнщиком, плотником, лесорубом, землемером и т.д.

---

## VI

Оригинальный человек был этот Лютиков. Он резко выделялся из общего уровня. И взгляды его, и суждения, вырывавшиеся случайно, и пытливый, несколько озлобленный ум, и характер его отношений к офицерам и матросам — всё это было не совсем обыкновенно в матросе, да ещё в матросе крепостного времени. Недаром и дальнейшая его судьба была тоже не совсем обычайна.

Это был молчаливый, необыкновенно сдержанный человек лет тридцати пяти, худощавый, низенький, крепкий блондин, с русыми волосами, окаймлявшими самое обыкновенное, скорее некрасивое, чем красивое, простое русское лицо. Обличьем он совсем не походил на обычные типы матросов. В его маленькой, словно подобранной в себя, фигуре не было ни выражения удали, ни того особого забубённого матросского шика в манерах, речах, ношении костюма, который бывает у долго прослуживших лихих матросов. С виду Лютиков казался даже не бравым, но в первый же шторм, выдержанный клипером в Немецком море, он показал находчивость и бесстрашие видавшего виды моряка. Он не брал в рот ни капли вина, не курил, никогда не ругался, держал себя строго и серьёзно и нередко в свободное время читал Евангелие и жития святых, пока впоследствии не увлёкся и иными книгами. Ходили слухи, что Лютиков раскольник, но о религиозных вопросах он никогда не говорил и терпимо относился к чужим вероисповеданиям. Однажды он с сердцем упрекал двух матросов, вздумавших как-то смеяться над религиозными обрядами матроса-татарина.

Но более всего поражало в Лютикове — это чувство собственного достоинства, с каким он держал себя со всеми, и особенно с офицерами. В его сдержанных манерах, в твёрдом, серьёзном выражении взгляда, в толковых, коротких ответах было что-то такое, что невольно внушало уважение; в то же время чувствовалось, что под наружной сдержанностью Лютикова возможна буря, что этот, смирный с виду, человек не снесёт безнаказанно оскорбления. И все обращались с Лютиковым не так, как с другими. Даже те офицеры, которые не привыкли стесняться в выражениях с матросами, стеснялись с Лютиковым и никогда не бранили его площадной бранью.

Впрочем, и трудно было придраться к нему. Своим безукоризненным поведением он, словно щитом, прикрывался от возможности каких бы то ни было столкновений. Натура самолюбивая, он точно всегда был настороже, особенно первое время плавания, пока Лютикова не узнали и к нему не установились известные отношения.

---

Он был лучший унтер-офицер, отличный рулевой, первый стрелок. Всякая работа как-то спорилась у него в руках и под его присмотром. На грот-марсе, где он заведовал, работали лучше, чем на других марсах, и работали основательно, а не напоказ. Лютиков был исполнителен до педантизма и усерден, но в его усердии не было и тени угодливости или желания отличиться в глазах начальства. Он избегал всякой похвалы или принимал её с суровым равнодушием человека, не придающего ей никакой цены.

Он держался особняком, не сближаясь с «баковой аристократией», т.е. с боцманами, унтер-офицерами, фельдшером и писарями; не сходилась Лютиков и со старыми матросами, зато он необыкновенно мягко и тепло относился к молодым матросам, попавшим от сохи в море. Как-то случилось само собою, что он взял их в начале плавания под своё покровительство. Он учил их морскому делу, ободрял трусливых во время непогоды и нередко защищал безответных от нападок боцмана, причём громко говорил, что они сами виноваты, если позволяют боцману драться несмотря на категорическое запрещение капитана. К Шукину, отчаянному ругателю и любителю драться, Лютиков относился с некоторым презрением и не удостаивал его споров. В свою очередь и старик боцман ненавидел от всей души Лютикова.

— Ему, подлецу, в арестантских ротах быть за его понятия, а не то что унтер-офицером! — говорил он, бывало, в интимных беседах с такими же стариками, возмущавшимися, как и он, новыми порядками.

Эта ненависть, помимо разницы взглядов, питалась ещё и подозрительностью Шукина, видевшего в Лютикове конкурента. Не раз уже старший офицер страдал боцмана, что его за пьянство разжалуют из боцманов... Кому же в таком случае быть боцманом, как не Лютикову? Его хорошо знал и капитан — по прежней службе, он же его и взял на клипер, и была молва, что Лютикову ещё давно предлагали быть боцманом, но он отказался от этой чести.

Среди матросов Лютиков пользовался большим авторитетом, его уважали, но он был несколько чужой им, и эта разница чувствовалась сама собой в осторожно-почтительных отношениях, установившихся к нему со стороны матросов.

— Башковатый человек, что и говорить! — говорил про него Якушка. — И жизни правильной... Ему бы не матросом быть...

— А кем? — спрашивал я.

— Да по другой какой части...

— Почему?



---

— Умён он очень для матросской жизни... Это не годится... И гордыня в нём есть, даром, что тих... Нашего брата обидь — оботрёмся, а Лютиков — нет!

— Разве это худо?

— Хорошо ли, худо, да не к нашему рылу! — отвечал Якушка.

Лютиков был из зажиточной раскольничьей семьи архангельских поморов\*. Отец его, человек строгого благочестия, был одним из видных и влиятельных сектантов. С юных лет Лютиков выезжал с отцом на рыбачий промысел. Эти плаванья на карбасе в открытом море развили в мальчишке энергию, приучили к опасностям, заставили полюбить природу. По зимам он жил в глухом лесном скиту, где нередко подолгу жила беглецы, скрывавшиеся от преследований за веру. Там, у старой тётки, начётчицы\*\*, суровой фанатички, мальчик выучился грамоте и письму, и там же в долгие зимние вечера слушал, бывало, нескончаемые рассказы гонимых странников и бегунов о притеснениях, испытываемых русскими людьми, искавшими религиозной правды. В этой-то среде религиозного фанатизма, подвижничества и озлобления креп религиозный пыл впечатлительного мальчика и питалась ненависть...

Лютиковых долго не трогали. Благодаря взяткам местным властям скит держался и раскольники покупали право молиться по-своему. Лютиков, живший с отцом в ближней деревне, собирался было жениться, как в 1852 году, совершенно для раскольников неожиданно, случился погром. Ночью налетели чиновники, запечатали скит, арестовали живших там, и наутро арестовали всю семью Лютикова. Дело тянулось долго при старых судах. Три года высидели Лютиковы в остроге.

— В те поры обо многом передумал я, — рассказывал однажды Лютиков, вспоминая эти годы. — Признаться, уж тогда я начинал смущаться в нашей вере... Очень уж мы были к другим строги... Кто не по-нашему молился, того ровно поганым считали... Не то Спаситель наш проповедовал...

Лютиков замолчал и поглядывал на даль темневшего океана. Ночь была чудная, нежная, одна из тех прелестных ночей, какие бывают в тропиках. Мы стояли с Лютиковым на вахте. Делать на вахте было нечего, не приходилось шевелить «брасом». Подымаясь с волны на волну, шёл себе клипер под всеми парусами, подгоняемый ровно дующим пассатом,

---

\* Архангельские поморы — жители беломорского побережья, традиционно придерживавшиеся старообрядчества беспоповщинского толка.

\*\* Начётчица, начётчик — у старообрядцев — человек, начитанный в богослужебных книгах печати до реформы XVII века и их толкователь.

---

узлов по восьми, и вахтенные матросы, усевшись кучками, коротали вахту в тихих разговорах. Только вахтенный офицер ходил взад и вперёд по мостику, поглядывая по временам на горизонт, не темнеет ли где шквалистое облачко, да покрикивая изредка часовым на баке: «вперёд смотреть!».

— Чем же кончилось дело? — спросил я после того, как Лютиков смолк.

— Известно, чем кончались такие дела!.. — с озлоблением промолвил Лютиков. — Много народу пошло в Сибирь, а меня сдали в матросы...

— Живы отец с матерью?

— Умерли... Никого почти из родных не осталось в живых. Брат старший есть, ну да тот давно Бога забыл...

Всё это Лютиков рассказывал уж после того, как между нами установились более или менее близкие отношения. В начале плавания, когда я, заинтересованный Лютиковым, обратился было к нему с разными вопросами, он отвечал сухо и неопределённо, с насмешливой улыбкой, говорившей, казалось: «тебе какое дело?».

Это меня обидело несколько. В качестве либерального юнца, искавшего сближения с матросами, я наивно полагал, что выражаю сочувствие, и не сообразил тогда, сколько было грубой неделикатности в этих расспросах молодого барчука. Все дальнейшие мои попытки вызвать Лютикова на разговор не имели успеха. Лютиков, видимо, относился ко мне с тем же подозрительным недружелюбием, сдерживаемым различием положений, в форме сухой почтительности, — с какими относился вообще ко всем офицерам. Только к одному капитану он, по-видимому, питал нежные чувства, а когда капитан обращался иногда к Лютикову с приветливым словом, Лютиков бывал доволен.

Вскоре, однако, неприязненность его мало-помалу прошла. Он сделался общительнее, сам вступал в разговоры, просил книжек и требовал объяснений, если не понимал прочитанного.

Эта перемена в Лютикове произошла после того, как он побывал первый раз в своей жизни в иностранном порте. Это был Лондон, куда клипер зашёл на несколько времени для починки в доки.

Лондон произвёл на Лютикова громадное впечатление. Он вернулся на клипер очарованный. На другой же день он первый заговорил со мной, восторгаясь всем виденным и расспрашивая, как живут люди в чужих землях и почему всё там не так, как у нас.

Он побывал на берегу ещё раз, и вскоре после этого обратился с просьбой дать ему почитать книжку о чужих землях.

---

Я дал ему какое-то путешествие, бывшее в библиотеке. Через несколько дней он возвратил книгу и просил других. После того он то и дело обращался то ко мне, то к кому-нибудь из гардемарин с вопросами. Достоин внимания, для характеристики Лютикова, что вопросы его главным образом касались общественного и религиозного устройства. Видно было, что мысль его деятельно работала.

Другие европейские порты усиливали первое впечатление. Лютикову всё нравилось, всё казалось непохожим на то, что он видел прежде. Он пристрастился к чтению, и особенно любил книги исторического содержания. В его уме всё виденное и прочитанное складывалось в представление чего-то яркого и необычайного, и в разговорах его чаще прежнего прорывалась нота озлобления при рассказах о жизни на родине. Я не раз вступал с ним в споры, доказывая, что он слишком увлекается видимым блеском заграничной жизни и что не всё там так хорошо, как кажется, но он не верил моим словам. Лютиков принадлежал к числу тех самостоятельных натур, которые до всего доходят пытливостью своего ума.

Когда я, бывало, спрашивал Лютикова, чем думает он заняться по выходе в отставку (срок его службы кончался по возвращении в Россию), он обыкновенно отвечал, что и сам не знает.

— А в ластовые офицеры?... Выдержать экзамен не важность...

— Нет, уж куда... Ни пава ни ворона... Видал я ластовых и шкиперов... Тоже... офицеры из нижних чинов... Федот, да не тот!..

## VII

Целую неделю на клипере была работа. Переменили и вооружили новую грот-марса-рею. Лютиков был занят с утра до вечера и работал с обычным своим усердием. Тем не менее я замечал в нём какую-то перемену. Нередко, проработавши весь день на марсе, Лютиков, вместо того, чтобы идти спать, долго ходил наверху, серьёзный, задумчивый, словно бы удручённый какими-то думами. Я спросил, что с ним. Он коротко и сухо отвечал, что «ничего», видимо избегая разговоров.

Когда работы были окончены и я узнал, что через несколько дней команду спустят на берег, я поспешил сообщить об этом Лютикову, рассчитывая обрадовать его этой новостью. Но, к изумлению моему, он принял это сообщение не только без радости, а, напротив, как будто с неприятным чувством.

---

— Разве тебе не хочется на берег? Сан-Франциско тебе так понравился?

Он промолчал.

— Правда — сегодня на баке рассказывали, — будто капитан от нас уходит?

Действительно, пришедший накануне корвет привёз слух, будто наш капитан получает другое назначение, и что к нам на клипер будет назначен капитаном один из старших офицеров, известный на эскадре как человек крутой, суровый, школивший матросов по обычаю прежнего времени.

Я передал Лютикову, что слухи были.

— Другие порядки, значит, пойдут! — проговорил Лютиков. — Такого, как наш капитан, редко найдёшь... Хороший капитан, и людям жить можно, а как попадёт какой-нибудь зверь — мука пойдёт... Опять пороть людей будут...

— Ведь ты знаешь, что телесные наказания отменены. Недавно приказ читали...

— Мало ли что отменено, а небось на других судах и порют, и в зубы бьют! — с насмешливой злостью возразил Лютиков. — И теснить людей по закону запрещено, и грабить запрещено, а люди людей и теснят, и грабят! И староверам по закону по-своему молиться можно, а небось, коли не заткнёшь пасть деньгами, нельзя... Всё можно, только не нашему брату! — прибавил он с каким-то страстным озлоблением. — Да и вам, господа, всё можно, да не очень! — с иронией продолжал он.

Через день в Сан-Франциско пришёл адмирал, и слухи о новом назначении капитана подтвердились. Все, и офицеры, и матросы, искренно сожалели, что капитан оставляет клипер. Только один Лютиков, по-видимому, не разделял общего сожаления. После этого известия он даже повеселел, что крайне удивило меня в ту пору.

В тот же день командупустили на берег. Лютиков уехал необыкновенно весёлый. Никогда не видал я его в таком хорошем настроении.

Вечером, когда мы сидели в кают-компании за чаем, гардемарин, ездивший с командой на берег, доложил старшему офицеру, что все вернулись, исключая Лютикова.

Старший офицер удивился, зная пунктуальную аккуратность Лютикова. Он предположил, что случилось что-нибудь особенное, если Лютиков опоздал на шлюпку, и приказал одному из офицеров завтра пораньше ехать в город навести справки о Лютикове через консула. Никто, разумеется, и не подозревал, что Лютиков мог дезертировать.

Посланный офицер вернулся, не узнавши ничего.

Прошёл ещё день. Старший офицер начинал беспокоиться. Уж не заболел ли Лютиков?.. Он хотел было снова посылать

---

офицера на берег за справками, как капитанский вестовой доложил ему, что его просит к себе капитан. Через четверть часа наш милейший Василий Иванович вернулся взволнованный. Несколько времени он сидел молча, нервно теребя усы, и наконец таинственно сообщил на скверном французском диалекте, что Лютиков бежал.

Это известие поразило всех. В первую минуту никто не хотел верить, что Лютиков мог бежать.

— И я, господа, никогда не поверил бы... Такой отличный был унтер-офицер, и вдруг...

Он рассказал, что капитан только что получил письмо от Лютикова. В письме он просит у капитана прощения за свой поступок и — вообразите! — сообщает, что давно задумал бежать и что намерение это ускорилося известием об уходе капитана.

Старший офицер просил нас держать бегство Лютикова в секрете от матросов, чтобы не произвести дурного впечатления.

— Если бы бежал какой-нибудь негодяй, а то лучший унтер-офицер. Чёрт знает что такое! — прибавил в недоумении старший офицер.

На следующий день Василий Иванович объявил боцману Шукину, что Лютиков утонул, купаясь на берегу. Боцман выслушал молча, но с видимой недоверчивостью.

## VIII

Дня через три после этого клипер ранним утром снимался с якоря. Опять все были наверху, но настроение всех было не такое праздничное, как при входе на рейд. Выйдя из оживлённой бухты, клипер на минуту остановился, чтобы спустить лоцмана, затем мы прекратили пары и вступили под паруса. С ровным свежим ветром клипер быстро уходил от обрывистых красных берегов Калифорнии.

Когда подвахтенных просвистали вниз, кучка матросов по обыкновению собралась на баке вокруг кадки с водой. Молча посматривали матросы на убегающий берег, изредка перекидываясь краткими замечаниями. Кто-то из молодых матросов заговорил было о Лютикове, но ни одна душа не поддержала разговора. Все сердито взглянули на говорившего, видимо избегая высказывать свои мнения.

— Беспременно сбежал, анафема! — проговорил вдруг Шукин, обращаясь к одному старику плотнику, но, очевидно, говоря для всех. — Чем отплатил за доброту, подлец! Сраму

---

сколько одного... Русский унтерцер — и поди ты!.. Вот они, эти порядки новые... Распут один! — с злорадством прибавил боцман, окидывая суровым взглядом матросов. — Прежде матросы не бегали... не срамили флота... Как же! Грамотей был, тоже книжки читал... А выходит — сволочь!

И расходившийся боцман продолжал косить ненавистного ему Лютикова.

Но матросы слушали боцмана в угрюмом молчании. Один за одним уходили они прочь, и скоро Щукин остался в компании двух-трёх человек.

— Так Григорьич, значит, не утонул, Якушка? — тихо спросил у Якушки тот самый белобрысый молодой матросик, который интересовался знать, какой державы американцы.

— А ты и поверил, простота, что господа говорили? — усмехнулся Якушка. — Григорьич недаром на берегу с Максимкой путался!..

— Помоги ему Господь! — прошептал в ответ матросик и перекрестился.

— Небойсь, Григорьич не пропадёт у американцев... Башковатый он человек, Григорьич. Он, братец ты мой, до всего дойдёт... Однако свежеет!.. Ишь, зайцы-то расходились! — вдруг круто переменял разговор Якушка, увидав подходящего офицера.

Ветер крепчал, посвистывая в снастях. Словно птица, расправившая могучие крылья, клипер, накренившись набок, нёсся все быстрее и быстрее, легко перепрыгивая с волны на волну и раскачиваясь. Седые гребешки волн, с шумом разбивающихся о бок вдрагивающего клипера, всё чаще и чаще обдавали брызгами палубу... Скоро берега скрылись из глаз. Кругом одна беспредельная холмистая равнина бушующего океана да небо, покрытое бегущими облаками... Вдали, на горизонте, собирались тяжёлые свинцовые тучи.

1886

---

# «Человек за бортом!»

## I

Жара тропического дня начинала спадать. Солнце медленно катилось по горизонту.

Подгоняемый нежным пассатом, клипер нёс свою парусину и бесшумно скользил по Атлантическому океану, узлов по семи. Пусто кругом: ни паруса, ни дымка на горизонте! Куда ни взглянешь, всё та же безбрежная водяная равнина, слегка волнующаяся и рокочущая каким-то таинственным гулом, окаймлённая со всех сторон прозрачной синевой безоблачного купола. Воздух мягок и прозрачен; от океана несёт здоровым морским запахом.

Пусто кругом.

Изредка разве блеснёт под лучами солнца яркой чешуйкой, словно золотом, перепрыгивающая летучая рыбка, высоко в воздухе прореет белый альбатрос, торопливо пронесётся над водой маленькая петрель, спешащая к далёкому африканскому берегу, раздастся шум водяной струи, выпускаемой китом, и опять ни одного живого существа вокруг. Океан да небо, небо да океан — оба спокойные, ласковые, улыбающиеся.

— Дозвольте, ваше благородие, песенникам песни петь! — спросил вахтенный унтер-офицер, подходя к офицеру, лениво шагающему по мостику.

Офицер утвердительно махнул головой, и через минуту стройные звуки деревенской песни, полной шири и грусти, разнеслись среди океана.

Довольные, что после дневной истомы наступила прохлада, матросы толпятся на баке, слушая песенников, собравшихся у баковой пушки. Завзятые любители, особенно из старых матросов, обступив певцов тесным кружком, слушают сосредоточенно и серьёзно, и на многих загорелых, обветрившихся лицах светится безмолвный восторг. Подавшийся вперёд широкоплечий сутулый старик Лаврентьев, «основательный» матрос из «баковщины», с жилистыми просмолёнными руками, без пальца на одной руке, давно оторванного марсафалом, и цепкими, слегка вывернутыми ногами, — отчаянный пьяница, которого с берега привозят всегда в бесчувствии и с разбитой физиономией (он любил лезть в драку с иностранными матросами за то, что они, по его мнению,



---

«не пьют настояще, а только куражатся», разбавляя водой крепчайший ром, который он дует гольём), — этот самый Лаврентьич, слушая песни, словно замер в какой-то истоме, и его морщинистое лицо с красно-сизым, как слива, носом и щетинистыми усами, обыкновенно сердитое, точно Лаврентьич чем-то недоволен и сейчас выпустит фонтан ругани, — смотрит теперь необыкновенно кротко, смягчённое выражением тихой задумчивости. Некоторые матросы тихонько подтягивают; другие, рассевшись по кучкам, вполголоса разговаривают, выражая по временам одобрение то улыбкой, то восклицанием.

И в самом деле, хорошо поют наши песенники! Голоса в хоре подобрались все молодые, свежие и чистые, и спелись отлично. Особенно приводил всех в восторг превосходный бархатный тенорок подголоска Шутикова. Этот голос выделялся среди хора своей красотой, забираясь в самую душу чарующей искренностью и теплотой выражения.

— За самое нутро хватает, подлец, — говорили про подголоска матросы.

Песня лилась за песнею, напоминая матросам среди тепла и блеска тропиков далёкую родину с её снегами и морозами, полями, лесами и чёрными избами, с её близкими сердцу бездольем и убожеством...

— Вали плясовую, ребята!

Хор грянул весёлую плясовую. Тенорок Шутикова так и заливался, так и звенел теперь удалством и весельем, вызывая невольную улыбку на лицах и заставляя даже солидных матросов поводить плечами и притопывать ногами.

Макарка, маленький бойкий молодой матросик, давно уже чувствовавший зуд в своём поджаром, словно в себя подобранном теле, не выдержал и пошёл отхватывать трепака под звуки залихватской песни, к общему удовольствию зрителей.

Наконец пение и пляска кончились. Когда Шутиков, сухощавый, стройный чернявый матрос, вышел из круга и пошёл курить к кадке, его провожали одобрительными замечаниями.

— И хорошо же ты поёшь, ах, хорошо, пёс тебя ешь! — заметил растроганный Лаврентьич, покачивая головой и прибавляя в знак одобрения непечатное ругательство.

— Ему бы подучиться, да ежели, примерно, генерал-бас понять, так хучь в оперу! — с апломбом вставил молодой наш писарь из кантонистов Пуговкин, щеголявший хорошим обращением и изысканными выражениями.

Лаврентьич, не терпевший и презиравший чиновников как людей, по его мнению, совершенно бесполезных на судне, и считавший как бы долгом чести при всяком случае обры-

---

вать их, насупился, бросил сердитый взгляд на белокурого, полнотелого, смазливового писарька и сказал:

— Ты-то у нас опера!.. Брюхо отрастил от лодырства — и вышла опера!..

Среди матросов раздалось хихиканье.

— Да вы понимаете ли, что такое обозначает опера? — заметил сконфуженный писарёк. — Эх, необразованный народ! — тихо проговорил он и благоразумно поспешил скрыться.

— Ишь какая образованная мамзеля! — презрительно пустил ему вслед Лаврентьич и прибавил, по своему обыкновению, забористую ругань, но уже без ласкового выражения...

— То-то я и говорю, — начал он, помолчав и обращаясь к Шутикову, — важно ты поёшь песни, Егорка...

— Уж что и толковать. Он у нас на все руки. Одно слово... молодца Егорка!.. — заметил кто-то.

В ответ на одобрения Шутиков только улыбался, скаля белые ровные зубы из-под добродушных пухлых губ.

И эта довольная улыбка, ясная и светлая, как у детей, стоявшая в мягких чертах молодого, свежего лица, подёрнутого краской загара, и эти большие тёмные глаза, кроткие и ласковые, как у щенка, и аккуратная, подобранная сухощавая фигура, крепкая, мускулистая и гибкая, не лишённая, однако, крестьянской мешковатой складки, — всё в нём притягивало и располагало к себе с первого раза, как и чудный его голос. И Шутиков пользовался общей приязнью. Все любили его, и он всех, казалось, любил.

Это была одна из тех редких счастливых жизнерадостных натур, при виде которых невольно делается светлее и радостнее на душе. Такие люди — какие-то прирождённые философы-оптимисты. Его весёлый, сердечный смех часто раздавался на клипере. Бывало, он что-нибудь рассказывает и первый же заразительно, вкусно смеётся. Глядя на него, и другие невольно смеялись, хотя в рассказе Шутикова иногда и не было ничего особенно смешного. Оттачивая какой-нибудь блочок, отскабливая краску на шлюпке или коротая ночную вахту, примостившись на марсе за ветром, Шутиков обыкновенно тихо подпевал какую-нибудь песенку, а сам улыбался своей хорошей улыбкой, и всем было как-то весело и уютно с ним. Редко когда видели Шутикова сердитым или печальным. Весёлое настроение не покидало его и тогда, когда другие готовы были упасть духом, и в такие минуты Шутиков был незаменим.

Помню я, как однажды мы штормовали. Ветер ревел жестокий, кругом бушевала буря, и клипер под штормовыми парусами бросало, как щепку, на океанском волнении, гото-

---

вом, казалось, поглотить в своих гребнях утлое судёнышко. Клипер вздрагивал и жалобно стонал всеми членами, сливая свои жалобы со свистом ветра, завывающего в надувшихся снастях. Даже старики матросы, выдавшие всякие виды, угрюмо молчали, пытливо поглядывая на мостик, где словно приросла к поручням высокая, закутанная в дождевик фигура капитана, зорко взглядывавшего на беснующуюся бурю.

А Шутиков в это время, придерживаясь одною рукою за снасти, чтоб не упасть, занимал небольшую кучку молодых матросов, с испуганными лицами прижавшихся к мачте, посторонними разговорами. Он так спокойно и просто «лясничал», рассказывая про какой-то забавный деревенский случай, и так добродушно смеялся, когда долетавшие брызги волн попадали ему в лицо, что это спокойное настроение невольно передавалось другим и ободряло молодых матросов, отгоняя всякую мысль об опасности.

— И где это ты, дьявол, насобачился так ловко горло драть? — снова заговорил Лаврентьич, посасывая носогрейку с махоркой. — Пел у нас на «Костенкине» один матросик, надо правду сказать, что форменно, шельма, пел... да всё не так забористо.

— Так, самоучкой, в пастухах когда жил. Бывало, стадо разбредётся по лесу, а сам лежишь под берёзкой и песни играешь... Меня так в деревне и прозывали: певчий пастух! — прибавил Шутиков, улыбаясь.

И все почему-то улыбнулись в ответ, а Лаврентьич, кроме того, трепанул Шутикова по спине и, в виде особого расположения, выругался в самом нежном тоне, на который только был способен его испытый голос.

## II

В эту минуту, расталкивая матросов, в круг торопливо вошёл плотный пожилой матрос Игнатов.

Бледный и растерянный, с непокрытой коротко остриженной круглой головой, он сообщил порывистым от злобы и волнения голосом, что у него украли золотой.

— Двадцать франков! Двадцать франков, братцы! — жалобно повторял он, подчёркивая цифру.

Это известие смутило всех. Такие дела бывали редкостью на клипере.

Старики нахмурились. Молодые матросы, недовольные, что Игнатов внезапно нарушил весёлое настроение, более с испуганным любопытством, чем с сочувствием, слушали,

---

как он, задыхаясь и отчаянно размахивая своими опрытными руками, спешил рассказать про все обстоятельства, сопровождавшие покражу: как он ещё сегодня после обеда, когда команда отдыхала, ходил в свой сундучишко, и всё было, слава богу, целёхонько, всё на своём месте, и как вот сейчас он пошёл было за сапожным товаром — и... замок, братцы, сломан... двадцати франоков нет...

— Это как же? Своего же брата обкрадывать? — закончил Игнатов, обводя толпу блуждающим взглядом.

Его гладкое, сытое, чисто выбритое, покрытое крупными веснушками лицо с небольшими круглыми глазами и острым, словно у ястреба, загнутым носом, отличавшееся всегда спокойной сдержанностью и довольным, степенным видом неглупого человека, понимающего себе цену, теперь было искажено отчаянием скряги, который потерял всё имущество. Нижняя челюсть вздрагивала; круглые его глаза растерянно перебегали по лицам. Видно было, что покража совсем его расстроила, обнаружив его кулацкую, скаредную натуру.

Недаром же Игнатов, которого некоторые матросы уж начинали почётно величать Семёнычем, был прижимистым и жадным к деньгам человеком. Он и в кругосветное плавание пошёл, вызвавшись охотником и оставив в Кронштадте жену — торговку на базаре — и двоих детей, с единственной целью прикопить в плаваньи деньжонок и, выйдя в отставку, заняться в Кронштадте по малости торговлей. Он вёл крайне воздержанную жизнь, вина не пил, на берегу денег не тратил. Он копил деньги, копил их упорно, по грошам, знал, где можно выгодно менять золото и серебро, и под большим секретом давал мелкие суммы займы за проценты надёжным людям. Вообще Игнатов был человек оборотистый и рассчитывал сделать хорошее дело, привезя в Россию для продажи сигар и кое-какие японские и китайские вещи. Он и раньше уж занимался такими делишками, когда плывал по летам в Финском заливе: в Ревеле, бывало, закупит килек, в Гельсингфорсе сигар и мамуровки, и с выгодой перепродаст в Кронштадте.

Игнатов был рулевым, служил исправно, стараясь ладить со всеми, дружил с баталером и подшкипером, был грамотен и тщательно скрывал, что у него водятся деньжонки, и притом для матроса порядочные.

— Это бесприменно подлец Прошка, никто, как он! — закипая гневом, взволнованно продолжал Игнатов. — Даве он всё вертелся в палубе, когда я ходил в сундук... Что ж теперь с этим подлецом делать, братцы? — спрашивал он, обращаясь преимущественно к старикам и как бы ища их поддерж-

---

ки. — Неужто я так и решусь денег?.. Ведь деньги-то у меня кровные... Сами знаете, братцы, какие у матроса деньги... По грошам собирал... чарки своей не пью... — прибавил он униженным, жалобным тоном.

Хотя никаких других улик, кроме того, что Прошка «даве вертелся в палубе», не было, тем не менее и сам потерпевший, и слушатели не сомневались, что украл деньги именно Прошка Житин, не раз уже попадавшийся в мелких кражах у товарищей. Ни один голос не раздался в его защиту. Напротив, многие возмущённые матросы осыпали предполагаемого вора бранью.

— Этакий мерзавец!.. Только срамит матросское звание... — с сердцем сказал Лаврентьич.

— Да-да... Завелась и у нас паршивая собака...

— Надо его теперь проучить, чтобы помнил, лодырь беспутный!

— Так как же, братцы? — продолжал Игнатов. — Что с Прошкой делать?.. Ежели не отдаст он добром, я попрошу доложить старшему офицеру. Пусть по форме разберут.

Но эта приятная Игнатову мысль не нашла на баке поддержки. На баке был свой особенный, неписанный устав, строгими охранителями которого, как древле жрецы, были старые матросы.

И Лаврентьич первый энергично запротестовал.

— Это, выходит, с лепортом по начальству? — презрительно протянул он. — Кляузы заводить? Забыл, видно, с перепугу он матросскую правилу? Эх, вы... народ! — И Лаврентьич для облегчения помянул «народ» своим обычным словом. — Тоже выдумал, а ещё матросом считаешься! — прибавил он, бросая на Игнатова не особенно дружелюбный взгляд.

— По-вашему как же?

— А по-нашему так же, как прежде учивали. Избей ты собачьего сына Прошку вдрызг, чтобы помнил, да отыми деньги. Вот как по-нашему.

— Мало ли его, подлеца, били! А ежели он не отдаст?.. Так, значит, и пропадать деньгам? Это за что же? Пусть уж лучше форменно засудят вора... Таковую собаку нечего жалеть, братцы.

— Жаден ты к деньгам уж очень, Игнатов... Небось Прошка не все украл... Ещё малость осталась? — иронически промолвил Лаврентьич.

— Считал ты, что ли?

— То-то не считал, а только не матросское это дело — кляузы. Не годится! — авторитетно заметил Лаврентьич. — Верно ли я говорю, ребята?

И все почти «ребята», к неудовольствию Игнатова, подтвердили, что кляузы заводить не годится.

---

— А теперь веди сюда Прошку! Допроси его при ребятах! — решил Лаврентьич.

И Игнатов, злой и недовольный, подчинился, однако, общему решению и пошёл за Прошкой.

В ожидании его матросы теснее сомкнули круг.

### III

Проход Житин, или, как все пренебрежительно называли его, Прошка, был самым последним матросом. Попавший в матросы из дворовых, отчаянный трус, которого только угроза порки могла заставить подняться на марс, где он испытывал неодолимый физический страх, лентяй и лодырь, отлынивавший от работы, и ко всему этому нечистый на руку, Прошка с самого начала плавания стал в положение какого-то отверженного парии. Все им помыкали; боцмана и унтер-офицеры походя, и за дело, и так, здорово живёшь, ругали и били Прошку, приговаривая: «У, лодырь!». И он никогда не протестовал, а с какой-то привычной тупой покорностью забитого животного переносил побои. После нескольких мелких краж, в которых он был уличён, с ним почти не разговаривали и обращались с пренебрежением. Всякий, кому не лень, мог безнаказанно обругать его, ударить, послать куда-нибудь, поглумиться над ним, словно бы иное отношение к Прошке было немислимо. И Прошка так, казалось, привык к этому положению загнанной, паршивой собаки, что и не ждал иного обращения и переносил всю каторжную жизнь, по-видимому, без особенной тягости, вознаграждая себя на клипере сытной едой да дрессировкой поросёнка, которого Прошка учил делать разные штуки, а при съездах на берег — выпивкой и ухаживаньем за прекрасным полом, до которого он был большой охотник; на женщин он тратил последний грош и ради них, кажется, таскал деньги у товарищей, несмотря на суровое возмездие, получаемое им в случае поимки. Он был вечный гальянщик — другой должности ему не было, и состоял в числе шканечных, исполняя обязанность рабочей силы, не требовавшей никаких способностей. И тут ему доставалось, так как он всегда лениво тянул вместе с другими какую-нибудь снасть, делая только вид, будто взаправду тянет.

— У-у... подлый лодырь! — ругал его шканечный унтер-офицер, обещая ему уже «начистить» зубы.

И, разумеется, «чистил».

---

## IV

Забравшись под баркас, Прошка сладко спал, бессмысленно улыбаясь во сне. Сильный удар ноги разбудил его. Он хотел было залезть подальше от этой непрошенной ноги, как новый пинок дал понять Прошке, что он зачем-то нужен и что надо вылезать из укромного местечка. Он выполз, поднялся на ноги и глядел на злое лицо Игнатова тупым взором, словно бы ожидая, что его ещё будут бить.

— Ступай за мной! — проговорил Игнатов, едва сдерживаясь от желания тут же истерзать Прошку.

Прошка покорно, словно виноватая собака, пошёл за Игнатовым своей медленной, ленивой походкой, переваливаясь, как утка, со стороны на сторону.

Это был человек лет за тридцать, мягкотелый, неуклюжий, плохо сложенный, с несоразмерным туловищем на коротких кривых ногах, какие бывают у портных. (До службы он и был портным в помещицкой усадьбе.) Его одутловатое, землистого цвета лицо с широким плоским носом и большими оттопырившимися ушами, торчащими из-под шапки, было невзрачно и изношенно. Небольшие тусклые серые глаза глядели из-под светлых редких бровей с выражением покорного равнодушия, какое бывает у забитых людей, но в то же время в них как будто чувствовалось что-то лукавое. Во всей его неуклюжей фигуре незаметно было и следа матросской выправки; всё на нем сидело мешковато и неряшливо, — словом, Прошкина фигура была совсем нерасполагающая.

Когда вслед за Игнатовым Прошка вошёл в круг, все разговоры смолкли. Матросы теснее сомкнулись, и взоры всех устремились на вора.

Для начала допроса Игнатов первым делом со всего размаху ударил Прошку по лицу.

Удар был неожиданный. Прошка слегка пошатнулся и безответно снёс затрещину. Только лицо его сделалось ещё тупее и испуганнее.

— Ты сперва толком пытай, а накласть в кису успеешь! — сердито промолвил Лаврентьич.

— Это ему в задаток, подлецу! — заметил Игнатов и, обратившись к Прошке, сказал: — Признавайся, сволочь, ты у меня золотой из сундука украл?

При этих словах тупое Прошкино лицо мгновенно осветилось осмысленным выражением. Он понял, казалось, всю важность обвинения, бросил испуганный взгляд на сосредоточенно-серьёзные недоброжелательные лица, и вдруг побледнел и как-то весь съёжился. Тупой страх искажил его черты.



---

Эта внезапная перемена ещё более утвердила всех в мысли, что деньги украл Прошка.

Прошка молчал, потупив глаза.

— Где деньги? Куда ты их спрятал? Сказывай! — продолжал допросчик.

— Я денег твоих не брал! — тихо ответил Прошка.

Игнатов пришёл в ярость.

— Ой, смотри... до смерти избыю, коли ты добром не отдашь денег!.. — сказал Игнатов, и сказал так злобно и серьёзно, что Прошка подался назад.

И со всех сторон раздались неприязненные голоса:

— Повинись лучше, скотина!

— Не запирайся, Прошка!

— Лучше добром отдай!

Прошка видел, что все против него. Он поднял голову, снял шапку и, обращаясь к толпе, воскликнул с безнадёжным отчаянием человека, хватающегося за соломинку:

— Братцы! Как перед истинным богом! Хучь под присягу сичас! Разрази меня на месте!.. Делайте со мной что вгодно, а я денег не брал!

Прошкины слова, казалось, поколебали некоторых.

Но Игнатов не дал усилиться впечатлению и торопливо заговорил:

— Не ври, подлая тварь... Бога-то оставь! Ты и тогда запирался, когда у Кузьмина из кармана франок вытащил... помнишь? А как у Леонтьева рубаху украл, тоже шёл под присягу, а? Тебе, бесстыжему, присягнуть — что плюнуть...

Прошка снова опустил голову.

— Винись, говорят тебе, скорее. Сказывай, где мои деньги! Нешто я не видел, как ты около вертелся... Сказывай, бессовестный, зачем ты в палубе шнырял, когда все отдыхали? — наступал допросчик.

— Так ходил...

— Так ходил?! Эй, Прошка, не доводи до греха. Признавайся.

Но Прошка молчал.

Тогда Игнатов, словно бы желая испробовать последнее средство, вдруг сразу изменил тон. Теперь он не угрожал, а просил Прошку отдать деньги ласковым, почти заискивающим тоном.

— Тебе ничего не будет... слышишь?.. Отдай только мои деньги... Тебе ведь пропить, а у меня семейство... Отдай же! — почти молил Игнатов.

— Обыщите меня... Не брал я твоих денег!

— Так ты не брал, подлая душа? Не брал? — воскликнул Игнатов с побледневшим от злобы лицом. — Не брал?!

---

И с этими словами он, как ястреб, налетел на Прошку.

Бледный, вздрагивающий всем съёжившимся телом, Прошка зажмурил глаза и старался скрыть от ударов голову.

Матросы молча хмурились, глядя на эту безобразную сцену. А Игнатов, возбуждённый безответностью жертвы, свирепел всё более и более.

— Полно... Будет... будет! — раздался вдруг из толпы голос Шутикова.

И этот мягкий голос точно сразу пробудил человеческие чувства и у других.

Многие из толпы вслед за Шутиковым сердито крикнули:

— Будет... будет!

— Ты прежде обыщи Прошку, и тогда учи!

Игнатов оставил Прошку и, злобно вздрагивая, отошёл в сторону. Прошка юркнул вон из круга. Несколько мгновений все молчали.

— Ишь ведь, какой подлец... запирается! — переводя дух, проговорил Игнатов. — Ужо погоди, как я его на берегу разделаю, коли не отдаст денег! — грозился Игнатов.

— А может, это и не он! — вдруг тихо сказал Шутиков.

И та же мысль, казалось, сказывалась на некоторых напряжённо-серьёзных, насупившихся лицах.

— Не он? Впервые ему, что ли?.. Это бесспорно его дело... Вор известный, чтоб ему...

И Игнатов, взяв двух человек, ушёл обыскивать Прошкины вещи.

— И зол же человек на деньги! Ох, зол! — сердито проворчал Лаврентьич вслед Игнатову, покачивая головой. — А ты не воруй, не срами матросского звания! — вдруг прибавил он неожиданно и выругался — на этот раз, по-видимому, с единственной целью: разрешить недоумение, ясно стоявшее на его лице.

— Так ты, Егор, думаешь, что это не Прошка? — спросил он после минутного молчания. — Кабысь больше некому.

Шутиков промолчал, и Лаврентьич больше не спрашивал и стал усиленно раскуривать свою короткую трубочку.

Толпа стала расходиться.

Через несколько минут на баке стало известно, что ни у Прошки, ни в его вещах денег не нашли.

— Запрятал, шельма, куда-нибудь! — решили многие и прибавляли, что теперь Прошке придётся худо: Игнатов не простит ему этих денег.

---

## V

Нежная тропическая ночь быстро спустилась над океаном.

Матросы спали на палубе — внизу было душно, — а на вахте стояло одно отделение. В тропиках, в полосе пассата, вахты спокойные, и вахтенные матросы по обыкновению коротают ночные часы, разгоняя дремёму беседами и сказками.

В эту ночь, с полуночи до шести, на вахте довелось быть второму отделению, в котором были Шутиков и Прошка.

Шутиков уж рассказал несколько сказок кучке матросов, усевшихся у фок-мачты, и отправился покурить. Выкуривши трубку, он пошёл, осторожно ступая между спящими, на шканцы и, разглядев в темноте Прошку, одиноко притулившегося у борта и поклёвывавшего носом, тихо окликнул его:

— Это ты... Прошка?

— Я! — встрепенулся Прошка.

— Что я тебе скажу, — продолжал Шутиков тихим и ласковым голосом, — ведь Игнатов, сам знаешь, человек какой... Он тебя вовсе изобьёт на берегу... безо всякой жалости...

Прошка насторожился... Этот тон был для него неожиданностью.

— Что ж, пусть бьёт, а я евойных денег не касался! — ответил после короткого молчания Прошка.

— То-то он не верит и, пока не вернёт своих денег, тебе не простит... И многие ребята сомневаются...

— Сказано: не брал! — повторил Прошка с прежним упорством.

— Я, братец, верю, что ты не брал... Слышь, верю, и пожалел, что тебя занапрасно давеча били и Игнатов ещё грозит бить... А ты вот чего, Прошка: возьми ты у меня двадцать франков и отдай их Игнатову... Бог с ним! Пусть радуется на деньги, а мне когда-нибудь отдашь — приневоливать не стану... Так-то оно будет аккуратней... Да, слышь, никому про это не сказывай! — прибавил Шутиков.

Прошка был решительно озадачен и не находил в первую минуту слов. Если б Шутиков мог разглядеть Прошкино лицо, то увидел бы, что оно смущено и необыкновенно взволновано. Ещё бы! Прошку жалеют, и мало того, что жалеют, ещё предлагают деньги, чтобы избавить его от битья. Это уж было слишком для человека, давно не слыхавшего ласкового слова.

Подавленный, чувствуя, как что-то подступает к горлу, молча стоял он, опустив голову.

— Так бери деньги! — сказал Шутиков, доставая из кармана штанов завернутый в тряпочку весь свой капитал.

---

— Это как же... Ах ты господи! — растерянно бормотал Прошка...

— Эка... глупый... Сказано: получай, не кобянься!

— Получай?! Ах, братец! Спасибо тебе, добрая твоя душа! — отвечал Прошка дрогнувшим от волнения голосом, и вдруг решительно прибавил: — Только твоих денег, Шутиков, не нужно... Я всё же чувствую, и не хочу перед тобой быть подлецом... Не желаю... Я сам после вахты отдам Игнатову его золотой.

— Так, значит, ты...

— То-то я! — чуть слышно промолвил Прошка. — Никто бы и не дознался... Деньги-то в пушке запрятаны...

— Эх, Прохор, Прохор! — упрекнул только Шутиков грустным тоном, покачивая головой.

— Теперь пусть он меня бьёт... Пусть всю скулу своротит. Сделай ваше одолжение! Бейте подлеца Прошку... жарь его, мерзавца, не жалея! — с каким-то ожесточённым одушевлением против собственной особы продолжал Прошка. — Всё перенесу с моим удовольствием... По крайности, знаю, что ты пожалел, поверил... Ласковое слово сказал Прошке... Ах ты господи! Вовек этого не забуду!

— Ишь ведь ты какой! — промолвил ласково Шутиков.

Он помолчал и заговорил:

— Слушай, что я тебе скажу, братец ты мой: брось-ка ты все эти дела... право, брось, ну их!.. Живи, Прохор, как люди живут, по-хорошему... Стань форменным матросом, чтобы всё, значит, как следует... Так-то душевней будет... А то разве самому тебе сладко?.. Я, Прохор, не в укор, а жалеючи!.. — прибавил Шутиков.

Прошка слушал эти слова и находился под их обаянием. Никто во всю его жизнь не говорил с ним так ласково и задушевно. До сей поры его только ругали да били — вот какое было ученье.

И тёплое чувство благодарности и умиления охватило Прошкино сердце. Он хотел было выразить их словами, но слова не отыскивались.

Когда Шутиков отошёл, пообещав уговорить Игнатова простить Прошку, Прошка не чувствовал уж себя таким ничтожеством, каким считал себя прежде. Долго ещё стоял он, посматривая за борт, и раз или два смахнул навёртывавшуюся слезу.

Утром, после смены, он принёс Игнатову золотой. Обработанный матрос алчно схватил деньги, зажал их в руке, дал Прошке в зубы и хотел было идти, но Прошка стоял перед ним и повторял:

— Бей ещё... Бей, Семёныч! В морду в самую дуй!

---

Удивлённый Прошкиной смелостью, Игнатов презрительно оглядел Прошку и повторил:

— Я разделал бы тебя, мерзавца, начисто, кабы ты мне не отдал деньги, а теперь не стоит рук марать... Сгинь, сволочь, но только смотри... попробуй ещё раз ко мне лазить... Искалечу! — внушительно прибавил Игнатов и, оттолкнув с дороги Прошку, побежал вниз прятать свои деньги.

Тем и ограничилась расправа.

Благодаря ходатайству Шутикова и боцман Щукин, узнавший о воровстве и собиравшийся «после уборки искровянить стервеца», вместо того довольно милостиво, относительно говоря, потрепал, как он выражался, «Прошкино хайло».

— Испужался Прошка Семёныча-то! Предоставил деньги, а ведь как запирался, шельма! — говорили матросы во время утренней чистки.

## VI

С той памятной ночи Прошка беззаветно привязался к Шутикову и был предан ему, как верная собака. Выражать свою привязанность открыто, при всех, он, разумеется, не решался, чувствуя, вероятно, что дружба такого отверженца унизит Шутикова в чужих глазах. Он никогда не заговаривал с Шутиковым при других, но часто взглядывал на него, как на какое-то особенное существо, перед которым он, Прошка, последняя дрянь. И он гордился своим покровителем, принимая близко к сердцу всё до него касающееся. Он любовался, поглядывая снизу, как Шутиков тихо управляет на рее, замирал от удовольствия, слушая его пение, и вообще находил необыкновенно хорошим всё, что ни делал Шутиков. Иногда днём, но чаще во время ночных вахт, заметив Шутикова одного, Прошка подходил и топтался около.

— Ты чего, Прохор? — спросит, бывало, приветливо Шутиков.

— Так, ничего! — ответит Прошка.

— Куда ж ты?

— А к своему месту... Я ведь так только! — скажет Прошка, словно бы извиняясь, что беспокоит Шутикова, и уйдёт.

Всеми силами старался Прошка чем-нибудь да угодить Шутикову: то предложит ему постирать бельё, то починить его гардероб, и часто отходил смущённый, получая отказ от услуг. Однажды Прошка принёс щегольски сработанную матросскую рубаху с голландским передом и, несколько взволнованный, подал её Шутикову.

---

— Молодец, Житин... Важная, брат, работа! — одобрительно заметил Шутиков после подробного осмотра и протянул руку, возвращая рубаху.

— Это я тебе, Егор Митрич... Уважь... Носи на здоровье.

Шутиков стал было отказываться, но Прошка так огорчился и так просил уважить его, что Шутиков наконец принял подарок.

Прошка был в восторге.

И лодырничать стал Прошка меньше, работая без прежнего лукавства. Бить его стали реже, но отношение к нему оставалось по-прежнему пренебрежительное, и Прошку нередко дразнили, устраивая из этой травли потеху.

Особенно любил дразнить его один из шканечных, забиячий, но трусливый молодой матрос Иванов. Как-то однажды, желая потешить собравшийся кружок, он донимал Прошку своим глумлением. Прошка, по обыкновению, отмалчивался, и Иванов становился всё назойливее и безжалостнее в своих шутках.

Случайно проходивший Шутиков, увидав, как травят Прошку, вступился.

— Это, Иванов, не того... нехорошо это... Чего ты пристал к человеку, ровно смола.

— Прошка у нас не обидчивый! — со смехом отвечал Иванов. — Ну-ка, Прошенька, расскажи, как ты у батюшки шильники таскал и мамзелям опосля носил... Не кочевряжься... Расскажи, Прошенька! — глумился на общую потеху Иванов.

— Не тронь, говорю, человека... — строго повторил Шутиков.

Все были удивлены, что за Прошку, за лодыря и вора Прошку, Шутиков так горячо заступает.

— Да ты чего? — окрысился вдруг Иванов.

— Я-то ничего, а ты не куражься... Ишь тоже нашёл над кем куражиться.

Тронутый до глубины души и в то же время боявшийся, чтобы из-за него не было Шутикову неприятностей, Прошка решил подать голос:

— Иванов ничего... Он ведь так только... Шутит, значит...

— А ты съездил бы его по уху, небось перестал бы так шутить.

— Прошка бы съездил?.. — удивлённо воскликнул Иванов, до того показалось ему это невероятным. — Ну-ка, попробуй, Прошка... Насыпал бы я тебе, вислоухому, в кису.

— Может, и сам бы съел сдачи.

— Не от тебя ли?

— То-то от меня! — сдерживая волнение, проговорил Шутиков, и его обыкновенно добродушное лицо было теперь строго и серьёзно.

---

Иванов стушевался. И только когда Шутиков отошёл, проговорил, насмешливо улыбаясь и указывая на Прошку:

— Однако... нашёл себе приятеля Шутиков... Нечего скзать... приятель... хорош приятель, Прошка-гальюнщик!

После этого происшествия Прошку обижали меньше, зная, что у него есть заступник, а Прошка ещё сильнее привязался к Шутикову и скоро доказал, на что способна привязанность его благодарной души.

## VII

Это было в Индийском океане, на пути к Зондским островам.

Утро в тот день стояло солнечное, блестящее, но прохладное — относительная близость Южного полюса давала себя знать. Дул свежий ровный ветер, и по небу носились белоснежные перистые облака, представляя собой изящные фантастические узоры. Плавно раскачиваясь, клипер наш летел полным ветром под марселями в один риф, под фоком и гротом, убегая от попутной волны.

Был десятый час на исходе. Вся команда находилась наверху. Вахтенные стояли у своих снастей, а подвахтенные были разведены по работам. Всякий занимался каким-нибудь делом: кто оканчивал чистку меди, кто подскабливал шлюпку, кто вязал мат.

Шутиков стоял на грот-русленях, прикреплённый пеньковым поясом, и учился бросать лот, недавно сменив другого матроса. Вблизи от него был и Прошка. Он чистил оружие и по временам останавливался, любуясь на Шутикова, как тот, набравши много кругов лот-линя (верёвки, на которой прикреплён лот), ловко закидывает его назад, словно аркан, и затем, когда верёвка вытянется, снова быстрыми ловкими движениями выбирает её...

Вдруг со шканцев раздался отчаянный крик:

— Человек за бортом!

Не прошло нескольких секунд, как снова зловещий крик:

— Ещё человек за бортом!

На мгновение всё замерло на клипере. Многие в ужасе крестились.

Вахтенный лейтенант, стоявший на мостике, видел, как мелькнула фигура сорвавшегося человека, видел, как бросился в море другой. Сердце в нём дрогнуло, но он не потерялся. Он бросил с мостика спасательный круг, крикнув бросать



---

спасательные буйки и с юта, и громовым взволнованным голосом скомандовал:

— Фок и грот на гитовы!

С первым окриком все офицеры выскочили наверх. Капитан и старший офицер, оба взволнованные, уж были на мостике.

— Он, кажется, схватился за буёк! — проговорил капитан, отрываясь от бинокля. — Сигнальщик... не спускай их с глаз!..

— Есть... Вижу!

— Скорей... скорей ложитесь в дрейф да спускайте баркас! — нервно, отрывисто торопил капитан.

Но торопить было нечего. Понимая, что каждая секунда дорога, матросы рвались, как бешеные. Через восемь минут клипер уже лежал в дрейфе, и баркас с людьми под начальством мичмана Лесового тихо спускался с боканцев.

— С богом! — напутствовал капитан. — Ищите людей на ост-норд-ост... Да не заходите далеко! — прибавил он.

Упавших в море уже не было видно. В эти восемь минут клипер пробежал, по крайней мере, милю.

— Кто это упал? — спросил капитан старшего офицера.

— Шутиков. Сорвался, бросая лот... Лопнул пояс...

— А другой?

— Житин! Бросился за Шутиковым.

— Житин? Этот трус и рохля? — удивился капитан.

— Я сам не могу понять! — ответил Василий Иванович.

Между тем все глаза были устремлены на баркас, который медленно удалялся от клипера, то скрываясь, то показываясь среди волн. Наконец он совсем скрылся от глаз, не вооружённых биноклем, и кругом был виден один волнующийся океан.

На клипере царила угрюмая тишина. Изредка лишь матросы перекидывались словами вполголоса. Капитан не отрывался от бинокля. Старший штурман и два сигнальщика смотрели в подзорные трубы.

Так прошло долгих полчаса.

— Баркас идёт назад! — доложил сигнальщик.

И снова все взоры устремились на океан.

— Верно, спасли людей! — тихо заметил старший офицер капитану.

— Почему вы думаете, Василий Иванович?

— Лесовой не вернулся бы так скоро!

— Дай бог! Дай бог!

Нырять в волнах, приближался баркас. Издали он казался крошечной скорлупой. Казалось, вот-вот его сейчас захлестнёт волной. Но он снова показывался на гребне и снова нырял.

— Молодцом правит Лесовой! Молодцом! — вырвалось у капитана, жадно глядевшего на шлюпку.

---

Баркас подходил всё ближе и ближе.

— Оба в шлюпке! — весело крикнул сигнальщик.

Радостный вздох вырвался у всех. Многие матросы крестились. Клипер словно ожил. Снова пошли разговоры.

— Счастливо отделались! — проговорил капитан, и на его серьёзном лице появилась радостная, хорошая улыбка.

Улыбался в ответ и Василий Иванович.

— А Житин-то... трус, трус, а вот подите!.. — продолжал капитан.

— Удивительно... И матрос-то лодырь, а бросился за товарищем!.. Шутиков покровительствовал ему! — прибавил Василий Иванович в пояснение.

И все дивились Прошке. Прошка был героем минуты.

Через десять минут баркас подошёл к борту и благополучно был поднят на боканцы.

Мокрые, вспотевшие и красные, тяжело дыша от усталости, выходили гребцы из баркаса и направлялись на бак. Вышли Шутиков и Прошка, отряхиваясь, словно утки, от воды, оба бледные, взволнованные и счастливые.

Все с уважением смотрели теперь на Прошку, стоявшего перед подошедшим капитаном.

— Молодец, Житин! — сказал капитан, невольно недоумевая при виде этого неуклюжего, невзрачного матроса, рисквавшего жизнью за товарища.

А Прошка переминался с ноги на ногу, видимо робея.

— Ну, ступай переоденься скорей, да выпей за меня чарку водки... За твой подвиг представляю тебя к медали, и от меня получишь денежную награду.

Совсем ошалевший Прошка не догадался сказать: «Рады стараться!» и, растерянно улыбаясь, повернулся и пошёл своей утиной походкой.

— Снимайтесь с дрейфа! — приказал капитан, поднимаясь на мостик.

Раздалась команда вахтенного лейтенанта. Голос его теперь звучал весело и спокойно. Скоро были поставлены убранные паруса, и минут через пять клипер снова нёсся прежним курсом, подымаясь с волны на волну, и прерванные работы опять возобновились.

— Ишь ведь ты какой, блоха тебя ешь! — остановил Лаврентьич Прошку, когда тот, переодетый и согретый чаркой рома, поднялся вслед за Шутиковым на палубу. — Портной, портной, а какой отчаянный! — продолжал Лаврентьич, ласково трепля Прошку по плечу.

— Без Прохора, братцы, не видать бы мне свету! Как я это окупился да вынырнул, ну, думаю, — шабаш... Богу отдавать душу придётся! — рассказывал Шутиков. — Не продержусь,

---

мол, долго на воде-то... Слышу — Прохор голосом кричит.. Плывёт с кругом и мне буёк подал... То-то обрадовал, братцы! Так мы вместе и держались, доколь баркас не подошёл.

— А страшно было? — спрашивали матросы.

— А ты думал как? Ещё как, братцы-то, страшно! Не дай бог! — отвечал Шутиков, добродушно улыбаясь.

— И как это ты, братец, вздумал? — ласково спросил Прошку подошедший боцман.

Прошка глупо улыбался и, помолчав, ответил:

— Я вовсе и не думал, Матвей Нилыч... Вижу, он упал, Шутиков, значит... Я, значит, Господи благослови, да за им!

— То-то и есть!.. Душа в ём... Ай да молодца, Прохор! Ишь ведь... На-кось, покури трубочки-то на закуску! — сказал Лаврентьич, передавая Прошке, в знак особенного благоволения, свою короткую трубочку, и при этом прибавил забористое словечко в самом нежном тоне.

С этого дня Прошка перестал быть прежним загнанным Прошкой и обратился в Прохора.

---

# Матросский линч

## I

Клипер медленно подвигался, держась в крутой бейдевинд, под зарифленными парусами. Покачивало-таки порядочно. Шёл дождь. Горизонт вокруг затянулся мглой, и по нависшему мутному небу носились чёрные клочковатые облачки. Ветер дул порывами: то затихнет, то вновь заревёт, проносясь заунывным воем в намокших снастях.

Уж целую неделю не выглядывало солнышко, и старший штурман волновался, что нельзя сделать обсервации и точно определиться. По счислению, мы считали себя в ста милях от Гонконга и рассчитывали подойти к нему к полудню следующего дня.

Кутаясь в просмолённые парусинные пальтишки, матросы не отходят от своих снастей, перекидываясь изредка отрывистыми замечаниями о погоде и встряхиваясь, как утки, от воды. Вахта выдалась беспокойная. Приходилось быть постоянно начеку для встречи часто налетавших шквалов.

На мостике, одетые в дождевики, с короткополыми зюйд-вестками на головах, стоят капитан и вахтенный офицер. Капитан совершенно спокоен; молодой офицер несколько возбуждён. Первый раз в жизни ему доводится править такую бурную вахту, распоряжаясь самостоятельно. Ему и приятно, и жутко, и в то же время досадно, что капитан часто выходит наверх, словно не доверяя осмотрительности молодого мичмана, считающего себя уже опытным моряком после перехода да Атлантического и Индийского океанов.

Капитан, переживавший в молодости точно такие же чувства, отлично понимал состояние юноши-офицера и не вмешивается в его распоряжения, хотя зорко наблюдает за всем. Особенно часто и пристально всматривается он в горизонт.

Вон там, на склоне неба, что-то чернеет, растёт в грозовую тучу и, отделившись от горизонта, серым, быстро движущимся широким столбом приближается к клиперу с наветренной стороны.

Это несётся шквал с дождём.

Громким, чересчур громким, слегка вибрирующим голосом офицер несколько рано командует убрать паруса и, стараясь подавить волнение, невольно охватившее его при виде

---

грозного шквала, принимает небрежную посадку лихого, ничего не боящегося моряка.

Паруса взяты «на гитовы» (убраны), и маленькое судно с оголёнными мачтами готово к встрече врага, предоставляя его ярости меньшую площадь сопротивления.

Срывая и крутя перед собой седые гребешки волн, шквал бешено нападает на клипер, охватывая его со всех сторон проливным дождём и мглой. Яростно шумит он в рангоуте, гудит во вздувшихся снастях, кладёт судно на бок и несколько секунд мчит его с захватывающей дух быстротой, так что кругом видна только одна кипящая пена.

Шквал пронёсся, и мгла рассеялась. Клипер приподнялся и пошёл тише. Некоторые из молодых матросов, преувеличившие в страхе опасность, набожно перекрестились с облегчённым вздохом.

Снова раздаётся звучный голос вахтенного офицера. Снова натягивают паруса, и клипер по-прежнему покачивается с боку на бок на неправильном волнении, легонько поскрипывая своими членами.

— Я поторопился немного убрать паруса, Павел Николаевич? — обращается к капитану мичман, несколько смущённый. Ему кажется, что капитан должен был заметить его трусость перед шквалом.

— Отлично распорядились... молодцом!.. Всегда лучше убрать раньше, чем позднее! — проговорил с обычной приветливостью капитан и, спускаясь вниз, прибавил:

— Если засвежеет — дайте знать... Впрочем, навряд ли засвежеет. Барометр подымается.

## II

В то самое время, как наверху посвистывал ветер и усталые, измокшие под дождём вахтенные матросы мечтали о смене, подвахтенные отдыхали внизу. Время было послеобеденное, и матросы безмятежно спали. Всё пространство кубрика и нижней палубы, все укромные местечки около мачт и трубы были заняты лежащими враспашку людьми. Несмотря на парусинные виндзейли, пропущенные сверху в открытые люки для притока свежего воздуха, в палубе стоял тяжёлый запах. Пахло жильём, сыростью и смолой. Громкий храп шести десятков матросов, только что плотно пообедавших, раздавался на все лады из конца в конец.

Не все, впрочем, спали. Некоторые из матросов, «похозяйственнее», воспользовавшись досугом, справляли свои де-

---

лишки: кто тачал сапоги, кто занимался шитьём. Несколько человек сушили у «камбуза» (судовая кухня) смокшие буршлаты, слушая, как вестовые, перебивавшие тарелки, рассказывали офицерскому «коку» (повару) о том, что господа «нонче очень одобряли» обед.

— Только один Мурашкин фыркал... Он уж у нас завсегда; что ни подай, всё: «фуй» да «фуй»! Одно слово, «фуйка»! — насмешливо заметил один из вестовых.

— Фуйка и есть! — повторили вестовые и засмеялись, видимо довольные прозвищем, которым они окрестили младшего штурмана за его постоянное привередничанье, вызываемое не столько недовольством, сколько желанием показать, что он обладает тонким гастрономическим вкусом.

— На берегу, поди, трескал подошву под соусом из водицы и облизывался, а теперь фордыбачит, — сердито проговорил повар. — И хучь бы толк в кушанье понимал, а то так только... Так прочие были довольны?

— Очинно даже довольны... Старший офицер два раза жаркова накладывал... Скусное, говорит... А дохтур пирожки хвалил... С десяток их слопал Карла Карлыч!

Уютно примостившись у трубы и упираясь босыми ногами в плитус машинного люка, пожилой рябоватый матрос с серьгой в ухе с сосредоточенным, строгим видом облаживал новый парусинный башмак, напевая себе под нос приятным голосом какой-то однообразный, заунывный мотив без слов. По временам он оставлял работу и, оглядывая со всех сторон здоровенный башмак, любовался им с чувством удовлетворения, выражавшимся тихой улыбкой в чертах его загорелого, энергического лица. Затем лицо его снова принимало обычное выражение строгого спокойствия человека, выдавшего виды, и он принимался работать и подпевать, ухищряясь искусно строчить несмотря на качку. Это — Василий Федосеич Федосеев, исправный баковый матрос, пошедший третий раз в «дальнюю», влиятельный среди команды. В знак уважения его все зовут Федосеичем, хоть он и не унтер.

Рядом с ним, лёжа навзничь с раскинувшимися по бокам руками, сладко храпел молодой черноволосый плотный матрос Аксёнов, из рекрут, первый раз попавший в море. Он был из одной деревни с Федосеичем и в качестве земляка пользовался покровительством бывшего односельца, не забывшего ещё деревни и любившего поговорить о ней с молодым матросиком.

Громко всхрапнув, Аксёнов вдруг проснулся. Его румяное, здоровое курносое лицо, блестевшее маслом налётом, улыбалось ещё блаженной сонной улыбкой, которая бывает у людей после приятных сновидений. Он потянулся, сладко

---

позёвывая и щуря свои большие тюленьи глаза, и, повернув голову, стал смотреть, как Федосеич работает.

— А важные башмаки будут, — промолвил наконец он.

— Чего не спишь? Спи себе знай, Ефимка! Ещё не свистали вставать. Ночью на вахте не разоспишься... Лучше загодя отопись! — ласковым тоном проговорил Федосеич, не отрываясь от работы.

— Будет... важно выспался... Однако покачивает, — заметил он, присаживаясь.

— Есть-таки маленько... Это кто тебя так, Ефимка? — вдруг спросил Федосеич, увидав под глазом у своего земляка свежий подтёк.

— Известно кто... Всё он, чёрт лупоглазый... боцман!

— Однако здорово он тебя, братец ты мой, звезданул! Ишь ты... Чуть-чуть не потрафь — в самый бы глаз! — продолжал Федосеич, внимательно оглядывая синяк. — За что он тебя?

— Вовсе зря... право, зря! — оживлённо заговорил Ефимка, припоминая недавнюю обиду. — Небось знаешь, как он с нашим братом... вовсе обижает... Даром что приказано народ не бить, и господа не дерутся, а он...

— Ты не мели пустова, Ефимка! — строго остановил его Федосеич... — Иным разом, если за дело, нельзя и не съездить... Такая уж его должность... Ты толком-то рассказывай: за что?

— Как есть задарма, Федосеич... Просто ни за что. Парус да-ве, значит, убрали... Ему и покажись, что долго... Он и пошёл чесать морды... А я вовсе и не касался паруса-то... Так по пути, значит, меня свистнул... С сердцов...

— Не врешь, Ефимка?

— Чего врать-то... Хучь у ребят спроси... Все видели.

Федосеич помолчал, потом тихо покачал головой и раздумчиво промолвил:

— Куражится Нилыч... Не слушает, что ему люди говорят...

— Совсем озверел нонче... Вечор тоже вот меня огрел по спине, а Левонтьева в морду съездил! — жаловался Ефимка.

Старший офицер, проходивший из подшкиперской каюты в кают-компанию, показался в это время из-за трубы. Он слышал жалобы молодого матроса и, подойдя к нему, спросил, показывая пальцем на глаз:

— Это что у тебя, Аксёнов?

Матрос мигом вскочил и застенчиво отвечал:

— Зашибся, ваше благородие!

— Гм... Зашибся?.. — промолвил с улыбкой старший офицер и, не спрашивая более, пошёл прочь.

— Уж этот Щукин! — прошептал он, входя в кают-компанию.



---

— Это ты правильно, Ефимка! Ай да молодец! Из тебя настоящий матрос выйдет! — одобрял Федосеич. — Что дразгует заводит да кляузничать... Это последнее дело... Мы лучше Нилыча сами проучим, по-матросски! — значительно проговорил Федосеич, понижая голос.

— Боцмана?! Да как его проучишь... боцмана-то? — изумился молодой матрос.

— Уж это не твоя забота, как их учат!.. А ну-кась, примерь, Ефимка! — продолжал Федосеич, передавая Аксёнову башмак.

Ефимка обулся, прошёл несколько шагов и, возвращая башмак, весело проговорил:

— В самый раз, Федосеич!.. И ноге в нём вольно...

— А главное, как сшито... Ты это погляди, Ефимка!

Ефимка поглядел и нашёл, что важно сшито.

— Износу им не будет... Строчка двойная, и на подмётке хороший товар. Ужо в Гонконт придём, пустят на берег — оденешь... Да смотри, Ефимка, насчёт того, что мы о боцмане говорили, никому не болтай! — внушительно прибавил Федосеич, снова принимаясь за работу.

В тот же вечер Федосеич о чём-то таинственно совещался с несколькими старыми матросами.

### III

Гроза молодых матросов, боцман Шукин, коренастый, приземистый, пучеглазый человек лет пятидесяти, с кривыми ногами, обветрившимся красным лицом цвета грязной моркови и с осипшим от ругани и пьянства голосом, только что прикончил свои неистощимые вариации на русские темы, которыми он услаждал слушателей на следующий день с раннего утра по случаю уборки клипера. За ночь стихло, кругом прояснилось, уборка кончена, и Шукин, заложив за спину свои просмолённые руки, с довольным видом осматривает якорные стопора, предвкушая заранее близость единственного своего развлечения: съехавши на берег, нализаться до бесчувствия.

На эти развлечения старого боцмана смотрят сквозь пальцы ввиду того, что Шукин — знающий своё дело и лихой боцман. И если на берегу он обнаруживает слабости, недостойные его звания, зато на судне держит себя вполне на высоте положения: всегда трезв; боясь соблазна, не пьёт даже казённой чарки; исполнительен и усерден, солиден и строг; на службе — собака, ругается с артистичностью заправско-

---

го боцмана старых времён и тщательно соблюдает свой боцманский престиж.

Увы! Весь этот престиж пропал, как только Щукин ступал на берег.

Отправлялся он всегда нарядный. Для поддержания чести русского имени он обыкновенно одевал собственную щегольскую рубашу с голландским вышитым передом, поверх которой красовалась цепь с серебряной боцманской дудкой, полученной им в подарок от старшего офицера, обувал новые сапоги со скрипом, повязывал свою короткую, жилистую, побуревшую от загара шею чёрной шёлковой косынкой, пропуская концы её в серебряное кольцо; ухарски надевал на затылок матросскую фуражку без картуза, с чёрной лентой, по которой золотыми буквами было вытиснено название клипера, и брал в руки — больше, я думаю, из национальной гордости, чем из необходимости — носовой платок, который обратно с берега никогда не привозил.

В таком великолепии, тщательно выбритый, с подстриженными короткими щетинистыми усами, поглядывая вокруг с видом именинника и не выпуская из рук носового платка, Щукин садился на баркас и, ступив на берег, шёл медленно в ближайший кабак.

С берега Щукин обыкновенно возвращался в истерзанном виде, не вязавши лыка, тихий, молчаливый и покорный. Случалось, что его привозили в виде тела, со шлюпки поднимали наверх на верёвке и уносили в его каюту.

Наутро он снова напускал на себя важность, был ещё суровее на вид и, словно в отместку за вчерашнее своё унижение, ругался с большим усердием, чаще ошпаривал линьком подвернувшегося под руку какого-нибудь молодого матроса и в этот день, как говорили матросы, был особенно «тяжёл на руку».

Дальше ближайшего от пристани кабака Щукин (по крайней мере, в трезвом виде) не был ни в одном из иностранных портов, посещённых клипером, что, однако, не мешало ему отзываться о них со снисходительным презрением.

— Ничего нет хорошего... Так, слава одна — заграница! — рассказывал он безразлично обо всех чужих землях... — Против наших городов ничего не стоят... И народ не тот... То ли дело наша Россия... Недаром сказано: наша матушка Россия всему свету голова!

Он убеждён был в преимуществе России так же непоколебимо, как и в том, что без линька и без боя матроса не выучить и не «привести в чувство». Эта философия была так твёрдо усвоена Щукиным, основательно прошедшим в течение двадцатилетней службы прежнюю школу линьков и

---

битья, что, когда в начале нашего плавания было приказано боцманам и унтер-офицерам бросить линьки и не драться, — Щукин не верил своим ушам.

— Это как же теперче... Не смей и проучить человека?.. Какой же после этого я буду боцман, если не могу дать по уху! — ворчал он, беседуя с унтер-офицерами на баке. — Чудеса пошли... Прежде этого на флоте не было!

В конце концов он порешил, что все эти новые порядки — одно баловство; нельзя матросу жить без страха, и, несмотря на приказание, нередко-таки учивал людей по-своему, так что молодые матросы боялись боцмана, как огня. Уже несколько раз Василий Иванович грозил Щукину, что его разжалуют, если он будет свирепствовать. Щукин, молча насупившись, выслушивал, крепился день-другой и снова дрался, хотя и не с прежнюю откровенностью, а так, чтоб не заметили офицеры.

— Ой, Нилыч, не куражься... Не обижай людей зря! — нередко говорили ему в начале плавания старые матросы, пьянствуя вместе с боцманом на берегу. — Боцман ты — надо правду говорить — хороший, но только без толку мордобойничаешь... Ты это оставь, Нилыч...

— А я что же, по-вашему... кляузы заводить должен, что ли?.. За всякую малость жаловаться?.. Ни в жисть на это не пойду... я, братцы, коренной матрос!.. В старину небось боцмана кляузами не занимались... На своего брата не жаловались... Сами учивали... Если драться с рассудком — никакой вреду нет... Это верно я вам говорю.

— То-то ты иной раз без рассудка дерёшься, Нилыч...

Щукин обещал драться с рассудком и скоро нализывался вместе, раскисая от вина, со своими советниками.

Возмущённый новыми порядками, заведёнными на клипере, старый боцман слегка фрондировал, посмеиваясь над ними, и любил вспоминать, как прежде «учили нашего брата» и какой от того был во флоте порядок. Увлекаясь этими воспоминаниями, он не без красноречия рассказывал иногда в интимном кружке историю своих двух вышибленных передних зубов, как бы доказывая собственной особой справедливость взгляда, что «если бить с рассудком, то вреду не будет».

Достоин удивления было то, что о виновнике крушения своих зубов Щукин вспоминал с самою любовною и почти-тельною восторженностью, с какой обыкновенно вспоминают о людях, не вышибающих по меньшей мере зубов. Но в глазах Щукина этот самый командир Василий Кузьмич Остолопов («царство ему небесное!») был именно каким-то недостижимым идеалом и олицетворением всех совершенств и качеств, необходимых, по мнению боцмана, настоящему на-

---

чальнику. Рассказывая о нём, Щукин даже приходил в пафос, создавая из покойника какое-то мифологическое божество матросского Олимпа.

— Одно слово... лев был! — восторгался Щукин, теряясь в эпитетах. — Выйдет это он, бывало, наверх, так всякий чувствует... Взглянет — орёл! Или, например, паруса крепить... У него, братец ты мой, положение было, чтобы в три минуты, а ежели на один секунд позже на каком-нибудь марсе, счас всех марсовых вниз и на бак... Как всыпят всем по сту линьков, небось в другой раз не опоздаешь!.. И работали же у нас на «Фершанте»!\* Первым в эскадре корабль был... Работа горела... Не матросы, а черти были... летом летали... У него чтобы матрос ходил с прохладцей — нет, брат!.. Он всё наскрозь видел... Стоит это на юте, заложив за спину руки, да как вдруг заметит неисправку — сам несётся на бак грозой и давай чесать... Раз, два, три!.. Одному в ухо, другому, третьему, да как отчешет десятка два, будешь, голубчик, помнить. Шалишь!.. И рука ж была у него!.. Ка-а-а-к саданёт — в глазах пыль с огнём — и морду вздует... Знали его руку-то!.. — с восторгом говорил Щукин, показывая наглядно, какая у Остолопова была рука. — Зато насчёт службы, насчёт чистоты и был порядок. Матрос на корабле в струне ходил, остерегался... Офицеров боялись, боцманов боялись, не то что нонче... Ты ему слово, а он тебе два. Книжек этих для грамоты небось не раздавали, матрос жил в страхе, не умничал... почитал как следует начальство... А спустили тебя на берег — гуляй, значит, всюю, — взыску не было. «Никак, говорят, без этого невозможно российскому матросу, чтобы он да за свои труды на берегу не нахлестался вздрембезги!» И стоит, бывало, наш Василий Кузьмич да приветно усмехается, глядячи, как пьяную матрозню, ровно баранов, с баркаса поднимают на гордешке... Небось он в том сраму не видел!.. Не то что как нонче прочие другие командиры, — угрюмо прибавлял старый боцман, пуская шпильку по адресу нашего капитана.

— Он с большим умом был, Остолопов-то наш!.. — восторженно продолжал Щукин... — Понимал, что матросу лестно покуражиться на сухом пути... Ну и сам не брезговал напитками... Любил!..

— Многие в старину любили!.. — вставлял, смеясь, фельдшер.

— То-то любили!.. Но только с Василием Кузьмичом никому не сравняться... Он, я вам скажу, и насчёт вина чёрт был! Графина три, а то и четыре за день выдует этой самой марсалы, и хоть бы в одном глазу! Выйдет к вечеру наверх — так

---

\* Так называли матросы корабль «Ла Фершампенуаз». (Примеч. автора.)

---

только маленечко с лица будто побагровеет, да ругается позатейней... Он на это выдумщик был!.. Поэтому мы, бывало, и примечали, что орёл-то наш намарсалился! А стоит на ногах как вкопанный... глаз чистый... Что уж и говорить! Во всех статьях — орёл!..

— А за что он вам, Матвей Нилыч, нанёс повреждение действием? — галантно спрашивал, бывало, фельдшер, желая доставить боцману удовольствие: рассказать вновь давно известную всем слушателям историю о двух вышибленных зубах.

При этом вопросе Щукин неизменно оживлялся, и на лице его появлялась заранее улыбка, словно он готовился рассказывать о самом приятном воспоминании в своей жизни.

— За что? По-настоящему мне бы следовало прямо всю скулу своротить на сторону да спину вздуть, а не то что два зуба!.. Вот что мне следовало, если говорить по совести... Свезли, видишь ли, братец ты мой, мы утром, как теперь помню, командира на Петровскую пристань... Он, как водится, прыг с вельбота, и на ходу проговорил, в котором, значит, часу за ним приезжать... Мне и послышья, что к шести... я у него вельботным старшиной был... Ладно. Без четверти в шесть пристаём мы к пристани, глядим, а он ходит по ей взад и вперёд да плечиками подёргивает: в сердцах, значит, был... Тут я и вспомнил, что как будто он велел не к шести, а к пяти часам быть... Как взошло это в ум, так, братец ты мой, сердце во мне и захолонуло... по спине мураши забегали... Целый ежели час я командира заставил дожидаться... Василия Кузьмича... льва-то нашего!.. Можешь ты это как следует понять, а? Тогда ведь не по-нонешнему: «Виноват — запамятовал!». Тогда, любезный мой, порядок любили форменный... За один секунд, бывало, шкуру спускали, а не то что как ежели целый час!..

На этом месте рассказа Щукин всегда делал ораторскую паузу, как бы для того, чтобы слушатели имели возможность надлежащим образом проникнуться сознанием тяжести его преступления и могли затем ещё лучше оценить великодушные покойного капитана.

— Хорошо... Подошёл это он к вельботу, поманул меня перстом и отошёл в сторону... Вижу: грозен... Я, значит, ни жив ни мёртв, к ему. Подошёл и смотрю ему прямо в глаза. Он любил, чтобы матрос ему завсегда с чистым сердцем в глаза глядел. А он воззрился на меня, ничего не говорит, да вдруг: бац! бац! Два раза всего-то кулаком в зубы, да так, что быдто цокнуло что-то. А надо тебе сказать, на указательном персте Василий Кузьмич завсегда носил брильянтовый супир. От государя императора пожалован. Так самым этим, значит,

---

супирчиком он и цокнул. В глазах — пыль, но только я, как следовало, стою, эдак грудью вперёд, и весело ему смотрю в зрачки. Жду ещё бою! Однако он более не захотел. «Пошёл, говорит, собачий сын, на шлюпку!» — и сам следом сел. «Отваливай!» Отвалили. Я изо всей мочи наваливаюсь — гребцы у нас на подбор! — а сам, однако, думаю: «Это, мол, только одна закуска была, какова-то настоящая расправка на корабле будет. Не меньше как два ста линьков прикажет для памяти всыпать!». Вельбот ходом идёт, скоро и корабль наш. Он, накупившись эдак, поглядывает на меня, увидал, значит, как изо рта у меня кровь капелью каплет... Хорошо. Пристали к кораблю. Встал и ко мне обратил голову: «Что, спрашивает, целы ли у тебя, у подлеца, зубы?» — «Не должно быть целы, ваше вашескобродие!» Это я ему, потому чувствую, что во рту словно каша. Усмехнулся, — и что бы ты думал?! Вместо того, чтобы меня, подлеца, приказать отодрать, как Сидорову козу, он, голубчик-то мой, выходя, говорит: «Пей за меня чарку водки, да вперёд, говорит, прочищай ухо!». — «Покорно благодарю, ваше вашескобродие!» — гаркнул я в ответ, да тут же и зубы сплюнул в радости. А на другой день призвал меня к себе. «Молодцом, говорит, бой выдержишь, бабства, говорит, в тебе нет, как есть бравый матрос. За то, говорит, я тебя унтерцером жалую. Смотри, не осрами меня!..» И как это он похвалил за моё усердие, так я даже вовсе обалдел. Кажется, прикажи он мне за борт броситься, так я со всем бы удовольствием!.. Вот каков он был! Умел и строгостью, и лаской, коли ты стоишь. Старинного веку командир был. Господь и смерть ему лёгкую сподобил... ударом помер. Играл, сказывали, в карты, маленько нагрузившись, да вдруг под стол... Бросились подымать, а батюшка-то Василий Кузьмич уж не дышит... Царство ему небесное, голубчику! — прибавлял умилённый Щукин, осеняя себя крестным знамением.

## IV

Утренние работы окончены. Одиннадцатый час на исходе — скоро обедать. В ожидании приятного свиста дудок, призывающих к водке, матросы высыпали на палубу и толпятся на баке, разбившись по кучкам. Только что убрали паруса, и клипер довольно ходко шёл под парами навстречу прямо дующему в лоб ветру, мешавшему идти под парусами. Волнение стихало, из-за туч выглядывало по временам солнце, и штурман был доволен: обсервация была взята. Оказалось, что мы будем на месте не ранее вечера.

---

Усевшись на лапе якоря, боцман, окружённый избранными лицами баковой аристократии: баталером, подшкипером, фельдшером и двумя писарями, рассказывал про китайцев.

— Совсем подлый народ! — говорил боцман, указывая пальцем на встречавшиеся джонки. — Всякую нечисть, шельмы, трескают. И крысу, и собаку, и лягушку, и стрекозу... что ему ни дай, всё жрёт... Хлебушка-то у них нету... рис один, они и рады всякому дерьму. И вороваты, канальи... Чуть не догляди — объегорит, даром что длинноносый. Когда я первый раз ходил в дальнюю на «конверте» и были мы в этих самых местах китайских, так раз ночью, братец ты мой, — мы в Шангае стояли — подъехала на шлюпчонке китайская морда — и что бы ты думал?... Медную обшивку вздумал было, желторожий, отдирать... Уж жиганули же мы его, подлеца! — с весёлым смехом рассказывал Щукин... — А пьют сулю какую-то, вроде будто водки, из риса гонят... нальёт себе, собачий сын, в чашечку с напёрсток и куражится... Просто тошно на них, подлецов, глядеть... Одно слово — идолы!

— Ишь, лупоглазый-то наш зубы скалит! — развязно заметил рыжий, в веснушках, франтоватый матрос из кантонистов, подходя к Аксёнову и подмигивая плутоватыми бойкими глазами на боцмана.

— Он завсегда весёлый перед берегом.

— Чует, что скоро нахлещется как свинья... А я, братец, о чём хотел было попросить тебя, Ефимка! — заискивающим голоском продолжал рыжий.

— Ну?

— Дай ты мне в долг доллар, как ежели нас на берег отпустят... Совсем, брат, прогулялся...

Аксёнов несколько времени молчал и наконец нерешительно отвечал:

— Ты бы у кого другого взял, Леонтьев... право... Хоцца рубаху купить.

— Глупый ты... Зачем тебе рубаху?... И тут вовсе нет хороших рубах... Ты рубаху лучше в Японии купишь... Там, — так сказывают, — рубахи!.. Дай, пожалуйста... Через месяц отдам... право, отдам!.. — упрашивал Леонтьев.

— И прежние отдашь?

— Все сразу отдам... будь в надежде! — продолжал Леонтьев, глядя жадным взором на потупившегося товарища.

После некоторого колебания Аксёнов пообещал, и Леонтьев весело заметил:

— Вот спасибо... Вижу, что настоящий приятель... Ужо погуляем в Гонконге! С Якушкой пойдём... Он бывал здесь.

— Ишь ведь... тоже люди! — дивуется Аксёнов, глядя на близко проходившую джонку, на палубе которой толпились



---

китайцы. — Сколько, подумаешь, разного-то народа у Господа! То малайцы были, а теперь китайцы пошли...

— Всё один фасон — нехристь дикая! — с равнодушным пренебрежением кинул в ответ Леонтьев, считавший за признак хорошего матросского тона ничему не удивляться... — А ты, Ефимка, дурак! — несколько спустя проговорил он. — Чего вчера, как старший офицер спрашивал, ты не сказал про этого дьявола? По крайности, было б ему на орехи! Будь у меня на морде такая цаца, как у тебя, я бесприменно бы сказал: «Так и так, мол, ваше благородие, безвинно через боцмана Щукина пострадал!». А то: «зашибся»!

— Чего жалиться! Ему и так будет! — промолвил Аксёнов, стараясь придать себе важный вид.

— Уж не от тебя ли? — рассмеялся Леонтьев.

Аксёнову очень хотелось посвятить приятеля в тайну вчерашнего разговора с Федосеичем, тем более что он и сам хорошо не понимал, на что именно намекал старый матрос. Он, однако, вспомнил наказ Федосеича не болтать, но, воздерживаясь от искушения, всё-таки загадочно прошептал:

— Небось люди проучат!..

— Люди! — передразнил Леонтьев. — Какие это люди? Кто может проучить этого подлеца, кроме начальства?.. Ах, какая ты ещё необразованная деревня, Ефимка, как я посмотрю! — с сожалением заметил Леонтьев. — Ударь он меня безвинно, да если со знаком, я бы нарочно на глаза капитану попался... Я бы не так, как ты... небось!.. А то: «люди»!

Аксёнов, считавший обращение и ухарские манеры Леонтьева за образец матросского совершенства и старавшийся подражать ему во всём, был задет за живое, что его считают «деревней», и с сердцем возразил:

— Что ж ты-то не жалуешься... Вечор он тебя по уху тоже огрел!..

— То-то... без знаку... я говорю, а ежели бы оказал знак... он бы помнил Леонтьева! — бахвалился матрос, видимо рисуясь и восхищая своими манерами простоватого товарища...

— Эй, послушай, Антонов! — обратился он к проходившему вестовому старшего офицера, — как у вас слышно, когда в Гонконте будем?

— К вечеру, не раньше! — отвечал на ходу вестовой, спешно направляясь на бак. — Старший офицер вас к себе требует, Матвей Нилыч! — проговорил Антонов, подходя к боцману. — В каюте они...

Щукин оборвал разговор и рысцой побежал вниз. Перед входом в кают-компанию он снял фуражку и вошёл туда нахмуренный, осторожно ступая по клеёнке. Не любил он, когда Василий Иванович требовал его к себе в каюту. «Верно, опять насчёт ви-

---

на шпынять будет!» — подумал, морщась, боцман, просовывая свою четырёхугольную, коротко остриженную рыжую голову в каюту старшего офицера и затворяя за собой двери.

— Ты опять дерёшься, Щукин, а? — строго проговорил Василий Иванович, хмуря брови.

Вылупив свои бычачьи глаза на старшего офицера, боцман угрюмо молчал, нервно пошевеливая усами.

— Смотри, Щукин, не выводи меня из терпения... Понял?

— Понял, ваше благородие! — сурово отвечал боцман и хотел было уходить.

— Постой!.. Который раз я тебе говорю, чтоб ты докладывал мне, если матрос провинится, а не расправлялся бы сам? Слышишь?

— Слушаю, ваше благородие! — ещё суровее промолвил боцман. — Но только как вам будет угодно, а за каждую малость не годится беспокоить ваше благородие... Тогда матросы вовсе не будут почитать боцмана! — решительно заявил Щукин обиженным тоном.

— Ты и не беспокой по пустякам, — проговорил, смягчась, Василий Иванович, чувствовавший слабость к старому боцману, — но только не очень-то давай своим рукам волю... Ты любишь это... знаю я. Ну за что ты прибил Аксёнова? Полюбуйся, какой у него фонарь... Срам! Ты ведь боцман, а не разбойник! — прибавил Василий Иванович, снова принимая строгий начальнический тон.

Щукин опять упорно молчал.

— Нагрубил он тебе, что ли?

— Никак нет, ваше благородие!

— Неисправен был?

— Матрос он исправный, ваше благородие!

— Так за что ж ты его прибил, скотина? — воскликнул, вспыхивши, Василий Иванович.

— Матрос он ещё глупый, ваше благородие!.. Не обучен как следует...

— Ну?..

— Для острастки, значит, ваше благородие, чтобы понимал! — проговорил Щукин самым серьёзным, убеждённым тоном.

— Для острастки подшиб глаз?

— Насчёт глаза, осмелюсь доложить, по нечаянности, ваше благородие! — прибавил боцман как бы в оправдание, снова принимая угрюмое выражение.

— Слушай, Щукин! Последний раз тебе говорю, чтобы ты людей у меня не портил! — строгим голосом начал Василий Иванович, подавляя невольную улыбку. — Ведь стыдно будет, как тебя разжалуют из боцманов?..

---

Щукин сердито молчал.

— Как ты полагаешь?

— Не могу знать, ваше благородие.

— А дождёшься ты того, что узнаешь, если не перестанешь разбойничать. Ступай! — резко оборвал старший офицер.

Боцман исчез из каюты. Когда он поднялся на палубу, никто и не подумал бы, что его только что «разнесли», — до того важен и суров был вид у Щукина. Только лицо его побагровело сильнее да глаза ещё более выкатились.

— Видишь, боцман идёт! Посторониться, что ли, не можешь... сволочь! — крикнул Щукин, намеренно задевая плечом Аксёнова и поводя на него презрительным взором.

Молодой матрос отскочил в сторону.

— Жаловаться, подлец! — прошептал, проходя далее, Щукин, сжимая кулак и ощущая сильное желание задушить Аксёнова в отместку за поступок, недостойный, по мнению боцмана, порядочного матроса.

— Так выучат люди, Ефимка? — подсмеялся Леонтьев.

В эту минуту и сам Аксёнов усомнился, чтобы нашлись люди, которые могли бы проучить грозного боцмана.

— Зачем это вас, Матвей Нилыч, старший офицер требовал? — полюбопытствовал баталер, когда боцман пришёл на бак.

— Насчёт работ, значит, говорили... — усиленно небрежным тоном отвечал боцман.

— Верно, что к вечеру в Гонконт придём?

— Должно, к вечеру...

— А долго простои́м, Матвей Нилыч?

— Ещё неизвестно... Об этом у нас разговору не было! — с важностью молвил Щукин и прибавил: — Однако сейчас и обедать... водку несите!

Колокол пробил шесть склянок (одиннадцать часов), и с мостика раздалась команда: «Пробу подать!».

Через минуту кок в белом колпаке и чистом переднике вынес маленький поднос с двумя деревянными чашками, ложкой и сухарём. Приняв поднос, Щукин, сопровождаемый коком, торжественно понёс пробу. Кок остановился на шканцах, а боцман, поднявшись на мостик, где в это время кроме вахтенного офицера находились капитан и старший офицер, подал пробу вахтенному офицеру, официально приложив растопыренные пять пальцев к виску. С тою же официальностью вахтенный передал пробу старшему офицеру, который в свою очередь подал её, прикладываясь свободной рукой к козырьку фуражки, капитану.

Взяв поднос, капитан отведал щей и пшённой каши, съел кусок сухаря и, похвалив щи, передал пробу старшему офице-

---

ру. Василий Иванович тоже отведал и, передавая пробу вахтенному офицеру, сказал, что можно раздавать вино и обедать. Возвращая почти пустые чашки боцману, вахтенный приказал свистать к водке.

Два матроса с баталером сзади уже несли ендову с ромом, от которого распространялся на палубе острый, пахучий аромат, щекотавший обоняние. По обыкновению, шествие сопровождалось весёлыми замечаниями и остротами. На шканцах шествие остановилось, и ендову бережно опустили на подостланный брезент. После того два боцмана и все восемь унтер-офицеров стали на шканцах в кружок, приставив дудки к губам, и, по знаку старшего боцмана Щукина, вдруг раздался долгий и пронзительный свист десяти дудок.

— Ишь, соловьи заливаются! — весело замечают матросы, окрестившие этот долгий весёлый свист дудок, призывающий к водке, «пеньем соловьёв».

«Соловьи» смолкли. Толпа собралась вокруг ендовы, и начался торжественный акт раздачи водки.

Баталер со списком в руке, отмечая крестиками пьющих и ставя палочки непьющим\*, выкрикивал громко фамилии, начиная по старшинству: сперва выкликались боцмана, затем унтер-офицеры, потом матросы первой статьи и т.д. В ответ раздавались на разные голоса короткие отрывистые: «яю!» или «яю!», и, выделившись из толпы, матрос подходил к ендове, принимая вдруг тот сосредоточенно-строгий вид, который бывает у людей, подходящих к причастию. Сняв шапку, а иногда и крестясь, он зачерпал мерной оловянной чаркой, по объёму равняющейся порядочному стакану, ароматного «горлодёра» и, стараясь не пролить ни одной капли, благоговейно подносил чарку к губам, выпивал, крикнув, передавал чарку следующему и поспешно отходил, закусывая припасённым сухарём. Если неосторожный проливал вино, из толпы раздавались насмешливые замечания:

— Винцо, брат, не пшеничка: прольёшь — не подклю-  
нешь!

Водка роздана. На палубе стелются брезенты. Артельщики разносят баки с дымящимися щами и большие куски горячей солонины в сетках. Небольшими артелями, человек по десяти, матросы рассаживаются вокруг бака, поджав под себя ноги. Перед тем, как садиться, каждый крестится. Артельщик, выбранный каждой артелью, начинает резать солонину на мелкие куски, и все дожидаются, не дотрогиваясь до щей. За-

---

\* Непьющим по окончании каждого месяца выдаются на руки деньги, равные стоимости вина. Обыкновенно приходилось около пяти копеек за каждую чарку. Эти деньги матросы называют «заслугой». (Примеч. автора.)

---

тем крошево валится в бак, в щи подливается уксус, и матросы принимаются за ложки.

У одного из баков, вблизи грот-мачты, между другими сидели Федосеич, Аксёнов и Леонтьев. Старый матрос хлебал щи в молчании, с тою серьёзностью, с какой обыкновенно едят простолюдины. Он ел истово, аккуратно, не спеша, заедая щи размоченным в воде ржаным сухарём, и бережно собирал падавшие сухарные крошки. Аксёнов весь отдался еде. Глаза его плотоядно блестели, и румяное здоровое лицо покрывалось крупными каплями пота. Он уписывал жирные щи за обе щёки, издавая по временам одобрительные восклицания. После скудного берегового пайка он вволю отъедался на обильном морском довольствии и находил, что «при таком харче умирать не надо».

Леонтьев снисходительно подсмеивался над восторгами «деревни». Щеголяя своим «хорошим тоном», перенятым у кронштадтских писарей, он старался «кушать по-господски»: с некоторой небрежностью и будто нехотя, словно желая подчеркнуть, что он привык не к такой пище и восторгаться какими-нибудь щами считает неприличным. Во время еды он болтал, видимо раздражая своей болтовнёй старого матроса. Федосеич, недолюбливавший хлыщеватого Леонтьева, хмурился, бросая по временам на него сердитые взгляды, и, когда тот завёл было скоромную речь насчёт китайнок, Федосеич не выдержал.

— Нашёл время язык чесать! — строго заметил он.

— За обедом завсегда можно разговаривать. Это даже вполне благородно...

— За хлебом, за солью пустяков не ври!.. Или вас, кантонищину, этому не учили?..

— Ишь, строгий какой! — тихо огрызнулся Леонтьев и, несколько сконфуженный, замолчал.

Примолкли и остальные. Несколько минут только слышно было дружное сюсюканье людей, хлебавших щи.

— Нести, что ли, ещё, ребята? — спросил артельщик, когда бак был выпростан и на дне осталась одна солонина.

Никто больше не хотел. Даже Аксёнов не выразил желания. Тогда стали есть крошево, стараясь не обгонять друг друга, чтобы всем досталось мяса поровну.

Когда мясо было выпростано, артельщик пошёл за кашей и за маслом.

— И скусная же была солонина! — прибавил, облизываясь, Аксёнов.

— Эка, нашёл скусного!.. Надоела уж эта солонина! — заметил Леонтьев, щуря глаза. — Завтра, по крайности, хоть свежинка будет.

---

— Разборчивый ты какой господин у нас. Видно, сладко в кантонистах едал? — насмешливо промолвил Федосеич.

— Небось едал! — хвастливо проговорил Леонтьев.

— Скажи пожалуйста! — иронически вставил Федосеич.

— Я, может быть, самые отличные кушанья едал.

— В казарме, что ли?

— Зачем в казарме? Мы, слава богу, не в одной казарме свету видели! Была у меня, братцы, в Кронштадте одна знакомая, заместо повара у адмирала Лоботрясова жила... Может, слышали про адмирала Лоботрясова? Так придёшь, бывало, в воскресенье к кухарчонке — она всего тебе предоставит: и соусу из телячьих мозгов, и жаркова — тетерьки с брусникой, и крем-брулея! Очень нежное это кушанье, братцы, крем-брулей! — продолжал Леонтьев, обводя всех торжествующим взором и, видимо, довольный, что слово произвело некоторый эффект.

— Тарелки, значит, вылизывал? — презрительно вставил Федосеич.

Среди матросов раздался смех.

— Это пусть вылизывает кто настоящего обращения не знает, а мы, братец, и с тарелок умеем! — задорно возразил Леонтьев.

— Врать-то ты поперёк себя толще! — проворчал, отворачиваясь, старый матрос.

— То-то... врать!.. Посмотрел бы, как люди врут, а мне врать нечего!

Принесли кашу, и все занялись едой. Прикончив кашу, поднялись, помолились и стали прибираться. Когда все отобедали и палуба была подметена, раздался свисток и команда «Отдыхать!». По случаю прохладной погоды матросы пошли отдыхать вниз.

Выбрав укромное местечко для себя и для своего любимца, Федосеич принялся доканчивать башмак, а молодой матрос растянулся подле.

— Тоже: «крем-брулей», лодырь эдакий! — произнёс вдруг сердито Федосеич. — Небось просил он у тебя денег, Ефимка?

— Просил. Доллар просил.

— А ты не давай. Ему, брехуну, пыли пустить, а тебе деньги нужны. В деревне отец с матерью в нужде живут, им бы прикупил по малости, спасибо скажут... И не вяжись ты лучше с ним, Ефимка! Форцу-то его дурацкого не перенимай! Форцу-то на ём много, а совести нет... Он молоденьких вас обещивает, чтобы денег выманить... Совсем пустой человек! Слышишь, денег ему не давай! — прибавил внушительно Федосеич.

— Я было обнадёжил его, Федосеич!

---

— Пусть прежде отдаст старых два доларя. А то видит твою простоту и пристаёт! Так и скажи ему: Федосеич, мол, не велел! — заключил старый матрос и принялся за работу.

Аксёнов стал подхрапывать. В это время мимо проходил боцман. Заметив сладко спящего матроса, из-за которого его «срамил» старший офицер, Щукин вскипел гневом и с сердцем пхнул ногой молодого матроса.

Аксёнов проснулся и ошалелыми глазами смотрел на боцмана.

— Ты што на версту протянул лапы? Убери ноги-то! — грозно крикнул Щукин, прибавляя, по обыкновению, целый букет ругательств.

Матрос покорно подобрал ноги.

Федосеич пристально глядел на боцмана, держа в руке башмак, и, с укором покачивая головой, заметил:

— Нехорошо, Нилыч! За что зря пристаёшь к человеку...

— А тебя спрашивали? — окрысился Щукин. — Ты кто такой выискался — советчик, а? Молчи лучше, а то как бы и тебе не попало! — проговорил Щукин и пошёл далее.

— Гляди не поперхнись, Нилыч! — кинул ему вслед спокойно Федосеич.

Щукин сделал вид, что не слышал замечания старого матроса, и, хмурый и недовольный, побрёл в свою каютку.

Федосеич поглядел ему вслед и минуту спустя прошептал, как бы в раздумье:

— Зазнался человек, что вошь в коросте. Впрямь проучить пора!

— Не проучить его! Напрасно только вчера я не пожалился на него. Вишь, как он пристаёт! — жалобно произнес Аксёнов.

— Глупый! Небось и не таких учивали! Бог гордых не любит! — успокоительно промолвил Федосеич и, принимаясь снова за башмак, запел свою тихую деревенскую песенку, приятные, твёрдые звуки которой производили впечатление чего-то необыкновенно хорошего, простого и спокойного.

## V

Через три дня первая вахта собиралась на берег.

Матросы выходили на палубу вымытые, подстриженные, подбритые, в чистых рубахах и новых, спущенных на затылки, шапках. На многих были собственные рубахи из тонкого полотна, шёлковые косынки и лакированные пояса с тонким ремешком, на котором висел матросский нож,



---

спрятанный в карман штанов. Все имели праздничный, оживлённый вид.

Леонтьев только что вышел снизу, расфранчённый, в щегольской рубашке, в обтянутых штанах, с атласным платком на шее, украшенным бронзовым якорьком. Шапка на нём была как-то особенно загнута набекрень, светло-рыжие волосы густо намаслены, усы подфабрены, и весь он сиял, небрежно щуря глаза и, видимо, щеголяя писарской развязностью своих манер. Он искал глазами Аксёнова и, увидав молодого матроса, который в эту минуту, улыбаясь довольной улыбкой, любовался своими новыми, только что надетыми башмаками, подошёл к нему и хлопнул его по плечу.

— Так как же, Ефимка? Выходит: обнадёжил товарища, а теперь, брат, на попятный, а? — проговорил он, отставляя ногу и покручивая усы, чтобы показать свой перстенёк с фальшивым аметистом, купленный за шиллинг в Сингапуре.

Аксёнов поднял глаза и оглядывал франта-матроса, несколько подавленный его великолепием.

— Я ведь сказывал тебе: Федосеич не велит! — уклончиво отвечал молодой матрос, не без зависти любуясь блестевшим на мизинце у Леонтьева кольцом.

— Не срамись, Ефимка, право, не срамись! Начальник он тебе, что ли, Федосеич? Разве ты малый ребёнок, что не смеешь без Федосеича?.. У тебя, кажется, свой рассудок есть... Дай, голубчик, ведь ты обещал! — заискивающим тоненьким голоском упрашивал Леонтьев, в то время как плутоватые глаза его бегали по сторонам.

— Федосеич не велит! — с упорством повторил Аксёнов.

— Вот зарядил: Федосеич да Федосеич! Ты и не сказывай ему, что дал, ежели уж ты так боишься своего Федосеича... Будь приятелем — дай.

— Не проси лучше...

— Так ты взаправду не дашь мне доллера, Ефимка? — спросил Леонтьев, неожиданно меняя тон.

— Сказано тебе: Федосеич не велит. У него и деньги.

— Так после этого ты хуже свиньи, Ефимка! Ужо погоди — вспомнишь!

— Ты чего грозишься-то? Ты прежде мои два доллара отдай.

— Два «доллара»? — передразнил Леонтьев. — Ах ты, деревня неотёсанная! — продолжал он, презрительно оглядывая молодого матроса. — Подождёшь ты свои два «доллара», ежели ты такую подлость сделал с человеком! Где у тебя расписка, а? — с наглой усмешкой прибавил Леонтьев и отошёл прочь, окончательно смутивши молодого матроса.

— Первая вахта, становись во фрунт! — прокричал вахтенный унтер-офицер.

---

Матросы пошли строиться. После поверки скомандовали садиться на шлюпки, и через несколько минут баркас и катер, полные людьми, отвалили от борта клипера. По обыкновению разодетый в пух и прах, боцман Щукин сидел на баркасе на почётном месте, весело пуча глаза и деликатно придерживая двумя пальцами клетчатый носовой платок. На баркасе он сбросил свою суровость и не играл в начальника. Обращаясь к сидевшим рядом матросам, он дружелюбным товарищеским тоном рассказывал о достоинствах английского джина и, между прочим, приглашал Федосеича попробовать этого напитка вместе. Однако Федосеич отказался и во всю дорогу сосредоточенно молчал.

## VI

К вечеру баркас и катер шли к клиперу, возвращаясь с берега. Приближаясь к судну, шумные разговоры и смех стихли. Шлюпки пристали, и началась высадка. Слегка пошатываясь, выходили подгулявшие матросы на палубу и поскорей пробирались на бак, где шумно делились впечатлениями с оставшимися на клипере. Нескольких пришлось подымать на верёвке и в бесчувственном состоянии уносить на палубу и окачивать водой. Наконец поднялся по трапу и Щукин, поддерживаемый сзади двумя более трезвыми ассистентами, и при свете фонарей предстал в самом жалком и истерзанном виде. Лицо старого боцмана было в кровавых подтёках, один глаз вздут, рубаха изорвана, и от шёлковой косынки висели одни клочки.

Хотя боцман был очень пьян, однако при входе на шканцы он приложил руку к виску, отдавая честь, и пролепетал: «Честь имею явиться!». Затем его отвели в каюту и уложили.

Гардемарин, ездивший на берег с командой, доложил старшему офицеру, что боцмана, сильно избитого, привели на пристань Федосеев и ещё два матроса и объяснили, что нашли его в таком виде, случайно зайдя в кабак. Василий Иванович попросил доктора осмотреть Щукина. Скоро Карл Карлович вернулся и объяснил, что, хотя боцман и «повреждён», но переломов нигде нет, и через день-другой он отлежится.

Тогда Василий Иванович велел позвать Федосеева.

Старый матрос явился в кают-компанию несколько покрасневшийся от выпитого вина, но держался на ногах твердо. Он подтвердил старшему офицеру то же, что сказал и гардемарину.

---

— Кто же мог избить боцмана? — спросил Василий Иванович.

— Должно, боцмана помяли англичане, ваше благородие! — тихим и спокойным голосом отвечал Федосеич.

— Какие англичане?

— С купеческих судов англичане, ваше благородие. Их тут есть...

— Почему ты думаешь, что англичане?

— Мы видели, ваше благородие, что Нилыч с ними раньше связался пить шнапсы... Верно, опосля и разодрались...

Василий Иванович покачал головой и отпустил Федосеича.

На следующее утро Василий Иванович сам заглянул в каюту боцмана. Щукин лежал пластом. Всё лицо его было обложено компрессами.

При виде старшего офицера старый боцман вскочил.

— Лежи, лежи, Щукин. Где это, братец, тебя так изукрасили?

— Не припомню, ваше благородие! — хмуро отвечал боцман.

— Федосеев сказывал, что ты с англичанами дрался?

Боцман на секунду вытаращил удивлённо глаза, но вслед за тем с живостью проговорил:

— Дрался, ваше благородие!.. Виноват...

Василий Иванович сразу догадался, что на англичан взвели напраслину, но дальнейших расспросов не продолжал и ушёл, пожелав боцману скорей поправиться и впредь с англичанами не драться.

Щукин отлёживался целый день. Был уже вечер, когда в каюту к нему вдруг шмыгнул Леонтьев.

— Кто здесь?

— Леонтьев, Матвей Нилыч!

— Тебе что? — сердито спросил боцман.

— Я, Матвей Нилыч, пришёл доложить вам по секрету, потому как я завсегда уважал вас и, кроме хорошего, ничего от вас не видал... Я знаю, кто это с вами так подло, можно сказать, поступил. Я, если угодно, свидетелем под присягу пойду... Это Федосеев всему зачинщик... Я сам слышал, Матвей Нилыч, как он...

— Подойди-ка сюда поближе! — перебил его Щукин.

И когда матрос приблизился, боцман вдруг поднялся с койки и со всего размаха закатил здоровую затрещину Леонтьеву, никак не ожидавшему такого сюрприза.

— Вот тебе, подлецу, по секрету! Ах ты мерзавец эдакий!.. С чем подъехал!

И грозный боцман, охваченный негодованием, снова поднял свой здоровенный кулак, но Леонтьев благоразумно поспешил исчезнуть.

---

— Ишь ведь подлый! — прошептал боцман, опускаясь на койку.

После происшествия в Гонконге Щукин, по словам матросов, стал гораздо «легче на руку». Он дрался редко, и если дрался, то «с рассудком». Ругался же он по-прежнему артистически и нередко восхищал самих обруганных матросов неожиданностью и разнообразием своих импровизаций.

С Федосеичем он был в хороших отношениях, и они нередко вместе пьянствовали потом на берегу. Зато Леонтьеву доставалось-таки от боцмана. Слух о поступке франтаматроса сделался известным, и вся команда относилась к нему недружелюбно.

## VII

Несколько лет тому назад я жил летом в Кронштадтской колонии, близ Ораниенбаума.

Гуляя как-то вечером, я зашёл на Ключинскую пристань полюбоваться недурным видом на море. Там дожидался щегольской катер с военного судна, а на пристани стояла группа матросов в белых рубахах, среди которой выделялась чья-то низенькая коренастая фигура в измызганном, оборванном куцем пальтишке.

— ...А ты думал как?.. Меньше как по двести линьков у него, братец ты мой, не полагалось порции... В иной день, бывало, половину команды отполирует... Одно слово — орёл!..

Этот силпый, надтреснутый старческий басок показался мне знакомым, сразу напомнив давно прошедшие времена. Я подошёл поближе, и в оборванном старике узнал бывшего нашего лихого боцмана Щукина. Он сильно постарел. Испитое бурое его лицо было изрезано морщинами и заросло седой колючей бородой. Потускневшие глаза ещё более выкатились. Платье на нём было самое жалкое, сапоги дырявые, и старая матросская шапка, надетая по старой привычке на затылок, была какого-то вылинявшего вида.

— Или взять теперь боцманов... Рази теперь боцмана?! Шущера какая-то, а не боцмана! — продолжал, оживляясь, Щукин. — Один срам... Чуть что — сейчас фискалить на матроса, если матрос не даст ему рупь-целковый... Тьфу! Или теперь матрос... Какой он матрос?.. Ему только и мысли, как бы под суд не попасть... Напился — под суд! Портянки паршивые пропил — под суд! Сгрубил ежели — под суд! Это небось порядки?..

---

Щеголеватый молодой унтер-офицер, слушавший ламентации Щукина с снисходительной улыбкой, с важностью заметил:

— Нонче другие права... При вас закону не было, а теперь на всё закон...

— Закон?! — презрительно выпячивая губу, повторил Щукин. — А что фитьфебеля у вас нонче от матросов деньги берут да при часах ходят — это закон?! Выйдет это он: фу-ты на! Павлин, да и только... «Вы» да «вы», а от матроса рыло воротит — в господу лезет... Форцу-то много, а если прямо сказать, так одно слово — шильники!.. Нет, братец ты мой, ежели ты боцман, ты учи матроса, бей его с рассудком, но только и совесть знай... А то из-за портянок ежели человека несчастным сделать — это закон?! Или ежели за всякую малость на матроса жаловаться, — это, по-твоему, закон?! Нет, брат, это не закон... Это — тьфу!.. — энергично окончил старик, сплюнув и выходя из кружка.

— Здравствуйте, Щукин! — проговорил я, подходя к старику.

Щукин оглядывал меня, видимо, не узнавая. Я назвал себя.

— Вот где довелось встретиться, ваше благородие! — радостно приветствовал меня Щукин. — Вы, значит, вышли из флота?

— Вышел.

— Да и какой теперь флот, ваше благородие! Вы вот спросите: умеет ли он брамсель крепить... так он и брамселя-то не видал, а тоже матросом называется... Ишь ведь, тверёзые они нонче какие! — насмешливо прибавил старик, кивая на матросов. — А унтер-то у них?.. При цепочке... деликатного обращения... всё больше чай с алимоном... Другой народ пошёл, ваше благородие!..

— А вы чем занимаетесь?

— А сторожем здесь, при кладбище, да вот пристань караулю, чтоб не сбежала... Спасибо, исхлопотал мне это Василий Иванович... Он не забывает старого боцмана... вместо отца родного... Вот вышел окуньков половить... С десятков уж наловил, ваше благородие...

— Выпить-то ему не на что, вот он и ловит окуней на сорокоушку! — насмешливо проговорил унтер-офицер, приблизившись к нам.

— Небось у тебя не прошу, у сволочи! — сердито отвечал Щукин и пошёл к своей удочке.

Я купил у Щукина окуньков, и он мгновенно удалился. Через четверть часа он снова явился на пристань, совсем охмелевший, и скоро в вечерней темноте снова раздавался его пьяный, осипший голос:

---

— Одно слово — лев был... Рука — во!.. У нас на «Фершанте» в три минуты марсея меняли... А ты?.. Какой ты унтерцер? Тебе бы только компот в штанах варить, а не то что как прежде бывало... Или когда мы на клипере в заграницу ходили... Небось служба была... Василий Иванович понимал, какой я был боцман... У меня — шалишь, брат...

Г. Н. Потанин





---

---

Несмотря на большую популярность имени знаменитого нашего путешественника Г. Н. Потанина, давно признанные учёные заслуги которого ещё недавно были почтены пожизненной пенсией, исходатайствованной Русским географическим обществом, — до сих пор биографические данные об этом замечательном деятеле были мало известны не только большинству публики, но даже и людям, пользующимся честью личного знакомства с Григорием Николаевичем. Причины такого знакомства с биографией одного из выдающихся деятелей заключаются в скромности этого человека, доходящей до щепетильности. Охотно готовый поделиться со всяким своими сведениями, охотно готовый принять самое горячее участие во всяком деле, имеющем общественный или научный характер, готовый терпеливо выслушивать автобиографические рассказы других, Григорий Николаевич о себе никогда не говорит, и если замечает попытки собеседника завести разговор в этом направлении, то обыкновенно отклоняет такие попытки, замечая, что это неинтересно.

Тем с большим удовольствием встретили мы в журнале «Нива», вместе с портретом Г. Н. Потанина, и хорошо составленную краткую его биографию, написанную почтенным вице-председателем Русского географического общества. Пользуясь этими сведениями, мы познакомим читателя с деятельностью знаменитого путешественника, чтобы затем дополнить их описанием личных впечатлений, вынесенных из знакомства с Григорием Николаевичем.

Я заранее знаю, что Потанин будет сердиться и на газету, и на пишущего эти строки за то, что им так много занимаюсь, но в данном случае я готов подвергнуться даже гневу Потанина, ибо считаю, что сибирская печать не исполнила бы своего общественного долга, не ознакомив читателя с одним из лучших сынов Сибири, в своё время пострадавшим за свою горячую любовь к родине, — с человеком, деятельность которого, помимо своего научного значения, имеет и другое, не менее важное, — глубоко воспитательное общественное значение как необыкновенно чистой и нравственной личности. Биографические сведения о таких личностях действуют благотворно, освежающе и укрепляюще, особенно в такое время, как наше, когда эгоизм и себялюбие, продажность и предательство, бессердечие и ненависть ко всему, что носит на себе печать «духа», словом, все низменные, ничем не сдерживаемые, инстинкты празднуют, ликуя, так сказать, «имянины сердца». Такие личности, которые и в преклонном возрасте, среди окружающего их одичания и бесстыдства, сохранили

---

безукоризненную нравственную чистоту и веру в торжество добра, являются как бы путеводным светочем среди мрака жизни. Они радуют людей с божьей искрой в сердце, бодрят слабых и колеблющихся, будят погружённых в суету мелких личных интересов и поддерживают чистые стремления молодых, ещё не испорченных сердцем, служа им примером для воспитания в себе «человека», а не «обывателя»<sup>\*</sup>.

Знакомя публику с многосторонними знаниями, энергией и трудолюбием нашего путешественника, знакомя с тем разнообразным научным богатством, которое находил Потанин в разных посещённых им малоизвестных странах, сообщая, что, так сказать, взял из своих путешествий Григорий Николаевич, биограф не говорит, что Потанин дал как представитель культуры и цивилизации, входя в соприкосновение с менее культурными племенами.

И на этот вопрос приходится дать ответ, который только порадует всякого гуманного человека, знающего из историй разных путешествий не только старых, но и новейших, какими, в сущности, «варварами» нередко являются многие знаменитые и блестящие путешественники, оставляющие среди туземцев кровавые воспоминания, хвалящиеся, как, например, Пржевальский, что берданки его экспедиции производили чудеса, и перечисляющие с хладнокровием чистокровного флибустьера количество убитых туземцев<sup>\*\*</sup>.

Нечего и говорить, что Потанин принадлежит совсем к другому типу путешественников, к тому типу высоко держащих знамя истинной цивилизации географистов, лучшим представителем которого может служить Ливингстон, умевший находить себе друзей среди таких людей, с которыми

---

<sup>\*</sup> Далее идут выдержки из биографического очерка, написанного П. П. Семёновым-Тян-Шанским и опубликованного в жур. «Нива», 1888, № 5. Подробности биографии см. в книге Г. Н. Потанина «Воспоминания» (ЛНС, т. VI, Новосибирск, Западно-Сибирское кн. изд-во, 1983).

<sup>\*\*</sup> Следует признать, что К. М. Станюкович здесь излишне резок, он не учитывает, что условия путешествия в пустынях и горных областях Центральной Азии в то время зачастую проходили среди враждебного окружения; сам Потанин никогда и нигде об этом не говорил, ни в письмах, ни в статьях; в статье «Памяти Н. М. Пржевальского» (Восточное обозрение, 1888, № 44) он пишет о нём с глубочайшим уважением; Пржевальский в статье «Как путешествовать по Центральной Азии» писал: «...В далёких и диких странах Азии путешественник, помимо научных исследований, нравственно обязан высоко держать престиж своей личности, уже ради того впечатления, из которого складывается в умах туземцев общее понятие о характере и значении целой национальности» (Сборник географических, топографических и статистических материалов по Азии. СПб., 1888, с. 219).

---

путешественники-флибустьеры вступают в сношения лишь при помощи револьверов.

Гнушаясь каким бы то ни было насилием над туземцами, Потанин всюду, где был, являлся мирным гостем; видя везде не «врагов», а людей, он повсюду оставлял по себе хорошую память и, случалось, проходил благополучно один или вдвоём по таким местам, где Пржевальский шёл со свитой вооружённых солдат. Таким образом, экспедиции Потанина действительно были мирными, учёными экспедициями, а не флибустьерскими походами во славу русского оружия, — и имели хорошее, действительно цивилизующее влияние. По словам одного из спутников Потанина, Григорий Николаевич умел необыкновенно располагать к себе людей, и во время своих путешествий приобрёл себе немало друзей среди туземцев.

Мне приходилось встречать разных «знаменитостей» из мира литературного, учёного и художественного. Приходилось видеть их и с глазу на глаз и на разных собраниях. Были между ними всякие: и скромные, и не скромные, но в самых скромных людях можно было подметить ту, едва заметную, правда, но всё же заметную чётточку, которая свидетельствует, что эти люди, при всей своей скромности (и иногда именно благодаря подчёркиванию этой скромности), всё-таки чувствуют и сознают, что они «знамениты», и это сознание придаёт известный импонирующий оттенок манере говорить, слушать, держать себя, одним словом, невольно даёт чувствовать, что перед нами человек с «печатью известности».

Ничего подобного нет в Григории Николаевиче.

Я познакомился с ним в Томске, у А. В. Адрианова, у которого Потанин остановился, возвращаясь из последней своей китайской экспедиции\* в Петербург. Я не ожидал встретить Потанина, когда однажды утром зашёл к А. В. Адрианову и увидел у него в кабинете маленького, сухощавого, но крепкого и сильного на вид человека лет под пятьдесят, с обветрившимся, загорелым, изрезанным морщинами лицом, опушённым небольшою тёмно-русой бородкой, с небольшими серыми глазами, приветливо и скромно глядевшими из-под очков.

Это лицо напоминало собой простые, умные лица из «народа» и притом из типа так называемых «недоимщиков». Чем-то необыкновенно хорошим, скромным, даже детски застенчивым веяло от этого небольшого сухощавого пожи-

---

\* В 1888 г. последней экспедицией Потанина была экспедиция в Китай 1884—1886 гг.; Адрианов Александр Васильевич (1853—1920), учёный, этнограф и археолог, в те годы человек, близкий Потанину.

---

лого человека с крепко посаженной головой, с закинутыми назад тёмно-русыми с проседью волосами, оставлявшими открытым морщинистый лоб, заканчивающийся над глазами густыми, слегка нависшими бровями. Если б не китайский халат, накиннутый поверх чёрного костюма, я, разумеется, никогда бы не догадался, что вижу перед собой знаменитого путешественника, о котором ещё раньше столько слышал хорошего.

Но этот халат, несколько чемоданов в комнате, всё это в связи с ожиданием приезда Григория Николаевича заставило меня догадаться, кто это, и когда нас познакомили, назвавши Потанина, я уже успел внимательно рассмотреть его.

Он только что утром приехал с супругой, ехавши в открытых санях при сильных морозах, но на его лице почти не было и следов утомления. Он был бодр и свеж. Сразу было видно, что это выносливая натура, сумевшая перенести и тяготу свеаборгского заключения и умеющая переносить опасности и лишения отдалённых путешествий.

Те же простота и скромность были и в его разговоре. В ответ на мои вопросы об его путешествии он отвечал, как отвечают люди, желающие познакомить собеседника с предметом, причём, видимо, рассказчика интересовал предмет и ничего более... Во всё время этого первого нашего свидания я ни разу не слышал, чтобы он говорил о себе, т. е. о своём «я». Этого «я» не было даже и тогда, когда ему приходилось отвечать на вопросы, касающиеся его лично. И тогда он говорил о себе точно о третьем лице. Его беседы были полны добродушного своеобразного юмора, придававшего им ещё более прелести. При этом в разговоре он был так же точен и осторожен, как точен и осторожен в своих описаниях; в этом отношении он доходил до комичного педантизма, и, рассказывая какой-нибудь эпизод из своего путешествия, цитируя иногда, по поводу объяснения какого-нибудь факта, массу авторов, он всё-таки оговаривался, если объяснение его не удовлетворило, что верного заключения дать не может.

С такой же осторожностью он говорил и о людях, хотя, впрочем, эта деликатная осторожность не мешала ему иметь определённый взгляд на тех людей, которых он считал вредными с общественной точки зрения. Правда, в его суждениях изредка прорывался человек науки, готовый иногда по доброту снисходительно отнестись к людям, умеющим сочетать добрые дела на пользу любимой им родины с не всегда чистой общественной деятельностью, но эта снисходительность проистекала опять-таки из чистых мотивов.

Необыкновенно скромный и не сознающий, казалось, сам своего значения как деятеля науки, он с необыкновенной те-

---

плотой и участием относится к другим деятелям на том же поприще, и ни разу не пришлось мне уловить нотки, свидетельствующей о зависти или недоброжелательстве. Более всего возмущало Григория Николаевича — это, по его оригинальному, «потанинскому» выражению, — «сампьючайство», т. е. самохвальство, в чём бы и в ком бы оно ни проявлялось.

Таким я видел Григория Николаевича в первое моё свидание с ним. Таким я его видел и на всех вечерах «с Потаниным», которые устраивались в честь его во время пребывания Потанина в Томске (и которые, к слову сказать, очень конфузили его). Таким же я его видел и в тесном кружке двух-трёх знакомых, и таким же останется навсегда в моей памяти этот необыкновенно скромный, знаменитый путешественник и глубоко образованный человек, враг всякого «сампьючайства», правдивый, честный и добрый Григорий Николаевич.

Такие люди составляют гордость своей родины.

*«Сибирская газета», Томск, 1888, №№ 28, 30.  
Печаталась статья под псевдонимом «М. Костин».*

---

# «Томская тема» в судьбе и творчестве К. М. Станюковича

---

— А каков, например, город Томск?

— Превосходный. Лучший город Сибири, так сказать, сибирская Москва.

Константин Михайлович Станюкович прожил в Томске как административный ссыльный ровно три года (июнь 1885 — июнь 1888). Нельзя сказать, чтобы этот период был обойдён печатью: есть воспоминания Е. С. Некрасовой [1], А. В. Адрианова [2], С. Л. Чудновского [3], Д. Кеннана [4], статьи В. Милькова [5] и др. В сознании любого читающего сложился образ стойкого, мужественного борца, европейски образованного человека, в прошлом блестящего морского офицера и путешественника, широко известного писателя и журналиста, внезапно перенесённого обстоятельствами в далёкий сибирский край. Меньше известно читателям о фактах творческой жизни Станюковича в период ссылки. Литературоведы понастоящему заинтересовались лишь морскими рассказами, написанными в Томске и положившими начало всемирно известному циклу, почти обходя «сибирскую» часть его наследия. Эта односторонность в освещении творчества ссыльного писателя не преодолена даже в наиболее полной и обстоятельной монографии В. П. Вильчинского [6]. Между тем художнические искания К. М. Станюковича в период томской ссылки дают дополнительное представление о личности писателя, позволяют установить закономерность его связей с кругом местной интеллигенции, даже оттенить сам феномен рождения «морской темы» в кругу других. Сибирскому читателю к тому же небезынтересно увидеть Станюковича в Томске, в стихии нашей природы, исторического города, как и увидеть Томск глазами большого европейского художника. Путь к этому — в соединении краеведческого и литературоведческого подходов к «томской теме» в жизни и творчестве писателя.

\*\*\*

17 июня 1885 года К. М. Станюкович с женой и четырьмя детьми прибыл в «столицу Западной Сибири», как он назвал Томск. «Расположенный на холмистой поверхности, окайм-



---

лѣнный зеленеющими лесами, сверкавший куполами своих церквей под лучами заходящего солнца, Томск издалека казался привлекательным городом...» [7; № 12]. Медленно продвигался кортеж путешественников «от села Черемошина» по немощѣным улицам, мимо «плохоньких строений», «низеньких невзрачных домов», от занятых гостиниц к забитым постоялым дворам, «доставляя скучавшим томичам даровой спектакль». «Привлекательный издалека» и «невзрачный», неприветливый вблизи, город продолжал удивлять приехавших своей неоднозначностью: дело не только в том, что уже в «злополучный» вечер они сидели за «пузатым самоваром» и на ужин были поданы булки, масло, сливки, жареная телятина, но в том, что и хозяйка номеров Гладышева, и предоставившая солидному семейству свой дом Плятер-Плохоцкая читали произведения Станюковича и хорошо знали его как писателя.

Можно представить трудности первых недель пребывания в провинциальном городе, поразившем грязью и «дикостью», пугавшем отсутствием работы, отрывом от большой общественной и литературной деятельности последних лет, утратой связей с далѣкими теперь друзьями. Из сердца писателя вырвался в одном из писем крик: «Будьте лучше несчастливый по-человечески, чем счастливы когда-нибудь по-томски» [1, с. 160]. Но гораздо чаще в его письмах звучат заверения: «Я бодр», «не теряю бодрости», «чѣрт вовсе не так страшен, как его малюют», зимой, в сорокаградусный мороз, — «ничего, привыкнем».

Этот душевный настрой, с одной стороны, объясняется незаурядностью личности ссыльного писателя, с другой — той атмосферой «лучшего города Сибири», в которую он окунулся. Это не была «страна Макара», как представлялось издалека. Это был крупный губернский центр, оживлѣнный в ту пору энтузиастической деятельностью «областников», подъѣмом просвещения, строительством университета. Двумя месяцами позднее Станюковича в Томск приехал американский путешественник и исследователь Джордж Кеннан, которому тоже город показался «по предприимчивости, интеллектуальному развитию, благосостоянию населения» — «первым» в Сибири [4].

Уже в первые месяцы жизни Константина Михайловича в Томске в его письмах начинают «прорастать» приметы томской жизни, штрихи портретов окружающих людей. Аристократ по воспитанию и образу жизни, Станюкович вместе с женой Любовью Николаевной стремились и свой домик в Затеевском переулке, а позднее квартиру на Верхней Елани обустроить как можно уютней и изящней: были куплены необходимые вещи, приобретено пианино. Дж. Кеннан за-

---

метил, что в их доме хранились реликвии, напоминавшие о прежних путешествиях: визитные карточки американских офицеров, фотография Линкольна, модель индейской пироги. Общительный, открытый характер хозяина, истинно русское гостеприимство всех домочадцев, атмосфера дружной интеллигентной семьи привлекали многих знакомых. О «томских сидениях» в доме Станюковичей осталось немало воспоминаний. Там бывали: Ф. В. Волховский («изящная натура с эстетической подкладкой», — скажет Станюкович о нём в письме Е. С. Некрасовой), князь А. А. Кропоткин («учёный астроном», «чудный товарищ» и «приятный собеседник»), Д. А. Клеменц, С. Л. Чудновский, Л. Э. Шишко, Г. Ф. Зданович. Пожалуй, лучше всего атмосфера таких «тёплых встреч» воспроизведена в книге Кеннана: «К самым интересным явлениям в мире политических ссыльных в Томске принадлежал... Константин Станюкович. Это был человек, одарённый тонкой наблюдательностью, превосходный знаток социальных явлений в России... человек с выдающимися способностями и необычайной энергией... В уютной маленькой квартире мы провели наши лучшие вечера в Томске. Мы часто до полуночи внимали дуэтам, которые распевали Станюкович-дочь с А. А. Кропоткиным, беседовали о русском правительстве, ссылке в Сибирь...» [4; 239]

Письма самого писателя друзьям также воскрешают отдельные моменты томской жизни. Он описывает семейные торжества, дни рождения детей — с подарками, ласками родных и приходами гостей, учёбу и занятия каждого из близких, поездку летом 1886 в деревню Заварзино; с тревогой пишет иногда о своём или чьём-то нездоровье, с гордостью — об игре и пении Наташи, которая «положительно очаровывает здешнюю публику». Но более всего со страниц писем и воспоминаний встаёт образ великого труженика, совершенно неустомимого в своей писательской работе. Через две недели после приезда и устройства на квартире: «...только 3—4 дня как жизнь вошла в колею и я мог серьёзно приняться за работу...». Через четыре с половиной месяца: «Работаю буквально не покладая рук... Почти нигде не бываю, сижу дома и пишу...». В каждом письме делится своими творческими планами, сомнениями — так ли пишет, «как нужно, как мог бы», просит помочь в публикации готовых очерков, рассказов.

В одном из писем Е. С. Некрасовой Константин Михайлович заговорил о тяге к фельетону — своему излюбленному жанру: «Ежемесячные фельетоны писать отсюда неудобно, но я имею в виду давать нечто вроде того, черпая материал из сибирской жизни» [1, с. 159]. Возвращение к живой жур-

---

налистской работе — важный этап в томской биографии писателя. Вскоре он стал сотрудником газеты, утверждает В. П. Вильчинский; сразу погружается в литературную работу — настаивает Е. С. Некрасова; «на первых же порах» сошёлся близко с членами редакции, посещал редакционные собрания, вспоминает С. Чудновский. Сопоставляя творческие искания Станюковича и материалы «Сибирской газеты», есть возможность определить закономерность, время и место встречи опального писателя с одним из выдающихся сибирских изданий.

\* \* \*

Ко времени приезда К. М. Станюковича в Томск «Сибирская газета», открытая ещё в 1881 году, сложилась в солидное периодическое издание со своей программой, постоянными разделами, сплочённым коллективом авторов и тремя тысячами подписчиков. По заявлению её редактора А. В. Адрианова, газета была принципиально оппозиционной и отстаивала право на обличительное направление. Она открыто заявляла о своей демократической и просветительской ориентации: «Не для культуртрегеров издаются сибирские газеты, не для самого образованного слоя, а для той среднего образования сибирской массы, которую нужно познакомить с краем, где она живёт» [8, 1885, № 21]. В газете сотрудничали люди, близкие ссыльному Станюковичу по духу, убеждениям, рыцарскому служению долгу. С. Чудновский в своих воспоминаниях образно определил этот настрой: «Её («СГ») работники смотрели на свою миссию как на подвиг. «Сибирка» была для них святыней и храмом, в который можно вступить лишь молитвенно и коленопреклонённо» [3; 168].

Наступательная позиция «Сибирской газеты» обуславливала высокий удельный вес сатирического, фельетонного отдела, который более всего и привлёк внимание Станюковича. Острота фельетонного отдела «Сибирки» становится особенно ощутимой по мере нарастания её полемики с новым томским органом — «Сибирским вестником», который стал выходить с мая 1885 года в противовес «красной» «Сибирской газете». П. Макушин назвал его «литературной рептилией». Обратим внимание на быстроту и определённую выбор Станюковича. Через два месяца после приезда, т. е. в августе, он пишет: «Между этими органами, конечно, вечная полемика, но, разумеется, сочувствие порядочных людей на стороне «Сибирской газеты», а не «Сибирского вестника», где работают по большей части все герои процессов, натурально, уголовных» [1; 162]. Именно к этому времени относится

---

сближение писателя с редакцией газеты. Условия конспирации и занятость другой литературной работой скрывают от нас меру творческого участия Станюковича в выпусках «Сибирки». Трудно сегодня назвать точную дату его прихода, но анализ материалов газеты косвенно свидетельствует о периоде «необъявленного присутствия» Станюковича в «Фельетоне «СГ».

Так, привлекает внимание появившийся 15 сентября 1885 г. совершенно оригинальный раздел «Крапива» — сатирическая мини-газета в газете. Составителем его, как теперь известно, являлся Феликс Волховский. Но некоторые из материалов по идее, пафосу, стилю очень напоминают публицистику Станюковича предшествовавших лет. Сквозной темой его статей являлось разоблачение и критика реакционной и либеральной печати. В «Письмах знатного иностранца», повсеместно известного сатирического цикла, Станюкович уже писал о современной печати как о «печати лавочников», о забвении идеалов, намеченных лучшими людьми, об одинаковом «запахе» всех газет реакционного направления. Вот эта последовательная концепция, общий широкий взгляд на роль прессы, вплоть до частных оценок, вдруг отчётливо проступают на страницах сибирской «Крапивы».

Как острый фельетон написана редакционная Программа отдела «Два слова о «Крапиве». Использован образ «Сада российской словесности», в котором процветают все «преlestи русского литературного вертограда»: «Бледною, не имеющею непозаимствованного запаха камелией, выращенной за большие деньги в оранжерее, стоит Авсеенковская «Петербургская ведомость»... Пёстрой георгиной возвышаются «Новости», кивая на все стороны шарообразной головой»... «И далее даются саркастические характеристики других русских журналов, после чего обосновывается право «жалить всех, кто того достоин, и насадить крапивы не на столичных и европейских клумбах, а в скромном, далёком уголке российской словесности» [8, 1885, № 37]. В редакционной статье закладывались принципы дальнейших выпусков, очень близкие эстетическим установкам Станюковича-фельетониста: многообразие жанров, лаконизм, актуальность, острота. Он несомненно если не был вдохновителем «крапивных» страниц, то имел отношение к обсуждению вместе с редакцией отдельных выпусков или материалов.

Присутствие новых литературных сил в фельетонном отделе чувствуется и в содержании полемики с альтернативной газетой. Сатирическая «Крапива» ведёт теперь спор не

---

на уровне частных колкостей по поводу ошибок или «ляпов» «Вестника», а подвергает критике позицию газеты по многим принципиальным вопросам. «Газета в газете» будет выходить до середины 1886 года и закончится совсем накануне того дня, когда появится новый сатирический цикл Станюковича — «Сибирские картинки»; этот факт тоже позволяет проследить за творческой деятельностью писателя.

Первый выпуск «Картинок» напечатан в газете от 13 июля 1886 г. под новым псевдонимом — «Старый холостяк». С самого начала была видна какая-то особая обстоятельность: задуман «цикл», и это обязывает соблюсти литературную традицию «представления» рассказчика. Дана ироническая самохарактеристика, в которой важно всё: «скромный литератор-обыватель», «...от роду мне 60 лет. Отставной надворный советник. Вероисповедания православного... Направления благонамеренного и долю трусливого...» Отличается «безусловной благонадёжностью» и не имеет «преступного намерения отторгнуть Томскую губернию от Российской империи» [8, 1886, № 28].

Скрывшись за маской повествователя-обывателя, автор цикла имеет возможность рассуждать на самые различные темы: он как бы не скован тенденциозностью, свободен и объективен. Между тем за непринуждённостью рассказов «старого холостяка» стоят серьёзные общественные проблемы. Одна из них — явление «цивилизаторства» в отдалённых районах России. Образ молодого человека, «знакомого с трактирной цивилизацией больших городов и приехавшего в Томск цивилизовать «дикий край», нарисован с использованием обширных литературных реминисценций. Циник, скандалист, «соединяющий в себе черты Хлестакова с чертами Подхалимова, нахальство Ноздрёва с алчностью разбойника» — вот первое впечатление от знакомства с этим персонажем.

Пародией на литературную традицию является дневник «цивилизатора». Только на этот раз найден он в чемодане среди пустых бутылок и служит средством сатирического саморазоблачения. Через восприятие вечно пьяного проходимца показан и город Томск. «Довольно-таки гнусный город, надо отдать ему справедливость», — замечает автор дневника. Он видит только грязь, участвует в драках и загулах, недавно достроенное здание университета предлагает отдать «привилегированным арестантам»; томских женщин обзывает «брёвнами» и «дурами». Автор даёт ему ещё одно прозвище — «ташкентец». Когда-то, создавая образы «ташкентцев», чей девиз «не зевай!», чья цель «жрать!», Салтыков-Щедрин предупреждал об опасности распространения этого явления

---

по всей России, преемственности «Ташкентов» — Станюкович подверг сатирическому анализу и осмеянию сибирский вариант цивилизатора.

Единство цикла сатирических «Картинок» достигается внутренними связями мотивов, проблем, иногда полемикой точек зрения на общие вопросы. Так, Томску, увиденному глазами «ташкентца», противостоит другой Томск — «идеальный», из фантастического сна повествователя. Это нечто вроде сатирического «перевёртыша»: идиллия строится по контрасту с действительностью, но при этом действительность то и дело «проглядывает». Вот образчики такого изображения: «Вместо острога на въезде — большое красивое здание, окружённое тенистым садом, и ни одного солдата около» [8, 1886, № 37]. Это — клиника, а острогов нет вообще, тюрьма одна, но пустая. «Вошёл господин в форме. Думаю, сейчас все повскакивают с места — ничуть не бывало». Сон обывателя прерывается внезапным криком «Караул!» — это уже реальность. Так достигается комический эффект: создание утопии и мгновенное её уничтожение, а за этим мысль об иллюзорности мечтаний обывателей, пока царят сегодняшние порядки.

В цикле сталкиваются понятия о литературе правдивой, «обличительной» и литературе «усладительной». Повествователь иронизирует над призывами к идеализации в литературе: «Изобразите этакую «Парашу Сибирячку» ...И умна-то она, как Маргарита Пармская, и красива-то она, как Клеопатра Египетская», или «добродетельного квартального» и «бескорыстного надзирателя, этакого замечательной честности отставной козы барабанщика Разбойникова. И тогда вам будет легко издавать газету» [8, 1886, № 42]. От эстетического спора автор вновь выходит к полемике с «Сибирским вестником».

Следует восстановить контекст, в котором воспринимались строки цитированных «Картинок». 43 номер «Сибирской газеты» от 26 октября был посвящён роли печати, росту патриотической сибирской интеллигенции. Этот день был днём сбора всех «сибиряков», и в передовой статье были выражены надежды на «новое молодое поколение, усвоившее себе широкие и гуманные общечеловеческие идеалы, твёрдо решившееся поработать словом и делом в пользу своей родины во имя этих именно идеалов». На фоне этих материалов в последующих выпусках «Сибирских картинок» будет нарастать критический пафос: общественное неблагополучие станет главным объектом сатиры в очерках «О выборах», «Торжество чумазого», «Осаждённый город». «Голос» повествователя крепнет, его интонации напоминают теперь



---

призывы, возбуждающие энергию обывателей, их общественную совесть: «Не глядите — богат или беден, а смекайте — честен или нет человек, трудолюбив или празден, «сумеет ли он, не покривив душой, послужить делу» [8, 1886, № 45].

В последний раз псевдоним «Старый холостяк» появится под святочным рассказом «Первая и последняя ёлка» [8, 1886, № 52]. Нередко этот рассказ исключают из «Сибирских картинок» и рассматривают отдельно, так как, кроме подписи, казалось бы, нет ничего общего с содержанием цикла. Но с этим можно и не согласиться, если читать рассказ в контексте «Сибирской газеты» и вслед за всеми выступлениями «Старого холостяка». Это венец цикла и конец года: с этой точки видны все промахи прошлого, но с неё же начинаются надежды на будущее.

Стихия сибирской жизни выступает на этот раз не в галерее «чумазых», «ташкентцев», «червонных валетов», не в многоголосой толпе обывателей, а в развёрнутой картине природы. Суровый рождественский мороз, «злющий» сибирский ветер — таков мрачноватый колорит рассказа. Точные приметы Томска: Большая улица, Воскресенская гора, богатый купеческий дом на углу, с огромными освещёнными окнами, за которыми — «ёлка, большая, богато изукрашенная ёлка, стоявшая среди комнаты, сверкала, залитая огнями и блеском...» [8, 1886, № 52]. На грани этих контрастных миров — чёрной сибирской ночи и блестящего великолепия Рождества — крошечная фигурка нашего мальчика, «очарованного маленького человечка». В рассказе есть как бы нити предшествующих частей: социальные контрасты, незащищённость слабого перед хищниками как примета времени (мальчик встречается с грабителем), жестокость нравов, фантастический сон избитого ребёнка. Лирическое начало связано с чувством глубокого сострадания повествователя к обездоленным. Вдумаемся: он, шестидесятилетний «обыватель», в силу своего «трусливого» мироощущения, не состоялся как гражданин ни в сороковые, ни в бурные шестидесятые годы («холостяк»), но он сохранил «душу живу» к восьмидесятым годам, и его надежды связаны с молодым поколением. Это созвучно настроениям и автора «сибирских картинок», оставившего псевдоним неизменным и для святочного рассказа. Цикл не разрушился: лирическая концовка лишь уравнивала критику настоящего и надежды на будущее, социальное и нравственное.

«Сибирские картинки» можно считать талантливым очерковым циклом, созданным в пору творческого подъёма писателя. Это интуитивно чувствовали многие исследователи



---

морских рассказов, но, не анализируя томские произведения, они выражали изумление по поводу взлёта таланта Станюковича. Феномен начала морского цикла в сибирской ссылке при пристальном исследовании проясняется: он соседствует с новой вехой творчества писателя, освоением им новой тематики и новым мироощущением.

\* \* \*

Самым «деятельным» периодом томской жизни Станюковича была вторая половина 1886 года, когда, наряду с постоянно выходившими фельетонами «Сибирских картинок», с 7 сентября станут регулярно появляться главы романа «Не столь отдалённые места», а в европейских журналах в октябре-ноябре объявится новый автор — М. Костин, рассказы которого «Василий Иванович», «Беглец», чуть позднее — «Матросский линч», «Человек за бортом» — привлекут всеобщее внимание. Темп творческой жизни ссыльного писателя стремительно нарастал. Но Томск не только задал интенсивность темпа работы, но внёс качественные изменения в художнические искания писателя.

Сложилось мнение, что сибирский роман Н. Томского — художественная неудача. Критик К. К. Арсеньев в апрельском номере «Вестника Европы» за 1889 противопоставил роману-фельетону морские рассказы М. Костина. С. Чудновский вспоминает о большой спешке автора при написании «Не столь отдалённых мест», небрежностях в деталях при подготовке глав к печатанию их в очередном выпуске газеты.

Н. М. Ядринцев в письме иркутским друзьям от 30 августа 1886 г. неодобрительно отзывается о том, что в «Сибирской газете» «заподрядили Станюковича написать роман из сибирской жизни, фельетоны... Конечно, Станюкович, не знающий и не изучавший сибирской жизни, навалиет какой-нибудь пашквиль... Подделка под сибирские интересы, обусловленная нуждой, тут много неискренного» [9, с. 287].

Сомнения Н. М. Ядринцева могли бы быть оправданными, если смотреть на Станюковича как на человека со стороны, но они рассеивались самой практикой писателя в напряжённый год после приезда, его укрепившимися связями с сибирской прессой и решительным овладением «томской темой». Более того, когда в декабре 1886 года над «СГ» нависла угроза закрытия из-за материальных трудностей, Станюкович был одним из тех «друзей газеты», которые воспрепятствовали этому. А. В. Адрианов в письме Г. Н. Потанину прямо указывал: «Константин Станюкович — наиболее деятельный наш сотрудник — он пишет роман и «Сибирские картинки», и ему газета будет обязана многим» [10, № 865].

---

Причина же неудовлетворённости критиков художественной отделкой романа, как и причина забвения этой части наследия Станюковича, кроется в своеобразии самого жанра романа-фельетона. Можно говорить об экспериментаторстве писателя: романная форма позволяла расширить горизонты сибирской темы, выйти к проблеме человека, героя, но она должна была сосуществовать с «сухощавой, костистой фельетонной формой» (М. Кольцов). К тому же роман предназначался для газеты и печатался в ней. Это может снять обвинение в «торопливости» автора и в художественных «огрехах»; ведь суть газетного «многосерийного» произведения — рождение фрагментарное, «на глазах» читателей, к «срокам». Считают, что «фельетон стоит как бы косо ко всему газетному листу, он рассчитан на перемену внимания, на удивлённое лицо читателя» [11;19]. В данном случае задачей фельетониста было удержать внимание томских читателей надолго, на многие месяцы вперёд: рамки выхода романа на страницах «СГ» 7 сентября 1886 — 28 июня 1888, всего же он появился в 38 номерах газеты.

Прежде всего для «удивления» томской публики нужно было выстроить предельно захватывающий сюжет. Обычная уголовная хроника заполняла страницы всех изданий. Но на этот раз первая фраза романа: «Подсудимый! Вам предоставляется последнее слово!» [12;17] — должна была познакомить читателя не с матёрым преступником, а с «молодым человеком, с бледным истомлённым лицом», который «тихо, как бы недоумевая, к чему его беспокоят», должен объяснить мотивы, заставившие его... Несмотря на неординарность происходящего — стрелял в женщину — последнее слово так ничего и не разъясняет, жена не только не прокликает преступника-мужа, но даже оправдывает его — с первых страниц легко уловить глубокую иронию автора, проистекавшую от поразительной банальности прежде всего героя. Судьба человека, приговорённого «на жительство», была, мало сказать, близка Станюковичу — это было личное, только что пережитое. Но выбор героя романа из среды «уголовных» диктует автору приёмы неизменного «снижения» ореола страдальца или «героя». Это сказывается уже в портрете, мотивировке поступков и характера. Невежин — фамилия главного персонажа. Невольно возникает литературная параллель: Салтыков-Щедрин в одном из сатирических циклов даёт характеристику т. н. «легковесных» — деятелей, которые ни над чем не задумываясь, ни перед чем не останавливаясь «шествоуют в храм славы с единственной целью сневежничать в нём» [13;52]. Несостоятельность, неосновательность Невежина постепенно вырисовываются как

---

основные черты его личности. Вопрос о ценности человеческой личности, о нравственном облике «ссылного» небезразличен автору.

Любопытно сопоставить факты биографии писателя и как бы пародирующую её судьбу героя романа. Именно в это время в «Русской мысли» выходили очерки, в которых повествователь-гражданин размышлял над проблемами России, Сибири, народного бытия. И на контрасте с этим его Невежин лишён какой-нибудь плодотворной мысли: автор просто «перебросил» его в город Жиганск, углубив этим скачком «червонного валета» впечатление об его легковесности и незначительности.

Интерес томских читателей к роману возрастал от номера к номеру, появились просьбы издать его отдельной книжкой и уж во всяком случае не прерывать выпусков. В начале 1888 года редакция вынуждена была в каждом номере «успокаивать» нетерпеливую читательскую аудиторию обещанием скоро продолжить печатание романа Н. Томского.

Этот интерес был особенно возбуждён поворотом романного действия к сибирскому обитанию героя. Заявленный характер по-своему проверяется в новых обстоятельствах. «Благие порывы» Невежина последовательно сменяются уступками его слабостям, в его характеристике постоянное «но»: стремление к чистой и честной жизни, но неспособность к труду; мечта о возвышенной любви к Зинаиде, но обольщение «Прекрасного Иосифа» престарелой красоткой; обещания служить, найти себе дело, но возможность жить на содержании у жены. Сами «испытания» носят всё более фарсовый характер. В условиях ссылки, в провинциальном городе Невежин в сущности не теряет ничего из всех привычных благ: он обласкан губернатором и его женой, окружён поклонницами и собутыльниками, безбедно существует и пользуется всеобщим покровительством. Лишь на несколько дней его самолюбие уязвлено отказом Зинаиды, и автор иронично назвал его «страдальцем», но, когда он стал богат (умерла жена, оставив наследство) и свободен (расстался с любимой), ему окончательно даётся определение — «счастливый молодой человек».

Станюкович выносит своего героя на суд томского читателя. Ничего не осталось от заявки на драматизм судьбы ссылного: роман живёт теперь по законам сатирического искусства. Автор провёл «антигероя» через цепь «похождений» и поставил его перед смехотворным итогом: «Всё тот же» — скажут о Невежине в эпилоге. Замкнутый круг судьбы «одного из «порядочных» молодых людей» — это и было художественное отторжение автором «червонных валетов»,

---

насаждавшихся в Сибири, вслед за «цивилизаторами», «ташкентцами» и другими спасителями «дикого края».

«Не столь отдалённые места» было подлинно оригинальным произведением в другой своей ипостаси — в изображении губернского города Жиганска, занимавшем три четверти объёма романа. Отношения автора с читателем, нефельетонными полосами «СГ» в этой части выстраивались по иному художественному принципу, чем в описании любовных и иных походов Невежина. Теперь писатель должен был вывести на страницы нравы томских жителей, провинциальные типы, нарисовать живую современную картину. Установка на достоверность, узнаваемость, публицистичность — как черты фельетона — ставила художника, живущего в этом городе, в положение, когда сатирический мир романа ежедневно соприкасался с живой действительностью. Быть судьёй окружающих — значило бы написать «пашквиль», а стать бесстрастным фотографом не позволяла гражданская позиция сатирика-публициста. И Станюкович как бы заключает «договор» со своими читателями, вовлекает их в своеобразную «игру». Он подбрасывает им отдельные знакомые картины, портреты, события, «заманивает» их в атмосферу живого действия, но тут же лепит образ по законам художественного творчества: деформирует реальность, уводит события к давним временам, заостряет наиболее важные для раскрытия идеи. Благодаря таким приёмам Томск предстаёт в «кривом зеркале» сатиры.

Семнадцатый томский губернатор Иван Иванович Красовский остался в памяти современников человеком либеральным, радушным, доступным. «Это был интересный тип российского помпадура «доброго старого времени» [3;170], — напишет о нём С. Чудновский в 1912 году. «Неудачный участник Крымской войны», потом министерский чиновник, московский вице-губернатор, он в Томск ехал неохотно, но объяснял это тем, что не мог отказать своему государю. Ему прощали его чрезмерное тщеславие, страсть к популярности.

В воспоминаниях Е. Корша, близкого губернатору человека, перечисляются многие привлекательные черты Красовского: «простой, хороший, жизнерадостный, большой театрал, <...> вращался в кругу передовых литераторов, артистов, артисток... Ходили анекдоты об его оригинальности, весёлости, остроумии, резкой, но не злой требовательности» [14, с. 439]. Корш описал даже квартиру и кабинет губернатора в доме купца Ненашева (ныне пр. Ленина, 143), где он по утрам вёл приём посетителей; его частную жизнь, домашние вечера, пристрастие к дамскому обществу.

---

Сам Станюкович в частном письме, сообщая о внезапной кончине Красовского, писал так: «Покойник был прежде всего добрый человек, понимал, что Томск для людей, случайно сюда заброшенных, сам по себе не представляет особой прелести, чтобы устраивать ещё для них невозможную жизнь» [1;157].

И вот в главе «Утро делового человека» перед читателем возникает художественный образ губернатора Ржевского-Пряника(!). «Подслащённой» фамилии «генерала» соответствует его портрет: «Кругленький, гладкий, невысокого роста, бодрый и живой старичок с манерами человека, бывавшего в свете, из породы мышинных жеребчиков, <...> не было ни импонирующего юпитерского величия, ни специфической чиновничьей выправки» [12, с. 54]. Знаком был Станюковичу, видимо, и «щегольски убранный кабинет» губернатора, где среди фотографий немало женских портретов и разных сувениров, и манера распекать во время утренних приёмов своих подчинённых («Я разыщу негодяя, который сообщает этому мерзавцу редактору пасквили... Я его... Я в двадцать четыре часа! Разбойник! В остроге сгною!» и т. д.), и быстрые перемены в его настроении, когда после «воинственного» нападения на заседателя Прощелыжников он «прослезился и стал по обыкновению болтать» с Сикорским (томичи узнавали Павла Полянского), а потом затевает «дружеский разговор» и приглашает запросто заходить к нему Подушкина, на которого как раз и падало подозрение сначала. Вся сцена показана как острокомедийная, почти водевильная, её даже можно инсценировать: персонажи попеременно появляются, демонстрируя свои характеры, привычки, каждый наделён своей логикой поведения, меткой речевой характеристикой. Комизм изображаемого усиливается введением сатирического персонажа — Марьи Петровны, жены губернатора, мечтающей увезти своего Базиля из «проклятой дыры», так же, как и ироническими авторскими замечаниями о «воинственности» бывшего участника Крымской войны в «баталиях» местного значения, о «трепете» подчинённых, о «злополучной корреспонденции», в которой на самом деле ничего «ужасного» не было.

Итак, томскому проницательному читателю давались «знаки», по которым они могли легко угадать авторскую насмешку. Но это лишь внешний комизм: это Красовский из «анекдотов». Перо же писателя было подчинено не только созданию сиюминутного впечатления от «сценки», а глубокому анализу уродливых общественных отношений, вскрытию алогизма провинциальной жизни. Деловой кабинет первого человека губернии — это ворота в некий прокажённый мир, где царят

---

лицемерие и надувательство, всесилие власть имущих и подбострастие подчинённых, цинизм и хищничество. Подлинным объектом сатиры являются не отжившие, загнивающие явления общественного и нравственного порядка, над которыми можно было бы посмеяться, а нарастающие, находящие почву для развития: приспособляемость циников к существованию в новых условиях, «привыкание» обывателей к кровавым преступлениям «мафии», использование печати для борьбы с несогласными и т. п. Автор глубоко озабочен стремительным наступлением зла: идущее от столицы с её уголовными процессами, оно множится в «местах, не столь отдалённых», циркулирует по всему «организму», отравляя его.

В поле зрения автора входят различные лики этого зла, что фиксируется в каждом новом выпуске фельетона. В портретной галерее жиганских типов возникает образ одного из сибирских «чумазых». Образ Кира Пахомыча Толстобрюхова в романе, на первый взгляд, достаточно традиционен: это купец-толстосум, неоднократно отражённый в русской литературе середины XIX века. Станюкович сразу вписывает его в типологический контекст. Об этом говорит всё: имя Кир, что значит «сила, право, власть»; выразительная фамилия, напоминающая «говорящие» имена персонажей Островского; щедринское определение «чумазый»; характерный портрет хищника-первонакопителя («широкое, угреватое, тупорылое лицо», «недобрый огонёк... заплывших жирком глаз», «широкая кряжистая фигура»); речевая характеристика грубого, полуграмотного предпринимателя («баланец», «подъегорить», «нонече», «ярманка» и др.).

Давая читателю газеты тотчас догадаться, о каком типе идёт речь, автор и не стремится к особой изобретательности в художественном отношении, как бы заверяя, что всё это известно, прочно осело в сознании людей 80-х годов. Но Кир Пахомыч «интересен» автору как модификация расхожего образа в условиях Сибири, где он всемогущ, опасно агрессивен, где малыми силами и потугами его уже не сокрушить: в его денежном мешке нуждаются все, от кабатчиков, исправников, до губернатора. «Это была сила, с которой надо было считаться», — замечает автор, придавая зловещую окраску «одному из «чумазых», за которым стоят другие грабящие Сибирь. Глубокие раздумья автора о судьбах многострадального сибирского края помогают прочесть в очерке об «отчаянном» купце главную романную мысль ссыльного писателя — о порочности общественного устройства современной России, мысль, близкую идеям «сибирских патриотов», на защиту которых встал столь темпераментный художник, каким был Станюкович.



---

Проводя читателя по присутственным местам Жиганска, знакомя с нравами обывателей, театральной богемой, сибирскими типами, Станюкович-Томский долгое время как бы бережёт главную тему разговора с читателем — о роли печати, о местной прессе. Но вот в одной из столичных газет «воинственного» направления напечатана «воинственная» корреспонденция. Внимание автора сосредоточено на проблеме восприятия жиганскими читателями самых актуальных общественных вопросов: о «сибирских патриотах», неблагонадёжном «Жиганском курьере» (читай — «Сибирской газете»), угрозе «сделать из Сибири будущую Польшу». Став на точку зрения читателей, автор умело прячет собственное отношение к бурно обсуждаемым событиям. В данном случае читатели-персонажи ставятся рядом с реальными читателями «Сибирской газеты». Если в романе написано: «Это, собственно говоря, была не корреспонденция, а грозный донос, облечённый в литературную форму», — у томичей не могли не возникнуть в памяти доносы на «Сибирскую газету»; если персонаж Сикорский опасался «озлобленных выпадов «Жиганского курьера» против уголовных ссыльных», читающая публика вновь вовлекалась в атмосферу ожесточённой полемики томских газет; если в начальных главах повествователь пытался мистифицировать читателя, отнеся события к «временам стародавним», то к концу романа он ощущает «непосредственное дыхание самой жизни».

В последних главах романа, выходявших уже в 1888 году, когда в Томске ожидалось открытие университета, а на страницах газет ставились острые общественные вопросы, автор напрямую обратился к проблеме ссыльной интеллигенции и её роли в сибирской жизни. Конфронтация двух газет — «Жиганского курьера» и «Жиганского гражданина» — предстаёт как галерея портретов «бубновых тузов в изгнании». Нигде до этого в тексте романа не собиралось столь тесно, в одном кружке, такое однородное общество единомышленников: «... за круглым столом... сидели, прихлёбывая чай, главнейшие «короли в изгнании», как прозвал один местный остряк этих известных героев уголовных процессов» [14; 188].

«Амфитрионом» за столом является известный читателю интриган Сикорский, а вокруг не просто легко узнаваемые сотрудники «Сибирского вестника», а галерея типичных циников, названных в одной из рецензий «культурной уголовщиной». Различны портреты, характеры, индивидуальные судьбы каждого из персонажей — участников «памятного вечера», но при всём их различии автору важно показать, что привело всех к общей «идее»: все они исполнены ненависти к сибирской жизни, называя Жиганск «подлым», «дырой»,



---

«клоакой», «трущобой», а сибирских патриотов — «политической швалью». В основе действия любого из «тузов» — собственная обида на «Жиганский курьер», на местные порядки, месть своим недоброжелателям.

Вновь Станюкович, верный своим убеждениям и таланту сатирика-публициста, имеет возможность поставить вопрос о роли прессы в формировании общественного мнения, о нравственном облике пишущего, о силе воздействия печатного слова. Проблема газеты столкнулась в романе с главной проблемой регионального сознания: Сибирь не должна быть местом ссылки и каторги, она достойна лучшей доли в ходе развития российского государства, просвещения, культуры.

Как сотрудник фельетонного отдела «СГ», Станюкович прошёл путь от мелких и колких «крапивных» заметок через художественное осмеяние манипуляций общественным мнением как особой тактики провинциальных властей (цикл «Сибирские картинки») к освоению развёрнутого образа спекулятивного издания, газеты-«рептилии», рождённой недобросовестными усилиями «героев уголовных процессов». Эта художественная концепция, несомненно, рождена общностью писателя с позицией сотрудников «Сибирской газеты».

Среди последних томских произведений Константина Михайловича — великолепный очерк «Г. Н. Потанин». Псевдонимом «М. Костин» связываются между собой томская тема с морскими рассказами. Очерк появился на благоприятном фоне: «Сибирская газета» стала уделять большое внимание людям с обострённой гражданской совестью. Расширился литературный отдел газеты: помещён рассказ В. Г. Короленко «Из записной книжки», очерк Г. Мачтета о В. Г. Белинском, открылась рубрика «Что пишут» с постоянными обзорами новинок, где помещены рецензии на очерки Г. Успенского, некролог о В. М. Гаршине. Стало очевидным, что «сибирская печать не исполнила бы своего общественного долга, не ознакомив читателя с одним из лучших сынов Сибири» [8, 1888, № 29].

Используя материалы биографии Г. Н. Потанина и собственные воспоминания, Станюкович воссоздаёт неповторимые черты человека, с кем судьба счастливо свела его в годы томской ссылки. Портрет Григория Николаевича в изображении Станюковича — это согретая тёплым авторским чувством зарисовка, улавливание типичных черт простого русского лица «из народа»: «чем-то необыкновенно хорошим, скромным, даже детски застенчивым веяло от этого небольшого, сухощавого пожилого человека» [8; 1888, № 30]. Тип учёного, путешественника, гражданина, не утратившего живых связей со своим краем, был близок идеаль-

---

ным представлениям Станюковича. Он увидел в Потанине подлинно гармоничную личность, положительного героя: просветителя, гуманиста, глубоко нравственного человека. Гармония высокого общественного служения и личного обаяния и скромности прочерчивается как притягательная вершина человеческого совершенства, тем более необходимого в эпохи безвременья. Автор вновь выходит к проблеме личности, её воздействия на духовную жизнь общества. Резкими штрихами характеризуя современный мир как «время, когда эгоизм и себялюбие, продажность и предательство, бессердечие и ненависть ко всему, что носит на себе печать «духа»... празднуют «именины сердца», Станюкович не боится высоких слов в адрес «светлой личности»: «светоч среди мрака», «безукоризненная нравственная чистота», «гордость своей родины». Очерк и по своему художественному исполнению был заключительным аккордом, полным гармонии и пафоса. Это было и торжественное прощание с Томском, и дань благодарности всему, что связано было с ним чистого и высокого.

*М. В. Грицанова*

---

## Литература:

1. Некрасова Е. С. К. М. Станюкович. Его поездка и жизнь в Томске. //Русская мысль, 1903, кн. X, с. 141.
2. Адрианов А. В. Томская старина // Город Томск. — Томск.1912.
3. Чудновский С. Л. Из дальних лет // Вестник Европы, 1912. март.
4. Кеннан Д. Сибирь и ссылка. — СПб., 1906.
5. Мильков В. Станюкович в Томске // Русские писатели в Томске. — Томск, 1954.
6. Вильчинский В. Л. К. М. Станюкович. Жизнь и творчество. — М.; Л., 1963.
7. Нельмин Л. В далёкие края. Путевые наброски и картинки // Русская мысль, 1886, №№ 1, 2, 4, 12.
8. Сибирская газета. Цитируются выпуски 1885—88 гг.
9. Ядринцев Н. М. Письма //Литературное наследство Сибири. — Т. 5. Новосибирск, 1980.
10. Архив Г. Н. Потанина. ОРК НБ ТГУ. — № 865 (12 дек. 1886 г.).
11. Груздев И. Техника газетного фельетона // Фельетон. — Л., 1927.
12. Станюкович К. М. В места не столь отдалённые. — Новосибирск, 1964.
13. Салтыков-Щедрин М. Е. Собр. соч. в 20 тт. — Т. VII. — М. 1965-77.
14. Корш Е. В. Восемь лет в Сибири // Исторический вестник,1910, № № 5-7.

---

---

# Содержание

*А. Пугачёв. Сибирский роман К. М. Станюковича . . . . 5*

## **В места не столь отдалённые**

I. Приговор . . . . .	19
II. Камера № 198 . . . . .	24
III. Один из «порядочных» молодых людей . . . . .	28
IV. Неожиданное открытие . . . . .	33
V. Выстрел . . . . .	39
VI. Два свидания . . . . .	44
VII. Деловое утро . . . . .	51
VIII. На новых местах . . . . .	66
IX. Один из сибирских «чумазных». . . . .	77
X. Добрая старушка . . . . .	87
XI. «Сибирские» ощущения . . . . .	93
XII. Толстобрюховская «история». . . . .	98
XIII. «Пентефриева жена» . . . . .	102
XIV. Встреча . . . . .	107
XV. Зинаида Николаевна . . . . .	113
XVI. Объяснения . . . . .	124
XVII. Неожиданная экскурсия . . . . .	130
XVIII. Старый знакомый . . . . .	137
XIX. В театре . . . . .	141
XX. Любопытная «историйка» . . . . .	148
XXI. Ревность . . . . .	151
XXII. «Бомба». . . . .	154
XXIII. Новая неприятность . . . . .	157
XXIV. Испытание любви . . . . .	160
XXV. «Короли в изгнании». . . . .	168
XXVI. «Идея» . . . . .	174
XXVII. Медовый месяц . . . . .	180
XXVIII. «Страдалец» . . . . .	184
XXIX. Последнее объяснение . . . . .	189
XXX. Приезд «нового». . . . .	194
XXXI. «Счастливый молодой человек». . . . .	201
Эпилог . . . . .	206
Примечания . . . . .	208

## **Морские рассказы**

Василий Иванович . . . . .	213
Беглец . . . . .	284
Человек за бортом!». . . . .	307
Матросский линч . . . . .	325

**Г. Н. Потанин** (*Биографический очерк*) . . . . . 349

*М. В. Грицанова. «Томская тема»  
в судьбе и творчестве К. М. Станюковича . . . . 356*

---

## «Томская классика»

Произведения, включённые в серию, соответствуют трём критериям: содержат местный материал или написаны в Томске; имеют художественную и общественную ценность; известны за границами области.

1. И. А. Куцевский. Николай Негорев, или Благополучный россиянин.

2. Н. И. Наумов. Избранное.

3. Г. Д. Гребенщиков. Избранное.

4. В. Я. Шишков. Избранное.

5. Г. М. Марков. Строговы.

6. М. Л. Халфина. Избранное.

7. В. В. Липатов. Избранное.

8. Вл. А. Колыхалов. Дикie побеги.

9. В. Д. Колупаев. Избранное.

**10. К. М. Станюкович. Избранное.** Константин Михайлович Станюкович (1843, Севастополь, — 1903, Неаполь) — русский писатель, известен произведениями на темы из жизни военно-морского флота. За три года жизни в Томске написано: роман и многочисленные рассказы. Здесь, в ссылке, за тысячи километров от морей и океанов, Станюкович создавал те произведения о русских морях, которые в итоге и принесут ему мировую славу.

**11. В. А. Обручев. Избранное.** Владимир Афанасьевич Обручев (1863 г., Ржев — 1956 г., Москва) — русский геолог, палеонтолог, геоморфолог, географ, писатель-фантаст, академик АН СССР. После революции 1905 Обручев состоял в Конституционно-демократической партии, возглавляя её томский комитет. С 1901 по 1912 преподавал в Томском технологическом институте и был организатором его горного отделения.

**12. Н. А. Клюев. Избранное.** Николай Алексеевич Клюев (1884, деревня Коштуги, Олонецкая губерния, — 1937, Томск. Расстрелян) — русский поэт, лидер так называемого новокрестьянского направления в русской поэзии XX века.

**13. Ф. И. Тихменёв. Избранное.** Фёдор Иванович Тихменёв (1890 г., с. Шерагул, Нижнеудинский уезд, Иркутская губ. — 1982 г., Томск) — один из организаторов в 1932 году литературного объединения в Томске.

**14. Б. Н. Климычев. Избранное.** Борис Николаевич Климычев (1930, Томск — 2013, Томск) — прозаик и поэт, журналист. Почётный гражданин г. Томска.

---

Литературно-художественное издание  
Константин Михайлович Станюкович  
Избранное

Редактор книжной серии и  
редактор-составитель тома *Г. К. Скарлыгин*  
Технический редактор *А. Р. Рубан*  
Корректор *И. А. Сердюк*

Издание Томской писательской организации.  
Отпечатано в ООО «Томская полиграфическая компания».  
Подписано в печать 30.04.2015 г. Печать офсетная.  
Формат 140×240 мм. Шрифт Cambria.  
Усл. печ. л 23,4. Уч.-изд. л. 19,79. Тираж 1 000 экз.







ТОУНБ имени А.С.Пушкина



13822000358638